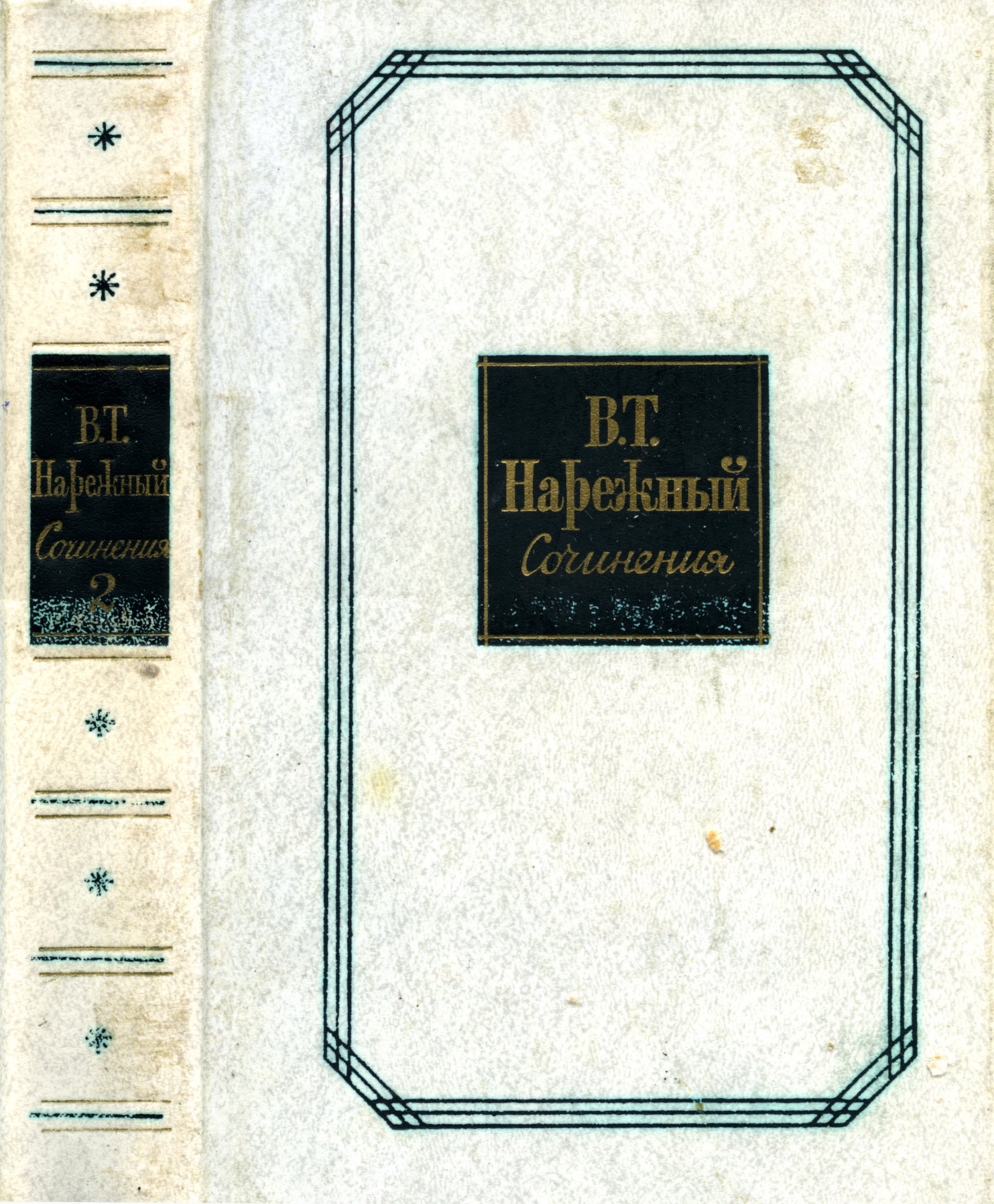

В.Т.
Нарежный
Сочинения
2
В.Т.
Нарежный
Сочинения

В.Т. Нарежный

*

Сочинения

В. Т. Нарежный

Сочинения в двух томах



Москва
«Художественная литература»
1983

В. Т. Нарежный

Сочинения
том второй

Романы
и повести



Москва
«Художественная литература»
1983

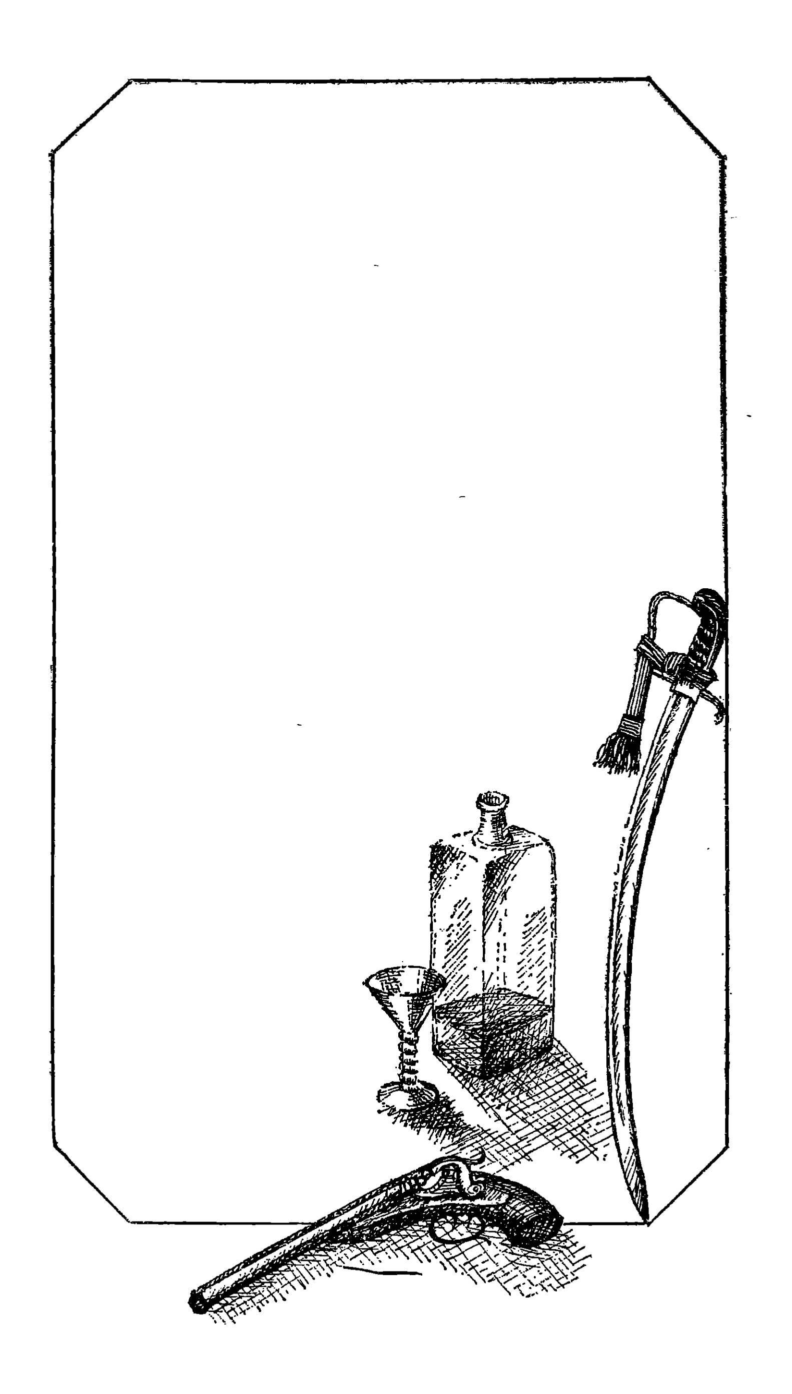
Р1
Н28

Подготовка текста
и примечания
Ю. В. Манна

Н $\frac{4702010100-413}{028(01)-83}$ 5-83

Бурсак

Малороссийская повесть



Василию Михайловичу Федорову

Милостивый государь Василий Михайлович!

Дружеская благосклонность, коею почтили Вы меня с начала довольно давнего уже нашего знакомства, без всякой со стороны моей заслуги, налагает на меня приятный долг благодарности. В засвидетельствование сего я имею честь посвятить имени Вашему сочинение мое, под заглавием: «Бурсак». Примите сей малый опыт моей преданности со свойственным Вам великодушием.

Василий Нарежный

Августа 4 дня 1822 года.

Часть первая



Глава I

Бурса

Блаженной памяти отец мой, дьячок Варух Переяславского полка, в селе Хлопотах, был великий мудрец в науках читать, писать и распевать на крилосе. Он так был громогласен, что когда в часы веселые взлезет, бывало, на колокольню и завопит, то рев его был слышнее, чем звон главного колокола, и это звонарю крайне досадно было.

Как у Варуха, кроме меня, детей не было, то он, презрев тогдашний обычай, чтобы не заставлять учить ничему детей до двенадцатилетнего возраста, принялся за меня по прошествии шести лет с такою ревностию, что в двенадцать я уже читал и писал не хуже его и пел на крилосе на все восемь гласов. Слава моя не мало утешала отца; но к чести его скажу, что он сим не ограничился и захотел сделать меня, по словам его, настоящим человеком.

Он имел друга в келейнике ректора переяславской семинарии и посему, запасшись рекомендательным письмом от богатого пана, проживающего в Хлопотах, к сей высокой духовной особе, отправился со мною в город, отстоящий от села верст на десять. Лето было в половине и день ясный.

— Неон! — сказал дорогою Варух,— когда ты будешь столько счастлив, что дозволят тебе учиться в семинарии, то смотри не ленись, и бог тебе поможет. Там-то будешь иметь случай набраться всякой мудрости, о коей нашему брату и подумать страшно. Отличась в науках, ты можешь надеяться — велика власть господня! — надеяться быть со временем в каком-нибудь селе дияконом! Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!

Рассуждая таким образом, добрели мы до города, и я разинул рот от удивления. Какие церкви, какие домы, какие сады и огороды! Проходя улицы, я поминутно дергал

отца за полу, спрашивая: «Это что?» Он молча продолжал путь с великою важностию, как будто ничто его не трогало. Это был субботний день, и народ расходился от вечерень. Какое множество людей обоих полов! какое великолепие в нарядах!

Подошед к одной церкви, отец мой постучался у ворот маленького домика.

— Это жилище хорошего моего приятеля, дьячка же, Варула, где мы переночуем и посоветуем о нашем деле.

В сие время вышел к нам низенький толстый человек об одном глазе. Он тотчас узнал отца моего, оскалил зубы, поздоровался, ввел нас в светелку и усадил на лавке.

Когда Варул подробно узнал намерение Варухово относительно меня, то объявил, что оно очень не худо само по себе, но весьма худо потому, что вручить рекомендательное письмо отцу-ректору очень трудно.

— А келейник его высокопреподобия, всечестный Паисий, что такое? — вскричал отец мой.

— Ты, видно, давно с ним не видался,— отвечал Варул,— теперь и всечестный Паисий, как и все другие, взялся за ум, и кто приходит к нему с пустыми руками, для того и ректор не видит и не слышит.

— Подлинно, что худо,— сказал Варух, понизя голос и почесавши в затылке,— я и не знал, что старинный друг мой так переменился; правду, однако, сказать, что и мы, хотя также всечестные люди, а даром ни для кого и рта не разинем. Любезный друг Варул! ссуди мне рубль денег, так я поднесу его другу Паисию.

Варул, в свою очередь, задумался и также почесал в затылке. Наконец глаз его просветлел, он протянул к отцу моему руку и сказал:

— Изволь, друг Варух, ссужу тебя деньгами; но я коечто выдумал и надеюсь, что тебе это будет не противно. Возьми половину сих денег, ступай к знакомой тебе шинкарке Мастридии и купи добрую меру пеннику да другую вишневки; я же побегу к Паисию и приглашу его на ужин. На такие звы он не причудлив и отказываться не охотник. Дорогою искуплю я на другую половину пару кур, утку и гуся. Тут-то поговорим мы с Паисием о нашем деле и, надеюсь, не без успеха; а мы с тобою будем иметь тот барыш, что и сами поедим и попьем по-дьячковски.

Не для чего пространно рассказывать о пирушке, происходившей в доме Варула; за полными чарками заключен

союз, целию коего было определение дьячковского сына Неона в семинарию. К концу сего ночного празднества восторженные друзья, обнимаясь между собою и обнимая меня, поздравляли с поповским саном. На другой день отец Варух с своим сыном представлены ректору, приняты благосклонно, и Неон получил дозволение набираться мудрости в семинарии и жить в тамошней бурсе.

Есть многие сельские и иногородные отцы, кои, охотно желая видеть сыновей своих учеными, по бедности не в силах содержать их в городе, где понадобилось бы платить за квартиру и за пищу. Чтобы и таковым доставить посильные способы к образованию, то помощию вкладов щедрых обывателей и по распоряжению монастырей при каждой семинарии устроены просторные избы с печью или двумя, окруженные внутри широкими лавками; на счет также монастырей снабжаются они отоплением, и более ничем. Сии-то избы называются бурсами, а проживающие в них школьники — бурсаками. Старший из студентов, по воле ректора, управляет другими, неся величественное имя консула, в том предположении, что и начальный Рим был не что иное, как бурса.

Варух и Варул ввели меня торжественно в сей вертеп премудрости и отрекомендовали консулу и будущим совоителям; а чтоб я милостивее был принят, то отец мой вручил консулу полтину денег, прося приготовить праздничный ужин. После чего, снабдя меня соломенным мешком и какою-то латинскою книгою на польском языке и благословя гривною денег, сказал:

— Неон! не печалься, друг мой! Я оставляю тебя в надежном пристанище. Бойся бога, чти старших и слушайся, не лги и не крадь,— тогда ты угоден будешь и богу и людям. Учись прилежно, когда хочешь быть благополучен. Каждый месяц ты меня увидишь или, по крайней мере, обо мне услышишь. Друг мой Варул не оставит тебя своею милостию. Прощай.

Обняв меня, оба друга удалились. Стоя у дверей бурсы, я провожал их слезящими глазами; когда же скрылись, то я вздумал осмотреть кругом новое мое обиталище. Это был сарай, состроенный из плетня, обмазанного изнутри и снаружи желтою глиною; крыша была соломенная; двери и четыре круглые окна освещали сие здание. Впереди имело оно обширный пустырь, поросший высоким бурьяном, однако торчало на оном с десяток полуусохших шелковичных деревьев; с задней стороны примыкалось к высокому бе-

регу реки Десны; правая боковая сторона граничила с забором огромного сада, принадлежащего монастырю, в коем помещена и семинария; левая — с чьим-то пространным огородом, на углу коего стоял шинок.

Осмотрев сие пленительное место, я вошел в бурсу и уселся в углу на лавке, на своем ложе. Консул — это был высокий, дородный, смуглый мужчина с большими черными усами — лежал на лавке на войлоке, склонив голову на связку травы и держа в руках претолстую тетрадь. Из двадцати пяти моих товарищей, кои все были гораздо взрастнее меня, человека с четыре уже усланы для закупки вещей, нужных к ужину, а остальные заняты были различным образом. Иной басил ужасным голосом духовную песню; другой бренчал на балалайке, под звук коей человека два-три скакали вприсядку; некоторые боролись или бились на кулачках; словом, всякий делал что хотел, при всем том один другому не мешая.

Солнце клонилось к западу; купчины возвратились, принесши с собою полбарана, мешок со пшеном и деревянную баклагу с пенником. Консул сейчас вскочил и, овладев баклагою, отведал; и, похваля напиток, пошел с нею на берег Десны, куда и я, по данному знаку, вместе со всеми ему последовал. Три кашевара развели огонь, утвердили треножный таган, рассекли баранину на куски по числу братии и начали стряпню. Между тем консул, отделившись с шестью товарищами, сел на берегу и начал целоваться с баклагою, не забывая своих собеседников; прочие, позади коих был и я, разлегшись на траве, точили балы, рассказывали сказки и присказки и производили самые чудные телодвижения. Видя, что консул не делал их участниками в осушивании баклаги, я у соседа своего спросил тому причину.

— Мы еще не имеем на то права,— отвечал он с тяжким вздохом,— ибо мы все только этимологи, поэты и риторы, и оттого-то не смеем, под опасением строгого наказания, пить вино, курить табак и отращивать усы. А как консул Далмат и его товарищи все философы, то они на сии преимущества имеют всякое законное право.

Не понимая, что значат сии неслыханные мною слова, я замолчал и продолжал внимательно смотреть и слушать. Каша поспела, и котел поставлен на лужайке. Консул с своими товарищами сели около него, а прочие составили второй круг; всякий вытащил из кармана длинную ложку и начал упражнять свои челюсти сколько было силы. Хотя

отец мой и забыл снабдить меня ложкой, но консул приказал младшему из бурсаков делиться со мною своею. Котел опорожнен; все удалились в бурсу и полегли на лавках. Я также растянулся на своем мешке и скоро уснул крепко.

На следующее утро консул, сопровождаемый своими подчиненными, отправился в семинарию и представил меня префекту. Это был преважный протопоп и составлял второе лицо после ректора. Меня отвели в надлежащий класс, где и начали преподавать латинскую, польскую и русскую азбуку. Менее нежели в час прозорливый учитель, католический монах, догадался, что я церковные книги читал столько же проворно и внятно, как стихарный дьячок, а посему дальнейшее в сем упражнение признано излишним, а советовали мне всеми силами налечь на изучение языков латинского и польского. Перед полуднем раздался на дворе семинарском звон колокола; учитель и ученики поднялись с мест, и первый дал мне знак приближиться к нему и протянуть обе руки, распрямя ладони. Я исполнил, и наставник с улыбкою удовольствия влепил в каждую ладонь по полдюжине резких ударов деревянною лопаткою. После сего пропета торжественно молитва, и всякий пошел домой, а я в бурсу. Дорогою нагнал меня один из моих товарищей, по имени Кастор, которому со слезами рассказал я о наказании, невинно полученном от учителя.

— Друг мой,— сказал он засмеявшись,— ты еще нов и неопытен. Дюжина добрых ударов, тобою полученных, совсем не есть знак учительского гнева, а, напротив, доказательство особенного благоволения. Здесь теперь такое заведение, чтобы всякого ученика, вступающего в сей храм мудрости, приучать к кротости и терпению. Хотя обыкновение сие почти ни одному новичку не нравится, но к нему привыкают, а особливо, зная, что количество полученных ударов приближает каждого к лестной цели быть скорее диаконом или и попом.

— Но,— говорил я подумавши, — отец мой сказывал, что в семинарии обучается много дворянских и купеческих сыновей, которые никогда не думают быть ни дьяконами, ни попами.

— О,— сказал товарищ,— на таковых наше начальство не обращает никакого внимания. Впрочем, заметь, Неон,— я по дружбе тебе это открою,— если ты будешь терпелив, послушен и совершенно предан воле учителя, то

испытание сие продлится недолго; в противном случае оно будет бесконечно, и ты в тридцать лет будешь не что другое, как сельский дьячок, сколько бы учен ни был. Обладая же помянутыми мною добродетелями, ты скоро получишь выгодное место.

Разговаривая таким образом, вступили мы в бурсу.

Глава II

Способы к содержанию

Привыкши у отца никогда желудок не доводить до ропота, я крайне запечалился, не видя и следа обеда; но, вспомня, что у меня в кармане целая гривна, я тотчас сделал план к удовлетворению алчбы и, вышед из бурсы, опрометью бросился к площади, граничащей с семинариею, где поутру еще мельком заметил множество торговок с хлебом разного звания. Я купил за целую копейку большую булку и принялся насыщать себя с великим удовольствием; еще добрый ломоть оставался в руке моей, когда вступил я в свою обитель. Немало испугался я, взглянув на консула. Он ходил по сараю большими шагами и, обратясь ко мне, спросил свирепым голосом:

— Где был ты, негодница?

С трепетом показал я остаток булки и не мог промолвить ни одного слова, сколько от испуга, столько и от того, что рот был полон.

— Понимаю,— вскричал он,— сей бунтовщик, никому не сказавшись, ходил на рынок. Ликторы! сейчас нарежьте два пука крапивы и накажите виновного!

Двое из бурсаков, которых называли риторами, бросились в бурьян и вмиг возвратились с пучками зрелой крапивы; двое других кинулись на меня, повалили на пол и разоблачили, а первые двое начали хлестать весьма исправно. Я кричал как отчаянный; но они не прежде выпустили меня из рук, пока не увидели, что крапива измочалилась. Уединясь в темный угол, я плакал неутешно. «Если такими средствами,— думал я,— приобретается премудрость, столько прославляемая отцом моим, то пропадай она, негодная. В тысячу раз лучше оставить всю надежду быть когда-либо дияконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».

Быть может, я и надолго остался бы в таком пасмурном расположении, если бы не рассеял меня вошедший бурсак Кастор, которого за веселый нрав полюбил я с первого еще раза.

— Что это значит, Неон? — спросил приятель,— что ты и до сих пор печалишься о безделице? Поверь, друг мой, что такие происшествия не заслуживают внимания.

Вместо ответа я показал ему спину.

— Да,— продолжал он с важностию,— ты изрядно исписан; но это пройдет, и не заметишь, как пройдет.

Когда я жаловался, что консул во зло употребляет возраст свой, силу и право пить вино, курить табак и носить усы, Кастор сказал мне:

— Напрасно так думаешь, приятель, и, видно, не знаешь наших постановлений. Послушай же: почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим, и консул управляет оным вместе с сенатом. В консулы избирается старший из богословов, а прочие богословы и философы образуют сенаторов; риторы составляют ликторов, или исполнителей приговоров сенатских; поэты называются целерами, или бегунами, которые употребляются на рассылки; прочие составляют плебеян, или чернь— простой народ. Видишь, как все это прекрасно устроено! Если бы консул сделал какое позорное дело, то сенаторы доносят о том ректору, и тот немедленно снимает с него сей величественный сан и, наказав по мере вины палками, розгами или и батожьем, обращает в звание сенатора. Зато и консул имеет свои выгоды и преимущества. Именно: если кто провинится из нас, но немного, как, например, сегодня ты, то он один своею властию определяет меру наказания; в случае же вины важной он созывает сенат и с ним вместе рассуждает о деле и произносит кару. Кроме одежды и обуви, у нас все общее и хранится в каморке, пристроенной к бурсе, а ключ всегда у консула. Главный промысел наш состоит в пении под окнами мирян церковных песней или — если кто столько смышлен — в проворстве рук. Мы получаем мукою, свиным салом, птицами, зеленью разного рода и отчасти деньгами, которые обыкновенно переходят от нас в руки шинкарки Мастридии, торгующей вблизи от нас. По сим основаниям самыми злыми преступлениями почитаются у нас, если кто изобличен будет в утайке хотя одной добытой копейки или попадется в сети на ручном промысле.

Так поведал Кастор о законах сего малого Рима, как прибежал целер с объявлением, что каша готова.

— Ин пойдем, Неон,— сказал Кастор, вытаскивая из кармана ложку.

— Спасибо за ласку,— отвечал я,— пропадайте вы все и с кашею; мне есть не хочется.

— Упаси тебя угодник божий, соименитый тебе Неон, нейти со мною! Разве тебе хочется еще раз быть сечену?

— А за что?

— За то, что не хочешь с нами есть каши; это значило бы противиться уставам общества, о чем ужасно и помыслить.

Нечего было делать: я участвовал в общей трапезе, а после в купанье и отдыхе. Но лишь только раздался звон колокола на семинарской колокольне, как и в бурсе раздался басистый голос консула:

— Ребята! на работу!

Тотчас четыре философа, взяв на плеча по огромному мешку, стали поодаль один от другого. Консул, стоя против них, начал пальцем указывать то на того, то на другого из прочей ватаги, и вмиг к каждому мешконосцу присоединилось по нескольку риторов, поэтов и инфимов. Я попал под команду Сарвила, философа веселого, смелого, собою дородного и сильного, но весьма вспыльчивого, так что, кроме сенаторов, все в бурсе его трепетали. Отряды сии двинулись в молчании, и младшие шли впереди, за ними старшие, а ход заключался философом. Как скоро прошли мы свой пустырь, то разделились на четыре части, и каждая небольшая шайка сия пошла по особой улице. Мы шли тихо, а философ, наш вождь, мерными шагами и с великою важностию, повертывая голову направо и налево. По приказанию его мы остановились под окнами одного видного дома, и он, подозвав меня, сказал:

— Это дом зажиточного купца; поди спроси!

Опрометью устремился я к воротам, отворил калитку и вошел на большой двор. У самого входа в дом стоял большой стол, за коим сидели: хозяин, судя по платью, жена его и дети, и все полдничали. Сняв бриль, с робостию подошел я к столу и трепещущим голосом сказал хозяину:

— Тебя приказано спросить.

— О чем и кто?

— Философ Сарвил, а о чем — не знаю!

Купец и жена его улыбнулись, а дети захохотали.

— Твой философ,— сказал хозяин,— по-видимому, не весьма разумный человек, что посылает спросить у меня, не сказавши о чем. Где этот философ?

— За воротами!

— Так поди же ты спроси, чего он от меня хочет?

Я выбежал на улицу и на вопрос: «Что сказал хозяин?» — отвечал с потупленными глазами:

— Он сказал, что ты, по-видимому, не весьма разумный человек, когда послал меня спросить у него, не сказавши о чем.

Философ заскрыпел зубами.

— Ах ты, проклятый,— вскричал он и такую отвесил мне пощечину, что у меня глаза ушли под лоб и я опрокинулся на землю.

— Поди ты,— сказал он другому бурсаку,— и спроси.

Сей бросился как стрела, в один миг возвратился и воззвал громогласно: «Дозволяется!»

Скинув бремя, вступили мы на двор и стали полукругом около стола сажени за две. Тут раздался ужасный рев Сарвила, так что все вздрогнули, прочие ему подтянули, и начался духовный концерт. Я взглянул на своего вождя, и ужас обнял меня. Представь себе, кто хочет, высокого черного мужчину, с разинутою пастью, выпучившего страшные глаза и дерущего горло, шевеля длинными усами. Трепеща всем телом, я вообразил: что будет со мною, если сей ужасный философ даст другую пощечину? Я погиб невозвратно! Тут не мог я удержать слез и утирал их кулаками.

Концерт кончен. Сарвил, подошед к самим хозяевам, протянул руку и проговорил речь, которую кончил желанием хозяину и хозяйке с чадами и домочадцами счастия и многолетия. Едва замолк он, как вся ватага воскликнула многая лета.

Когда все утихло, то ласковый хозяин поднес философу большую чарку водки и сунул в руку сколько-то денег; по приказанию доброй хозяйки в наш мешок высыпана мерка гороха, впущена часть свинины и оставшийся от полдника большой кус жаркой говядины.

Когда философ низко кланялся хозяевам, призывая на дом их благословение божие, хозяйка, подозвав меня, спросила весьма ласково:

— О чем плачешь, мальчик?

— О том,— отвечал я, взглянув на Сарвила,— что не знал, зачем был сюда послан.

— Разве тебя за это побранили?

— Побили, и весьма больно!

— Это нехорошо,— сказала она Сарвилу,— и тебе бить такого мальчика даже стыдно.

После сего она, взяв со стола небольшой пирог, подала мне, сказав:

— Поешь, голубчик, и не плачь.

Мы торжественно отправились на улицу. В то мгновение, как услышал я стук запертой калитки, к величайшему удивлению почувствовал, что вишу на воздухе на аршин от земли и верчусь кругом; невидимая рука держала меня за пучок, и ловкий удар поразил по макуше. Я поднял такой пронзительный вопль, что демон, меня истязавший, опустил на землю и поставил на ноги. Едва я мог стоять. Вдруг слышу голос:

— Какой ты бессовестный студент, что так мучишь безвинного малого!

Это был голос ласкового купца.

— Постой,— продолжал он,— я сейчас иду к ректору и посмотрю, как он рассудит об этом поступке.

Философ переменился в лице и стоял неподвижно. Хотя для меня и ужасен был Сарвил и, конечно, не худо было бы, если б его порядком пощуняли, но имя ректора было для меня еще ужаснее. Посему я отведен был в бурсу и отдан консулу, коему объяснено бесчеловечие, оказанное мне моим полководцем. Консул обещал воздать удовлетворение и, по выходе доброго купца, лег на свой войлок и закурил трубку, не говоря мне ни слова и даже не глядя на меня.

По закате солнечном все четыре ватаги наши почти в одно время возвратились. Кисы их были довольно наполнены, и когда все осмотрено и деньги вручены консулу, то он отвел в угол Сарвила и начал с ним шептаться. По прошествии малого времени консул громко произнес:

— Не правда ли, братцы, что для перемены в пище не худо было бы на вечер сварить кашу тыквенную?

Все одобрили такое предложение. Тогда он возгласил:

— Неон, Памфил, Епифан и Аверкий залезут в ближний огород и будут рвать там тыквы и что попадется, ибо все устроено на потребу человека, а риторы, Максим и Лукьян, станут у забора с мешками для принятия добычи.

Когда смерклось, то будущие мои товарищи в сем ночном подвиге начали приготовляться, то есть скинули халаты и засучили рукава. Хотя для меня крайне было ново

и отвратительно такое художество, но что будешь делать? Я приготовился по их примеру, и все отправились на место атаки. Риторы, яко старшие, назначили каждому из нас место, где должно перелезть плетяной забор, и мы мигом очутились на огороде.

Случись же, что передо мной простирались гряды с арбузами, дынями и огурцами. Давненько не случалось мне отведывать плодов сих, и, рассчитав, что добычи трех моих сотрудников достаточно будет на всю нашу ученую шайку, я, в нескольких саженях от забора, севши на гряде, начал насыщаться огурцами, предположив, по окончании сей первой потребности, сорвать пару хороших арбузов и дынь и предаться с ними бегу. Когда огурцы уже более не шли мне в горло, то я, оторвав по преднамерению по паре арбузов и дынь, хотел встать; но не тут-то было: нога моя была прикована к земле. Ужас обнял меня, и я испустил резкий вопль. Товарищи мои как прах рассеялись, и из борозды, подле самых ног моих, поднялся преужасный мужичина с престрашными усами. Я оцепенел и сидел на гряде неподвижно.

— Как осмелился ты,— спросил он грозно,— молодой мошенник, залезть в огород сей и делать в нем такое опустошение? Кто ты?

Пришед понемногу в чувство, я встал, поклонился ему в ноги и рассказал все похождения, случившиеся в сей несчастный день до настоящей минуты.

— О, проклятые бурсаки! — вскричал он,— вы для огорода моего гибельнее, чем воробьи и грачи для вишневого сада! Но мне тебя жаль! Ты еще молод, может быть, рожден с честными склонностями, а попавши в скопище воров и мошенников, рано или поздно, непременно сделаешься нарядным плутом. Хотя я тебя и прощу, но все товарищи приколотят тебя до полусмерти. Постой, я нашел средство избавить тебя от беды; но только дай мне слово никогда не посещать моего огорода. Когда захочешь полакомиться арбузом или дынею, приди явно в дом мой — вот в конце огорода — и попроси: никогда не откажу. Если же еще поймаю на воровстве, то пребольно высеку, а в бурсе и того более тебе достанется. Поди перелезь через забор и жди меня, а я сорванные тобою арбузы и дыни передам тебе. Когда тебя спросят о причине произнесенного вопля, то скажи, что в ноге сделалась судорога, и ты, не могши встать, боялся быть пойман. Ступай с богом! Помни: имя мое Диомид, по прозванию Король.

Как сказано, так и сделано. Когда я подошел к берегу реки, то при свете разложенного огня увидел полный сенат, собранный для моего суждения. Приметив меня, все подняли смешанный вопль; но когда я подошел к огню ближе и консул усмотрел мою добычу, то радостно вскрикнул и спросил:

— Каким чудом вырвался ты из рук лукавого хозяина?

— Я никогда и пойман не был!

— Отчего же так горестно возопил, что все товарищи твои разбежались?

— Вольно им было разбежаться; а я вскрикнул от внезапной боли в ноге, в коей оказались судороги. По окончании оных я встал с своею добычею и счастливо переправился через забор. Я принес бы всякой всячины гораздо больше, но не в чем было, а в пазухе и в руках никак нельзя более.

— Верю,— отвечал ласково консул,— но и сего довольно. Вперед только будь осторожнее и пустяками не пугай товарищей.

После ужина все улеглись; но происшествия дня сего были для меня так диковинны, что голова кружилась, и я не мог заснуть гораздо за полночь.

Глава III

Неудачи

На другой день явился я в классе. Помня вчерашние Касторовы рассказы, что здесь бьют по рукам лопатками за излишнее внимание и прилежность, я решился избежать сей лестной награды и начал беспрестанно вертеться на скамейке, толкать товарищей, без нужды кашлять, чихать и делать всякие непотребства. Учитель только смотрел на меня, не говоря ни слова. Когда урочное время прошло, то он по-прежнему подозвал меня к себе, велел протянуть руки и разнять ладони; после чего влепил в каждую по дюжине уже ударов лопаткою. По пропетии молитвы все разошлись по своим местам.

— Что за диковинная вещь! — говорил я со слезами, потирая горящие ладони,— за прилежание бьют и за леность бьют! Видно, товарищ мой Кастор сам ничего не знает. Нечего уже у него более и спрашивать, кроме разве о уставах бурсы.

Точно так прошли остальные три дни в неделе; но как я — сколько малолетен ни был — догадался, что если уже необходимо должно мне быть биту, то пусть лучше бьют за прилежание и успехи, нежели за леность и невежество: почему знать, думал я, может быть, за это скоро удостоен буду в диаконы!

На сем основании я сделался столько прилежен, внимателен, рачителен ко всему, преподаваемому в классе, что не мог бы уже увеличить сих качеств, хотя бы отбили лопатками обе руки по самые локти; но, к великому моему удивлению и горести, удары каждый день увеличивались, так что к субботе ладони мои распухли, как подушки. В сей роковой день, по окончании классного учения, двое сторожей внесли скамейку и поставили посередине комнаты, двое явились с пуками лоз. По мановению наставника они схватили меня, разложили на скамье и начали оказывать удальство свое. Нет! это уже не крапивные удары в бурсе!

Разумеется, что я вопиял сколько сил доставало, призывал всех святых во свидетели своей невинности; тщетно: удары сыпались градом, и вскоре я не мог уже кричать. Истязание прекращено, я снят со скамьи и одетый подведен к наставнику; но как не мог держаться на ногах, то два сторожа меня поддерживали. По данному знаку все школьники удалились, и тогда учитель взглянул на меня с милостивою улыбкою, произнеся:

— Я тобою весьма доволен, Неон Хлопотинский! Ты учился весьма прилежно, вел себя скромно и в течение всей седьмицы доказал примерное терпение и послушание,— добродетели, необходимые для всякого человека, грядущего в мир, а особливо для готовящего себя в духовное звание. Сей день есть последний день твоего испытания. Продолжай учиться с возможным рачением, веди себя скромно и честно, повинуйся установленным над тобою властям, и ты будешь счастлив. Я уже наказал твоему консулу, чтобы он имел особенное за тобою наблюдение. Вот тебе злотый [1]. Употреби его на сродные летам твоим лакомства. Я буду иметь особенное к счастию твоему внимание. Прощай и иди с миром.

Я поцеловал руку сего пастыря, встал, вышел и в один миг выбежал за монастырские ворота. Вертясь на незабвенной скамейке, я думал, что нескоро в силах буду

[1] 20 копеек серебром, польская монета.

и ползать, а теперь сделался столь тверд на ногах и крепок во всем теле, что мог скакать, как жеребенок. На рынке купил я две булки — одну для себя, а другую для Кастора, ибо в продолжение целой недели он более всех оказывал мне доброхотства.

С сего самого времени консул Далмат и сенаторы обходились со мною милостивее противу прежнего. Учение, отдыхи, пение по дворам и под окнами — все шло наилучшим образом. Когда моим начальникам приходило в голову полакомиться арбузами или дынями с огорода нашего соседа и я назначаем был в числе прочих рыцарей к сему завоеванию, то всегда отговаривался неудачею первой попытки, происшедшей от судорог в ногах. Казалось, они довольны были моими причинами. Однако же, помня благодеяние, оказанное мне Диомидом, я жалел о убытках, какие причиняли ему мои товарищи, и решился быть благодарным.

В скором после сего времени, когда уличные певчие должны были отправиться на работу, я объявил консулу, что чувствую боль в горле и не могу участвовать в общеполезном деле, почему просил позволения проходиться по городу. Получив оное, я с осторожностию дошел до дома Королева и вошел на двор. Первый предмет, представившийся глазам моим, был молодой парень, занимавшийся чем-то в открытом сарае, наполненном огородными орудиями и самыми плодами.

— Что тебе надобно, мальчик? — спросил он.

— Я хочу видеть хозяина!

— Ему недосуг — он спит, дабы не спать ночью. Пора за ум взяться!

— Однако ж ты должен разбудить его, и он скажет тебе спасибо!

— Да ты можешь и мне все сказать.

— Никак нельзя!

— Хорошо; пойдем же вместе. Если он меня выбранит, то я порядком намну тебе чуб.

Дом Короля был довольно просторен; он разделялся на две половины сенями. По одну сторону была кухня с перегородкою для работника или работницы, по другую — светелка, также с перегородкою. В сей-то половине отдыхал Король, и работник разбудил его. Хозяин вышел, и я, поклонясь ему в пояс, сказал:

— Знаешь ли ты меня?

— Нет!

— Я тот маленький вор, которому некогда оказал ты столько милосердия, отпустив с двумя арбузами и столькими ж дынями.

— Помню, помню,— сказал Диомид весело,— я обещался тебя потчевать, только бы ты не крал. Кузьма! принеси из сарая хорошую дыню!

Кузьма удалился.

— Нет, Диомид,— говорил я,— не с тем пришел к тебе, чтоб лакомиться, а попросить у тебя совета. Всякий раз, когда бурсаки делают заговор опустошать огород твой, я бываю сего свидетелем. Мне больно слушать, как они условливаются обижать такого доброго человека; но как помочь тому? Как я могу тебя о том предуведомить? Вот зачем я пришел к тебе.

— Ты — добрый малый,— сказал Король, осмотрев меня внимательно.— Как твое имя и чей сын?

Узнав и то и другое, сказал:

— Я знаю Варуха, ибо иногда случалось мне бывать в селе Хлопотах, и я не мог надивиться его громогласию. Послушай же! Когда пожелаешь уведомить меня о злоумышлении против огорода, то возьми камешков по числу заговорщиков, подойди по берегу Десны к углу плетня и старайся ударить ими в стену дома; тогда я сейчас возьму свои меры.

Между тем принесена дыня и съедена.

— Я дал бы тебе на дорогу и две,— сказал Король,— да боюсь, чтоб твои товарищи не возымели подозрения.

— У меня есть свои деньги,— сказал я с простосердечием,— и они о том знают.

— Хорошо,— молвил Диомид,— пойдем же, ты получишь обещанное.

Получив две большие спелые дыни, окольными улицами пришел я в бурсу и одну из них подарил консулу. Приняв сей дар с улыбкою, он спросил:

— Где ты взял такие прекрасные дыни?

— Ты знаешь,— отвечал я,— что у меня есть собственные деньги и что на рынке всего довольно.

Когда возвратились певчие и открыли свои сумы, то в числе прочей провизии было несколько арбузов и дынь, но очень малых и незрелых. Консул, с торжеством показывая свою дыню, спросил:

— Какова?

— Хороша; но где ты взял?

— Мне подарил Неон.

— А он где взял?

— Купил на рынке.

— Так купил же! Если нам покупать дыни и арбузы, то от нашей бурсы панье Мастридии ни копейки в год не достанется!

— Но что нам мешает,— воскликнул сенатор Сарвил,— не платя денег, иметь такие же хорошие дыни? Разве огород не под боком? Клянусь, что в эту же ночь после ужина я иду сам на охоту; кто со мною?

— Я, я, я! — отвечали в один голос сенаторы Софрон, Мигдон и Никанор.

В короткое время присоединились к ним два ликтора: Маркелл и Макар. Все они были люди взрослые и дородные. Беда огороду Королеву!

Когда настали сумерки и очередные братия стали на берегу Десны варить похлебку, а прочие занимались чем кто хотел, я собрал шесть камушков, закрался на угол огорода и все удачно перекинул к дому Короля. Вмешавшись потом в толпу собеседников, я нашел, что уже принесена была баклага с вином для придания бодрости будущим собирателям пошлин, и хотя, по закону бурсы, риторы не имели права прикасаться к оной, но на сей раз сделано исключение, и обрекшие себя на подвиг были сопричислены к сонму избранных.

Полночь наступила. Шесть дынеграбителей, скинув сертуки (ибо, по званию философов и риторов, им предосудительно уже ходить в халатах), отправились к своему делу, а человек десять, в числе коих был и я, любопытствуя знать, что из сего будет, с мешками подошли к забору в разных местах, означенных самим консулом, который в таком важном случае быть свидетелем почитал за долг и удовольствие.

Находящиеся в огороде сначала рассыпались в разные стороны. При свете луны видно было каждое их движение. Они терзали растения, коренья и что им ни попадалось. Наконец, обремененные добычею, соединились и в порядке шли к забору. Вдруг, саженях в пяти от оного, как грибы из земли, человек с двадцать и более возникли с рогатинами, палашами и окружили онемевших философов и риторов.

— Сдавайтесь! — вскричал грозным голосом Король, взмахнув над головами их саблею,— иначе вы погибли.

Храбрые бурсаки затрепетали; из рук их покатились тыквы, арбузы, дыни; посыпались огурцы, морковь, свекла

и репа. Каждого из них взяли под руки и повели к хате Королевой; оставшиеся без дела караульные забирали в полы платьев своих оброненные овощи. Они все скоро скрылись, и всеобщая тишина водворилась.

Консул Далмат, скрежеща зубами и кусая губы, тихими шагами приближался к бурсе; мы все в глубоком молчании за ним следовали. Двери были заперты накрепко; на печку поставлен ночник, чего по летнему времени доселе не случалось. Нам, то есть остальным риторам, поэтам и низшим, повелено занять свои места на лавках, а консул с несколькими сенаторами держал тайный совет в другом углу храмины. В чем состоял совет сей и чем кончился — мне неизвестно; ибо я, радуясь, что храброму философу Сарвилу за данную мне пощечину и поднятие за пучок на воздух изрядно отплачено будет, спокойно растянулся на своем соломенном ложе.

Глава IV

Безначалие

И действительно. При собрании всей семинарии и бурсы наши философы и риторы добрым порядком были истязаны. Консул поведен был к ректору, и приметно было, что ему за слабое смотрение и потворство не менее досталось, но только келейно. В бурсе водворилось глубокое уныние, и наши уличные певчие целую неделю не смели показаться на улице, опасаясь насмешек от семинаристов, с которыми была у нас непримиримая вражда. Мы оскудели в жизненных припасах, и ропот обнаружился; да сего и ожидать должно было, ибо с голодом труднее ладить, чем с чертом. За что в такой беде приняться?

Консул собрал сенат, дабы поразмыслить о сем деле. Они все были люди неглупые и потому рассудили, что приняться по-прежнему за пение под окнами и сказывание речей гораздо безопаснее, чем лазить по ночам в чужие огороды. Вследствие сего определения в начале другой недели после истязания наших охотников до лакомства раздались по-прежнему завывания наши на городских стогнах, и недостаток в припасах прекратился. Дела восприяли обыкновенный ход; успехи мои в учении день ото дня увеличивались, а с сим вместе и любовь ко мне учителя возрастала. Время от времени он делал мне неболь-

шие подарки, чему мои товарищи немало завидовали. Так прошло блестящее лето, и наступила благословенная осень.

Говорит же пословица: *горбатого исправит одна могила*. И это справедливо: не Сарвилу ли философу досталось за разорение огорода Королева, однако ж с прошествием нескольких месяцев все забыто. В один вечер перед ужином, когда мы в ожидании оного на берегу Десны куролесили различным образом, Сарвил, возвыся голос, сказал:

— Друзья мои! после осени настанет зима, и запас нужен. В сале и пшене, конечно, недостатка не будет, если мы все не онемеем, но не мешало бы позапастись кое-чем и другим. Обходя не один раз около ограды женского монастыря, я заметил великое множество груш и яблонь, обремененных спелыми плодами; ветви касаются земли. Что, если мы похлопочем несколько четвериков насушить на зиму, а?

— Конечно, весьма бы не худо,— сказал протяжно консул,— но кто возьмется за сие дело?

— Я заметил,— продолжал Сарвил,— что из всей нашей братии нет такого удалого молодца лазить по заборам и деревьям, как Неон Хлопотинский. Это не малый, а сокровище в подобных случаях. Мы с ним отправимся. Я помогу ему перелезть ограду, через которую, впрочем, и борзая собака перескочить может. Он нарвет яблоков и груш целый мешок, который возьмет с собою, передаст ко мне посредством веревки, которую опущу к нему, а после и его вытащу. Не обдуманно ли мое предприятие?

Мне крайне страшно было отваживаться на такое дело; я возражал сильно; но никак не мог противостать красноречивым доводам моего философа. Мне представилась мысль, что не проведал ли он хитрости моей, которая доставила ему изрядные побои, и не хочет ли теперь отомстить; но как сказать о сем явно? Не значило ль бы это себя обнаружить? Ничего не оставалось, как только повиноваться!

Около полуночи прибыли мы к стенам монастырским, окружающим садовую сторону. Светлый месяц катился по голубому небу; глубокая тишина царствовала по всем окрестностям. С помощию Сарвила спустился я в сад и начал щипать яблоню в данную мне торбу [1]. Как скоро она была полна, то я, посредством сказанной веревки отправив ее к Сарвилу, ожидал, что он опять спустит ее, дабы

[1] Небольшой мешок.

вытащить меня; вместо сего он бросил мне назад пустую торбу и сказал:

— Теперь нарви дуль и посылай ко мне.

Хотя неохотно, но должен был исполнить требуемое. Кинув опять ее пустою, он сказал:

— Ты знаешь, что у меня довольно большой мешок, и две твои торбы не составляют половины: по крайней мере надобно еще две. Набери теперь яблоков, а после того опять наберешь дуль.

Я крайне рассердился, видя, что он так забавляется мною, а может быть, умышляет что-нибудь и худшее. Сейчас родилась во мне мысль о мщении. Подошед к стене, я сказал:

— На низких ветвях я более не нахожу уже ни дуль, ни яблоков, а до верхних без помощи других не могу добраться. Спустись, пожалуй, в сад и пособи мне взобраться на вышние ветви.

После небольшого молчания я увидел, что мой философ перекинул веревку и по ней немедленно спустился.

— Где же ты?

— Здесь!

Когда он пробирался на голос и был уже саженях в трех от стены, я стороною на цыпочках добежал до веревки, взобрался на стену как кошка и лестницу сию подобрал к себе.

— Где же ты?

— Здесь!

— Кой черт,— сказал во гневе Сарвил, приближаясь к стене,— где ты?

— На стене!

— Сейчас спусти веревку, или я тебя...

— Нет,— сказал я с видом добросердечия,— я набрал торбу яблоков и торбу дуль; так справедливость требует, чтобы и ты потрудился набрать хотя одну, а после вылезешь по веревке.

— Постой же, бездельник,— проворчал он,— дай мне до тебя добраться; чуб твой не чуб и пучок не пучок!

Едва произнес он последние слова, как невдалеке послышался говор людской, ближе и ближе к нам подававшийся. Сарвил, подобно рыси, вскочил на вершину яблонного дерева, а я притаился за один из зубцов, коими украшена была вся монастырская ограда.

В скором времени, при полном сиянии месяца, увидел я ужасного дьявола, с хвостом и с рогами, тащившего под

руку женщину в одной рубашке, с распущенными волосами, из чего заключил я, что она ведьма. Колени у меня задрожали и пучок поднялся дыбом. Я стиснул зубы и крепко уцепился за стенной зубец.

— Нет сил более, любезный Леонид,— говорила слабым голосом ведьма, подошед под яблоню, на коей скрывался Сарвил, вероятно, не в лучшем положении, как и я на стене.— Просидев в монастырском заточении более двух лет,— продолжала ведьма,— я ослабела и не могу идти далее!

— Любезная Евгения! — сказал страстным голосом черт,— съешь хотя одно яблоко с сего дерева, и оно подкрепит твои силы.

При сем, сорвав пару яблоков и подавая ведьме, говорил:

— До угла сей ограды несколько шагов; там стоит моя бричка. В двадцати верстах отсюда нашел я место, по-видимому, сделанное для нас нарочно и природою и искусством; там назначил я дом для себя и поселил с десяток совершенно преданных мне челядинцев. Жилище сие укроет нас от несправедливого гонения отца твоего. Там будем мы прославлять благость провидения, любить друг друга и делать ближним столько добра, сколько можем.

— Так, друг мой,— сказала ведьма, обнимая черта с нежностию,— как скоро я теперь тебя вижу, держу в своих объятиях, то почла бы себя благополучною, если б жестокая потеря сына не терзала меня беспрестанно. Ах, Неон, Неон! (При произношении ведьмою сего имени я вновь задрожал, и пучок целым градусом поднялся выше.) Что, дражайший друг! ты ничего о нем не проведал?

— Почти ничего,— отвечал демон с тяжким вздохом,— а что и узнал, то служит только к большей горести. Беспутной вдовы-попадьи, попечению коей вверили мы новорожденного, уже нет на свете, а перед смертию она призналась на духу, что из корыстолюбия повергла дитя наше на распутье и о последствиях ничего не знает.

Ведьма, слушая сии слова, вероятно, тихонько плакала, ибо я приметил, что она, склонясь на грудь дьявола, утирала рукавом глаза. После сего злой дух взял ее в охапку и понес к углу ограды. Не понимаю, каким образом они вдруг очутились на верху стены — да и чего не может сделать сила нечистая? — и я вскоре услышал топот лошадей и стук колес.

У меня отлегло на сердце, колена перестали дрожать и пучок улегся по-прежнему. Осмотревшись кругом, я увидел, что Сарвил, наклав вне ограды кучу разного дрязгу, легко мог взмоститься на стену, и, утвердив за зубец веревку, спуститься по ней в сад. Если и теперь спустить ее, то он, конечно, сейчас взберется наверх и, будучи в сердцах и в испуге, исполнит с лихвою обещание, и пучку моему быть оторвану с корнем; будучи же высок, а притом в саду довольно найдет способов избавиться от хлопот, взобравшись на ограду и спустясь наниз по веревке.

После сего краткого рассуждения я спустился наниз, взвалил на плеча мешок и бросился бежать со всех ног. В бурсе все спали. Съев вдоволь принесенных мною плодов, я уложил мешок под лавку и лег опочить от толиких ночных трудов, размышляя попеременно о черте, ведьме и Сарвиле.

Уже было довольно не рано, но я находился в глубоком сне, как разбужен был ужасным смятением, происшедшим в бурсе. Продираю глаза и вижу монастырского слугу, пришедшего звать или, лучше сказать, вести консула Далмата к ректору. Консул недоумевал, что бы за причина была такой ранней повестки. Проходя мимо меня и видя под лавкою знакомый ему мешок, спросил со смущением:

— А где Сарвил?

— Не знаю! я оставил его в саду монастырском.

— Ну, беда неминучая,— сказал консул со вздохом,— верно, он захвачен и представлен ректору. Но что принудило вас разлучиться? ты здесь, а его нет!

— Нас разлучили дьявол Леонид и ведьма Евгения. Они, видно, меня увидели, что называли даже по имени. Я испугался и бросился лететь; а что сталось с Сарвилом — мне неизвестно.

Консул отправился к ректору, а мы все в классы.

Возвратившись в бурсу, мы немало опечалены были, не нашед консула.

— Что будем есть? — сказали мы все в один голос; ибо известно, что ключ от кладовой всегда у него хранился. Сейчас собрался сенат и единогласным решением определил отбить замок и, взяв сколько нужно припасов, приготовить обед. Определение произведено было в действие. Но тут-то увидел я, что значит временное правление вельмож без настоящего правителя. В котел сверх обыкновенной порции свиного сала впущена добрая часть баранины, и один из философов предложил, что из большого

куска телятины, который бережен был к праздничному дню, сумеет сделать хорошее жаркое, что также было принято. Третий представил, что наличной общей суммы столько, что если вынуть из оной потребное количество на покупку целой баклаги пеннику, то еще довольно останется. Сие предложение одобрено единогласно и с восклицаниями. Такого пиршества давно в бурсе не бывало.

Глава V

Геройские подвиги

К ночи возвратился консул Далмат пасмурен, как ненастная ночь осенняя. Он ни с кем не говорил ни слова и растянулся на своем войлоке, стеная и охая. Я сам был в сильном смятении, страшась, не оговорил ли и меня Сарвил; ибо я точно был уверен, что консулу досталось по сему делу. Следующий день был праздничный, и я прямо из церкви побежал к Королю. Вошед в комнату, немало подивился я и оторопел, нашед хозяина в синей черкеске[1] тонкого сукна с двойными рукавами, обложенной по швам серебряным снурком; он препоясан был пребольшою саблею.

— Чему ты так удивляешься, Неон? — спросил он с улыбкою, закручивая большие усы.— Знай, друг мой: было время, что и я в малороссийском войске нечто значил. А что теперь видишь меня огородником, так это моя добрая воля. О, если бы от огорода зависело мое содержание, поверь, бурсакам не удалось бы поживиться ни одним огурчиком. Кстати! нет ли чего нового в бурсе?

— Ах! — отвечал я с тяжким вздохом,— много, очень много нового, и притом худого.

— Расскажи-ка!

Я чистосердечно поведал ему о ночном походе в сад монастырский, о видении дьявола Леонида и ведьмы Евгении, об участи сенатора Сарвила и положении консула Далмата. Король задумался и погодя спросил:

— Каковы ж показались тебе дьявол и ведьма?

— Ах! — отвечал я перекрестясь,— мог ли я смотреть на них без ужаса? Я стоял на ограде, держась за зубец, зажмуря глаза и трепеща всем телом. Но как ушей

[1] Верхнее платье, которое носят достаточные люди.

заткнуть было мне нечем и я слышал весь разговор нечистой силы, то и могу пересказать тебе его до слова.

Во время моего рассказа Король ходил по комнате большими шагами, ломал пальцы и после, остановясь, ударил себя кулаком по лбу, схватился за чуб и вскричал:

— Так! не будь я Диомид Король, если это не они! Но зачем таиться перед людьми, которые для их удовольствия всем пожертвовали?

Он продолжал шагать, повторяя время от времени:

— Да! это они! Подожду! Нельзя статься, чтоб мое местопребывание надолго им неизвестно было!

Успокоясь несколько, он спросил:

— Итак, тебе ничего неизвестно, что сталось с Сарвилом?

— Ничего!

— Ну, ин я скажу о сем, ибо очевидным был свидетелем последней награды, сделанной главному губителю садов и огородов. Всякое утро имею я обычай относить к настоятелю здешней обители и вместе ректору семинарии Герасиму корзину с произведениями моего огорода. Сей достойный духовный столько прост и кроток, хотя весьма учен и умен, что дозволяет мне вход во всякое время, если бы даже был он в своей опочивальне. Вчера поутру, когда я принес к нему корзину с арбузами, дынями и коечем другим, то, вошед в большую приемную комнату, немало подивился, увидя, что ректор, префект, келарь, игуменья, диаконша, несколько монахов и монахинь сидели в полукружии. Посредине стоял Сарвил со связанными назади руками. Служители обоих монастырей находились позади его. Поодаль с поникшей головою стоял ваш консул Далмат. Начался допрос по форме и продолжался немалое время; потом осудили Сарвила на изгнание.

Таким образом среди всегдашней бедности и временного довольства, среди ученья и шалостей протекли восемь лет. Я оканчивал уже курс философии, а потому, пользуясь неупустительно правами философа, и я пил вино, курил табак и носил усы. Много перебывало у нас консулов, и в последнее время друг юности моей, Кастор, нес на себе сие великое звание. Отец мой, честный дьячок Варух, посещал меня не часто, но зато всякий раз щедро награждал благословениями и советами. У друга его дьячка Варула и последний глаз закрылся навеки. Я весьма нередко, можно даже сказать, весьма часто посещал честного Короля и день ото дня находил в нем более достоинств. Бывали

случаи, что он, забывшись, обнаруживал свою ученость, которая при его опытности гораздо мою превосходила; но он скоро опомнивался, и я никак не мог дознаться, кто он подлинно, ибо не хотел верить, чтоб простой казак полка гетманского, как он о себе сказывал, мог разуметь философию и говорить так логически. «И то правда,— думал я иногда,— может быть, и он такой же бурсак, как Сарвил, о коем мы со дня изгнания из семинарии ничего уже не слыхали».

В сие время начали колебаться умы от политической заразы. Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах, в шинках и в классах семинарии, что гетман принял твердое намерение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому. Такие слухи более и более усиливались и доводили поляков до неистовства. Старый киевский воевода принял деятельнейшие меры воспротивиться таковому предприятию гетмана, низложить оное и еще более поработить Малороссию. Гетман тайно начал готовить войска.

В сем положении были дела народные, и всякий, кто только имел какую-нибудь собственность, принимал в них живейшее участие. Последний казак, у коего ничего не было, кроме плохой свиты и сабли, с презрением смотрел на нарядного поляка, и в шинках нередко доходило до поволочек. В одной блаженной бурсе господствовали прежние свобода и спокойствие. Мы, по заведенному порядку, пели под окнами, а иногда и проворили, но гораздо реже, чем прежде, и с того времени, как начал я подрастать, огород Короля сделался неприкосновенным; зато добрый старик время от времени добровольно наделял нас нужными огородными овощами.

В один зимний день, когда я возвратился только из классов в бурсу, нашел уже в ней Вакха, пастуха из селения Хлопот. Он тотчас повестил, что отец мой при смерти болен и желает меня видеть. Я всполошился и не знал, что делать. Как в трескучие морозы пуститься в поле в одной рубахе и легком байковом сертуке? Оставить же отца умирать, его не видя, казалось для меня делом безбожным, а между тем и мысль,— признаюсь в грехе,— что по смерти его должно же что-нибудь остаться, а это что-нибудь для человека, у которого нет ничего, много значит, и что сего остающегося я наследником, побуждала меня к походу.

— От чего же так скоропостижно захворал отец мой? — спросил я у Вакха, грея руки у печки.

— Подлинно скоропостижно,— отвечал пастух,— ибо без несчастного случая он мог бы прожить еще очень долго.

— Случая? — вскричал я,— случай, или судьба, или что мы, ученые, называем fatum turcicum[1].

— Провались ты с твоею латынью,— сказал сурово Вакх,— идешь ли ты к умирающему отцу или нет? Теперь не лето; если запоздаем, то достанемся на ужин какому-нибудь голодному волку.

— Погоди немного,— сказал я и бросился к Королю.

Когда я рассказал добродушному человеку о своем затруднении, как середи зимы пуститься в дальнюю дорогу в летней одежде, он принял важный вид, сел на лавку и сказал:

— Спасибо, Неон, за чистосердечие. Открывать о нуждах своих людям неизвестным и глупо, и вредно, и именно оттого глупо, что вредно; но скрывать оные от человека, известного нам по своему доброхотству, из одного ложного стыда, также неразумно, потому что такая скрытность может довести до края пропасти. Так, друг мой, ты должен видеться с отцом своим до его кончины. Спеши взять от префекта увольнение и возвращайся ко мне.

Увольнение мое заключалось в нескольких словах: «Ступай с богом, да напрасно не трать времени!», и я в тот же час возвратился к Королю. Он облачил меня в овчинный тулуп, надел такую же шапку и, дав в одну руку два злотых, а в другую вместо палки рогатину, благословил в путь. Мы с Вакхом были догадливы. По пути зашли к шинкарке, а после, запасшись несколькими булками, пустились в дорогу. Не прежде как булки были съедены — так-то физика берет верх над метафизикою,— спросил я с воздыханием у Вакха:

— В чем же заключается тот несчастный casus, который преждевременно доводит отца моего до вод Стигийских?

Вакх молчал.

— Каким определением рока,— продолжал я спрашивать,— отец мой должен последовать сыну Маину, который передаст его с рук на руки угрюмому *Харону?*

[1] Судьба, рок *(лат.)*.

Вакх продолжал хранить молчание.

— Естественные ли силы или сверхъестественные,— возвыся голос, спросил я,— указывают отцу моему берега реки Леты, из коей, испив воды, он навеки забудет и свое дьячество, и сына Неона, и крилос, и колокольню?

Вакх, не взглянув даже на меня, продолжал путь. Такой стоицизм вывел меня из терпения, и я спросил отрывисто:

— Скажи, пожалуй, отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?

— Давно бы так, глупый человек! — отвечал Вакх,— зачем тебе говорить чертовщину, которой я благодаря бога совсем не понимаю! Как скоро же теперь понял, то и удовлетворю справедливому твоему желанию. Знай: в минувший праздник угодника Николая отец твой Варух несколько не остерегся и позабрал в голову лишнее. Когда пономарь начал благовестить к вечерням, он мигом очутился на колокольне, стал подле звонаря и так завопил, что и действительно голос его был слышнее, чем звон колокола. Звонарь, у которого голова была в не меньшем коловращении, как и у Варуха, крайне сим оскорбился. «Любезный собрат,— сказал он с приметным негодованием,— не годилось бы, кажется, нам друг над другом кощунствовать. Это явный соблазн и огорчение всем прихожанам, которые не могут не досадовать, что звон колокола, от щедрости их повешенного, гораздо слабее голоса охмелевшего дьячка Варуха». Отец твой, вместо того чтобы послушаться благого напоминания, вознесся гордостию сатанинскою и так заревел на разные гласы, что и трезвону слышно не было. «О! — вскричал звонарь, воспалясь гневом,— ты, видно, забыл, что не на крилосе? Ступай же туда и горлань, хоть лопни, а мне здесь сам батька не указчик!» С сим словом он стукнул Варуха по затылку и так небережно, что бедняк полетел с лестницы вниз головою.

Лестница — ты знаешь — крута и высока; суди же, чего стоило несчастному Варуху достичь до последней ступени. Кровь лилась из него ручьем. Звонарь — человек не злой — первый поднял вопль, бросился к Варуху и нашел его без чувств. На крик сбежалось множество прихожан, шедших к вечерням, и пораженный отнесен домой. Тотчас призван был знахарь, осмотрел поврежденные части и нашел, что у него левая рука переломлена, правая нога вывихнута, а на голове три неисцельные язвы довершали опасность. Нашептывания и примочки имели свою силу.

Варух опомнился, равнодушно выслушал о своем сомнительном состоянии и, призвав меня, просил сходить за тобою.

— Вот какова жизнь человеческая,— примолвил Вакх со вздохом,— живи, живи, да и умри! Что, господин студент, не поворотить ли нам направо по этой утоптанной дорожке?

— А куда ведет она?

— Разве не видишь там, подле лесу, большой хаты? Это шинок, и в нем всегда можно найти преизрядное вино. Если ты, по примеру всех бурсаков, путешествуешь без лишней копейки и от подати, заплаченной Мастридии, ничего не осталось, так пастухи в сем случае догадливее. Пойдем-ка!

Мы своротили с дороги, подкрепили силы и пустились далее. Чтоб доказать Вакху, что бурсаки не все одинаковы, я оставил в шинке половину злотого. В глубокие сумерки дошли мы до хаты Варуховой, которой не видал я целые восемь лет. Сердце мое билось сильно. С каким восхищением переступил бы я порог родительского жилища, если бы мысль, что прежде всего встречу умирающего хозяина, не разливала трепета во всем моем составе! Однако я призвал на помощь тени Сократа, Катона и Сенеки, сих мучеников древности, ополчился философиею, вошел в избу и упал на колени перед болезненным одром отца моего. Варух умилился, протянул ко мне правую руку, обнял с нежностию и, приказав сесть у ног своих, сказал присутствовавшему пастуху:

— Добрый Вакх! поди на кухню и вместе с старым батраком моим приготовьте сытный ужин. К вам придет также и пользующий меня знахарь. Не забудь припасти хорошую меру пеннику. Хочу, чтоб всего довольно было. Надобно, чтоб эта ночь, которая, может быть, есть последняя в моей жизни, проведена была сколько можно веселее. Дни прошедшие, о коих имел я время размыслить теперь обстоятельнее, текли не очень хорошо, не очень худо, и за то да будет препрославлено имя господне!

Вакх с приметным удовольствием оставил нас одних, дабы с батраком заняться делом полезнейшим, чем слушание последних слов дьячка Варуха. Когда старик увидел, что мы одни, то, помолчав несколько, начал говорить:

— Сколько я могу припомнить, то дед мой и отец были такие же дьячки, как и я, и при сей же самой церкви. В тридцать лет я женился и скоро овдовел,— да будет

хвала милосердому богу! — ибо супружница моя и образом и нравом уподоблялась сатанинской дщери. По смерти родителя я поставлен дьячком.

В одну летнюю светлую ночь, возвращаясь из города в великой задумчивости, вдруг выведен был из оной воплем младенца. Озираюсь кругом и вижу подле дороги, несколько в стороне, прекрасную корзинку, прикрытую алым шелковым покрывалом. Подбегаю, срываю покров, и глазам моим представился мальчик примерно шести или семи недель. Ничего не думая, взял я корзину под мышку и полетел домой. По прибытии тотчас вручил я дитя своей матери, еще здравствовавшей, чтобы она делала с ним, что знает. На шее у младенца на шелковом снурке висели два золотые кольца, в середине коих по ободкам вырезаны незнакомые буквы. Под подушкой в корзине нашел я записку, не знаю, на латинском или на польском языке, и более ничего, что бы могло обнаруживать о происхождении младенца. Тогдашний священник в селе Хлопотах был великий грамотей. Поутру я бросился к нему с кольцами и запискою. Объявив вчерашнее происшествие, показал я принесенные вещи и просил объяснения. Осмотрев оные внимательно, он сказал: «Из букв, на кольцах вырезанных, ничего заключить не могу, и они должны быть заглавные имен родителей дитяти; записка же гласит, что новорожденный есть законный сын, что крещен в греко-российской церкви и что имя ему — Неон». Так, любезный друг, ты не сын мой, а только приемыш.

Я остолбенел от удивления. Разные мысли быстро клубились в голове моей. Я взглянул на болящего Варуха, и слезы горести полились по лицу моему. С непритворным сетованием облобызал я руки его и сказал:

— Клянусь угодником божиим Николаем, что всегда буду чтить и любить тебя, как отца родного, дал бы бог только тебе оправиться. Зачем буду я заботиться о тех, кои, дав мне жизнь, чрез целые двадцать лет не заботились узнать, существую ли я на свете? Ты сделал для меня более, чем они: ты призрел чужое дитя, поверженное на распутии на произвол случая; ты вскормил оное и воспитал по возможности. Я останусь благодарен тебе до гроба!

— И я благодарю бога,— сказал тронутый Варух,— что он даровал тебе благодарное, следственно, доброе сердце. Это дороже всей твоей философии. Однако, Неон, долг, налагаемый на тебя самим богом, обязывает не оставлять случаев отыскать своих родителей. Почему знать? Может

быть, они в таком стесненном положении, что имеют нужду в твоей помощи. Ах! ты еще не испытал, как сладостно сделаться полезным для своих родителей! Хотя они тебя и кинули при самом, так сказать, твоем рождении, но знаем ли мы тому причину? Может быть, это сделано для того, чтобы спасти тебя! Да и какой отец, особливо какая мать, без ужасного насилия своему сердцу может отлучить из объятий своих плод любви супружеской? Так, Неон, выздоровлю ли я или умру, но ты должен отыскать своих родителей, и кажется, что начальные буквы имен, на кольцах вырезанные, и записка о твоем крещении подают в сем некоторое облегчение. Там, под образами, лежит маленькая сумка, в которой хранятся кольца и записка. Возьми ее и повесь на шею на том самом снурке, на коем висели кольца, когда я нашел тебя.

Я исполнил его волю: снял сумку и открыл ее. На одном кольце стояло: «L — d 1679», на другом — «E — a» и тот же год. В записке на латинском языке сказано: «В мае месяце 1679 г. Крещен по правилам греко-российской церкви, законный сын дворянина L — d и дворянской дочери E — a, причем наречен Неоном».

Когда я повесил сумку на шею, то вошедший Вакх повестил, что ужин готов и что знахарь сидит уже за столом.

— Подите, друзья мои,— сказал томным голосом Варух,— ешьте, пейте и веселитесь, от того и мне будет легче.

Завещание сие исполнено было с великою точностью. Мы бражничали до вторых петухов, а тут, вздумав успокоиться, зашли все проведать о немощном. Варух уже оледенел. Надобно думать, что он скончался в самую полночь. Сон убежал от глаз наших, и мы подняли такой вопль, что немедленно вся изба наполнилась любопытными.

Глава VI

Сирота

Я плакал горько и нелицемерно.

— Не плачь, Неон,— говорил тут же бывший дьякон,— Варух оставил тебя не ребенком, и ты уже сам собою можешь промышлять хлеб. Ты, наверное, заступишь его место и счастливо проведешь жизнь свою под сенью сего мирного крова. Ах! когда б знал ты, как завидна участь сельского дьячка! Дело другое быть диаконом. Проклятая

разница! Сколько надобно учить наизусть! А дьячок? Читай и пой себе по книге, вот и все тут!

— Покойник не так думал,— отвечал я и помогал опрятывать тело.

На другой день оно опущено в могилу, и при сем случае, с дозволения священника, я говорил речь, сочиненную по всем правилам риторики.

По окончании похорон и поминок я начал думать о дальнейшей судьбе своей. Священное сословие немало подивилось, услыша, что я решительно отрекаюсь занять прелестную должность отца моего.

— Что такое, господин бурсак,— сказал дьякон с язвительною улыбкою,— уж не норовишь ли ты где-нибудь в селе попасть во дьяконы?

— Ниже в попы,— отвечал я с обидным телодвижением и взором на священника.

— Ба-ба! — сказал праведный отец,— не далеко ли, свет, заезжаешь? Такая спесь должна найти на себя узду!

— Может быть,— отвечал я с большим еще равнодушием.— Что будет, то и будет.

В течение недели продал я все имущество покойного Варуха и выручил за оное сто злотых: сумма, доселе мною даже и не виданная. Я всячески остерегался, чтобы не проведали, что я совсем не сын его, и не отняли на законном основании моего сокровища. В день выхода из села Хлопот я отслужил торжественную панихиду о успокоении души Варуховой и пустился по дороге в город.

Когда я поровнялся с тропинкою, ведущею к знакомому шинку, где за неделю утешал меня Вакх в печали о болезни отца моего, то лукавый соблазнил меня. Мне показалось, что я все еще очень печалюсь, а притом и озяб, а потому благоразумие требовало поискать способов к утешению сердца и к отогрению желудка.

Я достиг своей цели и пропустил в себя не одну чарку утешающего лекарства; но оно не возымело своего действия. «Видно, сложение мое очень крепко от природы,— думал я, наливая кубок,— что не чувствую утешения от таких приемов, от коих по крайней мере пять других печальных запели бы и заплясали». Я продолжал лечиться, и когда осушил всю кварту, то, припомня все благодеяния Варуховы, мне оказанные, а притом и знатное наследство, мне же оставленное, зарыдал горько.

— Ба! — вскричал хозяин, видя сию комедию,— что это, господин студент, значит?

Видно, Вакх в первый еще раз уведомил его о моем звании. Я сказал, что вишневка его очень плоха, ибо, сколько ни пью, не могу утешиться о кончине отца моего.

— Пустое,— отвечал он,— это-то самое и доказывает изящную доброту. Поешь-ка чего-нибудь да усни, так и увидишь, что к утру вся печаль твоя исчезнет вместе с ночною темнотою.

На еду я склонился, но на ночлег никак. Я велел еще подать вишневки и начал насыщать себя жареною уткою. Первые петухи криком своим возвестили полночь, и ужин мой кончился. Добросовестный хозяин, хотя и литвин [1], опять попытался уложить меня в постелю, представлял сильный мороз, опасность от волков, от воров и оборотней, но ничто не помогло. Я уверял, что не боюсь ничего на свете: что от мороза защитит меня принятое лекарство, от воров — рогатина, а от оборотней — крестное знамение.

— Когда так,— сказал сердито хозяин,— то ступай хотя в омут! Такое упрямство должно быть наказано.

Я расплатился с ним и вышел за ворота.

Или голова моя сильно кружилась от излишества принятого лекарства, или был я в великой задумчивости, не знаю настоящей причины, что я и не чувствовал сильной вьюги, обвивавшей всего меня снежною пылью. Приметив сие, я остановился, протер глаза, раздвинул прикипевшие к губам усы и силился рассмотреть, где я. Передо мною не было никакой тропинки. Хотя было довольно светло, но за вьюгою не видно ни звезд, ни месяца. Постояв несколько минут, я перекрестился, сотворил молитву и пустился напрямик. Скоро представился передо мною лес, и я опять остановился. Подумав несколько, я сказал сам себе: «Так! видно, я сбился с дороги; однако надеюсь попасть на другую». Я очень помню, что, будучи еще поэтом и ритором, нередко посылаем был консулом и сенатором на озера, в сем лесу находящиеся, красть дворовых гусей и уток [2]. Посредине его лежит большая дорога к Переяславлю, которая приведет меня в город, только к противоположному въезду; ибо, видно, я и не приметил, как перешел Десну. Таким образом, подкреплен будучи надеждою

[1] Литвины в Малороссии считаются обманщиками и бессовестными людьми, так что назвать кого-либо литвином почитается ругательством.

[2] В Малороссии и доселе в обыкновении по наступлении весны выгонять в места, где есть озера или речки, гусей и уток, которые и остаются там до глубокой осени.

скорого прибытия в бурсу и собравшись с силами, бодро вступил я в лес и побрел, держась левой стороны, упираясь на рогатину и без всякой досады выдергивая из снегу ноги, вязнувшие по колени. Однако чем далее шел, тем лес становился гуще, а снег глубже. Я должен был чаще останавливаться для необходимого отдыха и на досуге предавал проклятию все шинки, где продают пенник и вишневку, и всех тех, кои надеются, вкушая сии пагубные изделия, утешиться в скорби своей; мало-помалу начал я выбиваться из сил. Нередко падал в снежные рытвины и стучал лбом о деревья. Уже рассвело, но я не чувствовал никакой отрады. Я вышел, или, правильнее, выполз из лесу, и необозримая снежная равнина представилась моим полусомкнутым глазам. Я уже не чувствовал, есть ли у меня руки и ноги; сердце билось слабо, взор померк; я сделал усилие податься вперед и пал на снежное ложе. Хотя я не мог пошевелить ни одним членом, но несколько минут еще не совсем лишился чувств. Краткое время сие провел я в молитве, прося у милосердого бога прощения за все грехи, мною соделанные. Наконец я обеспамятел.

Пришед в чувство и открыв глаза, я увидел, что лежу в большом корыте нагой, осыпанный с головы до ног снегом. Два черноморских казака, люди пожилые, терли всего меня суконками, и так усердно, что я вскрикнул.

— Господа! — спросил я,— что вы со мною делаете и где я?

— Если ты останешься жив,— отвечал сурово один из сих медиков,— то скоро узнаешь, что мы с тобою делали и где находишься.

После сего начали они тереть еще ревностнее, так что я не утерпел опять несколько раз вскрикнуть.

— Кричи, друг, сколько хочешь,— отвечали мне,— это нам любо, ибо значит, что ты близок к спасению.

Когда им показалось, что я вне уже опасности, то унялись от трудов своих, вынули меня из корыта, положили на постелю и, одев теплым покрывалом, посоветовали отдохнуть и удалились... Я был как помешанный. Прошедшее представлялось мне подобно страшному сновидению. Я вообразил очень ясно все вчерашнее похождение и содрогнулся, вспомня ту опасность, какой был подвержен. Я осмотрелся кругом, и робость стеснила сердце в груди моей. Большая холодная комната, в коей лежал я, походила на кладовую. Одна стена от пола до потолка увешена была оружием всякого рода, другая унизана одеянием на

разные покрои. Там были платья малороссийские, черноморские и польские.

«Ну,— сказал я сам в себе,— попался из огня в полымя! всего вернее, что я теперь гощу у разбойников. Бедные мои сто злотых! кому-то вы достанетесь? О, проклятый пинок! до чего ты довел меня! что со мною будет?»

Встав с трепетом с постели, которую составлял большой сундук, покрытый тюфяком, и, завернувшись в одеяло, я подошел к окну и еще более удостоверился в своей догадке. Дом, в коем находился, стоял в преглубоком овраге, покрытом деревьями, так что летом не скоро его и приметить можно. В недальнем расстоянии рассеяно было до десяти хат. Дым, клубившийся из труб, доказывал, что они обитаемы.

Рассмотрев все внимательно, я вздохнул тяжко; но, порассудив обстоятельнее, говорил: «Что ж такое, если хозяева мои и в самом деле разбойники? Когда они столько прилагали старания возвратить мне жизнь, то из логики заключить можно, что отнимать оной не станут. Они завладели моими злотыми. Бог с ними! И я не имел их до сего времени, и был очень доволен своею участью. Пусть только отдадут сумку с кольцами и запискою; эти вещи для них ничего не значат, а для меня очень много. Как бы мне хотелось повидаться с атаманом, поблагодарить за гостеприимство и поскорей убраться из ненавистного жилища».

Когда я сочинял в уме речь, которую буду говорить разбойничьему атаману, вошел ко мне один из медиков, неся в руках рубаху тонкого холста, и сказал:

— Платье твое так намерзло, что не скоро высохнет. Наш пан Мемнон дожидается тебя в своей комнате. Надень эту рубаху, выбери любую пару из висящих на стене платьев и одевайся.

С трепетом повиновался я и снял черкесское платье кармазинного цвета. Мне приходило на мысль спросить своего собеседника, какого нрава их пан Мемнон, каких лет, давно ли упражняется в разбое и с которого времени атаманствует, но робость оковала язык мой. Однако ж, когда совсем был готов, то дрожащим голосом произнес:

— У меня на шее висела сумка с...

— Да, да,— подхватил казак,— я и забыл. Вот она.— С сим словом откинул угол матраца, и я увидел свою драгоценность, схватил и спрятал в карман. Угрюмый черноморец повел меня к своему господину.

Прошед несколько покоев, я введен был в комнату,

великолепные уборы коей меня поразили. Там, в больших креслах, какие только случалось видеть мне у ректора семинарии, сидел мужчина лет под пятьдесят в дорогом польском платье. Вид его был величествен, взор внушал благоговение. Хотя я сначала совершенно смешался и дрожал во всем теле, однако скоро, ополчась философиею, подошел к нему, выпрямился и, заикаясь, произнес:

— Могущественный атаман! хотя ремесло твое таково, чтобы отнимать жизнь у людей, но ты столько великодушен, что иногда и возвращаешь оную, как доказал то надо мною. В знак благодарности охотно отступаюсь от ста злотых, бывших у меня в кармане, дозволь только сейчас отсюда удалиться, нет нужды, что платье мое еще мокро. Пусть один из твоих разбойников выпроводит меня из сего вертепа на дорогу в город.

Мемнон смотрел на меня с удивлением, потом ласково усмехнулся, протянул руку и, указав на стул, произнес:

— Садись. Мне очень было бы досадно, если бы такой молодец был убит, а ты, правду сказать, недалек был от этого. Люди мои объявили, что невдалеке примечены следы медведя. Сегодня на утренней заре снарядились мы на охоту. Подходя к ближнему от нас лесу, увидели подле оного нечто лежащее на снегу. Один из охотников вскричал: «Вот медведь!» — и прицелился. Я, удержав его, сказал: «Перестань! стыдно стрелять по сонному зверю; надобно прежде поднять его». Таким образом, держа ружье на втором взводе, тихими шагами пошли мы на зверя и нарочно кричали громко, но он не поднимался. Мы подошли близко и увидели тебя — окостеневшего. Я приказал приложить все попечение, дабы возвратить тебя к жизни, и, слава богу, труд был не напрасен. Скажи же теперь, кто ты таков, где был и как забрел в такое место, которое, повидимому, тебе совершенно незнакомо?

Глава VII

Ошибочная наружность

Со всею искренностию начал я рассказывать все, что только знал о себе, и когда дошел до того места, где дьячок Варух, лежа на смертном одре, объявил, что он не отец мой, что я найден им подле большой дороги в корзине, что на шее моей была сумка с двумя золотыми кольцами,

а внизу подушки записка, то Мемнон изменился на лице, вздрогнул, вскочил с кресел и уставил на меня столь страшные глаза, что я затрепетал во всем теле и, думая, что он гневается, считая меня лжецом, опустил трепещущую руку в карман, вынул сумку и, стараясь ее развязать, косноязычно произнес:

— Изволь, великий атаман, рассмотреть сам, и ты уверишься, что я говорил тебе сущую правду!

Мемнон выхватил из рук моих сумку, разорвал ее, взглянул на кольца, на записку, потом на меня и спросил:

— Ты — самый тот, который найден в корзине подле дороги?

— Тот самый, к несчастию; потому что лучше иметь отцом добродушного дьячка, который бы любил меня, нежели дворянина, который в безгласном младенчестве моем, предав на съедение собакам и коршунам, нимало и не думает, что сталось с беспомощным творением.

Мемнон сильно ударил себя кулаком в лоб и, сказав страшным, дребезжащим голосом: «Побудь здесь и жди меня!» — быстро вышел, и я остался в ужасном недоумении.

— Почему знать,— говорил я,— что сей Мемнон не есть заклятый враг моим родителям и не собирается теперь все мщение свое обратить на их жалкого сына? О, проклятый шинок! если б ты не стоял на перепутье, я теперь был бы в бурсе и, имея в кармане сто злотых, чего бы ни наделал! А теперь, того и смотри, что погибнешь, а что всего больнее за чужую вину.

В сем мучительном положении пробыл я около двух часов, которые показались мне веками страданий. Наконец Мемнон вошел, и вид его был довольно покоен, что несказанно меня обрадовало.

— Из собственного твоего повествования,—сказал он,— и из бывших при тебе доказательств видно, что ты действительно дворянского происхождения, почему носить тебе дьячковский пучок уже неприлично. Реас!

Один из моих лекарей вошел, и Мемнон сказал:

— Возьми сего молодого господина и убери голову его по-дворянски.

Реас дал мне знак за ним следовать и опять привел в ту комнату, где я лечился. Проворный казак два раза давнул ножницами и, увы! увесистый пучок мой, столько лет с нежностию лелеянный, как негодная вещь, полетел на пол. Волосы мои подстрижены, затылок подбрит, и я не опом-

нился, как превращен был в малороссийского пана. Когда вошел я к Мемнону, то он, обняв меня, сказал весело:

— Ну, вот! тот же, да не тот! Пойдем обедать.

Вошед в столовую, я увидел у окна женщину в совершенных летах, высокого роста, величественного вида, с кротким, нежным взором; она держала в руках белый платок и утирала слезы; подле нее сидела за пяльцами девушка лет шестнадцати. При вступлении нашем они обе встали и старшая хотела что-то сказать мне, но остановилась и смотрела так пристально, что я смешался.

— Это жена моя, а это дочь,— сказал Мемнон.

А я вместо приветствия пробормотал несколько слов, и притом довольно глупых, и потупил глаза в землю.

— Будь смелее, Неон! — сказал хозяин довольно весело,— ты теперь не дьячок и не в келье твоего ректора. Поцелуй руки у обеих госпож сих, как следует учтивому дворянину.

С трепетом подошел я к матери; она подала мне руку, и когда я поцеловал ее, то чувствовал, что она дрожала, и слеза пала на мою щеку. С девицею обошелся я не смелее.

Вскоре сели за стол, и в продолжение оного хозяин был беспрестанно весел, хозяйка часто на меня взглядывала и вдруг потупляла глаза; Мелитина, дочь ее, также часто на меня взглядывала, улыбалась и молчала. Я уподоблялся каменному истукану. Тщетно призывал я на помощь свою философию; ни одно путное слово не приходило мне на мысль; а если и припоминал что-нибудь такое, то, взглянув на важного Мемнона, на кроткую жену его и на прекрасную дочь, терялся совершенно. «Возможно ли,— думал я,— чтобы у разбойничьего атамана было такое милое семейство? Ах! как жалка участь жены и дочери! Рано или поздно, а должны будут разделять с ним наказание, назначаемое разбойникам законами. Ах! если б можно было спасти их, а особливо дочь, как охотно взялся бы я за сие доброе дело! Почему знать, может быть, и сам Мемнон, уже набогатившись, согласится кинуть гибельное ремесло свое. Что, если я об этом намекну ему?»

По окончании стола Мемнон сказал:

— После обеда я привык несколько времени отдыхать, а сверх того, мне нужно о многом посоветоваться с женой. Неон! побудь с Мелитиной и чем-нибудь займитесь.

Он вышел с женою, и я остался, как на иголках. Иногда взглядывал я на девушку, и она улыбалась, а сего

и довольно было, чтоб заставить меня мгновенно потупить взоры. Несколько раз покушался я что-то сказать, но язык мой деревенел, и я только шевелил губами. Наконец красавица первая собралась с силами и довольно смело спросила:

— Скажи, пожалуй, как это сделалось, что ты было замерз? Ах! как было бы жаль, если б тебя съел медведь!

Я поблагодарил за такое участие и рад был случаю рассказать свои похождения. Мелитина от чистого сердца смеялась, слушая про мои бурсацкие проказы. Когда я кончил, то показалось, что за таковую откровенность имею право и на ее доверенность; а посему, сделав самое плачевное лицо, сказал:

— Как мне жаль тебя, Мелитина!

— Жаль? Отчего?

— Что ты живешь в таком мерзком месте и имеешь такого отца!

— Напрасно! Это место очень хорошо, а весною и летом даже пленительно. Что же касается до моего отца, то он наилучший из людей, каких я только видала!

— Ты смотришь на него глазами дочери, взгляни, буде можешь, как посторонний зритель, и ты ужаснешься, восТрепещешь!

— Я тебя не понимаю!

— Ин я буду говорить яснее. Давно ли отец твой упражняется в богомерзком ремесле своем?

Она с изумленным видом отступила назад и спросила дрожащим голосом:

— В богомерзком ремесле? В каком же?

— Разумеется, в разбойничестве!

Мелитина устремила на меня глаза, помолчала и, наконец, засмеялась. Это меня крайне изумило. Однако, подошед к ней ближе, сказал:

— Так, прекрасная девушка! с первого взгляда на сие жилище видно, что оно есть вертеп разбойничий, а отец твой есть атаман. Хотя правда, что дети не отвечают за преступления своих родителей, если сами в них не участвовали; однако ж посуди о тех мытарствах, какие должна будешь пройти, как скоро отец твой попадет в руки правосудия!

Мелитина опять засмеялась и удалилась от меня, не говоря ни слова. Я спохватился и каялся в своем неразумии; но уже поздно. «Она, верно,— думал я,— одобряет поступки отца своего, расскажет ему все, и он за руга-

тельства мои, конечно, не похвалит. Не глуп ли я, что вздумал увещевать дочь разбойничьего атамана. Почему знать? может быть, она совсем не так невинна, как с первого взгляда кажется! может быть, она служит приманкою для легковерного странника! Ах! как жаль, как жаль!»

Погружен будучи в глубокую задумчивость, сидел я у окна, размышляя о способах, как бы вырваться из сего логовища. Вдруг увидел я всадника, спускавшегося в ров по косогору. Это был вооруженный усач в крестьянском платье. Он медленно подвигался к атаманскому дому, и когда проезжал мимо окна, у коего я сидел, то, к великому недоумению моему и ужасу,— в крестьянине узнал Короля, своего друга. Волосы стали у меня дыбом. «Боже милосердый! — думал я,— кому бы поверил я, что и Король, которого всегда считал богобоязненным, честным, добрым человеком, находится в связи с злодеями? С сих пор, дай только всевышний уплестись отсюда поздорову, никогда нога моя не будет в пагубном доме его».

Сумерки покрыли овраг мраком, а я не видал никого. Наконец поданы свечи, и Мемнон, последуемый женою, дочерью и Королем, вошли в комнату.

— Здравствуй, Неон! — сказал Король, обнимая меня,— как же ты принарядился! От сего друга моего знаю я последнее твое похождение и радуюсь, что порода дает тебе право отличаться на полях брани саблею. Что же так печален?

— Он все еще не может забыть прошедшей ночи,— сказал Мемнон,— и подлинно, если бы не следы медвежьи нас подняли, то и следа Неонова не оставалось бы на земле. Будь веселее, друг мой! Завтра чуть свет выйдем мы на промысел.

Мемнон и Король занялись игрою в шахматы, жена Мемнонова, которую звал он Евлалией, за особливым столиком низала жемчуг, а Мелитина играла на лютне и пела прелестно на малороссийском и польском языках; один я не находил ни в чем отрады. Я взглядывал то на мать, то на дочь и страдал в душе своей. Вздохи невольно колебали грудь мою. Я чувствовал на сердце что-то такое, чему не знал имени и что вместе разливало в нем какую-то сладость и его терзало; самое даже мучение было для меня приятно. Ни за что в свете не хотел бы я получить прежнее спокойствие. Я не знал, однако, кого мне больше жаль, матери или дочери.

По прошествии вечера и части ночи и по окончании ужина меня отвели в прежнюю комнату, где нашел уже очень порядочную постелю и шелковое покрывало. По желанию моему свечка при мне оставлена.

В самую полночь, когда казалось мне, что все в доме погружены в глубокий сон, встал я с постели, дабы попытаться, не сыщу ли способа уйти. При мысли, что поутру и я должен буду выйти с разбойниками на промысел, мороз разливался в моих жилах. Хотя бы сама Мелитина была наградою за успехи мои в разбое, то и для нее не поступлю я против моих обязанностей к богу и ближнему. Дело иное — накрасть где-нибудь дынь или арбузов, в таком грехе можно еще покаяться; но принять на душу свою смертоубийство — нет, нет! голова человеческая не арбуз!

Говоря сии слова, я силился отпереть дверь; но не тут-то было. Уверившись, что она заперта извне, я тяжко вздохнул и решился ожидать утра. Когда рассвело, то ко мне вошел Реас.

— Пора вставать,— говорил он сурово,— все уже готовы идти на охоту. Оденься, вооружись и ступай с нами.

— Проклятая охота! — ворчал я про себя.— Неужели и ты,— сказал я,— будучи довольно стар, не сомневаешься участвовать...

— Что ты затеял? — вскричал он с ужасною улыбкою,— да я стреляю в цель не хуже всякого молодого; ты увидишь на деле.

Он помог мне одеться во вчерашнее платье, сверху накинул черкеску на крымском меху, опоясал патронным поясом, привесил кинжал, дал в руки ружье и повел в столовую. Там уже сидели в таком же вооружении Мемнон и Король, а подле них стояли трое слуг. Евлалия и Мелитина в утренних платьях встретили меня с улыбкою, и мать подала руку, которую поцеловал я теперь с большею ловкостью, нежели вчера. Дочери сделал я учтивый поклон и отвернулся, дабы не приметили моего тяжкого вздоха.

Настал день; лучи светлого солнца заблистали на снежных краях оврага, мы пустились в путь. Когда выбрались из своего провалья, то я отстал от прочих под видом исправления некоторой нужды. Видя, что они отошли саженей на сто, я ударился бежать по дороге в противную сторону и скоро потерял их из виду. Тут пошел я обыкновенным шагом и примерно через два часа увидел перед собою большое село, ничуть не меньшее села Хлопот. «Ах! — думал я,— как досадно, что нет со мною моих злотых! как бы

плотно пообедал я; ибо, правду сказать, вчера не давали мне есть мысли то о Мемноне, то о Евлалии, то о Мелитине».

Машинально опустил я руку в карман черкески и, к великому удивлению, вытащил изрядный кошелек с серебром, и когда высыпал его в шапку, то увидел, сверх того, несколько золотых денег. Раздумье взяло меня, пользоваться ли сею находкою или нет. «Почему же и не так,— сказал я,— ведь деньги награбленные, и Мемнону не более принадлежат, как и мне». С сими словами вошел я в село, допытался корчмы и заказал изготовить сытный обед, и когда оный подан был на стол, то хозяин-жид, будучи великий пустомеля, пристал ко мне с расспросами о том и о сем; и я, чтобы скорее от него отвязаться, рассказал обстоятельно, каким образом попал в руки разбойников и как счастливо вырвался из оных. Жид слушал меня с прилежным вниманием и иногда качал головою.

— Ты не веришь,— вскричал я,— что я был в вертепе разбойничьего атамана Мемнона? Так знай, что все одеяние, какое на мне видишь, принадлежит ему!

— Это я очень знаю,— сказал жид,— ибо нередко видел в нем пана Мемнона.

— Как? — спросил я с удивлением,— и он осмеливается в таком большом селе разбойничать?

— По крайней мере он в корчме моей не разбойничает,— отвечал лукавый жид,— а если иногда, возвращаясь с охоты, удостаивает посещением, то за всякую чарочку наливки платит весьма щедро; да и все мы вообще считаем его самым честным и добрым человеком.

Когда жид говорил сие с видом значительным, вдруг вошли в комнату четыре крестьянина и сели за один стол со мною. Они внимательно рассматривали меня с головы до ног, и после старший из них, закручивая усы, сказал:

— Клянусь ангелом-хранителем, что все это платье не раз видел я на пане Мемноне!

— И я, и я! — вскричали прочие.

— Пан староста! — сказал один,— поговори-ка с его милостию; а я готов удариться об заклад, о чем хочешь, что сей щеголь один из шайки разбойников, уже несколько лет грабящих в наших окрестностях!

Староста, обратясь ко мне, спросил надменно:

— Молодец! где взял ты это дорогое платье?

— А тебе какая надобность? — отвечал я со всею спесью философа.

— Ба, ба! — сказал староста, язвительно улыбаясь,— старосте не надобно знать, где кто мошенничал! Спрашивать больше нечего; все ясно, как этот день! Ребята! делайте свое дело!

Вмиг все пришельцы на меня бросились и завернули руки за спину. Жид подал веревку; меня скрутили и усадили на лавке. После сего староста, опустив в карман ко мне руки, вытащил кошелек. Все подняли радостный вопль.

— Видно, приятель,— сказал староста,— ты запасся не на шутку! Как же благодарен будет пан Мемнон, когда возвратим ему потерю. Однако ж путь не ближний, и надо подкрепить свои силы. Жид! давай вина и что-нибудь перекусить.

Бездельники начали пить вишневку и есть заказанный мною обед. За каждою чаркою они желали мне здоровья и большей удачи. Я сидел потупя глаза, и хотя мне совестно было показаться на глаза Мемнону, которого перестал уже почитать разбойником, но не было другого способа освободиться от рук старосты. Наконец их бражничанье кончилось. Заплатя жиду из моего кошелька за угощение, они поднялись. Один взялся за конец веревки, коею связаны были мои руки, и мы все торжественно отправились к жилищу Мемнонову.

Глава VIII

Двоякая любовь

Мы прибыли к жилищу сего господина, но он еще не возвращался. Мелитина, увидя меня в таком положении, ахнула, и слезы показались на прекрасных глазах ее.

— За что вы его связали? — спросила она у старосты.

— За то,— отвечал сей с важностию,— что он — уличенный вор и, верно, скрытный разбойник!

— Вот видишь, Неон,— говорила она томным голосом,— как наружность обманчива. Незадолго перед сим ты честнейшего человека считал за разбойника, а теперь другие сочли тебя таким же. Развяжите его!

— Никак,— говорил староста с поклоном,— это может сделать один отец твой или мать.

Мелитина тотчас бросилась из комнаты и вмиг показалась с матерью; но не успела та вымолвить и одного слова,

как с другой стороны вошли в покой Мемнон и Король, обвешанные зайцами, тетеревами и рябчиками.

— Что это значит? — спросил Мемнон с удивлением, и староста отвечал, что привел вора, причем показал и кошелек с деньгами.

— Видишь, Неон,— сказал хозяин с усмешкою,— что жилище мое околдовано, и без ведома моего никто отсюда уйти не может.

Король не был так умерен, как друг его. Охотничьим ножом перерезав веревку, коею был я связан, он начал крестить сперва старосту, а потом и прочих по чему ни попало.

— Ты для того избран старостою, а вы сотскими и десятскими,— приговаривал он,— что должны быть расторопнее прочих. Можно ли неизвестного человека счесть разбойником и вязать только потому, что он в чужом платье и что в кармане у него есть деньги!

Приведшие меня, видя худую благодарность за усердие, опрометью бросились из дому и, не оглядываясь, пустились из буерака. Я бросился к ногам Мемнона и чистосердечно повинился в грехе своем. Он меня поднял и начал разговор об охоте. Уверившись, что нахожусь в доме честного дворянина, я сделался веселее, говорил не меньше других, и мне удалось сказать несколько острых слов, заслуживших общее одобрение. Ввечеру я под игру Мелитины пропел несколько духовных песен, ибо в числе прочих занятий в семинарии принужден был учиться и пению по нотам. Ночь прошла в сладостных мечтах, свойственных пылкому человеку в мои лета: я записывался в войско, сражался как лев, побеждал целые полчища, получал почести и богатства и в награду толиких заслуг просил руки у Мелитины. Можно ли отказать в чем-нибудь такому достойному человеку?

Поутру, едва только я оделся, как вошли ко мне Мемнон и Король, одетый опять в крестьянское платье. Первый сказал:

— Ну, Неон, ты теперь отправляешься в город с общим нашим другом. Он насказал о тебе столько доброго, что я принимаю в тебе истинное участие. В бурсе ты более жить не будешь, и Король найдет для тебя приличное место; а покуда ты пробудешь у него в доме. Платье, которое на тебе, есть твое собственное, равно как вчерашняя черкеска и кошелек с деньгами. По временам ты будешь

навещать меня в сем уединении, а по прошествии зимы все займемся отысканием твоих родителей, на каковой конец кольца и записка у меня останутся. Теперь позавтракайте и — с богом.

Трапеза наша продолжалась довольно долго. Для меня оседлан был недурной конь, и мы выехали из сего хутора близко полудня и не прежде прибыли в город, как к ночи. Король оставил меня до утра в своем доме. Лежа в постели, я мучился догадками, зачем Мемнон не дозволил мне проститься с его женою и дочерью.

На другой день явился я к настоятелю монастыря отцу Герасиму, у которого Король предварительно извинил меня в продолжительной отлучке. После обеда он сказал мне:

— Неон! я нашел для тебя весьма хорошее место. Пан Истукарий считается первым помещиком во всем городе и во всей округе. В доме его можно научиться благопристойности и вежливости более и скорее, чем во всяком другом месте, а это для дворянина необходимо. За содержание твое он не берет ничего, а хочет только, чтоб ты надзирал за его сыном, мальчиком лет шестнадцати, который, по словам отца, имеет великие способности. Отец готовит его ко двору гетмана. Пан Истукарий человек весьма обстоятельный, хотя довольно горд и напыщен. Жена его, Трифена, весьма набожна, хотя довольно вспыльчива и охотница до ссор. Но тебе какая до того нужда? Сверх того, живет в доме дочь их, молодая вдова Неонилла, воспитанная в Киеве на польский образец. Она недурна собою, молода, весела и обходительна. В сем-то доме можешь ты образовать свой вкус и научиться на опыте, как должно вести себя благорожденному человеку. Завтра мы отправимся к пану Истукарию.

В тот же день Король изготовил для меня хорошую постелю, накупил белья и обуви, и наутро представились мы помещику. Он был человек за пятьдесят лет, но здоров и крепок; взор его был несколько угрюм и самая улыбка неприятна. Жена его, судя даже с первого взгляда, была хозяйкою дома, но состояла под самовластием мужа. Дочь Неонилла, осьмнадцати или девятнадцати лет, превосходила описание, Королем о ней сделанное. Сын Епафрас показался мне настоящим ротозеем. Он был малого роста, курчав, губаст, и когда смеялся, то ржал, как жеребенок. Слуг и служанок в доме было весьма довольно.

Хозяева и их дети приняли нас очень ласково, а особ-

ливо Неонилла, сейчас показала, что воспитана в Киеве. Мне отвели небольшую, но хорошо прибранную комнату, окнами в сад, и я тогда же переселился в оную.

Пан Истукарий столько считал себя знатным человеком, что стыдился отдавать сына в семинарию; для образования молодого Епафраса приходили особенные учители, как светские, так и духовные. Мне особенно нравились искусства биться на саблях, стрелять в цель и ездить верхом, и я начал упражняться в оных с особенным старанием. День проходил за днем, неделя за неделею, и так прошел месяц. Я был очень доволен своим положением; казалось, что и мною довольны были. Хотя вышло, что Епафрас не что другое, как лентяй, повеса, но мои глаза — не отцовские и какая мне до того нужда? Довольно, что родители не могли им налюбоваться. Хотя прелестная дочь Мемнонова не выходила у меня из мыслей, однако и живая, веселая, прекрасная Неонилла немало забавляла меня своими резвостями. Она иногда так была непринужденна, что, казалось, забывала о разности наших полов. Какое прелестное воспитание!

По прошествии месяца Король отпросил меня на целые сутки, и мы пустились в хутор к Мемнону. Сердце сильно билось в груди моей, когда я вступал в дом, в коем обитала прекрасная Мелитина. Какая разница между ею и Неониллою! Но и то правда, одна была робка, неопытная девица; а другая вдова, и притом — воспитанная по-польски. Мемнон, жена его и дочь приняли нас с непритворною радостию, и я как тот вечер, так и весь следующий день провел с несказанным удовольствием. Проживши целый месяц в пышном многолюдном доме Истукария, я приметно переменился: сделался противу прежнего гораздо свободнее и не один раз осмелился намекнуть Мелитине, что она прелестна и что я почту благополучнейшим того смертного, на которого кинет она благосклонный взор свой. Мелитина на такие рыцарские напевы всегда отвечала непринужденною улыбкою, и это меня расстроивало.

Под вечер другого дня я опять завел речь о моих родителях.

— Я должен признаться,— говорил Мемнон,— что знаю твоих родителей, равно как и друг мой Диомид; но обстоятельства требуют, чтобы ты поумерил свое желание узнать их. Так, друг мой,— продолжал он,— я имею право открывать только свои тайны, а чужие считаю неприкосновенною святынею. Довольно с тебя уверения, что ты когда-

нибудь о них сведаешь, если своими поступками будешь того достоин.

Я должен был удовольствоваться сим малым сведением. Перед отъездом Мемнон подарил мне еще полную пару платья, на коем по всем швам нашит был золотой снурок и висели сзади такие же кисти. Чтоб сделать убор мой совершенным, он опоясал меня богатою саблею.

Мне так полюбилось препровождение времени в доме Мемноновом, что склонил Короля ездить туда чрез каждые две недели. Зима прошла, и наступила весна цветущая. Мелитина говорила правду, что весною жилище их прелестно. Зимою и не обратил я внимания на обширный сад, наполняющий все дно оврага; но когда дерева покрылись цветом, тогда я не мог не восхищаться, а особливо прогуливаясь с нежною хозяйкою или прелестною ее дочерью. С каждым днем любовь моя, неразлучная, однако ж, с неограниченным почтением, умножалась к Мелитине; однако она всегда казалась мне существом высшего рода, о привлечении коего в соответствие на чувства, общие всем существам смертным, и подумать страшно; сверх же того, красавица сия на мои нежные слова, на пламенные взоры и на томные вздохи отвечала всегда невинною улыбкою или даже смехом. Это приводило меня в досаду, и я самому себе давал слово и видом не обнаруживать моей склонности. С таким расположением духа почти всегда оставлял сей очарованный хутор.

Теперь приступаю к описанию одного из важнейших происшествий в моей жизни, имевшего великое влияние на дальнейшие случаи.

В один весенний месяц как-то случилось, что, прохаживаясь в обширном саду Истукариевом, я столкнулся с милою его дочерью. Она начала, по обыкновению, резвиться, я подражал ей; распростершаяся темнота придавала мне смелости. Красавица бросилась бежать и скрылась в самой дальной беседке; я ударился вслед за нею и вступил в сие убежище прелестницы, без труда нашел ее, притаившуюся на софе в углу.

— Ах, Неон! — сказала Неонилла,— любишь ли ты меня?

— Более, нежели самого себя!

— Ах! будешь ли ты и впредь таков?

— Всегда! всегда!

— Будь же осторожен! Ты знаешь, как батюшка горяч и щекотлив. Сохрани бог, если он проведает!

— Ведь мы не дети! — сказал я, поглаживая усы. С сим мы расстались, условившись в эту же самую ночь видеться на сем же самом месте.

Свидания мои с Мемноном не прерывались. Как друг мой Король занят был своим огородом, то я большею частию езжал в хутор один и каждый раз открывал в Евлалии новую ко мне благосклонность, а в Мелитине новые прелести, новую любезность; но чем более любовь моя возрастала, тем становился я боязливее и не смел даже к ней прикоснуться. Я пылал и всячески старался таить сие пламя. Она была для меня нечто более, нежели женщина, и при одной непозволительной мысли насчет сей невинности я покрывался краскою стыда и негодования на самого себя. Но такова молодость! Едва являлся я в саду Истукариевом, кроткая Мелитина бывала забыта, а при мысли о живой, пылкой Неонилле я сломя голову бежал к знакомой беседке, где нередко меня уже ожидали.

Лето было в половине. В одну светлую прекрасную ночь я и Неонилла роскошно отдыхали на софе в беседке. Вдруг послышался невдалеке мужской голос, а вскоре дверь тихонько отворилась, и вошли двое, хотя мы и не успели рассмотреть, кто такие были досадные посетители. Мы притаили дыхание.

— Милая Христодула! — сказал мужчина, и мы сейчас узнали Епафраса, а в любовнице его — пожилую девку, служащую Трифене,— сядь на софе, а я выну из шкафа кое-что поесть и выпить... Не правда ли, что я догадлив в таких случаях? Еще днем урывками припрятал здесь довольно пирожного и бутылку доброй наливки.

Он отпер шкаф и вынул свой запас, как дверь у беседки опять отворилась, и еще пожаловали двое, мужчина и женщина.

— Прекрасная Кириена! — сказал голос, и мы вмиг узнали Истукария и молодую девушку, наперсницу Неониллы,— садись сюда — на софу, а я посвечу.

С сими словами открыл он потаенный фонарь. Пусть, кто может, представит тогдашнее общее смятение! Неонилла в самом ли деле упала в обморок, или такою представилась, только глаза ее были закрыты и дыхание остановилось.

Истукарий прежде всего осветил Епафраса, держащего в одной руке бутылку, а в другой — блюдо с пирожным.

— Бездельник! — вскричал отец в великом гневе и поразил его кулаком по макуше так ловко, что и блюдо

и бутылка выпали из рук, а он посередине их растянулся.— С кем ты здесь, негодный? — продолжал старик с бешенством,— возможно ли? В твои лета? Не знаю, чего смотрит за тобою Неон. Он что-то часто повадился рыскать со двора.

Говоря сие, он осветил софу и — окаменел. Христодула и Кириена сидели рядом на софе и закрывались передниками; милой, жалкой Неонилле нечем было сего сделать.

Мой добрый дух благовременно вразумил меня. Пользуясь окаменением Истукария, я вскочил с софы, треснул его по руке, отчего фонарь полетел на пол и погас, вылетел с быстротою вихря из беседки, запер дверь за собою на замок, в коем оставил ключ, и побежал домой. Припрятав прежде всего кошелек с деньгами и увязавши платье и белье в узел, я опоясался саблею и пустился к дому Королеву. Дорогою пришло на меня желание позабавить себя зрелищем, которое должны представлять мои пленные. Пришед на двор, я ношу свою и деньги спрятал в сарае, а сам пустился в дом Истукария. Разбудив старуху, надзирающую за служанками, я с видом крайне напуганного человека уверял ее, что видел в саду двух оборотней женского пола, которые околдовали господина и его сына, уволокли их в крайнюю беседку сада и там заперлись. Старуха ахала, крестилась и, казалось, не совсем доверяла словам моим; когда же я подтвердил клятвенно справедливость сего доноса, то она вскочила с постели и бросилась уведомить Трифену о сем чуде. Вскоре вышла и сия в одном спальном платье со свечою в руке, и я донес ей то же, прибавя, будто послышалось мне, что оборотни приняли меры к изнасилованию отца и сына, ибо я слышал в беседке стук, треск и визжанье.

— Что за вздор! — вскричала Трифена со гневом,— не грезишь ли ты, господин студент?

— Стоит только поверить слова мои,— сказал я хладнокровно,— так правда и откроется.

— Ин пойдем поищем их в доме,— говорила хозяйка со вздохом.

Старуха понесла впереди свечу; я и Трифена за ней последовали. И действительно, постели Истукария и Епафраса были не тронуты, а я с простосердечием заметил, что, проходя девичью, не видал ни Христодулы, ни Кириены.

— Ах, седой бездельник! — вскричала с бешенством Трифена,— возможно ли было думать? Он же и сына научает таким мерзостям! Только это мне непонятно, на что

ему понадобился Епафрас? Дела сего рода свидетелей не требуют.

— Может быть,— заметил я с важностию,— это сделалось и нечаянно: отец, сделав назначение своему оборотню в беседке, не знал, что и сын для своего назначил то же самое место,— и они столкнулись.

— Это всего вернее, — говорила Трифена, задыхаясь от гнева.— Варвара! возьми фонарь и веди меня к той беседке; а ты, Неон, пожалуй, будь на сей раз моим сопутником.

Мы отправились. Подошед сколько можно тише к месту наших поисков, я отворил дверь, в которую опрометью влетела Трифена, а за нею и старая Варвара с фонарем. Я легонько притворил дверь и запер.

— А,— раздался громоподобный голос раздраженной супруги и матери, и как град посыпались пощечины. Надобно думать, что первое стремление бури обращено было на бедных девок, ибо они подняли плач и вопль.

— Ба! Неонилла, ты, голубушка, зачем здесь?

— Да,— сказал муж, пришед в себя,— эту голубушку застал я здесь под крылом ястреба; жаль только, что успел ускользнуть, проклятый! Но он мне попадется, и клянусь вырвать у него усы и обрубить нос и уши.

— Да какой это у тебя ястреб с усами и ушами? — спросила жена.

— Кому быть иному, кроме злодея Неона,— отвечал муж, скрежеща зубами.

Тут начались объяснения, и муж так был лукав, что всю вину свернул на меня и Неониллу, а себя и сына выставил только сыщиками виноватых.

— А эти две мерзавки зачем здесь? — спросила стремительно жена.

— Они случайно попались нам в саду,— отвечал муж весьма спокойно,— и я приказал им быть свидетельницами уличенного преступления.

Таким образом, преступный отец для собственного оправдания должен был выгораживать распутного сына.

После сильных угроз, произнесенных горько плачущей Неонилле со стороны отца и матери, они вздумали выйти; но не тут-то было. Скоро они уверились, что были заперты.

— Ах! проклятый мошенник,— вскричал Истукарий,— он в другой раз нас запер! Постой, постой! дорого заплатишь ты за все эти пакости! Что будем делать?

— Ничего больше,— сказала жена,— как выломить окно.— И спустя минуту от сильного удара — вероятно стулом — посыпались стекла и затрещала окончина.

Я ударился бежать, благополучно достиг дома Королева и улегся отдыхать в сарае на рогоже.

— Ах, Мелитина! — сказал я, вздохнувши,— сколько я виноват перед тобою! Но и то сказать, я ничем не обязывался. Ты, может быть, и не знаешь, сколько я люблю тебя! Если когда-нибудь удостоишь меня соответствия, клянусь, тогда ни одна красавица не обратит на себя моих взоров. Бесподобная девица! скажи только: «Неон! я люблю тебя!» — и счастливый Неон твой навсегда, твой нераздельно.

Мечтая таким образом, я уснул крепко. Хотя попеременно представлялись мне кроткая Мелитина и пламенная Неонилла, но труды и беспокойства ночные так меня утомили, что я проснулся уже гораздо после солнечного восхода.

Глава IX

Необдуманные затеи

Поутру Король весьма удивился, услыша от батрака, что я сплю в сарае. Когда я пришел к нему, то он спросил:

— Что это значит? Конечно, ты с кем-нибудь поразладил и, видно, дрался,— недаром при сабле.

— Ты отгадал,— отвечал я,— именно поразладил я с одними за то, что с другими слишком уже много поладил.

Тут откровенно рассказал я о связи моей с Неониллою и о последствиях сего знакомства. Король, выслушав повесть мою терпеливо, сказал весьма важно:

— Согласись, Неон, что ты поступил очень дурно, неблагодарно! После поступка твоего в доме Истукария я вправе заключить, что ты в состоянии бы так же поступить и в доме Мемнона, если б Мелитина была менее невинна и добронравна. О! сохрани тебя милосердый бог о том и подумать!

— Почтенный друг мой! — сказал я,— какая разница! Одна вселяет любовь почтительную, невинную, святую, а другая обещает чувственные наслаждения!

— Ты уже не ребенок,— сказал Король,— и очень понимаешь, что сколько бы ни прелестен был плод и сколько бы ты голоден ни был, но если он в чужом саду, то его трогать ненадобно. Прошу тебя, Неон, в подобных обстоятельствах быть осторожнее. Конечно, ты молод и здоров, обольщения сего рода довольно сильны; но еще повторяю, что ты уже не ребенок и рассуждать учился. Посуди только о последствиях, и кипение крови твоей уймется. Неужели ты до сих пор не помыслил, что мудрая природа, вложив в оба пола стремление одного к другому, имела в виду одно ничтожное наслаждение? Совсем нет! Цель ее есть размножение существ живущих. Подумай же, чего должен ожидать ты, если Неонилла сделается матерью?

Я задрожал, потупил глаза в землю и молчал. Потом, с чувствительностию обняв опытного друга, обещался приложить все старание избегать впредь сетей соблазна.

— Еще согласись,— продолжал Король,— что знатный и богатый Истукарий никак не простит тебе обиды, нанесенной ему в лице дочери. Падением ее, без сомнения, хвастать не будет; но он имеет множество случаев отомстить тебе тайно. И для того, пока я не придумаю, что нам полезнее делать, ты будешь жить у меня сколько можно скрытнее.

На другой день, в самые полдни, когда Король отлучился зачем-то на базар, работник принес мне письмо, объявляя, что маленькая девочка просила его вручить мне оное и ожидает на улице ответа. Я вскрыл письмо и читал с жадностию следующие строки:

«Любезный друг Неон!

Батюшка был очень сердит, но, наконец, примирился и дал слово не упоминать о прошедшем. Матушка еще более снисходительна. Целый день провела я без тебя в несносной скуке. Около полуночи приходи в сад наш к известной беседке, и тебя ожидают объятия твоей

Неониллы».

Я призадумался. Что, если это козни старого Истукария, чтобы заманить меня в свои когти? Хотя я в доме его прожил более полугода, но рука дочери его совершенно мне незнакома. Однако думаю, что с помощию истинной философии могу наслаждаться утехами любви, не подвергая

себя опасности. Все равно, на каком бы месте ни приносима была жертва; и огород Королев не менее к тому удобен, как и сад Истукария. Я написал в ответ:

«Прелестная Неонилла!

Заключить тебя в свои объятия для меня составляет блаженство; но в сад отца твоего не пойду. Не безопаснее ли, моя любезная, будет, когда ты пожалуешь ко мне в огород друга моего Короля? Соломенный шалаш, в коем иногда отдыхает он после трудов, столько же удобен для любви, как и богатая беседка в саду отца твоего. Приходи, моя бесценная, и ты успокоишься в объятиях твоего верного

Неона».

Запечатав сию записочку, я выбежал за ворота и отдал маленькой вестнице для доставления Неонилле, а притом подарил ей два злотых. Король пришел домой уже под вечер, и с ним человек шесть крестьян.

— Неон! — сказал хозяин, поглаживая чуб,— случайно проведал я, что соседи мои бурсаки расположились сею ночью в огород мой пожаловать, так надобно угостить их по достоинству. Это добрые люди примут по-братски. Думаю, что эта ночь будет последняя, которую проведем мы в сем городе.

Я не знал, что мне делать с моею тайною. Прежде и не думал открывать ее кому-либо; но теперь, видя, что по нечаянному стечению обстоятельств она сама собою выйдет наружу, я решился во всем признаться Королю и просить у него совета.

— Ты говоришь, друг мой,— сказал я непринужденно,— что мы в последний раз ночуем в Переяславле. Как думаешь? Ведь не мешает эту ночь провести повеселее?

С сими словами я подал ему письмо Неониллы. Король прочел и сердито пошевелил усами.

— Что же ты отвечал? — спросил он.

Я подробно рассказал ответ мой.

— Мне кажется и даже уверен,— говорил Король подумавши,— что это сети Истукариевы. Как бы Неонилла пламенна ни была, то все так скоро после бывшего происшествия, по всем отношениям весьма незабавного, трудно пускаться на новое; впрочем, она молодая женщина и воспитана по-польски.

Он ходил большими шагами по горнице, как работник

доложил, что какая-то старуха стоит за воротами и желает поговорить со мною. Король остановился и сказал, потирая лоб:

— Введи сюда старуху, объявив, что я с вечера уехал в чей-то хутор и до утра не возвращусь.

Работник вышел, а Король скрылся в боковой горенке. Старуха не замедлила войти, и я узнал в ней Варвару. После первых приветствий она сказала с улыбкою:

— Куда как счастлив ты, Неон, что такая молодая и прекрасная госпожа, какова Неонилла, столь горячо тебя любит! Несмотря на все запрещения строгих родителей, она решается посетить тебя на огороде. Но рассуди сам: дело ее женское, время ночное, место мало известное: чего только не должна она, бедная, страшиться? Чтобы быть ей поспокойнее, следовательно, способнее слушать любовные твои напевы, она просит дозволения взять с собою трех горничных девушек, совершенно ей преданных. Они — девки сметливые и не только не будут помехою вашим разговорам, но вместо того — стражами вашей же безопасности.

Несмотря на вид истины, с коим говорила старуха, я начал ощущать подозрение. Однако, не находя причины бояться чего-либо в доме моего друга, я принял лицо восхищенного любовника и, сунув сей устарелой Ириде в руку несколько злотых, сказал:

— Объяви прелестной Неонилле, что я около полуночи ее ожидаю и что касается до трех ее сопутниц, то и на сие совершенно согласен.

Старуха удалилась, будучи очень довольна и мною и собою, а Король явился.

— Что,— вскричал он, остановясь передо мною,— ты ничего не предчувствуешь?

— По крайней мере ничего ясного!

— А я, напротив, готов уверять, что это затеи Истукария, и бедная дочь его ничего о сем не знает. Послушай! ступай в бурсу и скажи приятелю твоему консулу Кастору, что намерение его сделать в эту ночь атаку моему огороду мне уже известно и что я приготовил нужное число храбрых молодцов для надлежащего отпора. В одну ночь, а случиться может и в один час, иметь сражение на разных местах — опасно. Надобно прежде управиться с одним супостатом, а потом уже противостать и другому.

Поручение Короля исправлено мною скоро. Консул Кастор и прочие бурсаки благодарили меня от чистого сердца

за такое дружеское предостережение. Я возвратился домой. Король изобильно угощал приведенных гостей и питьем и едою. Когда все были довольны и время приближалось к полуночи, то я с шестью сподвижниками отправился в огород. Они полегли в бурьяне позади шалаша, а я начал около оного похаживать, попевая тихонько и посвистывая. Сколько ночь ни была мрачна, однако я скоро приметил нечто мелькающее на заборе и осторожно спускающееся на землю; за сим видением перелезли еще три особы, и все тихонько начали к шалашу приближаться. Я стоял у самых дверей и продолжал легонько свистать. Неонилла подходила ближе и ближе и, наконец, пала ко мне на руки; вздохи оковали язык ее. С быстротою молнии уволок я красавицу в шалаш, усадил на большом снопе соломы и напечатлел страстный поцелуй на толстых губах ее.

В ту минуту догадался я, что имею дело с негодяем Епафрасом, а посему смекнул, что должно заключить и о мнимых спутницах. Не обнаруживая сомнения, я, сидя на соломе, обвил руку вокруг шеи моей новой любовницы.

— Ах, Неонилла! — сказал я,— зачем обрезала ты прекрасные свои волосы и всю голову завила в пукли?

— Теперь такая мода в Варшаве,— отвечали мне шепотом.

Я надрывался с досады и не знал, что начать. Тут подошли к отверстию шалаша провожатые моей любезной, и одна притворным голосом сказала:

— Тебе здесь, Неонилла, хорошо, а нам на открытом воздухе холодно; но нельзя ли и сопутницам твоим погреться под соломенною крышею?

— Почему и не так! — отвечала моя подруга,— тут места довольно; полезайте!

«Ну,— думал я,— вот настоящий приступ к делу».

— Постойте, девушки, немного,— вскричал я,— дайте нам прежде расположиться так, чтоб и в самом деле для всех было удобно.

После сего я свистнул громко три раза; мгновенно послышался шум; любовница моя задрожала.

— Что это значит? — спросила она заикаясь.

— Это подоспели мои уже провожатые,— отвечал я,— коим можешь ты безопасно ввериться, как я вверился твоим. Пойдем ко мне в дом; там и теплее и покойнее.

С сими словами взял я соседа за курчавый чуб и, приговаривая: «Сюда, сюда! милая Неонилла!», волок его из

шалаша, причем не преминул оделять пощечинами и подзатыльщинами с таким проворством, какое может только внушить оскорбленная любовь и обманутое ожидание.

Когда в шалаше происходил сей поединок, то вне оного совершалась целая битва. Горничные девушки Неониллы сражались как львы, зато и мои телохранители уподоблялись голодным медведям. Не малою помощию для последних было то, что шесть человек ратовали противу трех. Когда я, держа за остаток волосов жертву моего мщения, выполз из шалаша, то увидел, что враги наши были в таком же положении. Торжественно вступили мы в покой Короля, где нашли довольное освещение. Мы сняли руки с голов сопротивничьих и начали их рассматривать. Я очень знал, что не ошибся в своей догадке. Епафрас, с пораженным в разных местах лицом, в растерзанном платье сестры своей, стоял передо мною в самом жалком положении; в спутниках его признал я двух кучеров и стремянного Истукария, одетых в девичьи платья, кои были также в клочки изорваны.

По решению Короля сопутники Епафрасовы отведены в сарай и заперты. Оставался один молодой пленник, и начался допрос с увещанием сказать всю правду, под опасением за скрытность неминуемого истязания. Молодец, видя, что дело взяло оборот довольно важный, клялся сказать всю истину и говорил следующее:

— На другой день после суматошной ночи, столько всем нам памятной, рано поутру мой раздраженный отец отвез Неониллу в дальний хутор наш по дороге к Пирятину и оставил ее под строгим надзором неумолимой скотницы и ее семейства, объявив твердое намерение не давать ей свободы прежде, пока не приищет для нее жениха приличного. По возвращении домой он начал вымышлять способы, как бы залучить Неона в свои руки, дабы совершить над ним примерное мщение. Он остановился на том плане, исполнение коего теперь только все видели. Я под руку сестры подписался довольно исправно, и дело пошло было на лад; но не знаю, какой злой дух предуведомил о нашем намерении, и мы, шедшие сюда с тем, чтоб возвратиться с пленным Неоном, сами попались в западню и сделались пленниками.

— Что же бы отец твой думал со мною делать,— спросил я,— если б залучил в свои руки?

— О! — отвечал Епафрас,— план мщения его довольно замысловат. Он хотел отвезти тебя также в хутор, по дороге

к Киеву, там выбрить голову и усы, потом приковать к стене против портрета Неониллы, дабы при каждом на нее взгляде казнился ты, сравнивая прошедшее с настоящим. В комнате, для тебя назначенной, стояла бы великолепная кровать, между тем ты должен почивать на соломе. К обеду и ужину набирали бы стол с изобильными яствами и напитками, а ты должен утолять голод сухим хлебом и жажду водою. В сем положении должен бы ты пробыть до тех пор, пока Неонилле не сыщется муж. После ее бракосочетания целую неделю, в такую пору, когда новобрачные уходят в опочивальню, тебе влепляли бы в спину по сту ударов сухими воловьими жилами. По окончании свадебных праздников тебе следовало обрить голову и усы, окорнать оба уха и полунагого выгнать батогами вон из хутора.

Я закипел гневом и мщением, хотел тут же броситься на Епафраса, но Король, удержав меня, сказал:

— Чем же виноват этот глупец? Я посмотрю, что с ним делать. Теперь заприте его в чулан, где и пробудет впредь до нового приказания.

Глава X

Благовидный побег

После ночной тревоги я проспал довольно долго. Когда, одевшись, вошел в комнату Короля, то застал его за завтраком. Указав мне пальцем место за столом, он говорил:

— Неон! после всего случившегося с тобою в сем городе, согласись, что оставаться в нем долее было бы весьма опасно. Рано или поздно, а Истукарий тебя достанет, а тогда прощайте усы, нос и уши! Притом же ты в таких летах, что пора вступить на дорогу, ведущую к общей цели человека-гражданина,— к цели быть полезным своему отечеству. Приносить пользу можно бесчисленными образами; но как ты способен к военным подвигам, а притом дворянин, то и должно саблею прокладывать себе стезю к будущему счастию. Время к тому самое удобное. Гетман, согласясь с послами царя российского, положили непременною обязанностию освободить Малороссию из-под ига польского. Обстоятельство сие не есть уже тайна. Храбрые малороссияне, чувствующие в сердцах своих отвагу пожертвовать жизнию за свободу отечества, толпами стекаются на полях

Батуринских и жаждут битв кровавых. Неон! там ожидает тебя или смерть, или слава и счастие! Я буду твоим путеводителем; я сам не усомнюсь вступить в давно забытые битвы и саблею моею прочищу тебе дорогу ко храму славы. Может быть, ты, столько лет видя во мне огородника, считал человеком бедным, питающимся трудами рук своих; нет, я тебе за восемь лет нечто о сем заметил, но ты был слишком молод и не мог понять меня. Так, я столько богат, что, кроме самого себя, могу содержать и тебя в надлежащем довольстве, и сегодня же дом мой и огород со всеми орудиями и плодами дарю таким людям, которые, может быть, чрез сие самое перестанут быть негодяями и ворами, именно — дарю бурсакам. Вот и письменное на это свидетельство, утвержденное ректором семинарии и всею градскою думою. Пойдем к ним!

День был праздничный, и мы застали консула со всем сенатом, окруженного ликторами и целерами. Все несколько смутились, увидя Короля, вошедшего к ним в полном вооружении. Им представился вчерашний замысел загулять в огород его, и они не без причины ожидали сильных упреков, а может быть, чего-нибудь и худшего. Король сказал:

— Друзья мои, бурсаки! Десять лет живем мы по соседству, и вы согласитесь, что в течение сего времени наделали мне тысячу пакостей. Вы не столько крали плодов из моего огорода, сколько портили растений. Я отсюда отъезжаю надолго, а может быть и навсегда. При прощанье хочу сделать вам добро, надеясь, что вы будете это помнить, и не иначе станете кормиться, как честными трудами. Дом мой хотя не велик, но все больше этой хаты, а притом устроен весьма выгодно. На дворе есть сарай, наполненный огородными орудиями, самый огород изобилует плодами всякого рода; все это дарю я вам, всем вообще. Довольны ли вы?

Бурсаки, поражены будучи такою неслыханною щедростию, таким неимоверным великодушием, потупили в землю глаза, наполненные слезами. Король продолжал:

— Консул, как и ныне, будет иметь главный надзор за новым имением; все же вы, наверное, станете прилежно смотреть за целостию вашего имущества, дабы другие не делали вам таких же опустошений, какие вы мне делали. Вот, консул, возьми сие письменное свидетельство, коим я навсегда делаю всех вас моими законными наследника-

ми, и вот двадцать злотых, на которые завещаю приготовить сытный обед. Через час, или и ближе, я с другом Неоном оставляю город, и вы в то же время можете переселиться в новое свое жилище.

Король умолк. Тут консул Кастор мерными шагами выступил вперед, распрямился и, левую руку приложа к груди, а правую возвыся наравне с головою, произнес:

— Великодушный Король! что мы чувствуем в полной мере раскаяние за причиненные тебе обиды, то видишь ты из глаз наших. Принимаем щедрый дар твой с благодарностию. Если ты отправляешься в путь, то да будет господь бог и к тебе столько милосерд и благ, сколько ты к нам таковым оказываешься!

— Довольно! — сказал с кротостию Король, обнимая Кастора,— и я умоляю бога, чтобы он благоволил внять доброму желанию всей братии. Простите!

Я также с братской нежностию обнял друга юности моей, и мы с Королем вышли из бурсы.

— Теперь надобно еще разделаться с нашими пленными,— сказал старик,— и мы расквитаемся с Переяславлем.

Вступив на двор, я увидел у крыльца два добрых коня в дорожном уборе, а на крыльце сидели шесть вчерашних гостей. По приказанию хозяина, Епафраса первого вывели из заточения. Он сильно переменился в лице; растерзанное женское платье делало его похожим на пугало.

— Сын Истукариев! — сказал Король,— хотя ты и стоишь наказания за соучастие в злом умысле отца своего, но кажется, что ты и так уже достаточно наказан. Покажите мне прочих!

Когда выпустили из сарая трех телохранителей, то мы ахнули. Они были так избиты, измяты, истерзаны, что более походили на теней, вышедших из чистилища, чем на людей православных. Ни одного чуба, ни одного уса не осталось в целости; лица их, испещренные язвами, походили на зрелые мухоморы.

Король, осмотрев каждого порознь, сказал, покачав головою:

— Не рыть было другому ямы! Ступайте к своему пану Истукарию и скажите ему, что видели и слышали.

Бедняки поклонились в ноги великодушному врагу своему и, подобрав остатки висевшего на них женского платья, бросились со двора и пустились по улице.

Король, дав еще денег услужливым крестьянам, велел им идти в корчму и попировать за его здоровье; сам же, сопровождаемый мною, вошел в светелку, пал на колени пред изображениями угодников и начал молиться. Я следовал его примеру. По исполнении сего приятного долга вышли на крыльцо, сели на коней и пустились со двора, а там из города.

Когда мы были от оного верстах в пяти, то дали коням отдых и поехали шагом. Мы продолжали путь свой местами прекрасными, каких я до того времени не видывал. Небольшие холмы, пересекаемые долинами, покрыты были благословенными нивами, и взору представлялось необозримое золотистое море; кое-где по дороге росли вишневые и шелковичные деревья, могущие под тенью своею успокоить усталого путника или хлебопашца. Я любовался сею прелестною картиною и не мог насытить своего зрения; но, взглянув на Короля, с удивлением заметил, что он тяжело вздохнул. На вопрос мой о причине такового уныния при воззрении на смеющиеся виды он отвечал:

— Увы! может быть прежде, нежели трудолюбивый селянин соберет в житницу свою сии плоды потовых трудов его, они будут преданы на жертву пламени или потоптаны конскими ногами и окроплены кровию человеков. Такова всегда участь войны. Необходимость иногда заставит выжечь собственное поле и обрушить свое жилище.

Слова сии разлили уныние и на моем лице. Несколько времени ехали мы в молчании, и наконец я спросил:

— Куда мы едем?

— Разумеется,— отвечал Король,— что я не оставлю сей стороны, не простясь с другом моим Мемноном; но сию околичную и дальнюю дорогу избрал я нарочно для избежания погони от Истукария. Неужели думаешь, что сей надменный пан равнодушно снесет свою обиду, которая и в самом деле не есть мнимая, и простит тебя великодушно за то, что ты ускользнул от него небитый и с целыми ушами и усами? Никак! Если два человека, а особливо когда в сем числе будет женщина, знают какую-либо тайну, то она останется тайною не более суток, хотя бы обнаружение оной влекло за собою беду очевидную; посуди же, могут ли остаться скрытными происшествия в беседке и в моем огороде, где столько народу участвовало? Я уверен, что о сем трубят в целом Переяславле, в домах, на улицах, на базарах и в шинках. Как же Истукарию оставаться

спокойным слушателем? Это было бы несогласно ни с его нравом, ни с достоинством дворянина, ни с чувствами всякого отца, справедливо раздраженного! Однако солнце гораздо за половину, и надобно дать коням отдых. До хутора Мемнонова еще не близко, однако же сегодня доедем. Мне довольно знакомы места сии. Кажется, за тем молодым лесом есть деревушка и корчма. Спросим-ка у этого крестьянина, который пашет землю, вероятно, для посева гречихи.

Мы поворотили коней с дороги. Крестьянин, который был от нас саженях в двадцати, кинул свой плуг и волов, опрометью бросился к телеге и скрылся за нею. Я хотел спросить у своего спутника, чего сей мужик испугался; но он, усмехнувшись, сказал:

— Я догадываюсь, что это шляхтич.

Минуту спустя последовало превращение. Из-за телеги показался и шел прямо на нас мужчина в синем поношенном жупане; длинная сабля волоклась за ним. Довольно издали он снял шапку, поклонился с ласковою улыбкою и вскричал:

— Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалею, что замок мой не близко отсюда, а время настает полдничать. Во время полуденного зноя я немного уснул, а бездельники, мои подданные, воспользовались сим случаем и разбрелись до одного. Впрочем, господа, если вы чувствуете позыв на еду, то милости прошу пожаловать к моей бричке. Там найдете вы свиное сало, мягче и вкуснее всякого масла, довольное число преизящных луковиц, величиною с рослую репу, и хлеб, какого лучше не ест и сам гетман.

Король, расспросив его о ближней деревне и узнав, что он не обманывается, опустил в карман руку и вынул два злотых, сказав с великою важностию:

— Господин кавалер! просим извинить, что мы у тебя полдничать не будем, ибо спешим к месту, где нас ожидают; однако ж ты представь, что мы поели твоего хлеба-соли, и в знак памяти прими сию малость.

Тут опустил он свои злотые в шапку нового знакомца, а сей, поклонясь учтиво, сказал:

— Ин прощайте, господа кавалеры! Деньги же сии я отдам первому прохожему, который пособит мне сесть на иноходца. То-то добрый конь! Ни у кого из соседних дворян нет подобного.

Он положил деньги в карман и с великою важностию пошел к своей бричке, а мы далее поехали.

— Что за оборотень! — вскричал я, не могши удержаться от смеха.

— Этот бедняк,— отвечал Король,— заражен язвою, которая из Польши перелилась в Малороссию и великое множество крестьян лишила рассудка. Обработывание отеческих полей показалось им низким занятием. С ущербом большей части имущества каждый из таковых безумцев достал себе какие-то свидетельства на дворянское достоинство — и ходит при сабле; но как терпеть голод никому не хочется, то они, хотя с отвращением, должны обработывать свои нивы, не пропуская, однако ж, случая выказывать мнимое свое благородство. Пробыв в поле или в лесу целую неделю, занимаясь паханьем земли или рубкою дров, в воскресный день таковой дворянин является в церкви при сабле, с закрученными усами; курительная трубка и мешок с табаком заткнуты за пояс, и он выступает как вельможа.

Отдохнув в сказанной деревне, мы пустились в дальнейший путь и еще засветло прибыли в хутор Мемнона и приняты как друзья и родные. Евлалия была очень ласкова, а прелестная Мелитина весела и внимательна к доставлению нам возможного удовольствия. По предварительной просьбе моей Король ничего не говорил сему любезному семейству об истинной причине удаления нашего из Переяславля. К немалому моему утешению, следующие три дни были самые ненастные, и так я беспрестанно имел случай наслаждаться рассматриванием прелестной Мелитины. Я часто бывал с нею один на один, собирался открыть весь пламень моего сердца и всякий раз откладывал до другого времени— непонятная робость оковывала губы мои: я довольствовался смотреть ей в глаза, ловить милую улыбку и восхищаться втайне.

Настало ведро. Ах! какими пасмурными глазами смотрел я на все предметы, освещаемые солнцем. Час отъезда настал. Я проливал слезы, и мне показалось, что и Евлалия и Мелитина несколько раз отворачивались в сторону и утирали глаза свои. В беспамятстве бросился я на коня и, сопровождаемый Королем, выехал из жилища, где оставались все мои радости, все надежды на блаженство.

Часть вторая



Глава I

Пустынник

С самого утра до заката солнечного мы почти не слезали с коней.

— Я решился,— говорил Король,— в этот еще день поспеть в село Глупцово, дабы от Переяславля по дороге к Пирятину быть в таком же расстоянии, в каком были мы, находясь в усадьбе Мемнона. Надобно было ехать обратно почти мимо самого города; но я Истукария не боялся. Если он искал нас столько времени тщетно, то, наверно, теперь оставил уже намерение найти. Мы недалеко от упомянутого села, следовательно, почти в тридцати верстах от Переяславля.

Когда он говорил сии слова, то лошади остановились, подняли уши и попятились назад. Осматриваясь кругом, мы увидели, что под диким вишневым деревом лежал пожилой казак с протянутою рукою.

— Милосердые господа! — говорил он томным голосом,— если в глазах ваших чего-нибудь стоит человек, изувеченный за честь своей отчизны, то не оставьте меня в сем жалком положении без помощи. Взгляните на мои раны и умилосердитесь!

Он хотел было распахнуть грудь, но Король, быстро к нему подъехав, вскричал:

— Не надо! мы не хотим, чтобы ты для приведения нас в жалость растравлял свои раны. Скажи, где и как получил ты оные?

Казак, принеся богу благодарность, что нашел таких великодушных людей, кои, не осмотрев даже и ран его, склоняются на милосердие, сказал:

— Принадлежа, по благости промысла, к сословию дворянства, но не имея никакого имущества, кроме сабли, я вздумал воспользоваться обстоятельствами и пойти в Ба-

турин для присоединения к ратникам гетманским. В одной корчме, недалеко отсюда, столкнулся я с несколькими польскими всадниками. Они стали насмехаться надо мною, и это я снес терпеливо, ибо и в самом деле одет и вооружен был хуже последнего из них. Снисхождение мое, видно, приписали они трусости и вздумали озорничать. Повертывая меня на все стороны, они, будто нечаянно, щипали за волосы, дергали за усы, толкали под бока, словом, старались вывести из терпения. «Правду сказать,— вскричал один из нахалов, захохотав во все горло,— если гетманские витязи все таковы, как сей богатырь, то мы у его высокомочия пострижем лишнюю шерсть, ибо он не что иное, как мохнатый баран».— «Если и так,— сказал я, подняв вверх взъерошенные усы,— что гетман наш есть баран, то в повелениях его находится много волков и медведей, которые в состоянии оторвать головы польским зайцам и лисицам». Такое удачное сравнение их взбесило. Сперва в действии были одни кулаки, а вскоре дошло и до сабель. Не хвастовски сказать, я ратовал храбро, и кровь польская разливалась по полу; но что может сделать самый смелый и сильный медведь против великого множества собак? Они непременно его одолеют. Так вышло и со мною. Супостаты меня обезоружили, изранили и, отняв кошелек, в коем было медными деньгами не менее пяти злотых, вытащили из корчмы и кинули середи улицы. Теперь я по необходимости должен возвратиться на родину; но без помощи милосердых людей не могу сего сделать.

Во время такого плачевного рассказа Король несколько раз опускал руку в карман и вынимал полную горсть денег, но, к несчастью, они все были золотые.

— Неон! — спросил старик,— нет ли у тебя серебряных денег?

— Ты знаешь,— отвечал я,— что они уложены в дорожной суме.

— Как же быть? — сказал он сраженному воину.— Ночь на дворе, и тебе не оставаться в поле. Попробуй дойти с нами до ближнего села; там мы тебя накормим и дадим на дорогу денег.

Больной с благодарностию на сие согласился, кое-как поднялся на ноги и, опираясь на костыль, побрел за нами. Мы нарочно ехали шагом, а иногда и останавливались, дабы не потерять его из виду, и в сумерки прибыли в село, где, остановясь в корчме, заказали ужин и велели хозяину накормить нового нашего знакомца, коему дав, сверх того,

несколько злотых, отпустили с миром. Он, пожелав нам за таковую щедрость седмеричного воздаяния от праведного неба, удалился. Мы провели вечерок в разговорах самых разумных и уснули весьма покойно.

Поутру, когда я и Король, сидя у окна в ожидании завтрака, припоминали прошедшее и я собирался уже просить его об извещении меня, кто таковы мои родители и кто он сам таков, вдруг корчмарь ввел старика степенного вида в простом платье. Он поклонился нам со смирением и сказал:

— Мой честнейший пан Урпассиан желает вам здравия и долгоденствия. Он прислал меня просить вас всеуниженно почтить день его рождения и разделить сельскую трапезу.

Мы взглянули друг на друга и не знали, что отвечать посланному от неизвестного пана Урпассиана.

— А кто таков господин твой? — спросил Король,— и почему нас знает, когда мы в первый раз о нем слышим?

— Он вас довольно узнал сего самого утра,— отвечал незнакомец.— Израненный казак, коего вчера призрели вы и облагодетельствовали, случайно прибился к летнему жилищу нашего господина и все подробно рассказал ему. Этого достаточно было, чтобы тронуть великодушное сердце его, и он тотчас велел мне взять лошадь, скакать сюда и умолять вас не презреть его приглашение. У него лишних людей не будет, а только несколько неимущих братий, которые привыкли посещать его временно и безвременно и которых он всегда угощает с добродушием.

— Но кто он таков,— спросил Король,— и где его жилище?

— Он,— отвечал слуга с тяжким вздохом,— был такой же витязь, как и вы; служил при дворе, сражался и в поле и везде заслужил отличие. Но злобная жена и распутные дети сделали свет для него омерзительным, и он решился остаток жизни провести в уединении и пещись о спасении души своей. Он продал все свое имение и зиму провождает с верными служителями где-нибудь в монастыре, а весну и лето — в садах и рощах. Теперь обитает он в недальней прелестной роще, где и вас нетерпеливо ожидает. Если вам у него полюбится, то можете прожить сколько хотите; если же нужда заставляет спешить куда-либо, то из-за обеденного стола изволите сесть на коней — и с богом. Он никого не неволит.

Король, подумав несколько, сказал:

— Последнее условие мне нравится, ибо мы и подлинно спешим достичь до назначенного места. Но тебе нас дожидаться долго, ибо обеденная пора настанет не скоро. Поезжай к своему господину, объяви наше почтение и готовность разделить его трапезу, а около полудня приезжай сюда опять, дабы проводить нас.

— Господа! — воззвал слуга,— пока будете вы завтракать, что и я намерен сделать, пока подбреют вам усы и чубы, пока оседлают коней, то будет около полудня, и мы поспеем к Урпассиану в самую пору.

— И то правда,— сказал Король.

Слуга Урпассиана не обманулся, ибо, пока мы собрались, то было уже не рано; итак, не мешкав нимало, мы отправились. Пробыв около получаса в дороге, мы подъехали к дремучему лесу.

— В сей-то роще,— воззвал слуга,— спасается теперь господин мой. Он молится богу, прогуливается, читает душеполезные книги, угощает бедных и странных и не видит, как день проходит за днем. Хотя он довольно достаточен, но с богатыми людьми не ищет знакомства, разве о ком прослышит что-нибудь необыкновенно доброе и великодушное, как, например, о вас. Как же он рад будет, увидя, что вы не презрели его желания и не отреклись посетить его пустыню.

Говоря таким образом, мы продолжали путь, беспрестанно виляя то направо, то налево, ибо ехать прямиком было невозможно по причине густоты леса, переплетшихся кустарников и опрокинутых деревьев.

— Не охотник ли господин твой ходить за дикими зверями,— спросил Король с некоторою досадою,— что забился в такую трущобу? Здесь скорее встретишься с медведем, чем с человеком!

— Слава богу,— отвечал слуга,— мы про зверей не слыхали и живем здесь, как в самой лучшей крепости.

Промаявшись в сем лесу более часа, на каждом шагу защищая лицо, чтоб сучья не выбили глаз, очутились мы у входа в приятную долину, испещренную различными цветами. По одну сторону оной раскинута была просторная палатка при корне древнего развесистого дуба, откуда вытекал источник чистой воды; по другую сторону человек около полусотни нищих и увечных всякого рода сидели кружком на траве, ели и пили. Едва мы, подражая слуге,

соскочили с коней и привязали их к древесным ветвям, как показался из палатки пан Урпассиан. Он был пожилой, но крепкий мужчина, одетый в купецкое платье, с полуседою бородою. Подошед к нам быстрыми шагами, обнял обоих с сердечным добродушием и сказал:

— Стократно благодарю вас, что вы не презрели приглашения простого пустынника. Правду сказать, узнав вчерашний добродетельный поступок ваш с раненым земляком нашим, я ожидал от вас сего великодушия; а притом на опыте знаю, что люди, обыкновенно проживающие среди городского шума, находят иногда удовольствие провести несколько часов в старческой келье. Прошу за мною, дорогие гости. По ту сторону палатки, под ветвями великолепного дуба, готовый обед нас ожидает.

Мы сели на траве и начали насыщаться. Как в пище, так и в питье было великое изобилие. Хозяин с минуты на минуту становился веселее и, как приметно было, хотел и нас видеть веселыми. Он беспрестанно потчевал самыми вкусными наливками.

Во время сего лесного пиршества, которое ни в чем не уступало городскому, Король несколько раз заводил речь о таком чудном роде жизни и изъявлял желание знать обстоятельные тому причины; но вежливый хозяин вопросы сии отклонял весьма искусно и наконец сказал с откровенною улыбкою:

— Почтенные гости! хотя я возымел об вас по одному слуху самое доброе мнение, а с первого взгляда полюбил от всего сердца, однако согласитесь, что мы еще не столько знакомы и уверены один в другом, чтобы не было ничего между нами тайного и что прилично только между друзьями, давно испытанными.

Король весьма похвалил такое благоразумие, и мы встали, чтобы поблагодарить бога за дары его. Я чувствовал, что не твердо стою на ногах; голова кружилась, и глаза слипались. Король объявил, что точно то же чувствует.

— Любезные гости,— сказал пан Урпассиан,— прошу не принуждать себя! Я сам привык после сытного обеда несколько отдохнуть, а потому советую и вам подражать моему примеру.

Я хотел что-то сказать, но язык не двигался, ноги поколебались, и я, опускаясь на траву, успел только приметить, что друг мой Король лежал уже растянувшись.

Когда я пробудился и открыл глаза, то удивление было не малое. Густой мрак окружал всю природу; глубокая

тишина господствовала; небо усеяно было звездами. Я привстал, перекрестился и начал осматриваться кругом. Скоро я мог уже различать предметы, и прежде всего постиг, к великому ужасу, что сижу в одной сорочке; недалеко от меня храпел Король точно в такой же одежде; на обоих не было даже шаровар и сапогов.

«Что за диковина! — думал я,— неужели заботливый Урпассиан велел раздеть нас почти донага, дабы могли мы спать покойнее? И для чего не прикрыть чем-нибудь? Пора ночная и места лесные». Осматриваясь далее, я ничего не видал, кроме деревьев и кустарников; на месте, где стояла палатка, торчали одни колья. Я в другой раз перекрестился, встал, обошел кругом всю долину, но нигде не видно было ни следа существа живущего. Облокотясь на пень дуба, служившего мне покровом во время задачливого отдохновения, я силился обдумать все части сего происшествия, и наконец должен был сознаться самому себе, что мы с Королем порядочно одурачены. «Точно так,— сказал я вполголоса,— вчерашний израненный казак есть не что другое, как мошенник из шайки Урпассиана, который, как по всему видно, есть начальник оной; во время обеда в подносимые нам наливки подмешано было сонное зелье. Пусть я, неопытный бурсак, привыкший видеть всегда открытые лица своих товарищей, мог обмануться в сем случае, но Король, прошедший, по словам его, сквозь огнь и воду, и сам Король также не мог заблаговременно спохватиться!»

В воздухе начало сереть, и холод стал ощутителен; я нарвал несколько охабок травы, прикрыл оною своего спящего друга, и сам, зарывшись в такое же одеяло, с нетерпением ожидал зари утренней. Пение лесных птиц возвестило восшествие на твердь небесную лучезарного светила, и я опять поднялся на ноги. Осматривая вновь пагубное место сие, я увидел на нижней ветви дуба повешенное на нитке письмо. Зная наверно, что оно принадлежит нам, я снял, развернул и прочел следующее:

«Любезные друзья!

Вы зашли в сию прелестную рощу по моему приглашению, так справедливость требует, чтобы я помог вам и выйти из оной. В двух саженях от знакомого вам дуба увидите старую липу; ступайте прямо по направлению от дуба до липы, и вы скоро выйдете из леса, а там достигнете и

селения, где за день останавливались. По пробуждении вы найдете себя в такой легкой одежде, что соблазнительно было бы являться на глаза целомудренных женщин; для избежания сего прикройтесь одеждой, которую найдете в дупле упоминаемой липы, где хранится для вас и завтрак. Хотя вы вчера и хорошо покушали, но все-таки не мешает на дорогу подкрепить силы. Видите, как я великодушен! На прощанье даю вам, а особливо тебе, старый фалалей, добрый совет, не быть слишком легковерным и не думать, что накормить голодного и дать ему несколько злотых есть такое великое дело, что слух о нем пронесется до концов вселенныя.

Урпассиан».

Глава II

Новый друг

Когда я кончил чтение сего ругательного письма, то Король чихнул, потянулся и открыл глаза. С удивлением осматривал он самого себя, меня и окрестные предметы. Наконец встал, отряхнулся и, подошед ко мне, спросил:

— Что это значит?

— Не больше и не меньше,— отвечал я,— как что мы оба — набитые дураки.

С сими словами я подал ему письмо. Король прочел и, сердито потирая рукою чуб, произнес:

— Проклятый обманщик! Возможно ли обокрасть так хитро? Он, однако, говорит правду, называя нас дураками, а особливо меня. Куда теперь пустимся без денег, без коней, без оружия?

Он задумался и, с важностию закручивая усы, медленными шагами ходил вокруг дуба. Я машинально следовал по пятам его, и когда Король оглядывался назад, то мы печально смотрели друг на друга и продолжали хранить молчание. Так прошло около получаса, и друг мой, остановясь, сказал:

— Нечего больше делать! Оденемся в оставленное нам платье и пойдем в село Глупцово. Слава богу, что мы вчера не совсем одурели и не взяли с собой дорожной сумы. Там найдем по паре хорошего платья и несколько сотен злотых. Я найму коня и с половиною денег поскачу в хутор к Мемнону, а ты останешься на месте и меня дождешься.

— Почему же и мне не ехать вместе с тобою? — спросил я торопливо.

— Совсем не для чего,— отвечал он довольно сурово,— ты будешь мне только остановкою в пути; а потом не забудь, что должно ехать почти мимо самого Переяславля.

Я вздохнул и дал согласие терпеливо ожидать его возвращения.

Осмотрев пространное дупло липы, мы нашли, что на связке платья, покрытой древесными листьями и травою, лежал кусок жареной баранины, две булки и щепотка соли, а в углу стояла небольшая сулея с вином. Вынув сей завтрак, вытащили и связку; но кто опишет изумление наше, когда, развернув ее, нашли одно платье монашеское, а другое женское, крестьянское. Мы не могли удержаться от смеха.

— Ах, насмешливый злодей! — вскричал Король,— как мы в сем уборе покажемся в люди? Не сочтут ли нас самих или сумасшедшими, или мошенниками?

— Не лучше ли мы сделаем,— сказал я, приняв вид глубокомысленного,— когда, одевшись и поевши хорошенько, проберемся только до конца сего проклятого леса, а к селу пойдем ночью. Пусть же посмеется над нами один жид с семейством, а не целое селение.

Король похвалил мое предложение, и мы превратились — он в смиренного инока, а я в стыдливую красавицу. Совершив сей подвиг, мы принялись за сулею, булки и баранину, не переставая удивляться своей оплошности и лукавству Урпассиана, который, по всему вероятию, проведав о нашем имуществе от мнимого раненого казака, который в самом деле есть его сообщник, выдумал средство постричь нас в болваны.

Среди сих рассуждений и замыслов о будущем послышали мы невдалеке разные смешанные голоса и вскоре увидели множество людей, прямо на нас бегущих. Они были исправно вооружены, итак, не мудрено, что мы сочли их за разбойников. Когда сии пришельцы нас окружили, то начальник подошел с язвительною улыбкою и сказал:

— Хлеб да соль, честный отче! В какую обитель провожаешь ты эту прелестную девицу? Как же хороша она! какой щегольский чуб! какие нарядные усы! Не хочешь ли, преподобный, прогуляться с нами в город Пирятин, где войсковой старшина давно уже приготовился принять тебя в свои объятия!

— Не для чего,— отвечал Король равнодушно,— мы и без тебя знаем дорогу, которой идти надобно.

— Не упрямься, богобоязненный отшельник,— говорил пришлец,— если не хочешь, чтобы тебя поволокли туда связанного.

— А какими ты нас почитаешь? — спросил Король, взглянув на него сурово.

— Отвечать не мудрено,— сказал тот,— вы мошенники и разбойники, которые прославились во всей здешней округе. Неужели думаете, что, нарядясь не в свои платья, можете обмануть есаула Кошку? Нет, друзья мои! не на такого напали! Полно вам проказничать; пора приняться за покаяние.

Король, видя, что от есаула Кошки не легко отделаться, почел за лучшее рассказать ему обстоятельно случай, познакомивший нас с плутом Урпассианом, а в доказательство истины подал ему письмо. Есаул, с сомнительною улыбкою оборачивая хартию на все стороны, спросил у подчиненных, нет ли кого из них, который умел бы прочесть? К счастию, такой мудрец нашелся, и письмо прочтено во услышание всех.

Есаул долго стоял задумавшись и наконец сказал:

— Очень жаль, если ты говоришь правду и вы в самом деле честные люди; но в этом надобно удостовериться; ибо Урпассиан ваш имеет более сотни имен и столько же разных облачений. Он является поляком, черноморцем, туркою, паном, нищим, молодым человеком, стариком — чем вздумается,— и под сими прикрасами грабит честных людей и веселится на их деньги. Он имеет многолюдную шайку, состоящую из отличных плутов разного рода, которые, по примеру своего начальника, расползаются повсюду, по хуторам, селам и городам, обманывают, крадут и делают бесчинства неслыханные. Если и подлинно вы оба не сего участка люди и одурачены плутом, то стоит вам дойти с нами до села Глупцова, и как скоро там подтвердится, что теперь слышу, то ступайте, куда хотите, а мне придется опять заботиться о поимке мошенника.

— Но как,— возразил Король,— в столь неприличном наряде показаться нам середи дня между народом?

— Если вы честные господа и не скупы, то горю сему пособить можно. Двух человек из моих подчиненных раздену до сорочки, и в их платье вы можете одеться, а пришедши в корчму, пришлю оное сюда обратно.

Король обещал за каждую пару по два злотых и тотчас

получил желаемое; мы переоделись и отправились в село Глупцово.

Прибыв на место, мы многолюдством своим привели всю корчму в волнение. Жид объявил всенародно, что нас знает, что мы у него ночевали и что ездили куда-то в гости.

— Теперь ясно,— сказал есаул, потирая лоб,— и вы оба свободны; оденьтесь в свои платья, а эти отошлем хозяевам.

Король велел принести дорожную суму, и жид всполошился.

— Как! — воззвал он, повертывая на голове еломок свой,— не вы ли вчера, несколько за полдень, присылали сюда того самого слугу, который с вами отсюда поехал, чтобы он привез вам и суму, у меня оставшуюся?

— Бездельник! — вскричал Король с великим гневом,— как смел ты чужие пожитки отдавать неизвестному человеку без подлинного на то приказания?

— Но он сказал,— продолжал жид,— что вы оба то приказывали! Чем я виноват? Почему мне знать, что человек, с которым вы вместе едете, незнаком вам совершенно?

Король шумел, бранился, грозил; но все взяли сторону жида, а нас единогласно обвиняли в легковерии и глупости. После нескольких споров, упреков, несогласий жид решился дать Королю сто злотых в долг за христианские проценты на шесть дней за тридцать злотых, а я должен оставаться вместо залога. С есаулом Кошкою разделались честно, дали вдвое сверх условленной платы, только бы платья, на нас бывшие, продержать могли целую неделю; а сверх того, как он, так и сопутники его щедро употчеваны. После сего Король не хотел медлить ни одной минуты; он отсчитал мне двадцать злотых, сел на жидовскую клячу и отправился в путь.

Остаток дня проведен мною очень скучно. Живя в бурсе, а после в доме Истукария, я привык к многолюдству, и оставаться совершенно одному было для меня тягостно; почему на другой день вздумал осмотреть на досуге все окрестные места и попытаться, не открою ли где следов грабителя Урпассиана и не найду ли способа возвратить потерянное. В сем намерении вышел я из селения и побрел куда глаза глядели.

Шатавшись более трех часов, я почувствовал усталость и жажду. Осматриваясь кругом, увидел недалеко подле

проселочной дороги корчму и с радостию направил к ней стопы свои. Я не мог не заметить в стороне богатого хутора. На возвышенном холме расположен был господский дом, наружным видом походивший на укрепленный замок, могущий выдержать упорную осаду; в некотором отдалении разбросано было до двадцати крестьянских хат; синеющиеся рощи и сады со всех сторон окружали сию усадьбу и широкая речка протекала вдоль всего поместья. Сидя под навесом корчмы, я забавлялся вишневкою, и мне пришло на мысль тут же и отобедать, а к ночи только возвратиться на свое пепелище. Когда я давал о сем приказания своему хозяину, вдруг явился перед нами дородный мужик, неся на плечах стреноженного барана.

— Жид! — сказал он,— купи у меня барана, молодого, жирного барана!

— Нет, Влас, нет! — вскричал жид, пятясь назад,— мне во всю жизнь не забыть, что я прошлого лета купил у тебя корову. Пан Истукарий взял с меня втрое дороже, нежели чем она стоила бы в самое дорогое время. Убирайся с своим бараном далее или приноси что-нибудь свое, а не панское, ибо я знаю, что баран сей не твой.

Сказав сие, жид вошел в избу, а мужик со вздохом сложил со спины барана на землю, развязал и дозволил бежать к стаду, пасшемуся на лугу в виду нашем. Имя Истукариево меня поразило, и я тотчас мог догадаться, что видимые мною хутор и господский дом принадлежат ему и, почему знать, может быть тут-то заключена нежная, пламенная Неонилла! Надобно воспользоваться случаем!

— Влас! — сказал я,— для чего ты, зашед в корчму, ничего не выпьешь?

— Ох! — отвечал он пасмурно,— на это есть самая законная причина!

Тут выворотил оба пустые кармана.

— Ты будешь пить самый лучший пенник,— сказал я,— если согласишься побеседовать со мною, а между тем и пообедаем вместе.

Влас оторопел от радости и удивления. Получив от меня деньги, бросился он в корчму и возвратился под навес вооруженный сулеею и чаркою. Когда опорожнил он два раза сряду сию меру, то с улыбкой обтер усы и, севши на лавку против меня, сказал:

— Куда как милосерд господь бог, что даровал бедным людям такой дорогой напиток! Если я опорожню одну

чарку, то пан Истукарий не кажись мне и на глаза: как раз утру нос!

Следуя моему намерению, я потчевал Власа щедрою рукою, и когда мы окончили обед, то он был в самом лучшем расположении духа. От него узнал я, что Неонилла и действительно заключена в сем хуторе и находится под неослабным надзором его жены, ее сестры и матери, которые все, по словам его, были совершенные ведьмы.

— Днем,— говорил Влас,— они поочередно стерегут молодую госпожу, а мне дозволяется в это время спать, сколько душе угодно, и за стадом смотрит один брат мой Вукол; зато уже ночью Влас не дремли. Я безвыходно должен быть в передней господского дома, и без моего ведома не прокрадется во внутренние покои и муравей.

— Хлопотлива же твоя должность! — сказал я,— ты, верно, охотно бы от нее отказался?

— Все бы ничего,— отвечал Влас,— если бы во время ночного бдения была со мною сулея с добрым вином; а то, посуди сам, если ты человек крещеный, каково мне сидеть одному в маленькой горенке, впотьмах, с засохшим горлом? Да я к тому ж не понимаю, зачем стеречь так строго Неониллу? Люди и без того ее не видят; а если нечистая сила вздумает загулять к ней, так и сто таких Власов, как я, не усмотрят.

У меня сейчас родилось прекрасное намерение воспользоваться простотою сего человека и хотя однажды взглянуть на нежную красавицу, страдающую за то, что я сильно ей полюбился. Тут сожаление, чувственность, гнев на притеснителя и обиженное самолюбие начали действовать надо мною соединенными силами.

— Послушай, Влас! — сказал я,— ты человек добрый и умный, и я полюбил тебя с первого взгляда. Товарищ мой, с которым еду в Батурин, возвратится ко мне в село Глупцово не прежде трех или четырех дней. Доволен ли будешь ты, если предложу тебе быть ночным твоим собеседником? Вина у нас всегда будет вдоволь; мы станем попивать, рассказывать друг другу были и небылицы и не увидим, как пролетит ночь, сколько б длинна ни была она. Рано поутру я отправлюсь каждый раз сюда, а вскоре прибежишь и ты. Мы поедим и попьем исправно и поспим сколько нам вздумается. Ну, дорогой Влас, нравится ли тебе мое предложение?

— Как бы не нравится,— отвечал он, потупя глаза на землю и чешась в затылке,— но как сему поверить!

С какой стати делиться тебе со мною вином, когда имеешь полное право пить его один? Видно, ты вздумал надо мною насмехаться?

— Напрасно так думаешь, Влас,— говорил я со всею искренностию,— я человек такого разбора, что не могу пропустить в горло ни капли вина, ни проглотить куска хлеба, если, по несчастию, сижу за столом один. Если бы и сегодня ты со мною здесь не столкнулся, то подозвал бы одну из дворовых собак и стал бы угощать ее, дабы придать себе к еде охоты. Сверх же того, я уже сказал, что полюбил тебя с первого взгляда и охотно бы хотел на несколько ночей быть твоим собеседником.

Влас не такой был дурак, чтобы заставить долго просить себя попить и поесть. Как скоро уверился, что над ним нимало не шутят, то обнял меня с нелицемерною радостию и условие заключено.

— Послушай, брат Галик (так я назвал себя),— сказал он,— проходить тебе до моей передней через весь пространный двор несколько опасно. Положим, что все люди будут уже спать; но кто усыпит проклятого Барбоса с детьми его и женами? Они такой поднимут содом, что весь двор встрепенется!

— И прежде замечено,— говорил я, подавая ему полную чарку,— что ты человек нарочито разумный. Вижу, что двором проходить неудобно. Нельзя ли через сад?

— Это-то самое и я хотел сказать,— отвечал Влас таинственно.— Дня еще осталось довольно, и ты успеешь обстоятельно рассмотреть нашу усадьбу. Идучи около сада стороною к полю, ты увидишь в углу забора старый огромный тополь, на коем иногда филин поет по ночам песни. Как скоро смеркнется, ты можешь перелезть со всем своим запасом через плетневый забор и засесть у корня сего дерева в густом бурьяне. Едва замечу я, что в хуторе все спят, то войду в сад, проберусь к тополю, прокричу трижды голосом филина, и ты выйдешь ко мне.

На сем глубокомысленном преднамерении мы остановились, обнялись по-братски, и Влас удалился. Лишь только солнце закатилось, я запасся изрядною баклагою лучшего вина и, освещаемый яркою зарею, пустился в путь. Мне весьма нетрудно было распознать описанный тополь, а перелезть через плетневый забор для всякого бурсака дело не хлопотливое. Усевшись в бурьяне, я предался сладостным мечтам о наслаждениях, меня ожидающих. Я нимало не сомневался в нежности прелестной

вдовы. Я сочинял страстные речи, придумывал пленительные телодвижения и самому молчанию придавал значительность взорами и вздохами. Я погружен был в сей обворожающей дремоте, как внезапно прокричал подле меня филин. Тотчас догадался я и избавил Власа надуваться напрасно для второго и третьего возгласа: я выскочил из бурьяна и при свете месяца узнал верного друга. Прежде всего я подал ему баклагу и просил отведать доброты вина. Когда он высуслил примерно четвертую долю напитка, то остановился, вздохнул и, утирая усы, сказал:

— Ты, друг Галик, знаток в вине; лучшего во всю жизнь пивать мне не случалось. Пойдем на место.

Пробираясь к дому, я выспросил у Власа, в котором месте опочивает Неонилла, долго ли поутру не выходит из спальни, в которую пору сменяет его жена или мать ее и проч. Наконец мы достигли передней и сели на лавке у окна, поставя между собою возлюбленную баклагу.

Глава III

Решительная любовница

Ночь была самая прелестная, из числа таких, какими древние и новые стихотворцы описывают те, в кои влюбленная Артемида ниспускалась с небесных сводов на долину Корийскую, дабы под тихим помаванием зефиров, при очаровательном сиянии звезд, дошед до кущи пастуха Эндимиона, напечатлеть поцелуй на устах счастливого смертного.

Я открыл окно и, обняв собеседника, говорил с набожным видом:

— Не правда ли, любезный Влас, что господь бог устроил все премудро? Согласись, что теперь, при чистом голубом небе, освещаемом серебристым месяцем, гораздо покойнее, приятнее, веселее пить хорошее вино, чем в жаркий полдень, когда человек дышит огненным паром? Выпьем же, милый друг, выпьем; а я между тем расскажу тебе повесть о золоторуком звере.

Я представился, что пью с великой жадностию, хотя не пропустил в горло и двух капель; зато нелицемерный Влас тянул вино, как грецкая губка, и после второго приступа, подобно ей, опустился. Во время чудесного моего повествования при каждом необыкновенном подвиге Влас

с восторгом вскрикивал, и я в тот же миг приставлял отверстие баклаги к отверстым губам его. Он это заметил и стал чаще восхищаться, следственно, чаще лобызался с баклагою и к полночи ошалел совершенно, не дождавшись окончания замысловатой повести.

— Влас! — сказал я,— не умнее ли сделаем, когда перестанем пить и рассказывать сказки. Я думаю, что лучше бы поотдохнуть. Ведь до солнца еще далеко.

— Теперь и я вижу,— пробормотал Влас,— что ты также неглупый человек!

С сими словами растянулся на лавке и захрапел.

Не теряя времени, я приступил к исполнению своего намерения. Проходя из комнаты в комнату, скоро очутился в той, где покоилась нежная Неонилла. Месяц светил прямо в окна спальни. Подошед к кровати, жадными глазами рассматривал я прелести спящей красавицы; кровь кипела в жилах моих, дыхание было прерывисто, и я запечатлел поцелуй на губах ее и стал на колени.— Она вздохнула, открыла глаза, привстала и, увидя меня, ахнула и опрометью опустилась опять в постелю.

— Милая Неонилла! — сказал я вполголоса,— неужели не узнаешь твоего верного Неона?

Она спросила трепещущим голосом:

— Как? это ты? Не верю!

Скоро Неонилла уверилась, а потом, привед чувства в порядок, спросила, каким образом удалось мне проникнуть в ее темницу.

— Любовь и не такие чудеса делает! — вскричал я с жаром молодого стихотворца.— Прочти Овидиевы «Превращения».

— Пропадай они! — сказала красавица, прижав меня к своему сердцу.— Зачем мне смотреть чужими глазами и ощущать чужими чувствами? У меня есть все свое, и этим своим хочу располагать по своей воле. Если я, будучи еще ребенком, в угодность родителям вышла замуж за ненавистного мне человека, то это было в первый и последний раз. Теперь, будучи возрастна и нося прозвание покойного мужа, кажется, без упреков совести могу воспротивиться незаконной власти. Помоги только избавиться из сей неволи, и ты увидишь, что не одним мужчинам дарована свобода располагать собою!

— Прелестная Неонилла! — сказал я голосом и с ужимкою философа,— ты рассуждаешь весьма разумно, но несколько не сообразясь с обстоятельствами. Самое важ-

ное препятствие к приведению себя в свободное состояние будет то, что ты одна и — без полушки денег! Итак, если душа твоя не терпит ига неволи, в коей тебя заключили, то благоразумие требует, чтобы ты обеспечила будущую свободу и на сей конец должно тебе притвориться, будто совершенно покоряешься воле твоих гонителей. Пользуясь общею доверенностью, можешь ты упрочить себе часть принадлежащего тебе имения, исправно позапастись деньгами и тогда уже объявить торжественно, что, кроме собственной воли, не хочешь знать ничьей посторонней.

Мысль сия показалась Неонилле премудрою, и мы тотчас составили план, как удобнее действовать в исполнение оной. Среди резвостей всякого рода мы и не видали, как прошла ночь и показалась заря утренняя.

— Любезная подруга! — сказал я,— время нам расставаться! Ах! сколько разлука сия ни терзает мое сердце, но необходимость не знает законов. Этому верили и древние философы, а новые и подавно должны верить.

— Я уже сказала тебе,— отвечала с живостию Неонилла,— что не хочу знать ни стихотворцев, ни философов. Видишь ли эту маленькую дверь? Она ведет в небольшой чулан, в коем хранится лишнее платье мое, отца моего и брата. Ты из него можешь сделать покойную постелю и провести там день; мое дело будет снабдить тебя питьем и пищею. Хотя, конечно, там не очень весело, но, вспомня, что вся будущая ночь совершенно наша, ты и скучать много не станешь.

Согласиться на такое предложение было с моей стороны, без сомнения, малодушно; но кто не знает прав красоты и молодости? Я не успел, так сказать, опомниться, как прошли уже три дня и три ночи, посвященные восторгам, упоению.

От моей любезной сведал я, что Влас и вся его семья, которой рассказывал он свое похождение, сочли меня за оборотня и, нигде не видя на другой и третий день, перестали и вспоминать о сказочнике.

В четвертое утро, едва убрался я в свой чулан и, разлегшись на связке белья и платья, хотел предаться покою после бодрственной ночи, вдруг слышу в опочивальне моей Неониллы необыкновенный шум и сейчас же распознаю ужасный голос Истукария.

— Преступная дочь! — загремел он,— мое родительское сердце смягчается, и я о тебе милосердую. Этому две причины: первая, что начального виновника нашего

посрамления, нечестивого Короля, я сейчас достал в свои руки, и он заперт уже здесь в овине, где находиться будет впредь до повеления на хлебе и на воде; а вторая, что ты имеешь достойного жениха, с которым весьма скоро соединишься узами брака. Едучи сюда, чтоб тебя о сем важном деле уведомить, я настиг на дороге Короля, и как я сопровождаем был двумя слугами, то без дальнего труда и пленил супостата. На нем-то намерен я выместить за все хлопоты, какие наделал нам беззаконный бурсак Неон. Будь готова послезавтрашнего дня встретить здесь жениха своего, пана богатого и знатного, человека с совершенным рассудком, словом — пана Варипсава.

— Праведное небо! — вскричала Неонилла.— Как? за того безобразного карлу?

— Какая тебе нужда до мужнина роста? — отвечал с досадой отец.

— Но он семидесятилетний старик!

— Тем скорее околеет и тебе достанется осьмая доля его имения. Впрочем, дочка, не забудь, что похождение твое с проклятым бурсаком известно целой округе, и это не безделльное обстоятельство! Но что пустое говорить! Дело это конченое! Вот тебе кошелек с тысячью червонными от нас на булавки, а этот ящик с бриллиантами прими от имени Варипсава. По некоторым причинам он желает, чтобы свадьба играна была в сем доме. Завтра я пришлю сюда всю кухню, буфет и нужных людей; послезавтра я, жених и все наше родство приедем с несколькими друзьями сюда же. Вы будете обвенчаны в ближнем отсюда селе Глупцове и, пропировав здесь дня два или три, возвратимся в Переяславль. Во время дней пиршества я хочу над плутом Королем потешиться. В палате веселия он будет связанный лежать под лавкою, и при каждом питье за здоровье получит в спину по удару арапником. О, если б злодей бурсак попался в мои руки, уж я знал бы, что с ним делать! Прощай, дочка! Я дал приказание не держать тебя взаперти более, и ты можешь прогуливаться, где пожелаешь.

Тут настало молчание, и не прежде как через четверть часа Неонилла вступила в мое узкое обиталище. Она смотрела на меня несколько времени молча, а я сидел на куче платья с потупленными глазами.

— Ну, Неон!— сказала она, наконец, весьма равнодушно,— что будем делать?

— Более ничего, прелестная Неонилла,— отвечал я

с печальным видом,— как только выпустить меня отсюда и дать свободу моему пленному сопутнику.

Она довольно долго опять молчала, потом сказав: «Жди меня здесь!», быстро убежала.

Я не успел еще обдумать плана к своему освобождению, как Неонилла возвратилась и, отворив мою келью, вскричала:

— Поднимайся на ноги и выходи в спальню. Она заперта изнутри, и не ворвется никто незваный.

Я исполнил ее приказание. Не быв никогда днем в сем очаровательном месте, я начал теперь оное рассматривать и нашел прелестным. Кровать, вместилище прелестей и утех, по убранству своему доказывала богатство Истукария и вкус его дочери; вдруг сия последняя предстала, и — к удивлению моему — с двумя связками платья.

— Вот тебе,— сказала она поспешно,— полная малороссийская пара отца моего: одевайся; а я надену сию польскую моего брата.

С сими словами начала она приводить в порядок свою будущую одежду и вскоре, сказав: «Одевайся, времени терять ненадобно!», скрылась за кровать свою.

Когда я, повинуясь решительному приказанию Неониллы, переоделся, то и она явилась также не в своем виде.

— Неужели ты, милый друг,— говорила она,— мог подумать, что я, в моих летах, с моим нравом, соглашусь быть женою дряхлого карлы? Избави меня всевышний от сего несчастия! Мне такой муж надобен, как ты. Слава богу, у меня теперь более денег, нежели сколько надобно, чтоб доехать до Киева. Тамошний воевода давно меня знает. Посредством сего вельможного пана я надеюсь выхлопотать следующую мне вдовью часть из имения покойного мужа, а ее достаточно будет, дабы содержать себя пристойно, пока судьба не соединит меня с таким мужем, какой собственно мне понравится, а не родне моей. В сем доме только и есть двое мужчин: Влас и брат его Вукол. Последний всякий день с утра до ночи со стадами в поле; а чтоб удалить и другого, то я, пользуясь данною мне свободою, подарила ему несколько злотых, завещав пропить их и проесть в корчме жида, где ты с ним познакомился. Я Власа знаю и уверена, что он до ночи не возвратится, а чтоб которая-либо из здешних женщин нас не обеспокоила, то я всех их заняла урочною работою.

Когда переодевание и вооружение кончилось, то мне вошла в голову предорогая мысль. Я сел за письменный

столик и написал к Истукарию письмо, которое Неонилла хотела прочесть, но я в том отказал ей.

— Любезная,— говорил я,— эта записка к твоему отцу и, признаюсь, не очень учтивая. Мое дело — другое, я не сын его; но тебе, согласись, не очень прилично читать шутки над родными, а особливо в таком случае, каков теперешний.

Неонилла охотно согласилась, и письмо положено на стол нечитаное.

Мы уже готовились выйти, как сопутница моя, вдруг остановясь, сказала:

— Мы забыли самое важное. Платья Королева и денег он, наверное, не тронет, но оружие отнимет, да и должен это сделать при таком случае; возьмем и для него саблю, кинжал и пару пистолетов.

Я выбрал сие оружие, и мы вышли из дверей.

Глава IV

Беспокойная ночь

Нам необходимо должно было проходить всем двором, чтобы добраться до юдоли, где Короля заключили. Все женщины нас увидели и тотчас узнали Неониллу. Они крестились, видя сие превращение, и не иначе сочли ее, как оборотнем, а меня — самым злым чародеем; также пугало их, что не видят Власа, который считался во всем доме человеком нетрусливым, а посему заключили, что и он, бедный, превращен в какую-нибудь мышь и спрятался под пол.

Я и Неонилла, достигнув овина, без труда отбили двери и вошли. Король ходил взад и вперед большими шагами. Увидя меня, он подбежал, обнял и спросил:

— Как, Неон! неужели и ты в плен попался?

— Напротив,— отвечал я,— мы пришли освободить тебя из плена. Вооружись (он и действительно был обезоружен) и ступай с нами; дорогой узнаешь больше.

Король был неленив: он препоясал меч-кладенец, заткнул за пояс кинжал и пистолеты (которые, впрочем, как и наши, были пусты, ибо во всем доме не нашли ни свинца, ни пороха), и мы все трое быстрыми стопами вышли из господского дома, а вскоре и из хутора и пустились по дороге к Пирятину.

— Чтобы нам не чувствовать усталости,— говорил я,— то любезный друг Король потрудится рассказать случай, по коему попался в полон.

— С охотою,— отвечал он и начал так: — Расставшись вчера с Мемноном и милым его семейством и получив все, что нужно к совершению предназначенного пути, то есть деньги и коня, я ночевал недалеко от Переяславля, а сегодня продолжал путь по дороге к селу Глупцову, где ты по условию должен был меня дожидаться. На половине дороги наехав на корчму, я вздумал позавтракать и кормить своего гнедого; почему, вручив его служителю, сам вошел в хату и велел изжарить дюжину перепелок. В скором времени в ту же комнату явился казак и, осмотрев меня внимательно, учтиво поклонился; я отвечал ему тем же. Когда принесен был завтрак и я принялся за него со вкусом мореходца, то пришлец сказал: «Ты соблазнил меня, пойду и себе заказать такое же блюдо!» Спустя немного времени по выходе он возвратился и, сидя подле меня, внимательно рассматривал мое вооружение. «Твоя сабля,— говорил он,— судя даже по ножнам и ефесу, должна быть хорошей доброты».— «Ты отгадал!» — «А пистолеты?» — «Не худой!» — «Я страстный охотник до хорошего оружия,— продолжал он с жаром,— и, не хвастая, скажу, что знаток в оном. Позволь мне посмотреть и полюбоваться!»

Говорится же: «И на мудреца бывает довольно простоты». Я, вынув из ножен саблю и из-за пояса пистолеты, ему отдал, а сам продолжал управляться с перепелками. Незнакомец подошел к окну, осматривал с видом удивления, делал разные пробы и, потихоньку приближаясь к дверям, мгновенно скрылся. Я оторопел и не знал, что об этом думать. Вдруг двери быстро открываются, и — представь мое удивление — я вижу врага моего, проклятого Истукария.

Тут я толкнул его в бок.

— Что ты толкаешься? — спросил Король и продолжал.— Вижу врага моего, проклятого Истукария, входящего с великою яростью в сопровождении двух казаков, из коих в одном узнал я похитившего мое вооружение и тотчас догадался, хотя и поздно, что они — его слуги и чего я ожидать должен. Истукарий, уподобляясь бесхвостому и комолому бесу, подбежав ко мне, возопил: «Наконец я поймал тебя, бездельник! Как осмелился ты ввести в почтенный дом злодея Неона, который обольстил

дочь мою Неониллу, нещадно побил сына моего Епафраса!» — «Лжешь ты, старый дуралей,— сказал я равнодушно,— твоя Неонилла...»

Тут я в другой раз толкнул его сильнее прежнего.

— Да что ты опять толкаешься? — спросил Король и продолжал: — «...твоя Неонилла обольстила Неона, а скверкавец сын твой Епафрас побит за то, что осмелился с дурным намерением залезть ночью в чужой огород. Стыдись, подлец!» — «Праведное небо, что я слышу и от кого!» — вскричал Истукарий и, подскочив ко мне, изрядно грянул по макуше. Я также приподнялся, запустил правую руку ему в чуб, и — по крайней мере третья часть оного полетела на воздух. Тут началось истинное побоище. Ты поверишь, надеюсь, что я сражался храбро; но где же одному медведю управиться с тремя волками? Меня сбили с ног, связали, выволокли на двор, взвалили на корчмареву телегу и повезли. Прибыв таким образом в хутор мошенника Истукария, меня внесли в овин, развязали и заперли. Вот тебе и повесть о моем плене; теперь твоя очередь рассказать, каким образом очутился ты в дьявольском доме и с помощию сего молодого человека освободил меня.

— Не премину сего сделать,— отвечал я,— но как уже полдень и обеденная пора приближилась, то о сем важном деле надобно прежде всего подумать. Я вижу там в стороне от дороги нечто похожее на хату; вероятно, это корчма. Мы поедим, отдохнем, и я расскажу тебе — с позволения сего молодца — повесть о случае, приведшем меня в дом друга нашего Истукария.

Сопутники мои согласны были на сие предложение, и все пустились к усмотренному убежищу; но на деле вышло, что оно было гораздо отдаленнее, чем нам казалось. Однако ж мы дошли и, к немалому неудовольствию, увидели, что это не корчма, а пустая хата, которая, как казалось, служила в случае нужды пристанищем дровосекам.

— Что ж будем делать? — сказал Король с досадою,— пойдем далее. Жаль, что, издали глядя на сию хату, мы соблазнились. Но это почти всегда случается с теми, которые, смотря на вещи издали, заключают о их доброте.

После сих слов мы пустились вперед.

— До Пирятина лошадей не найдем,— говорил Король,— итак, Неон, в другой раз не оплошаем. В первой корчме заведемся сумою и будем всегда иметь в ней дорожный запас, дабы не ложиться спать без обеда.

Идучи далее и разговаривая о всякой всячине, мы не-

приметным образом дошли до необозримого дремучего леса, облегающего пройденную нами долину целым полукругом.

— Куда занес нас лукавый? — ворчал Король.— Тут не скоро доберешься до какого-нибудь ночлега. Не лучше ли возвратиться назад и воспользоваться по крайней мере приютом в оставленной нами пустой хате? Теперешние обстоятельства, столько смутные в отношении к общему спокойствию, породили многие шайки разбойников, которые — как нам с тобою, Неон, и на опыте известно — под многоразличными видами производят грабительства всякого рода. Солнце клонится к закату. Кто скажет нам, куда выберемся в лесу сем? Не мудрено напасть на другого Урпассиана, который не будет доволен нашими деньгами и одеждою. Пойдемте назад,— я лучше ничего не придумаю, хотя бы думал до самой глубокой ночи.

— Ах! я не в силах,— сказала Неонилла томным голосом,— сегодня ни одна кроха хлеба не была во рте моем. Я не могу идти далее.

— Стыдись, молодой человек,— сказал Король довольно сурово.— Когда я, старик, у коего поизломаны кости во многих сражениях, который в течение жизни своей прошел столько тысяч верст, и я решаюсь для общей безопасности пройти еще часа два, три, а ты...

Неонилла вздохнула, потупила глаза в землю и оперлась на плечо мое. Ах! как показалась она мне тогда прекрасною! Где прежний огонь, в глазах блиставший, где пленительная улыбка ее, где розы, алевшие на щеках ее? При всем том она была не менее прелестна!

— Король! — сказал я, распрямя усы и раздувши ноздри,— перестань упрекать молодого друга моего слабостию! без его решительности, без необыкновенной бодрости ты долго бы насиделся в овине, а по времени изрядно был бы потчеван арапниками. Ты видишь перед собою Неониллу.

Король изменился в лице и отскочил назад. Потом, собравшись с духом, подошел к застыдившейся красавице, обнял ее и, поцеловав в лоб, сказал:

— Прости меня, молодая женщина, что я, рассказывая случай, затащивший меня в овин отца твоего, не очень почтительно говорил о нем. Хотя я никогда не одобрю сего твоего поступка, потому что он по всем отношениям безрассуден; но, помня оказанную тобою услугу, готов и тебе служить верою и правдою. Знаю, что целый день

провести в дороге не евши и для крепкого воина довольно тягостно, каково же должно быть для нежной женщины, с самого младенчества привыкшей ко всем удобностям жизни. Скажите же, однако, что будем делать?

Меж тем как мы, стоя на одном месте, рассуждали, на что решиться в таких сомнительных обстоятельствах, солнце закатилось, и настали сумерки.

Вдруг невдалеке раздался громкий свист, и у меня колени задрожали; вскоре послышался свист с другой стороны, и Неонилла, с судорожным движением схватив меня за руку, произнесла со стоном: «Разбойники».

— Не мудрено,— сказал Король, закручивая усы.— Неон! — продолжал сей друг, обратясь ко мне,— ты еще нов в деле ратном, и я не осужу, если при первой стычке сердце в груди твоей затрепещет. Но припомни, что в жилах твоих обращается кровь благородного, воинственного моего друга. Если дело дойдет до драки, ты смотри на меня, как на пример тебе. Знай, что и я был некогда старшиною в войсках малороссийских, был во многих битвах, получал раны тяжелые, но никогда ни у кого не просил пощады, никому не отдавал сабли своей.

Едва проговорил он слова сии, как показались из леса два казака при саблях. Увидя нас, они остановились, взглянули один на другого, смигнулись и подошли к нам шагов на десять.

— Что вы за люди? — спросил один.

— Мы можем такой же вопрос вам сделать,— отвечал Король хладнокровно.

— Хорошо! Мы — лесные смотрители!

— А мы — прохожие.

— Но прохожие должны ходить по дорогам, а не прямиком. Сколько перетоптано травы!

— Что ей сделалось?

— Нет, такой ответ недружеский. Надобно заплатить убыток!

— А сколько следует денег?

— Сколько у вас есть, все без изъятия, да, сверх того, в придачу уступить нам свою одежду и все оружие.

— Вы ошалели?

— Так вы на предложение наше не согласны?

— Нашли дураков!

— Еще повторяю!

— Хоть до завтрева.

— В последний раз!

— Хоть осиппи.

Тут вопроситель свистнул посвистом Соловья-разбойника. Король с быстротою молнии исторгает саблю, кидается на противника и повергает его к ногам своим; я, приметя первое его движение и ему последуя, устремился на другого и рассек ему голову, хотя он и успел было обнажить саблю. Дабы не оставить никакого сомнения, мы повторили свои удары. Король, сняв шапку, пал на колени, перекрестился и произнес с умилением:

— Слава тебе, господи! — Вставши и оборотясь ко мне, сказал: — Спасибо, Неон! из тебя со временем человек будет; дай руку!

Оборотясь назад, мы ахнули: Неонилла без чувств на траве лежала.

— Милосердое небо! — вскричал я, бросился к ней и упал на колени.

— Вот видишь, молодой человек, — говорил Король с душевным огорчением, — до чего первая безрассудность довести может! Произнесенный падшим разбойником свист не будет тщетен; может быть, через минуту или две мы будем окружены целою толпою им подобных. Если б мы были одни, то, наверное, спаслись бы в лесу, а теперь?

Не отвечая ему ни слова, — скорбь, сожаление, отчаяние оковали язык мой, — я схватил Неониллу в объятия, положил на плечо и пошел скорыми шагами подле самого леса, осматривая, сколько ночная пора то позволяла, не сыщу ли места, где можно бы с безопасностию скрыться до восхода солнечного. Король в молчании следовал за мною, поддерживая опустившуюся голову бесчувственной. Я прошел шагов с пятьсот и начал ослабевать под своим бременем, колебался и наконец пал на колени. Король сказал:

— Подай ее мне!

Он переменил меня, и мы продолжали путь, но, к несчастию, ничего не видали, кроме сосновых, осиновых и дубовых дерев, не могших служить нам надежным убежищем. Наконец, к великой радости, достигли мы пространного участка земли, поросшего самым густым орешником, окруженным калиновыми кустами. Я раздвигал сию подвижную стену, а Король следовал за мною. Когда мы прошли саженей десять и притом увидели род маленькой лужайки, то остановились, сложили на траву свое бремя и сами уселись. Король хранил глубокое молчание, а я, признаюсь в слабости, я плакал неутешно. Не зная,

что делать с нашею бесчувственною, мы придумали следующее: Король качал ее легонько с боку на бок, а я тер виски и ладони. Природа ли подействовала или наше врачевство было сильно, только Неонилла вздохнула, открыла глаза и спросила томным голосом.

— Боже мой! где я?

Я не мог удержаться, чтобы не обнять ее с нежностию и не запечатлеть страстного поцелуя на холодных губах ее.

— Ты с своими друзьями,— отвечал я,— и, кажется, в безопасном месте. Утешься, милая Неонилла! От главной опасности милосердый бог нас избавил; будем же надеяться, что он, по благости своей, избавит и от дальнейших.

— Ах! — говорила она,— когда я сегодня поутру оставляла дом отеческий, то думала ли видеть столько ужасов? Неужели я, уклоняясь от исполнения жестокой воли несправедливого отца, хотевшего сделать меня на всю жизнь несчастною, неужели я прогневила тем небо и навлекла на себя его мщение? Неужели я виновата, если явилась в мире с таким сердцем, с таким нравом, что терпеть не могу старика, который захотел бы сделаться моим мужем?

Она вздохнула и замолчала; мы с Королем также молчали. Горестное состояние!

Начала показываться заря на восточном небе, и я, по совету Короля, легонько выбрался из своего убежища с тем намерением, чтобы осмотреть наше местоположение и поискать надежнейших способов выйти из сего проклятого лабиринта. Когда я, озираясь направо и налево, осматривал все окрестности, к великому удовольствию моему, увидел огромную лесную яблоню, обремененную зрелыми плодами. С какою жадностию я начал насыщаться и наполнять карманы, и как скоро сделался сыт и нагрузился запасом изобильно, то с неописанным торжеством продрался к бедным моим сопутникам и предложил им свою скудную трапезу. Ах! за день перед сим с каким бы презрением отвержена была пища сия, и особливо нежною Неониллою, и с каким восторгом теперь принята всеми. Я сел подле своей любезной и выбирал для нее самые спелые плоды, а в награду за то получал нежную улыбку и признательный взор.

Когда, таким образом, все подкрепили силы свои, то,

принесши господу богу благодарение и испрося содействие его на дальнейшее путешествие, мы вышли из своей засады и наудачу пустились в левую сторону краем леса.

Глава V

Старые знакомцы

Мы не прошли и четверти версты, как увидели идущих прямо на нас человек около двадцати, одетых, как вчерашние лесные надзиратели, и вооруженных весьма исправно.

— Ну,— сказал Король,— теперь всякое сопротивление тщетно! Предоставьте все мне и ни во что не мешайтесь!

Неонилла опять прижалась ко мне и вздыхала.

— Ах, Неон! — шептала она,— как небо жестоко наказывает за непозволительные удовольствия!

Мы сошлись с лесными рыцарями и поздоровались. Одетый несколько поотличнее других весьма учтиво спросил, каким образом так рано очутились мы в сем месте и куда шествуем?

— Мы в сем лесу и ночевали,— отвечал Король,— дабы рано поутру удовлетворить желанию видеться с начальником некоторых храбрых людей, которые, по общим слухам, в летнее время здесь занимаются охотою.

— А на что надобен вам начальник сих охотников? — спросил предводитель.

— Это одному только ему знать должно,— отвечал Король.

— Однако ж посторонним людям видеть его не только затруднительно, но даже едва ли и возможно.

— Мы настоятельно сего требуем, и если не исполнено будет наше желание, то не быть бы в опале тому, кто нам в сем попрепятствует.

— Да какое вы имеете до него дело?

— Я сказал уже, что он один о том знать может.

— Так и быть. Мы исполним ваше требование и проводим к своему начальнику; но вы будете идти не иначе, как с завязанными глазами: сего требует непременный устав нашего общества!

Король, подумав несколько, согласился на предложение; нам всем троим завязали глаза, и мы пустились с

провожатыми, ведшими нас под руки. Я не дозволил никому из злодеев прикасаться к робкой Неонилле, а, подав одну руку проводнику, другою вел и поддерживал свою любезную. Дорогою спросил у Короля по-латыни:

— Диомид! какое твое намерение? Мы совершенно предаем себя в руки извергов!

— Это я и без тебя знаю,— отвечал он,— но я всегда был той веры, что с одним начальником-злодеем, каков бы он ни был, гораздо легче поладить, чем с десятью подвластными злодеями. Если уже несчастная судьба попутала нас на пути сем, то почему не пожертвовать деньгами, только бы сохранить жизнь. Более всего не должно забыть, что в покровительство наше отдалась женщина благородная, и мы обязаны не щадить жизни своей для спасения ее жизни и чести. Хотя в строгом смысле, конечно, нельзя назвать ее благородною, потому что преступила пределы добродетели; но опять большая разница, если я имение свое отдаю кому хочу, или если меня принуждают отдать оное тому, кто мне ненавистен.

Во время разговора моего с Королем Неонилла, держа меня за руку и крепко пожимая, время от времени вздыхала тяжелее, и наконец вздохи ее превратились в стоны. Для ободрений робкой милой подруги я старался идти сколько можно отважнее и, выступая с щегольскими ухватками, говорил ей на ухо по-польски: «Любовь не знает опасности».

После ходьбы, более часа продолжавшейся, нас остановили, развязали глаза, и мы увидели себя внутри небольшой палатки.

— Господа! — сказал наш путеводитель,— побудьте здесь, а я пойду доложить о вас нашему начальнику; между тем у меня позавтракайте, и мои люди будут вам, как самому мне, прислуживать.

Король представлял лицо самого веселого и сговорчивого человека. Он охотно согласился на предложение, и мы принялись за завтрак, который после слишком постного яблонного ужина показался весьма вкусным. Король и я добрым порядком осушали чарки с вишневкою и другими наливками; даже Неониллу принудили мы отведать сего живительного эликсира. Словом, угощение было так хорошо, как бы в городской корчме.

Наконец наш хозяин, вошед, объявил, что можем допущены быть к их самовластителю. Мы пошли за ним и увидели прекрасную равнину, окруженную дремучим ле-

сом. На восточной стороне стоял большой шатер; в некотором отдалении от него несколько других, но поменьше. На сторонах западной и южной видны были маленькие шалашики, сделанные из древесных ветвей. Мы введены в шатер атамана. Он разделялся красною крашенинною занавесью на две половины. От проводника своего мы узнали, что та, в коей тогда находились, служила приемною, столовою и для общих собраний; другая же, гораздо меньшая, была опочивальня, где также держали тайные советы. Атаман заставил нас ожидать себя более получаса, вероятно для того, чтобы, придав себе более важности, увеличить нашу робость; или, может быть, и в самом деле ему было недосужно, ибо держал тайный совет с первым своим есаулом. Наконец полы занавеси распахнулись, и скорыми шагами вышел к нам высокий, дородный, смуглый мужчина. Глаза его блистали — по крайней мере мне так показалось — мрачным, убийственным огнем; усы его простирались до ушей. За ним следовал пожилой мужчина среднего роста, лицо коего показалось мне несколько знакомо. Атаман, подошед к нам с важностию князя, рассматривал внимательно каждого порознь, зато и мы не оставили его без внимания. Чем более соображал я все черты лица его, рост, взор, тем казалось мне достовернее, что сей великий атаман разбойничий есть не иной кто, как философ переяславской бурсы — Сарвил.

Атаман, осмотрев нас достаточно, спросил:

— Кто вы, господа? откуда? чем себя содержите? по каким причинам пожелали его видеть?

Услыша его голос, я совершенно удостоверился, что это Сарвил; почему, приняв веселый вид, сказал:

— Прежде нежели что-нибудь отвечать станем на вопросы великого атамана, позволь обнять в тебе славного философа Сарвила! Узнаешь ли во мне верного послушника твоего Неона Хлопотинского?

Он сперва изумился, бросил на меня быстрый испытующий взор, потом ласково улыбнулся и, обняв по-братски, сказал:

— Добро пожаловать, однокашник! Кто бы мог узнать? Так вырос, возмужал! Скажи же, какими судьбами ты забрел сюда?

— Я удовольствую справедливое твое желание,— сказал я,— но позволь прежде рекомендовать общего нашего приятеля Диомида Короля, огороду коего довольно от нас доставалось!

— Как! это он! — вскричал атаман засмеявшись.— Обнимемся, старик! Как же он принарядился! Право, я теперь столь живо припоминаю прошедшие случаи, что мне мечтается, будто все еще богословствую в проклятой бурсе! И этот молодой человек не был ли также знаком мне прежде?

— Никак,— отвечал я,— и я признаюсь тебе, Сарвил, в прежнею доверенностию, что этот молодой человек есть жена моя и для некоторых важных причин носит не свое платье.

— Благодарю за доверенность,— сказал Сарвил,— хотя, впрочем, она для меня и не необходима. Конечно, я не мог знать, что сей молодец есть жена твоя, но с первого взгляда не скрылись от глаз моих проткнутые уши и спрятанные под платьем длинные волосы. Есаул Ариан! прикажи набрать стол.

— Мы уже завтракали в его палатке,— сказал я.

— Не мешает,— отвечал он,— после завтрака у есаула можно посидеть за столом у атамана.

Есаул вышел.

Король, приняв веселый вид, подошел к другому есаулу и, обнимая его, с комическою нежностию сказал:

— Почтенный друг Урпассиан! позволь поблагодарить за угощение! Ты недавно так был скромен, что лишил нас сего удовольствия.

— Как! — вскричал Сарвил, захохотав во все горло,— так это были вы, которых полюбил он за великодушный поступок, оказанный израненному казаку? Можно ли было это подумать! — Он продолжал хохотать.

Урпассиан, хотя и его атаман приглашал к завтраку, отговорился, представляя, что он, перехватя в своей палатке на скорую руку, должен сделать известные распоряжения во вверенной ему роте. Он удалился, стол приготовлен, и мы четверо уселись. Сначала Сарвил ел как голодный бурсак, приглашенный к столу зажиточного гражданина; после кушал с перемежкою, пил наливки и нас усердно потчевал. В это время много шутили насчет прежней жизни. Говорено было о Королевом огороде, а особливо не позабыто чудное приключение в саду благочестивых стариц.

— Ты изрядно подшутил тогда надо мною, Неон,— сказал весело Сарвил,— и если бы в то время попался мне, как из монастыря выгнали шелепами, то действительно быть бы тебе без пучка; но теперь за то искренно бла-

годарю. Если бы я не был выгнан, то теперь бы где-нибудь в бедном селении дьяконствовал, а много-много что поповствовал; а вместо того теперь я живу достаточнее всякого архимандрита.

— Но так же ли покойно? — спросил Король, наливая чару.

— Почему же и не так? — возразил Сарвил,— в жизни нашей, конечно, много опасностей, но зато не мало и удовольствия; в монастырской жизни нет никаких опасностей, зато вечная скука.

— Итак, ты не намерен переменять образа теперешней жизни? — спросил Король.

— Не думаю! — отвечал Сарвил.

Стол кончился, и мы встали.

— Я надеюсь,— сказал Король с видом искреннего доверия,— что Сарвил, как человек честный и ученый, не сделает нам притеснения и, по старинному знакомству, прикажет проводить на большую дорогу.

— С великою охотою,— отвечал Сарвил,— но теперь еще довольно рано, и мне хотелось бы рассказать вам случаи моей жизни и каким образом я из философа сделался великим разбойником.

Хотя было бы нам гораздо приятнее убраться как можно скорее из сего опасного места, однако отказом опасались оскорбить атамана, почему с веселым видом изъявили желание слушать его рассказы, и он начал:

— Вам обоим известно, когда и за что выгнан я из семинарии шелепами. Выбежав за монастырские ворота, быстрыми шагами шел я сколько можно далее, не оглядываясь. Пришед на паперть церкви преподобного Вавилы, я сел и задумался. «Что буду делать? — говорил я сам себе.— У меня нет ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Куда приклоню бедную свою голову? Данных мне, по милости добродушного отца Герасима, пяти хлебов и нескольких плодов ненадолго станет. Я мог бы, конечно, и один распевать под окнами, но не смею; ибо если в ремесле сем поймают меня прежние товарищи, то накажут жесточее, чем правительство наказывает за кормчество; просить милостыни — стыдно!»

Начали звонить к обедням. Хотя никто еще из прихожан не успел узнать о моем посрамлении, но мне казалось, что оно написано на лбу моем; почему, отошед в уголок, сел подгорюнившись. В сем углу обыкновенно становились нищие. Я намерен был отслушать обедню и по-

просить у бога благословления на дальнейшие пути жизни моей. Я исполнил свое обещание и молился усердно. Когда обедня кончилась и почти все богомольцы разошлись, я вздумал удалиться в какое-нибудь уединенное место, пообедать и подумать о ночлеге. Поднимаю кису: ба! совсем не моя! Заглядываю внутрь и вижу три ломтя черного хлеба и несколько луковиц. Одурь взяла меня, и слезы на глазах показались. Вместо прекрасных монастырских хлебов и садовых плодов грызть корки засохшие, подобно крысе, конечно, больно. Я бросил нищенскую торбу с презрением на землю и вышел за церковную ограду. Бродя из улицы в улицу, с одного базара на другой, видя везде красные щеки, толстые чрева и чувствуя голод, какой только может чувствовать человек в двадцать пять лет, я в первый раз ощутил ненависть к человечеству и поклялся жить впредь на счет его какими бы то ни было способами. Наконец солнце закатилось, и густые пары меня окружили. Вы припомните, что это было около половины августа месяца. Однако ж голод не безделица, и ложиться спать не поевши самое дурное дело, почему и решился я идти на прежнюю паперть и поесть своих корок с луком. Прихожу, ищу своей торбы, но не тут-то было. Это меня не столько уже поразило. Я зарылся в густой бурьян, росший у забора, сотворил молитву и улегся.

Хотя в ночь сию никто не прерывал сна моего, но он был легок, как у птицы, и прерывист, как у преступника. Звон к заутреням разбудил меня. Я выполз из бурьяна и вошел в церковь помолиться. Еще никого не было, кроме пономаря, засвечавшего лампады. Мне случилось стать у тарелки, на коей лежали деньги, принесенные правоверными в дар господу. Лукавый как раз предстал ко мне, шепча на ухо: «Глупец! Почему ты не пользуешься? Не упускай случая, какого, вероятно, не скоро найти можешь!»

Так шептал мне бес, и я послушался льстивого гласа его. Пользуясь случаем, что пономарь ушел в придел, я опустил обе руки в тарелку, захватил по полной горсти денег и, смиренно вышед из церкви, спрятал в карманы. Сошед с паперти, я бросился бежать со всех ног. Колени подгибались, в ушах звенело, в глазах мерещилось; мне казалось, что преподобный Вавила гонится за мною. Таково мучит совесть при соделании первого преступления; при втором разе она вопиет менее внятно, при третьем еще менее, а там мало-помалу совсем замолкает.

Глава VI

Ярмарочный приятель

Пришед на самый дальний базар, я купил булок, меду и слив. Это было в конце успенского поста, как вам и прежде сказано. У ближней шинкарки я выпил добрую меру пеннику и, уединясь в бурьян, начал насыщаться. Мед показался мне весьма горек; почему я, уложа его и булки на листок лопушника, побежал опять к шинкарке и потребовал мерку полынной водки, дабы одною горечью отбить другую. И действительно, после сего опыта мед показался мне сладок. Насытившись, начал я считать казну свою. Высыпав из карманов деньги, я счел около двадцати злотых как серебряною, так и медною монетою. Какая бездна денег!

После сего я шатался по городу где ни попало. Заходил к разным шинкарям и шинкаркам, покупал на базарах вареных рыбу и раков и, словом, так пиршествовал, как никогда в бурсе. На дворе сделалось темно, и тут-то я вспомнил о ночлеге, ибо в другой раз спать в бурьяне мне уже не нравилось. Думая да гадая, где бы приклонить голову, я вспомнил, что в Переяславле нет ни одной души мне знакомее, как шинкарки Мастридии, и я надеялся, что она дозволит мне [остаться] хотя на чердаке. С сими мыслями побрел к дородной вакханке.

Приказав подать полкварты вишневки, я начал точить лясы и рассказывать всякие были и небылицы. Как ни красноречиво разглагольствовал, однако время было ночное, и посетители, подобные мне, все разошлись. «Пора и тебе уйти, Сарвил,— сказала Мастридия,— приходи завтра досказать свои повести!» — «Никак! — отвечал я,— надо же допить вишневку, а там и повесть кончится». Таким образом продолжал я помаленьку пить и врать, а между тем родились у меня в уме кое-какие замыслы.

Говорить много нечего. Поутру отведен мне маленький чуланчик и приготовлена войлочная постель, каковой у меня отроду не бывало. Я начал хозяйничать, когда мне того хотелось, то есть отбирал деньги у питухов и частию отдавал хозяйке, частию клал в свой карман. Податливая Мастридия одела меня с ног до головы в новое платье, ел я сытно, пил со вкусом, чего ж больше надобно? При наступлении зимы сделан жупан на овечьем меху, дабы я мог удовлетворить охоте своей шататься по городу; словом, ничего не упущено, чтоб доставить мне жизнь доволь-

ную, веселую. Там прожил я до самого мая месяца другого года и в это время должен был оставить такую жизнь. Отчего же? В шинок наш начал учащать один черноморец, настоящий гигант Енцелад. Когда он шел, то земля стенала; а когда, бывало, наполнясь хлебной эссенции, всхрапнет, облокотясь на стол, то стены дрожали и звенели окна. Самых бесстрашных одним помаванием усов приводил в трепет, подобно древнему Юпитеру, колебавшему всю природу движением бровей своих. День ото дня посещал он шинок наш чаще, и день ото дня Мастридия делалась к нему благосклоннее.

В один вечер черноморец, празднуя победу свою над турецким наездником, который вызывал на поединок двадцать человек, заказал домашний банкет, на коем я и Мастридия были первые гости. Съедено и выпито не мало, и веселье было не хуже свадебного. Проснувшись поутру, я удивился, видя, что лежу в чулане на войлоке и — один.

Первое ощущение мое было — бешенство, второе — мщение. Ярость обуяла меня; но вдруг представился мне стол, покрытый сулеями, бутылками и разной меры флягами с различными напитками. Выпив две чары запеканной водки, я одумался. «Что хочу делать? — мыслил я.— Почему знаю, что и я в известное время не сделал бы кому-нибудь такого же подрыва, какой мне теперь делает черноморец? Да и что пользы от их смерти? Одна беда, и беда не малая!»

Видя, что две чарки запеканной столько придали мне ума и великодушия, я осушил еще две, дабы сделаться и того умнее и великодушнее. Последствие оправдало мою догадку. Я нашел топор, взял его в руки и пошел в каморку, где, разломав сундук, пересыпал из кошельков золотые и серебряные деньги в свои карманы, и вышел из дому, а там и из города, направя путь по дороге к городу Пирятину.

Идучи до самого вечера, я не чувствовал усталости, подкрепляя силы пищею и питием в попадавшихся мне шинках. Пришед в село Швитково, верстах в тридцати от Переяславля, я не остановился бы на ночь, если бы не соблазнила меня случившаяся там ярмарка. Осведомясь тщательно, где продают тютюн и вино, я скоро нашел и то и другое. Запасшись сими дарами природы и искусства, а сверх того, кое-чем и для ужина, я избрал местом ночлега пустой, кинутый огород, поросший превысоким бурьяном. Я забрался туда со своим запасом, поужинал как

нельзя лучше и, пожелав Мастридии и сию ночь провести столько же приятно, как прошедшую, я растянулся и захрапел.

Крик, шум и гомон разбудили меня с восшествием солнца, а сие значило, что ярмарка опять открыта и торгаши выставили свои товары. Я прошел рядом и не мог налюбоваться великолепием, мною доселе не виданным; ибо хотя и в Переяславле бывают ярмарки, но бурсакам строго запрещено посещать оные. Всего охотнее искал я глазами вчерашнего шатра, где так весело провел вечер. Сейчас я нашел его и принялся за пиршество. Но как и веселиться одному довольно скучно, а особливо человеку с моим нравом и привычками, то я в сей же раз свел тесную дружбу с Арефою, дьячком из села Хитрова, который показался мне не последним весельчаком. Я с немалым удовольствием потчевал его блинами и пирогами, вином и наливками, а он еще с большим повествовал мне разные небывальщины. Проводя так день за днем, я прожил тут три дни, время от времени крепче прилепляясь к моему искреннему другу дьячку Арефе, от которого даже не скрыл, что у меня в карманах есть до пятисот злотых, следовательно, он может без зазрения совести на мой счет веселиться.

В сумерки третьего дня дьячок Арефа сказал: «Любезный друг Сарвил! я так доволен твоим потчеваньем, что хочу и сам угостить тебя. У знакомой мне шинкарки Дросиды, очень близко от спальни твоей, в пустом огороде, заказал я сытный ужин, который прошу разделить со мною. В напитках недостатка не будет». Я охотно склонился на дружеское предложение, и мы отправились в шинок. И действительно, друг мой Арефа говорил правду. Я очень доволен был его ужином, а и того более напитками. Мы бражничали до полночи и должны были выйти насильно, ибо Дросида совсем не походила на Мастридию. Посему друг Арефа, из угождения мне, согласился провести ночь в бурьяне вместе со мною. «Куда как люблю я,— говорил он,— после доброго ужина уснуть в летнюю пору под открытым небом! Здесь же и то еще угодье, что под боком шинок. Как скоро проснемся, то сейчас поздороваемся с Дросидою». Вследствие сего мы оба заползли в бурьян, растянулись и вскоре започивали.

Когда я проснулся и поднялся на ноги, то увидел, что солнце было около полудня. Друга Арефы подле меня не было. Я потащился к Дросиде и приказал подать что-ни-

будь позавтракать, а между тем, поставя подле себя сулею с запеканною, потчевал сам себя, пропуская чарку за чаркою. Когда сулея была высушена и поданная сковорода яичницы съедена, то я вздумал расплатиться и идти на ярмарку и поискать своего друга. Опускаю руку в карман — пусто; опускаю в другой — ни копейки; выворачиваю карманы — одна пыль и хлебные крошки посыпались. Я делаю то же с шароварными карманами, и — следствие одно. Меня ударило в пот. Дросида, прилежно взиравшая на каждое мое движение, сперва покраснела, а после побледнела. Я смотрел на нее печально, она на меня и того печальнее. Известно, что шинкарки во всем свете красноречивы и храбры. Дросида, поправя очипок [1] и засуча рукава, подскочила ко мне и, топая ногами, закричала: «Как, злодей! ты только любишь веселиться на чужие деньги? Нет! этому не бывать! Что вчера ужинал на счет какого-то дьячка, так сегодня вздумал завтракать на мой счет? Нет! этому не бывать! Сейчас подай свой бриль!»

С сими словами она бросилась к столу и протянула руки; но я так ловко ударил ногою ей под ноги, что она со всего размаха стукнулась носом о скамейку, и кровь брызнула; я сделал ораторское движение рукой, и она полетела вверх ногами. Тогда, пользуясь обстоятельствами, я схватил бриль и давай бог ноги, а выскочив за порог дома, зацепил в обе руки по доброй сулее с разными водками. Добежав до конца улицы, я оглянулся. Дросида, стоя у порога, протягивала ко мне кулаки и болезненно вопила. Я бросился в другую улицу, а там в третью, где и пошел уже скорым шагом, поворотя окольною дорогою назад к месту ярмарки. Кто опишет мое удивление и ужас, когда я ничего не взвидел! Все разъехалось, разошлось, расползлось. «Стало быть, и тебя не сыщу,— вскричал я горестно,— о неверный друг Арефа! это все твое дело! Сохрани тебя ангел хранитель, когда мне попадешься! Сейчас иду в село Хитрово, отыщу церковь, где ты дьячествуешь. Куда я теперь сунусь? Что начну делать? Да будет проклята ярмарочная дружба!»

После сих слов напала на меня благородная решительность; я высуслил примерно чарки две запеканной, вышел из села Швиткова и дал волю ногам своим брести, куда

[1] Род чепчика, употребляемого мещанками.

они хотели. Я шел недалеко большой дороги, и, как в полдень порядком позавтракал, а за пазухою был в довольном количестве другого рода запас, то я не заботился о дальнейшем.

Я шел до глубоких сумерек, не видя никакого селения, а если бы и видел, то что пользы? У меня не было ни полушки, а не везде так дешево можно разделываться, как в селе Швиткове с шинкаркою Дросидою. Почему, забравшись в рожь, лег на борозде и, прежде облобызавшись с сулеею, уснул крепко.

Глава VII

Прекрасная жидовка

Я разбужен был пением жаворонков. Лежа на спине и смотря на голубое небо, алевшее со стороны востока, слушая пение разных птичек, то порхающих, то летающих, то прыгающих по земле, я задумался. «Участь моя довольно горька,— говорил я вслух, ибо не опасался быть подслушанным,— но она несравненно отраднее, чем прежняя в бурсе, ибо я — свободен, как и эти птички. У меня есть еще сулея, полная водки; если б к сему послал всевышний ломоть хлеба, то чего мне более? У Мастридии, конечно, жил я в неге и довольстве, но зато не дешево платил за каждый кусок жаркого и чарку наливки».

Встав, вышел я на полянку, усыпанную цветами разного рода, под листками коих рделась спелая земляника. Не имея хлеба, я начал собирать ягоды. В это время очутился молодой человек в хорошем охотничьем платье, с котомкою за плечами. Он прицеливался в парящего в небе жаворонка. «Эй, не попадешь!» — сказал я. Он выстрелил и в самом деле не попал: однако ж неудача его не огорчила: он вторично зарядил ружье. «Государь ты мой! — сказал я, приближась к охотнику,— зачем терять заряды?» — «Разве ты лучше потрафить можешь?» — «Надеюсь!»— «Возьми ружье, посмотрим!»

Только лишь получил я в руки свои ружье, как родилась и мгновенно укоренилась мысль овладеть оным. Поставя сулею на землю (другая, яко бездушная, оставлена на борозде, где ночевал), я сказал: «Молодец! выкушайка сколько-нибудь из сего дорогого сосуда, ты, верно, устал». Он с охотой исполнил приглашение. Тогда я, отошед шагов на десять, прицелился в него и вскричал серди-

то:«Сейчас скинь и положи подле сулеи свою суму и пояс с зарядами, иначе я тебя убью!» Молодец мой оцепенел и не знал, что делать. Я вторично воззвал: «Исполни мое приказание и не дожидайся третьего возгласа, или ты погибнешь!» Молча, трепещущими руками снял он с себя суму, отстегнул пояс, уложил то и другое возле сулеи, поклонился низко и пошел по дороге к селу Швиткову, а я, с восторгом бросившись к суме, развязал и, к неописанной радости, нашел в ней жареную индейку и несколько белых булок.

Утолив голод, я пошел далее. Пока велся запас, то я мало заботился о будущем; но как скоро сума и сулея сделались пусты, то я весьма ясно почувствовал, что пока в карманах будет свистеть ветер, то и на желудке будет тошно, следовательно, так или сяк, а надобно добывать денег. Составя план к обогащению, в глубокие сумерки вступил я в богатое село Вороново, дошел до церкви и под крыльцом улегся, но во всю ночь не смыкал глаз. Немного за полночь, зная, что пономарь скоро появится с ключами, и помня, как удачно представлял я злого духа, пошел ко рву, окружавшему паперть, где после бывшего дождя стояло несколько воды. Я разделся донага и весь с головы до ног выпачкался грязью; после сего подвига взяв с собою одну суму, а платье сложив у ограды, притаился у крыльца церковного. И действительно, пономарь не замедлил показаться с фонариком, бренча ключами. Как скоро он вступил в церковь и поставил фонарь на пол, я ворвался вслед за ним и закричал так неистово, что самому стало страшно. Пономарь, увидя страшилище, затрепетал, поколебался и пал на землю, бормоча невнятно молитву. Его же поясом я связал ему руки; потом, взяв ключи и фонарь, отыскал церковный сундук, отпер и начал наполнять суму злотыми и червонцами, что было весьма удобно, ибо золотые и серебряные деньги лежали отдельно от медных. Когда в сундуке не осталось ни одной монеты, я вышел из церкви, запер дверь и ключи закинул в бурьян. С трепетом — мне казалось, что в меня действительно вселился бес,— бросился к платью, вымылся наскоро в луже, оделся и пустился в поле.

Когда совсем рассвело, то я счел свою казну и нашел до тысячи злотых. Какое несметное богатство! Тут родилась мысль кинуть наружность дьячковскую и преобразиться в пана. На сей конец в первом селении, к коему я прибился, велел содержателю корчмы призвать бородо-

брея и лишился без всякой жалости толстого пучка, отращивание коего стоило мне великих трудов и долгого времени.

Чтобы денег своих не тратить даром, таскаясь по полям, лесам и селам, а проживать их прямо по-дворянски, то я решился идти немедленно в Пирятин и там себя показать и других посмотреть. До самого города не случилось со мною ничего достопамятного. По прибытии в оный я нанял уютный чуланчик в корчме жида Измаила и приложил первое попечение одеться как можно щеголеватее. В богатой черкеске, с подбритым затылком и усами, опоясанный саблею, начал я разгуливаться по городу. Я посещал базары, шинки и церкви, и что мне нравилось, за то платил щедрою рукою. В дни ненастные, оставаясь в корчме, беседовал с приходящими в оную утоплять в вине скорби душевные, или — если никого не было — с Измаилом, или женою его Сарою, или с дочерью их Сусанною, милою, прекрасною Сусанною. Она была по шестнадцатому году, и, признаюсь, я ничего прелестнее до сих пор не видывал. Когда ее не было в обществе, то я чувствовал какую-то пустоту в сердце: разговоры мои делались сухи, мысли рассеянны, все поступки принужденны; зато когда милая девушка являлась с шитьем (отец ее, между прочим, был женский портной и в сем мастерстве помогали ему жена и дочь), тогда глаза мои воспламенялись,— это я чувствовал,— щеки покрывались багряною краскою и язык делался гибче и поворотливее вьюна. Я рассказывал им о домовых, леших и оборотнях разного рода и о пакостях, какие строят они правоверным, об удальстве старинных наших витязей и о проказах злых духов и чародеев. Невинная Сусанна слушала с открытым ртом, с устремленными на меня взорами. Она дышала нежностию, и каждый взгляд ее сыпал пламенные стрелы в мое сердце. Я не на шутку влюбился и сделался мечтателем. Сусанна являлась мне во сне так ясно, отдельно, как бы наяву. Сонный был я отважнее, ибо, не обинуясь, объявил ей любовь свою, слышал о ее соответствии, пользовался ее нежностию и утопал в блаженстве; просыпаясь, тщетно ловил я прекрасную тень, призывал ее страстным голосом, простирал трепещущие руки: она отлетала так, как тень Евридики от певца Орфея, и никакие заклятия не могли возвратить ее.

Так прошло лето, так прошла осень и зима. Томления мои с каждым днем увеличивались, и, наконец, я сделался

сумасбродом. При самой веселой беседе корчемных посетителей я сидел в углу подгорюнившись, как столетний инок; в другой раз, будучи один в своем чулане, поднимал хохот, заводил пение и скачку. Хозяева, зная, что я один, не раз покушались думать, что состою в связи с демонами и на досуге забавляюсь с ними.

Между тем казна моя приметно умалялась; итак, у меня завелись вдруг две заботы: первая — об удовлетворении страсти моей к Сусанне, а вторая — о наполнении мошны. Оставив последнюю статью без особенного внимания, я занялся первою. «Что, если я тайным образом, для одного вида, сделаюсь жидом,— думал я иногда,— и потребую у Измаила руки его дочери? Опасность очевидна! Об этом проведают, безмерность любви отнюдь не послужит оправданием, и я погиб невозвратно. Как бы Сусанну сделать христианкою? Родители ее ни за что в свете на сие не согласятся. Ах! какой злой дух наустил меня поселиться в корчме сей!»

В противоположном конце города жил золотых дел мастер жид Исаак, родной брат Сары, жены Измаиловой; у сего Исаака был сын Товий, малый лет двадцати, статен и пригож. Их обоих видал я иногда в корчме нашей, но не находил никакой надобности знакомиться. С самого начала апреля месяца сей Товий каждый уже день посещал своего дядю и приметно увивался около Сусанны со всею жидовскою нежностию. Сначала приписывал я сию вольность званию брата и нимало не беспокоился; но вскоре увидел нечто совсем другое. Сусанна охотно оставалась с ним наедине, охотно слушала его напевы и за поцелуи также охотно платила поцелуями, и это происходило иногда в присутствии родителей и даже посторонних. Я взбешен был до бесконечности и не знал, что думать о сей небывалой странности. Скоро сам Измаил вывел меня из мучительного недоумения. «В непродолжительном времени,— сказал он в один вечер,— ты, пан Сарвил, будешь веселиться у нас на свадьбе».— «На какой свадьбе?» — «Мы выдаем нашу Сусанну за брата ее Товия. Не правда ли, что настоящая пара?» Я так был ошеломлен, как бы кто молотом огрел меня по затылку. «Да!» — отвечал я улыбаясь; но целая буря ревела в сердце моем, и я насилу мог произнести это слово. Потом, сказав, что у меня заболела голова и что иду спать на сенник, оставил влюбленных с их семейством.

Я принадлежу к числу людей, которые, видя вдали

грозящую им опасность, нимало о том не беспокоятся и не прежде начинают принимать какие-либо меры к отвращению оной, как увидят, что со всех сторон опутаны уже сетями бедствия. Это, конечно, неблагоразумно; но что ж делать?

В течение почти целого года молчаливой любви моей я довольствовался взглядами, вздохами, а изредка двоесказательным словцом; теперь же, как скоро узнал, что и сих невинных знаков моей нежности делать уже не удастся, а более всего мысль, что Сусанна, милая, прекрасная Сусанна, будет принадлежать другому,— все сие ускорило мою деятельность, и я составил план к отвращению бури и удовлетворению пламенных желаний; посему в третий раз решился представить в лице своем злого духа. Дело происходило следующим образом.

Недалеко от корчмы стояла кузница. Я бросился туда и за один злотый нанял у хозяина самое запачканное платье до утра. С сим приобретением пустился я на пустырь, где некогда — во времена самые давние — была церковь и кладбище, чему теперь и следа не осталось, а известно только по преданиям, однако ж на месте сем никто из православных селиться не хочет; оно стоит пусто и поросло бурьяном; сюда-то залез я в ожидании полночи, ибо заметил, что влюбленный Товий не прежде сего времени оставлял корчму, да и то по неоднократным напоминаниям дяди, тетки и самой невесты.

В глубокие сумерки я переоделся и ожидал своей жертвы, запасшись вместо всякого оружия одними ножницами. Вдалеке услышал я пение петухов, и Товий показался. Он шел тихо, вероятно, мечтая об утехах, какие скоро будет вкушать с Сусанною. Поровнявшись со мною, он остановился, услыша кряхтенье, скрежетанье и щелканье зубами. При свете месяца приметно было, что еломок на целые полвершка поднялся выше. Вдруг я выскочил и к нему устремился. Первым движением бедняка было бежать; но я вмиг догнал его, вскочил на спину и ухватился руками за пейсы. Молодой человек, не стерпя такой тягости, а притом будучи объят ужасом, повалился на землю. Тут началось истязание. Я попеременно бил его, давил, щекотал и потом опять щекотал, и, продолжая комедию сию с час времени, довел бедного жиденка до бесчувствия. Тогда, намереваясь прежде обрезать одни пейсы, я остриг ему всю голову до самого темени и отволок в бурьян; потом, наскоро одевшись в свое платье, заня-

тое припрятал, дабы поутру возвратить хозяину, после чего, пришед домой, перелез через забор, забрался на сенник и уснул спокойно, будучи уверен, что свадьба поневоле отложена будет на несколько месяцев, ибо с остриженною головою без драгоценных пейсов как можно показаться в люди?

Я встал не рано. Когда явился в корчме, то первый представившийся предмет была плачущая Сусанна. Хотя я и очень знал причину слез сих, однако спросил с соучастием друга. «Увы! — отвечала томная красавица, утирая слезы,— видно, участь моя подобна жалкой участи дочери Рагуиловой, ибо и в меня влюбился злой дух, который сею ночью измучил до полусмерти жениха моего Товия».— «Скажи, пожалуй, как это было?» — спросил я с нежностию, взяв ее за руку. Она рассказала мне то, что вы уже знаете, и присовокупила, что с восходом солнца бедный Товий, к ужасу родителей, явился в дом свой в виде пугалища. Он тщательно подобрал свои пейсы, валявшиеся в пыли, и ими утирал слезы. Все предались горести неизреченной и совершенно не знают, что делать и даже думать.

Родители жениха и невесты присудили, чтобы для утешения больного, изуродованного Товия Сусанна посещала его каждодневно хотя на несколько минут, что и начато того же самого дня. Не видать Сусанны и знать, что она находится подле жениха своего,— адское мучение! Я стократно жалел, что не защекотал его до смерти, ибо думал, что умертвить жида не грешнее, как и полюбить жидовку.

Глава VIII

Неожиданное спасение

На ту пору жил в Пирятине пан Докиар, муж отличный по многим отношениям. Он был довольно богат, иногда довольно сговорчив, а иногда довольно вздорен. Узнав образ его мыслей, привычек, препровождения времени, я предстал к нему. «Честнейший господин! — говорил я,— ты видишь перед собою такого человека, который готов умереть за православие. У меня на примете есть жидовка, которая нетерпеливо желает приобщиться к сонму правоверных. Благоволи подать к сему способ».

«Чем же я могу служить тебе?» — спросил Докиар, опоражнивая чару. «Православный господин! — говорил я, изогнувшись в дугу,— у тебя есть хутор на острове реки Удая; ближнее к нему селение принадлежит тебе же. Напиши к священнику села того, чтобы он, окрестив жидовку, соединил меня с нею узами законного брака; а между тем дозволь на хуторе твоем прожить несколько дней, пока в жидовских головах не пройдет буря».

«Хвалю молодца за обычай,— сказал Докиар, разглаживая усы,— именно так поступать надобно! Сейчас писарь мой Евграф настрочит грамотку к управителю, и дело сделано будет как нельзя лучше».

И в самом деле вышло по-сказанному. В то же утро отправился нарочный в село и в хутор с предписаниями; окончание дела относилось уже ко мне. Я сказал, что Сусанна каждый день навещала жениха своего Товия; на сем обстоятельстве основал я план своего действия. «Измаил! — сказал я в тот же вечер хозяину,— ссуди меня твоим возком с лошадью на одни сутки, а я тебе заплачу за то пять злотых. Меня приглашает приятель к себе на хутор, а отказаться мне не хочется». Жид, получив в то же время обещанную плату, несказанно восхитился, сам впряг лошадь, подал мне вожжи и выпроводил за ворота, желая мне хорошо повеселиться.

Настали сумерки. Достигнув жилища Исаакова, я объявил Сусанне, что отец ее, неизвестно мне для чего, желает ее сейчас видеть и для того прислал возок. Жиды легко дались в обман, и милая девушка села со мной, ничего не подозревая. «Куда же ты едешь?» — спросила она, видя, что мы выехали из города. «В самое безопасное место,— отвечал я.— Сусанна! участь твоя и моя решена! Ты должна сегодня же сделаться моею женою!» — «Я? твоею женою? — спросила она с ужасом. — Но разве ты забыл, что я жидовка?» — «Это главному делу не мешает,— отвечал я,— мало ли из вашего народа есть таких, коих память и мы, православные, ублажаем! Как бы то ни было, сего еще вечера ты будешь христианкою! — С сими словами вытащил я из-за пазухи пистолет и взвел курок. — Сусанна! — продолжал я свирепым голосом,— из теперешнего поступка ты можешь понять безмерность любви, коею наполнено к тебе сердце мое! Намерение твердо. Ты будешь моею женою, или нас обоих не будет на свете». Сусанна тихо плакала,

стенала, но я был непоколебим, как утес гранитный. Мы прибыли в обетованную землю; священник, получив писание пана Докиара, принял нас с отверстыми объятиями. Кум и кума были готовы, двери церковные отверсты. Не прошло и часа, как Сусанна превращена в Серафину и счастливый Сарвил сделался нежным супругом. Я не пожалел злотых. У священника приготовлен великолепный ужин, причем и напитки забыты не были. На ночь отправился я в хутор пана Докиара, где и нашел все приготовленным к нашему приему.

Семь дней провел я в совершенной неге и довольстве. Сусанна начала привыкать к новому образу жизни, читала исправно по утрам и вечерам христианские молитвы и была наилучшая жена. Она до крайности была тиха, кротка и послушна. В осьмой день после свадьбы я переселился в Пирятин и пристал прямо в дом пана Докиара. Он принял меня с женою весьма сухо и, приказывая дворецкому отвести нам на первый случай жилище в курятнике, молвил: «Надобно признаться, что ты, молодец, с женитьбою своею поступил опрометчиво. Какова бы ни была жена твоя, но все она никогда не забудет, что родилась и выросла жидовкою. Я дозволяю вам пробыть в моем доме целую неделю, а там убирайтесь хоть к черту в омут».

Такая неожиданная встреча немало меня подивила. Я сейчас составил план, как провести дозволенное мне время в доме Докиара, и, занявшись ласками моей Серафины, не видал, как летело время. На ту пору случилась в Пирятине ярмарка, и стечение народу было чрезмерное.

Серафина, приметив, что кошелек мой с наступлением каждого дня делается тощее, сказала: «Друг мой! как ты думаешь? Не постараться ли нам поладить с отцом моим?» — «Разве ты считаешь это возможным?» — «Почему же и не так? Хотя он и жид, однако и отец, а я у него единственная дочь. Как бы хорошо было, если бы он усыновил тебя!» — «Ин попробуем!»

Вследствие общего соглашения Серафина отправилась к родителям с мирными предложениями. Она не замедлила возвратиться и обрадовала меня несказанно повествованием о ласковом приеме, какой ей был сделан. Измаил совершенно покорился судьбе своей и, видя, что порчи никак уже поправить нельзя, признал меня за своего зятя и приказал просить в дом свой. Хотя такое сми-

рение обиженного жида сначала меня удивило, но жена ласками своими умела отклонить всякую недоверчивость. В тот же день мы отправились в корчму и расположились в отведенной нам комнатке. Измаил и жена его рассыпались в учтивостях всякого рода, и первый объявил за тайну, что он — может быть — и сам скоро окрестится, и тогда заживем все как нельзя ладнее. По случаю ярмарки он отсчитал Серафине сотню злотых на мелкие покупки. Из денег сих взял я на свою долю целую половину и пошел шататься по базару, стараясь тщательно не проминуть ни разу прелестного шатра, где разливался пенник и заседало самое великое общество, коему имел я случай поведать об удальстве своем касательно обращения Сусанны в Серафину и моей женитьбы, о примирении с тестем и переезде в дом его на жительство. Под ночь я опочил мирно в объятиях жены-любовницы, и никакая забота меня не тревожила.

Пение петухов возвестило полночь, и я проснулся. Хочу потянуться, но не тут-то было. Приведя несколько в порядок свои чувства, ощущаю, что я, связанный крепко за руки и за ноги, нагой лежу на холодном полу. Такое состояние крайне меня изумило. «Неужели тесть мой изменник? — говорил я, барахтаясь по полу,— неужели он намеревается мстить своему зятю?»

Когда я не знал, что и подумать, вдруг отворяются двери, и в мою опочивальню входит с полдюжины жидов. Принесенными свечами они осветили комнату, и я, к неописанному ужасу, увидел, что каждый из них вооружен был изрядною плетью, из сырых кож сплетенною. Тесть мой и его шурин Шаах предводительствовали сим отрядом. И самый недогадливый на моем месте сейчас бы догадался, к чему дело клонится. Жиды с возможным смиренномудрием окружили меня, подняли вопль и начали стегать по чему ни попало. Я свирепствовал, силился разорвать свои оковы, но тщетно! С четверть часа продолжалось жестокое истязание и кровь моя текла ручьями. Наконец руки мучителей устали, и они захотели отдохнуть. Тогда Измаил после долгого бормотанья на неизвестном мне языке, обратясь ко мне, говорил: «Ты погубил единственную дочь мою, изменник, так справедливость требует, чтобы и сам погиб злою смертию. До тех пор будем терзать тебя, пока приметно будет в тебе дыхание. Пусть нечестивая кровь твоя источится по капле! Друзья мои, начнем сызнова!»

С сими словами они подняли плети, намереваясь продолжать угощение, как послышавшийся в сенях великий шум и стук остановили сих извергов. Двери быстро отворились, и мгновенно появилось к нам более двадцати черноморцев, исправно вооруженных. «Если вы — христиане,— возопил я болезненно,— то спасите собрата своего от мучительских рук жидовских! Посмотрите, что сии неверные со мною сделали!»

Оторопевшие евреи несколько пооправились. Измаил храбро подступил к начальнику казаков, изогнулся в пояс и произнес: «Если вы, честные господа, зашли в корчму мою попить и погулять, то я очень рад, хотя, правду сказать, теперь несколько еще рано. Прошу не удивляться, что мы несколько строго поступаем с сим бездельником. Если вам рассказать его злодеяние, то чубы ваши станут дыбом!» — «Не трудись рассказывать,— вскричал начальник,— нам все известно. Обратить жидовку к православию и потом на ней жениться есть подвиг истинно славный! Ребята! перевяжите всех жидов, осмелившихся пролить кровь неповинную, а если кто из них отважится пошевелить губами, не только языком, у того сейчас не будет ни губ, ни языка». Сказав сии грозные слова, он обнажил саблю и начал махать ею над головами устрашенных. Часть казаков начала перевязывать жидов, а начальник первых, перерезав веревки, меня удручавшие, и подняв на ноги, сказал: «Не правда ли, дорогой приятель, что теперешняя услуга моя стоит не менее двух или трех сотен злотых, которые нашел я в твоих карманах после ужина у приятельницы Дросиды? Узнаешь ли во мне ярмарочного друга твоего Арефу?» — «Праведное небо! — вскричал я, обнимая его,— какими судьбами тебя здесь вижу и кто ты таков подлинно?» — «Любопытство твое удовольствую после,— отвечал он,— а теперь надобно похлопотать об общей пользе. Жид Измаил! подавай ключи от сундуков твоих, не дожидаясь, чтобы мы их разломали».— «Честнейший господин! — отвечал жид со смирением,— что значит мой ничтожный скарб для твоего великолепия?» — «Не мешает, — отвечал Арефа,— и малому есть счет».

Тут началось опустошение дома Измаилова. Жиды, лежа связанные на полу, вздыхали и плакали, однако сколько можно тише. Я собирался было добрым порядком наградить своего тестя за угощение, но Арефа отклонил кровопролитное намерение; я удовольствовался тем, что у каждого из супостатов приказал остричь голову и бо-

роду. После сего он сказал мне: «Сарвил! из последнего похождения твоего вижу, что ты человек отважный и рожден к великим подвигам. Оставаться в Пирятине для тебя опасно и даже, может быть, гибельно; я предлагаю тебе мою и товарищей моих дружбу. Если еще твоя жидовка тебе не опротивела, то возьми и ее с собою. Жизнь, какую мы проводим, конечно, не без хлопот, но кто избежит их? И сам великий гетман малороссийский не может похвалиться всегдашним спокойствием, а тем менее весельем!» Я сейчас догадался, какого покроя были товарищи Арефины и кто он сам таков. Будучи уверен, что если стану вести жизнь открытую, то жиды рано или поздно меня доконают, и я склонился на предложение нового знакомца. Отыскав Серафину в мучном анбаре, я взял ее с собою, и все, обремененные пожитками сынов Израиля, отправились в путь.

Дорогою Арефа рассказывал следующее: «Прибыв с частию товарищей на ярмарку в Пирятин для обыкновенного своего промысла, я тотчас узнал тебя под шатром и намеревался открыться, но поопасся твоей запальчивости и чтоб ты, мстя за похищение злотых, не наделал мне великих хлопот; почему решился ждать случая, пока увидимся наедине. Частию от тебя самого, а частию от других, я узнал все обстоятельства, предшествовавшие и последовавшие твоей женитьбе, и немало подивился твоей оплошности, что ты вверился тестю, жиду оскорбленному. Поутру еще принято нами намерение в наступающую ночь посетить Измаилову корчму, как богатейшую во всем городе, а узнав, что там найду и тебя и могу предостеречь от очевидной опасности, я был еще решительнее на сие приятное и полезное препровождение времени. Согласись, Сарвил, что без нашей благовременной помощи ты погиб бы невозвратно».

На другой день под вечер прибыли мы на это самое место. Дремучий лес, простирающийся от Пирятина до Переяславля по берегам рек Десны и Удая, служит нам надежным убежищем. Около полуверсты отсюда, на прекрасной долине, со всех сторон окруженной непроницаемым лесом, расположены хаты, в коих проживают наши жены и дети. В течение четырех лет моей пустынной жизни я умел отличить себя мужеством и расторопностию. После печальной кончины храброго Арефы, вознесенного в Киеве на виселицу, все товарищество единодушно провозгласило меня своим начальником. Первое попечение

мое было вкоренить в головы моих сотрудников, что смертоубийство не доказывает ни ума, ни храбрости, и потому я запретил оное под смертною казнию; удальства всякого рода были только у меня в чести. Как, например, не похвалите вы образцовой комедии Урпассиана, в которой сами представляли первые лица? Я живу в изобилии и не беру на свою душу ни одной капли человеческой крови. Общество наше гораздо расширилось, но порядок нимало не нарушен. Летом живем мы, по подобию древнего Израиля, в пустыне, а зимой соединяемся с женами под одними кровлями. Серафина родила мне двух прекрасных детей; чего ж еще желать более?

Тут Сарвил окончил свою повесть. Мы поблагодарили его за доверенность и возобновили просьбы отпустить нас восвояси; он склонился на представление и дал в проводники двух товарищей. После братских объятий мы отправились в путь и при солнечном закате вышли из ужасного леса. Проводники, указав нам вдали на верх колокольни, объявили, что далее идти не осмеливаются. Поблагодарив за услугу, мы пустились к указанной цели.

Глава IX

Нечаянная женитьба

Уже ночь раскинула по небу мрачные тени, как мы приблизились к селению. Король остановился, прищурился, и, ударя себя по лбу, сказал:

— Видно, Неон, мы околдованы! Примечаешь ли ты эту церковь и колокольню? Не знакомы ли они тебе несколько?

Я пялил глаза и скоро догадался, что мы опять в селе Глупцове.

— Ах, боже мой! — воззвал я,— это самое то место, где сегодня назначено было бракосочетание Неониллы!

— Слава богу,— говорила она,— что день сей прошел не хуже. Для меня во сто раз приятнее было провести ночь в дремучем лесу на сырой земле, а день среди разбойников, чем с дедом Варипсавом!

— Однако, Неонилла,— заметил Король,— на хуторе отца твоего теперь изрядная суматоха, и если не сделана погоня, то неотменно последует. До корчмы добираться

нам нечего: она самое ненадежное убежище. Я думаю остановиться в сем ближнем доме и щедро заплатить хозяину за скромность и укрытие нас на некоторое время.

В сем намерении мы постучались в ворота, и встречены стариком в литовском платье. Нас ввели в светелку и подали ночник.

— Хозяин! — сказал Король, усевшись на лавке,— мы надеемся, что ты человек честный, а потому будем говорить с тобою откровенно. Мы имеем в сем краю злого неприятеля, который ищет погубить нас. Хотя в каждом городе мы не имели бы причины его опасаться, но в селениях и в поле он может нам сделать насилие. Вот тебе десять червонцев за то, что в доме своем дашь нам пристанище и никому не объявишь, что у тебя есть кто-либо посторонний. За всякую же пищу, какой потребуем, будет особо заплачено.

Хозяин, приняв деньги и уложа в карман, сказал с улыбкою:

— Господа! я также надеюсь, что вы честные люди, и даю слово, что доверенность ко мне вас не обманет. Хорошо, что вы не пожаловали сюда раньше, а то неотменно не миновали бы рук панов Истукария и Варипсава.

— Как? что такое? — вскричали мы все трое в один голос.

— За два дня,— продолжал хозяин,— уже все селение знало, что сегодня назначено быть бракосочетанию дочери Истукария Неониллы с Варипсавом. Все собрались в церковь, любопытствуя видеть обещанное великолепие. Богослужение кончилось, мы все ожидаем долгое время жениха с невестою и со всем родством, но тщетно. Наконец прискакали верхами Истукарий, Варипсав, Епафрас со многим множеством вооруженных друзей и служителей. «Не видал ли кто из вас,— вскричал отец к собравшемуся народу,— беглой дочери моей Неониллы, злодея бурсака Неона и старого плута, Королем называемого? Кто мне откроет следы их, тому дарю пару лучших волов из моего стада и дюжину овец с двумя баранами». Все поселяне с недоумением глядели друг на друга и пожимали плечами; наконец священник отвечал за всех, что о таковых беглецах и не слыхали, иначе не для чего было бы православным собираться и в церковь. «Надобно их преследовать и поймать,— вопиял с бешенством Истукарий,— и я дозволю выщипать себе весь чуб по волоску, если не отомщу за себя примерным образом».

С сими словами Истукарий и все сопутники выбежали из храма, бросились на коней и поскакали по дороге к Пирятину. Теперь видите, дорогие гости, что я узнал вас с первого взгляда; но божусь, что не изменю вам ни одним словом. Я должен о людях заключать по себе. Каково было мне на сердце, когда покойные родители хотели меня в двадцать лет женить на сорокалетней вдове-шинкарке? Я бросил все и убрался в Запорожчину, где и пробыл до тех пор, пока не дозволено было взять за себя любимую мною Марину. У меня в саду есть маленькая хата, где помещу тебя, Неон, и тебя, Неонилла; а ты, Король, выбирай любое — или на сеннике, или на гумне. В сих убежищах никто не вздумает вас обеспокоить.

— Ты добрый человек, — сказал Король, — и будь уверен, что при расставании без надлежащей награды не останешься.

После легкого ужина, состоящего из древесных плодов, сыра и яиц, всякий из нас отправился на покой, который после прошедшей суматошной ночи был весьма нужен. Я и Неонилла рано поутру разбужены были ужасными ударами грома и бурным свистом ветра. В маленькое оконце видно было, что потоки молнии не оставляли небосклона; деревья скрыпели, дождь и град бил в крышку и стены нашего убежища, и я каждую минуту ожидал, что оно взлетит на воздух.

— Не правда ли, Неон,— сказала Неонилла со вздохом,— что с тех пор, как я тебя полюбила и отдалась влечению сей страсти, злой дух путает каждый шаг наш? Кажется, идешь вправо, а очутишься с левой стороны!

— Не совсем справедливо, любезная,— отвечал я,— и нам грех роптать на судьбу свою. Сколько раз грозили нам опасности, и мы от них нечаянно избавлялись. Даже самая прошедшая ночь, если б была подобно этой, то нам в лесу было бы гораздо хлопотливо. А теперь о чем думать? Мы сухи и согреты, а сверх того, такая погода поубавит в упрямом отце твоем охоты гоняться за нами, и он прежде времени поспешит в Переяславль.

Сими словами я успокоил красавицу, и мы очень терпеливо ожидали рассвета. Наконец настало утро во всем блеске и величии; громы и свисты бури умолкли, и лучезарное солнце величественно катилось по небу голубому. Мы оделись и вышли в сад. «Как прелестна природа после бури! Такова-то кажется нам всякая тихая минута после житейского ненастья. Не будем же роптать на муд-

рое провидение, если не все дни наши будут ясны; видно, таково изволение всемогущего. Он знает, когда беспечный слух наш поразить ударом грома и когда сумрак души нашей озарить лучами своей благости!» — Так мыслил я и старался мысли сии перелить в душу своей подруги.

В сем гостеприимном доме провели мы около недели, боясь показаться даже на улице, дабы не напасть на Истукария или кого-либо из знакомых. Хозяин и его домашние служили нам, как ближним родственникам, за то и мы не были скупы. Король на досуге беседовал с ними как истинный философ, проведший жизнь посреди испытаний. Словом, если бы нас не занимала мысль скорее достичь Батурина, то мы очень были бы покойны в своем убежище.

В пятые сутки хозяин, по наущению Короля, ходил в хутор Истукария, дабы от говорливого Власа проведать, что можно, о его господине. Под вечер он возвратился с веселым лицом и сказал:

— Отец твой, красавица, вчера еще отправился со всеми домашними в Переяславль, обещая сыну своему Епафрасу сделать его единственным наследником всего имения, исключив непослушную дочь от всякого в том соучастия.

Последняя угроза нимало нас не потревожила. Нам казалось, что денег, какие у нас были, станет на всю жизнь, хотя бы мы прожили Мафусаиловы лета. На другой день поутру назначено быть походу, почему Король, опасаясь, чтоб и впредь не довелось так же поститься, как в день побега из хутора Истукариева, и ужинать лесные яблоки, купил у хозяина торбу и баклагу и пошел в корчму заказать кое-что съестное и запастись добрым вином.

Оставшись одни с Неониллою, мы пошли в сад. С некоторого времени начал я замечать в ней скуку и уныние, а иногда видел слезы на прелестных глазах ее. Пользуясь случаем, я приступил с вопросами. Долго она стояла молча и вздыхая, наконец спросила с необыкновенною ласкою:

— Разве ты не примечаешь в наружности моей никакой перемены?

— Совсем никакой! — отвечал я. — Ты так же прекрасна и любезна, какою казалась мне за четыре месяца пред сим, при начале любви нашей!

— Ты обманываешься, — говорила она, потупя взоры, — всмотрись в меня хорошенько: огонь в глазах начинает меркнуть, свежесть в лице исчезает, стан не так строен и гибок, как был прежде. Увы, Неон! я — беременна.

Я оцепенел от ужаса и едва мог на ногах удержаться. Облокотясь о дерево, я смотрел на нее неподвижными глазами. Теперь и я начал уже примечать в ней действительную перемену. Я не мог различить чувств своих. Горесть, раскаяние, жалость и любовь терзали сердце мое то порознь, то совокупно. Тут Неонилла, приняв боязливый вид, сказала вполголоса:

— Ах, как я злополучна! Вместо того чтобы сею вестию обрадовать любезного, я его огорчаю! Ах, Неон, Неон! что со мною будет? Куда я денусь? Что сделаю с несчастным залогом преступной любви моей?

Тут она зарыдала и, вскричав: «Неон! не погуби меня и своего дитяти!» — упала к ногам моим и обняла колени.

Я вышел из своего бесчувствия; бросился в ее объятия, поднял и спросил с чувством, более горестным, нежели нежным:

— Что же велишь мне делать, моя Неонилла?

— Как? И ты спрашиваешь? — отвечала она.— Долго ли нам еще преступничать? Разве в селе сем нет храма божия, разве нет священнослужителя: пойдем предстанем пред алтарем господним и освятим любовь свою взаимными клятвами в вечной верности.

— Но, Неонилла,— сказал я заикаясь,— в этом наряде священник не узнает в тебе женщины!

— Это препятствие самое ничтожное,— отвечала она, ласкаясь ко мне со всею нежностию,— одна из дочерей нашего хозяина в мой рост. За небольшую плату я достану у нее на вечер праздничное платье. Милый друг! пойди к священнику предуведомить его об этом; вслед за тобою и я буду со всем здешним семейством.

Я так ошеломлен был всем виденным и слышанным, что, не отвечая ни слова, побрел к священнику.

«Вот тебе и на! — думал я дорогою,— кто б мог подумать, что я сделаюсь зятем надменного Истукария. Но Мелитина, милая Мелитина! Что ж такое? Невинная девушка не дала мне на себя никакого права. Она, вероятно, и не знает о любви моей. А Неонилла! Ах! она

всем для меня пожертвовала: добрым именем, отцовским имением, она мать моего дитяти! права священные, неотъемлемые!»

Посетив священника и положа пред ним горсть злотых, я сказал:

— Честный отец! рассуди меня с моею совестию. Я заезжий пан и не без достатка. В сем селе проживая по некоторым обстоятельствам довольно долго, я влюбился в крестьянскую девушку, умел и сам понравиться неопытной красавице, обольстил ее и сделал матерью; теперь я намереваюсь загладить грех свой и на ней жениться: хорошо ли я делаю?

— Самое спасительное дело, свет мой, — отвечал священник,— и я не знаю другого способа загладить пред богом такое грехопадение. Приводи в церковь свою невесту, и я соединю вас узами брака.

— Она и сама скоро будет,— говорил я, и мы отправились во храм.

Неонилла не заставила себя долго дожидаться. Она появилась в сопровождении всей хозяйской семьи; бракосочетание совершено, и мы сделались супругами. Признаюсь, что я все еще не знал, радоваться ли мне, или печалиться,— однако ж заметил, что Неонилла в женском платье, хотя и крестьянском, обворожила всех своею красотою и любезностию. Не дожидаясь Короля, я велел изобильно подать наливок и закусок и сел за стол с женою рядом, как водится, а вокруг нас расположилось все семейство. По мере того как полные чарки были опорожниваемы, мы делались веселее, и уже две хозяйские дочери и две невестки начали мурлычать свадебные песни, а мужья их стучать ногами такту, как вдруг Король, обремененный поклажею, ввалился в свадебную комнату.

Глава X

Невежливый жених

Увидя такое неожиданное явление, Король остановился у порога и протирал глаза. Его молчание смутило меня и Неониллу. Я протянул к нему руку и сказал:

— Любезный друг! обойми жену мою и садись веселиться.

— Как? — спросил он довольно сурово,— какую жену?

— Неониллу!

— Когда успел ты?

— Сего вечера мы обвенчаны!

Он крепко потер свой чуб и молча вышел.

— Неон! — сказала жена моя,— если Король тебе друг, то, узнав причину, для чего мы поторопились, долго упрямиться не будет; если же вздумал бы и оставить нас, то неужели моя любовь не заменит его любви? Будь покоен: я беру на себя помирить его с нами.

Тут она встала и вышла, а мы продолжали веселиться, мало заботясь, сердится ли кто на нас или нет. Однако ж, к большей еще радости, Неонилла скоро возвратилась, ведя Короля за руку.

— Неон! — сказал старик, обняв меня, — я теперь узнал причину, по которой ты обязан был жениться на Неонилле, если не хотел сделаться злодеем, недостойным ни милости от неба, ни от людей помощи. Дай бог, чтобы все обратилось к лучшему! Велика власть и милость господня!

Король принял участие в общем веселии, которое продолжалось гораздо за полночь. Путешествие отложено еще на целый день. Как мы не опасались уже ни обысков, ни погони, то порядочная брачная постеля была нам приготовлена в светелке, а Король переселился на ночь в садовую хату.

Наутро Неонилла, осыпав меня ласками, сказала:

— Друг мой, я заметила, что в женском платье нравлюсь тебе более, чем в мужском,— да это и естественно; а потому сегодня поутру надену мужское в последний раз. А как в своем путешествовать пешком или верхом для меня весьма неудобно, то я нашла средство отвратить и сие затруднение. На известном тебе хуторе отца моего есть прекрасная бричка; мы запряжем ее в четыре надежных коня, уложим мою постель и весь платяной наряд отцовский, матернин, братнин и мой. Не правда ли, что моя выдумка весьма разумна? Как скоро все приведено будет в надлежащий порядок, я переоденусь опять в свое платье и никогда более не скину. Где будешь ты, там буду и я. На отца и брата я мало надеюсь; но что касается до матери, то она меня не оставит. Она сама говорит, что я — настоящий образ молодых лет ее, за что всегда жаловала меня особенно.

Я похвалил такую разумную догадку моей дорогой половины. Одевшись, соединились мы с Королем и от-

крыли ему предположение свое путешествовать с лучшею удобностию. Он сначала заметил, что такое приобретение походить несколько будет на воровство.

— Никак! — возразила Неонилла,— я дочь Истукария и могу воспользоваться кое-какими вещами из его дома, тем более что во власти его осталось много дорогих вещей, собственно мне принадлежащих, которые гораздо дороже стоят тех, кои теперь возьму я себе по нужде.

Король принужден был согласиться на сии доводы, и мы, взяв с собою старшего хозяйского сына, отправились в хутор. Пришед в господский дом, нашли двери на замках, почему принуждены были искать Власа в людской избе. Нашед всех за делом, Неонилла спросила важным голосом:

— Узнаете ли дочь вашего господина?

Все ударились бежать, крестясь и отплевываясь.

— Куда? — вскричала Неонилла, заградив им дорогу,— неужели платье могло так переменить лицо мое, что вы не узнаете уже своей Неониллы? Влас! сию минуту впряги в новую бричку четырех коней и подъезжай к крыльцу господского дома, а между тем отдай мне ключи, если не хочешь, чтобы мы отбили двери и тебе порядком досталось от отца моего.

Влас, трепеща всем телом, подошел к Неонилле и, вручая ключи, сказал:

— Если ты и в самом деле не оборотень, то бога ради перекрестись!

Жена моя охотно исполнила благочестивое сие желание, и бедный Влас сделался посмелее. Он пошел в сарай и начал впрягать лошадей вместе с сыном нашего хозяина, а мы отправились в дом и начали укладывать пожитки. Занятия наши недолго продолжались. Бричка подвезена, и все порядком уложено, а особливо пышная постеля, столь необходимая утварь для нежной замужней женщины. Для утешения бедного Власа я дал ему несколько злотых, и он, забыв все, вслед за нами поплелся к очаровательной корчме. Мы перед обедом поспели в село Глупцово, целый день провели в пиршестве и решились, не откладывая вдаль, наутро пораньше пуститься в дорогу. Посему я и Неонилла положили эту ночь провести в бричке.

На другой день, проснувшись, я почувствовал легкое колебание нашей колесницы, которая вскоре и остановилась; Неонилла покоилась еще сладким утренним сном; приятная улыбка блистала на полуотверстых губах ее, на

щеках играл прелестный румянец. Ах! как она показалась мне прелестною и как я благодарил судьбу, соединившую меня с сею красавицею! Я вышел из своей походной спальни и нашел, что лошади были уже выпряжены и пущены на траву. Подле тенистой рощи бодрственный Король приготовлял обед.

— Ты долго спишь, приятель,— сказал он,— человеку, готовящемуся вступить на поприще брани, надобно приучаться к бодрствованию! Мы уже от села Глупцова отъехали двадцать верст и к ночи будем в Пирятине.

— Когда я буду на поле брани, то, верно, подле меня не будет Неониллы,— отвечал я.

Он улыбнулся и продолжал свое дело. Скоро вышла и наша хозяйка, совсем одетая. Мы уселись на траве и обедали с великою охотою, после чего Король улегся отдыхать, а я с Неониллою вздумали прогуляться недалеко от становища.

— Друг мой! — сказала жена,— я сделалась твоею по особенной любви и доверенности, совсем не зная, кто ты подлинно. Расскажи мне теперь о своих родителях.

— Увы! — отвечал я,— и мне совершенно неизвестно, кто они и где находятся. Хотя Король и друг его Мемнон об них знают, но, несмотря на частые мои докуки, ничего не объявляют.

Тут я рассказал все, что знал о самом себе.

— Что ж делать? — сказала Неонилла.— Довольно, что родители твои люди благородные, и никто из родных не упрекнет меня, что вступила в союз неравный. Будем ждать и надеяться.

Поговорив о сем предмете, я изъявил желание знать и ее историю.

— О! — сказала Неонилла улыбаясь,— моя история хотя не длинна, но также довольно любопытна. В угодность твою я открою, между прочим, нечто, чего никто, кроме меня, не знает. Может быть, тебе уже известно, что отец мой молодые лета свои проводил в Киеве, как в таком городе, где достаточный человек может найти все веселости. Там женился он на моей матери, и там родились я и брат мой Епафрас. Мне было уже шесть лет, когда правительство назначило отца старшиною в Переяславль. Он отправился к должности с моею матерью и братом, а я, с общего согласия, оставлена для воспитания в доме дяди, богатого гражданина пана Тивуртия. У него часто собирались гости самые знатные и образованные, и от

них-то научилась я той свободе и непринужденности в обращении, которые отличают городских жителей от деревенских. До шестнадцатилетнего возраста я и не знала никаких печалей и огорчений. Я понемногу училась, часто играла на лютне, пела и плясала. Кто ни приезжал к дяде и куда он ни возил меня, везде встречала я одни ласки, похвалы и приветствия; если же от кого и досадно было мне слушать ласкательства, так это от знатного и богатого пана Памфамира. Он был не стар, но так изуродован, что страшно было на него глядеть. Оспа налепила на один глаз бельмо и все лицо испестрила разноцветными ошивками; вдобавок красные волоса его съежились и переплелись, как у арапа. Когда он смотрел на кого пристально, то глаз его воспламенялся и быстро двигался во все стороны, как у колдуна. Нежные слова и ласковые приветствия сего человека, как я уже заметила прежде, были для меня несносны. Хотя я никого не любила, но чувствовала, что пана Памфамира способна ненавидеть. От встречи с ним убегала я весьма тщательно, с нарушением иногда учтивости, и тогда страшный глаз его блистал гневом и мщением. Мне исполнилось шестнадцать лет, и отец мой с матерью приехали в Киев и остановились в доме дяди. На другой день я позвана была прѐд родителей, и отец говорил: «Неонилла! ты уже невеста, и мы приехали к тебе на свадьбу. Через неделю ты будешь женою предостойного мужа. Он молод, богат, знатен, храбр и умен: видишь, сколько достоинств в одном человеке. Хотя, правда, он не совершенный красавец; но в мужчине красота не есть достоинство. Он более года вел со мною на сей предмет переписку; но я взял за правило не выдавать тебя раньше шестнадцати лет, и он должен был смириться предо мною».— «Кто же мой жених?» — спросила я. «Выбрать тебе мужа было мое дело, а твое будет за него выйти. Мне всегда нравились такие девицы, которые не прежде узнавали женихов своих, как под венцом. Кротость и стыдливость — суть лучшие украшения всякой женщины».

Как я никого не знала, кто бы особенно был мне по мысли, то весьма равнодушно выслушала сие предложение. Срочная неделя пролетела как вихрь. Каждый день я занята была с утра до вечера примериванием дорогих платьев и других уборов. Настал роковой день, и я, одетая великолепно, отвезена в церковь дядею Тивуртием. Когда меня подвели к жениху, я взглянула на него

и оледенела,— это был ненавистный Памфамир. Дрожь разлилась по моим жилам, холодный пот оросил лицо мое, руки и ноги дрожали. Меня поставили у налоя, и торжество началось; не успела я опомниться, оно уже и кончилось. Со всеми сопутниками отведена я в великолепные палаты моего мужа и усажена за богатым столом.

Глава XI

Муж по имени

Во время брачного торжества я пребывала в глубоком молчании и с стесненным сердцем рассуждала о горькой своей участи. Наконец, напала на мысль, которая мне понравилась, и я решилась: отгадай, на что? Я решилась лучше пойти в монастырь или даже и умереть, чем сделаться настоящею женою ненавистного человека. «Довольно с него и одного названия мужа; но чтоб он владел моею особою — никогда, никогда!» Утвердясь в сей мысли, я сделалась покойнее, и румянец гнева покрыл бледные щеки мои. Муж, толкуя перемену сию в свою пользу, рассыпался передо мною в учтивостях. День прошел, настала ночь, и нас отвели в опочивальню.

Когда я с мужем осталась одна, то он с щегольским видом подскочил ко мне и хотел помогать раздеваться; но я, отступив на несколько шагов, сказала с возможною важностию: «Остановись, пан Памфамир! и не смей подступать близко. Хотя ты и об одном глазе, но мог приметить, что я нездорова. Пока совершенно не оправлюсь, будь уверен, никакая власть не принудит меня сделаться настоящею твоею женою; будь до времени доволен и одним названием мужа!» Вот тут посмотрел бы кто, как он изменился. Глаз его сверкал, как раскаленный уголь, губы дрожали. «Понимаю! — произнес он наконец,— что значит это упрямство; но я докажу, что уже не ребенок и дурачить себя не дозволю. Оставайся здесь, а я найду себе место». С бешенством выбежал он из спальни, и я, скинув головной убор и верхнее платье, легла в постелю.

Легко представить можно, сколько ночь та была для меня горестна. Я просыпалась каждую минуту и к утру почувствовала себя действительно больною. Родители, вошед ко мне, поздравляли с благополучным окончанием брака, из чего заключила я, что Памфамир скрыл от всех

истину, и в первый раз почувствовала к нему некоторую благодарность.

Свадебные праздники прошли; родители мои и гости разъехались, и я осталась одна оплакивать свое горе. Всякую ночь муж, провожая меня в спальню, спрашивал: «Все ли еще ты нездорова?» — «Да!» — отвечала я, и он с крайним огорчением удалялся. Так проходил день за днем, неделя за неделей, так прошло три месяца.

Сия чудная супружеская жизнь не мешала моему мужу давать частые обеды и ужины и везде возить меня в гости. При посторонних ни одним взглядом не обнаруживал он неудовольствия; но когда оставались одни, то я терпела от него ругательства и угрозы. Известно, что муж, чувствующий себя недостойным любви жены своей, всегда бывает рабом ревности.

В сие время показался в киевских обществах граф Хмаринский, племянник воеводы. Он был молод, пригож и великий угодник женского пола. Все на него заглядывались, так мудрено ли, что и я наряду с прочими зевала на искусные танцы его и охотно слушала нежное болтанье, коему научился он, воспитываясь в Варшаве. Муж мой скоро приметил его взгляды, на меня обращаемые, и пожимание руки в танцах. Он бы охотно запрятал меня в один из хуторов своих, но стыдился признан быть ревнивым; сверх того, опасался отказать Хмаринскому от своего дома, по его близкому родству с воеводой, который мог бы навлечь ему великие хлопоты. Так прошли, как я сказала прежде, с небольшим три месяца после мнимого моего замужества.

По случаю святочных праздников и всерадостного дня рождения Памфамирова он назначил у себя в доме пир великолепный. В сумерки собралось множество гостей, и в числе их молодой Хмаринский. Загремела музыка, и начались танцы. Когда я сошлась с моим волокитою, то он сунул мне письмецо в руку. Я так была нова и неопытна в подобных приемах, что муж тотчас приметил сии шашни. Он подошел ко мне с изменившимся видом и грозно сказал: «Подай!» Не без замешательства я отдала роковую записку, и он удалился в свой кабинет. Происшествие сие, почти всеми гостями виденное, остановило танцы и родило на лице каждого горестное уныние. Скоро появился Памфамир, подошел к Хмаринскому и сказал вполголоса: «Мне нужно слова два сказать тебе наедине». Молодой человек язвительно улыбнулся, подал ему руку,

и они скрылись в кабинете. Некоторые из гостей хотели было следовать за ними, но нашли двери назаперти. Глубокое молчание царствовало в танцевальной комнате, музыка остановилась. Вдруг раздается выстрел; все вздрогнули и подняли крик. Многие бросились к дверям и опять остановились, услыша другой выстрел. Шум, тревога и смятение потрясали стены; служители сбежались, и, по приказанию моего дяди, двери от кабинета Памфамирова выломлены. Боже! какое ужасное зрелище представилось! Два бесчувственные трупа плавали на полу в потоках дымящейся крови. Я едва могла стоять на ногах, побрела к столу, взяла роковое письмо и сожгла на свечке не читавши. В одну минуту собраны были медики польские и жидовские. Они принялись осматривать тела, и женщины удалились. Дядя мой Тивуртий при свидетелях опечатал все в доме, а меня отослал в свой. Я не могла прилечь, да и все не спали, пока не приехал дядя. «Что? что?» — вскричали в один голос жена его, дети и я. «Очень худо,— отвечал он печально.— По надлежащем осмотре тел найдено, что у Хмаринского раздроблено левое плечо, но он еще жив, почему со всею бережливостию отнесен в палаты своего дяди. Над Памфамиром возились долее, и когда он начал уже леденеть, то врачи догадались, что он умер и что ему нужен гроб, а не лекарства». Приготовление похорон дядя Тивуртий предоставил себе.

На другой день я получила назад свое приданое, на третий похоронила мужа, умолчав пред всеми, что он никогда таковым не был. По совершении сего печального обряда я возвратилась к отцу.

Тут Неонилла остановилась, и я заключил ее в свои объятия. Бричка была готова, и мы отправились в дальнейший путь. До самого Батурина, в продолжение четырех дней, не встретили мы ничего, достойного внимания и рассказа. Мы были здоровы, веселы, довольны. Подъезжая к городу при благовесте к вечерням, Король сказал:

— Я думаю, что о жилище мы не должны беспокоиться. За двадцать лет с небольшим оставил я в Батурине приятеля, который, надеюсь, не позабыл еще моей услуги. Я коротенько расскажу вам его повесть.

Когда я был еще в уважении при дворе гетмана и в доверенности на его советах, то, возвращаясь однажды из дворца, нашел у ворот моего дома мужчину лет в тридцать и женщину в двадцать с маленьким дитятей на ру-

ках. Они были босы и в лохмотьях; бледные лица и впалые глаза ясно изображали истощение сил их. На вопрос мой, что они за люди и чего хотят, мужчина отвечал: «Я — черноморец и жил в Сечи Запорожской. Имя мое Ермил. Бывая нередко в походах, я познакомился с казацкою дочерью Глафирою. Мы понравились один другому и сделались мужем и женою. Вместо того чтоб мне изредка навещать свою Глафиру, я был столько неразумен, что, презрев один из коренных законов черноморского войска, захотел быть с нею неразлучен. Тайно ото всех я из внутренности моей землянки выкопал другую и, пользуясь темнотою осенней ночи, умел проводить туда Глафиру. Пока мы были одни, я мог скрывать ее пребывание. Я ловил рыбу, крал у малороссиян овец, и мы были сыты. При начале сего лета жена родила мне сына, которого я в честь деда назвал Муконом. Я плакал от радости и прискорбия, ибо сердце мое предчувствовало близкое несчастие. Пронзительный вопль младенца услышан был прохожими; донесено куренному атаману;[1] в землянку мою вломилась целая толпа, и Глафира найдена. Ужас сыщиков был неописанный. Они удивлялись, что Сечь не провалилась еще сквозь землю или не сожжена небесным огнем, подобно Содому, за то, что женщина присутствием своим осквернила освященное место. Я взят под стражу, и войсковой атаман дал повеление, наказав меня примерно за такое непростительное беззаконие, выгнать с женою и младенцем из Сечи. Вследствие сего меня вывели на публичную площадь и при стечении бесчисленного народа выбрили голову и усы, а в заключение, влепив в спину сотню ударов киями[2], прогнали за самые ворота. Я взял плачущую жену за руку, и мы — как и следовало — направили путь к жилищу моего тестя. Пришед на место, мы его не узнали; все селение представляло груды золы и угля. От пастухов, вблизи со стадами находившихся, мы узнали, что за месяц перед тем крымские татары напали на селение, часть жителей побили, другую увели в плен и, разграбив жилища, сожгли оные. «Что нам, бедным, делать?» — «Постой, Глафира, не плачь,— сказал я жене.— Не одни черноморские казаки на земле

[1] *Курень* — значило отделение некоторой части казаков и жилища куренного атамана. Все Запорожье разделено было на курени.

[2] Посохи, у коих на верхнем конце бывает или природная, или приделанная головка.

существуют; есть другие, кои не запрещают держать при себе жен и воспитывать детей. Пойдем в Батурин! Имя божие нас доведет туда».

Мы пустились в путь; но он не ближний. Надежда на бога нас не обманула, и мы пришли сюда живы; но — взгляни на наше состояние, милосердый пан, и сжалься над нами».

Так говорил Ермил, и я чувствительно был тронут горестным его положением. Они введены в мой дом, накормлены и одеты благопристойно. Когда муж и жена поооправились от дороги и продолжительного поста, я, призвавши их обоих, сказал: «Добрые люди! надобно иметь кусок хлеба, но надобно и трудиться. Недалеко от Батурина есть у меня большой хутор, где находятся стада рогатого скота. Хочешь ли, Ермил, быть главным смотрителем над пастухами, а ты, Глафира, надзирательницею за коровницами?» Они упали к ногам моим и благодарили со слезами за милость. В тот же день они отправлены на хутор и пробыли там пять лет. Во все это время я весьма был доволен их усердием и верностию. Стада мои приметно умножались, ибо бдительный Ермил пресек всякого рода кражу, и пастухи не смели уже продать ягненка под предлогом, что его съели волки, а прежде это было весьма нередко. Время от времени я награждал мужа и жену одеждою и небольшими деньгами. Они — по собственным словам — жили как в раю господнем.

Глава XII

Благодарные

По прошествии сих пяти лет поднялась над головою моей буря, сделавшая в жизни великую перемену. По делу отца твоего, Неон, в коем я принимал великое участие, о чем узнаешь в свое время, гетман Никодим рассвирепел на меня несказанно. Он собрал на совет всех полковников Малороссии и предложил им рассмотреть мой поступок. В угодность властелину судии объявили меня недостойным носить почтенное звание войскового старшины и с тем вместе пользоваться своим значительным имением и проживать в Батурине, где, конечно, могу повстречаться с гетманом и оскорбить взоры его. Таким

образом мой городской дом, мои хутора со всем имуществом объявлены принадлежностию отечества, а я изгнанником из столицы. К счастию, я имел друзей, которые о сем решении уведомили меня заблаговременно, и я мог все свои деньги и дорогие вещи спрятать в надежные руки. На другой день явился ко мне Ермил с женою и сыном. «Диомид! — сказал он,— хутор, где жил я с семейством, тебе более не принадлежит. Все пастухи остаются на своих местах и притом охотно, надеясь, что собственность отечества красть удобнее, чем господскую. Что касается до нас, то мы на хуторе оставаться не хотели. Когда ты был богат, то делал нас счастливыми; теперь стал беден, но это не дает нам права тебя оставить. Где ты, там и мы, и по самую смерть твои верные слуги. Где-нибудь найдем же себе убежище. Мы будем работать и кормить тебя, а когда поустареем, то подрастет Мукон; мы его женим; ты без услуги не останешься». Такая благодарность тронула меня до слез. «Друзья мои! — сказал я,— вы ошибаетесь, считая меня бедным. Я имею более денег, нежели сколько мне нужно по будущему образу жизни, и я вам докажу это сегодня же. Побудьте здесь и дождитесь моего возвращения».

У меня на примете был продажный домик в конце Батурина с небольшим садом и огородом; я тотчас купил его на имя Ермила и снабдил всеми принадлежностями. Устроя все как следовало, я привел туда нового хозяина с женою и сказал: «Этот дом принадлежит вам. Ты, Ермил, так хорошо управлял чужим хозяйством, что стоишь иметь свою собственность. Все, чего я от тебя требую, состоит в том, что если судьба приведет меня когда-либо в Батурин, то дать мне в сем доме убежище». Ермил и Глафира плакали, целовали мои руки и осыпали благословениями. Я обнял каждого из них, простился и — выехал из столицы. Хотя более двадцати лет я не видал Ермила, но уверен, что он не переменился и от чистого сердца рад нам будет; если же его нет более на свете, то его сын, надеюсь, не менее отца будет добр, чувствителен и благодарен.

— Но, почтенный друг! — говорил я,— ты нам сказал, что при выезде из Батурина имел довольное количество денег и дорогих вещей; что же принудило тебя сделаться в Переяславле огородником, чтобы каждое лето сражаться с бурсаками?

— На это были основательные причины, о коих расскажу в другое время,— отвечал Король, и мы въехали в город.

Неонилла, воспитанная в Киеве, мало на что обращала внимание, зато я пялил глаза на все встречающиеся предметы. Какая разница во всем против Переяславля и Пирятина! Мы ехали тихо вдоль города, и на конце оного остановил Король лошадей у ворот не нового уже, но красивого и порядочного дома. На стук Короля в вороты вышел молодой человек, видный собою и дородный.

— Как тебя зовут, молодец?

— Муконом.

— Отпирай же ворота, я привез гостей.

Ворота отперты, мы въехали на двор, я и Неонилла вышли из брички, и Король сказал:

— Мукон, жив ли отец твой Ермил и мать Глафира?

— Живы и здоровы!

— Где они?

— Мать прядет в избе, а отец собирает плоды и овощи для продажи завтра на рынке.

— Ну, Мукон, побудь же у лошадей, а мы пойдем к отцу твоему.

— Анна! — закричал Мукон у окошка, и вмиг выскочила на крыльцо молодая, пригожая крестьянка,— проводи сих господ в сад к отцу,— сказал он,— а я распрягу лошадей и поведу под навес.

Анна пошла вперед, а мы за нею последовали.

— Не жена ли ты Муконова? — спросил Король.

— Жена.

— Давно ли замужем?

— Около пяти лет, и у меня уже трое детей.

— Согласно ли живешь с мужем?

— О чем нам спорить!

Мы вошли в садик, который был невелик, но преисполнен всяких плодовитых дерев. Прошед до конца, мы не видали хозяина, и Анна должна была вскричать громко:

— Батюшка! где ты?

— Что ты, Анна? — раздался голос с вершины кудрявой яблони, и мы подошли под самое дерево.

— Сойди на низ,— кричала Анна,— к тебе пришли гости.

— Скажи им, что скоро буду; дай ощипать эту только ветку: ведь не в другой же раз лазить.

— Гости здесь,— продолжала Анна,— и они приехали в бричке в четыре лошади.

— Лезу, лезу!

Ермил медленно спускался с дерева, ибо ему быть проворным мешала большая торба с яблоками, привязанная к поясу. Став на земле, Ермил отвязал торбу и положил на траве, а сам бодро, с веселым видом подошел к нам, поклонился с козацкою ухваткою и ласково спросил:

— Что вам, господа, от меня угодно?

Король несколько времени молча его рассматривал, и Ермил также с приметным смятением глядел ему в глаза.

— Как, Ермил,— сказал Король,— ты не узнаешь уже своего старинного приятеля?

— Мати божия! — говорил вполголоса Ермил,— как лицо переменилось; но голос, голос все тот же! Так! — вскричал он, бросился к Королю и, став на колени, обнял ноги его.— Ты наш благодетель,— говорил он,— наш ангел-хранитель, ты Диомид Король.

— Диомид Король! — вскричала Анна и со всех ног бросилась из саду.

— Встань, друг мой,— говорил растроганный Король,— встань! Я не с тем к тебе приехал, чтобы привести в смятение, а единственно для сего молодого человека, моего родственника, который желает определиться ко двору гетмана. В сей госпоже ты видишь жену его. Встань же, Ермил, встань, друг мой, дай обнять себя!

Ермил продолжал обнимать колена своего благодетеля, и седые усы его напоены были слезами. Вдруг раздался вопль позади нас; мы оглянулись и увидели, что пожилая женщина — я сейчас догадался, что это Глафира,— бежала к нам опрометью, за нею следовали сын и невестка, и все трое очутились на коленях подле Ермила, плакали и простирали к Королю руки.

Я не мог быть равнодушен при таком зрелище и, чтоб скрыть свое смятение, отворотился; но глаза мои тут же встретились со слезящимися глазами Неониллы. Она улыбалась, но слезы продолжали орошать прекрасные щеки ее. Бросясь в ее объятия, я сказал:

— О милый друг мой! видишь ли награду благотворения? Я уверен, что чувств, какие теперь наполняют душу нашего Диомида, не можно купить за все золото Малороссии; это блаженство есть награда одной добродетели.

— Я чувствую справедливость слов твоих,— говорила Неонилла,— и молю всеблагого бога, чтобы он когда-нибудь даровал и нам возможность вкусить подобное счастие!

Она погрузила лицо свое на груди моей, и мы в положении сем пробыли несколько мгновений.

Когда оправились, то увидели, что хозяева наши были уже на ногах и Король с нежностию обнимал каждого поочередно. Ермил успел уже повестить семью свою о ближнем родстве моем с Королем, почему все теснились к нам с приветствиями. Подражая своему другу, я обнял Ермила и Мукона, а Неонилла ту же ласку оказала Глафире и Анне.

Мы отправились в дом, и введены прямо в чистую, светлую и красивую комнату. Ермил, подошед к образу спасителя, произнес громко:

— Благодарю тебя, создатель мой, что ты сподобил меня еще в жизни сей увидеть моего благодетельного господина! О сем молил я тебя каждодневно, вставая ото сна и отходя ко сну, и молитва моя услышана. Боже! благодарю тебя!

Король, я и Неонилла уселись на широкой чистой скамье у стола. Ермил, поклонясь, сказал:

— Позволь мне, Диомид, на минуту отлучиться. Вы с дороги устали, так не худо раньше поужинать и успокоиться.

— Постой! — вскричал Король,— я тебя понимаю! Сегодня середа, а в саду твоем пруда нет, нам же хотелось бы поесть чего-нибудь рыбного. Покуда мы живем у тебя в доме, я требую, чтобы ты ничего на нас не тратил, и это непременная воля моя!

После сего Король, вынув из кармана горсть злотых, сказал хозяйке:

— Глафира! пошли сына или невестку на базар достать живой рыбы и изготовь хорошую похлебку да еще что-нибудь; а ты, Ермил, останься с нами.

— Хорошо! — сказал последний,— я тебя послушался; не препятствуй же и мне кое-что от себя сделать.

Сказав сие, он со всею семьею вышел, и не успели мы выговорить полсотни слов, как уже и возвратился, держа в руках большую сулею вишневки и чарку, а за ним шел четырехлетний мальчик, неся миску с сотами и большую булку.

— Это пусть будет вместо полдника,— сказал Ермил и по точному приказанию сел на другой лавке против нас. Дорожным людям такой полдник не по нраву, и мы с Королем принялись за сулею, а жена моя за соты и булку. По окончании сей монашеской трапезы Ермил предложил осмотреть на досуге дом его и выбрать спальни. Все с охотою на сие согласились, а особливо Неонилла. Чистая половина дома состояла из трех покоев, и жене моей понравился самый дальний, в коем были два окна — одно в сад, а другое на улицу. Комната сия утверждена за нами.

— А я давно уже назначил себе опочивальню,— сказал Король,— которая мне весьма нравится. В саду твоем, Ермил, заметил я в углу клеть, где, вероятно, хранятся садовые и огородные орудия. Если они разбросаны, то вели собрать в одно место и уложить в стороне, а на другой постлать побольше свежего сена. Приятнейшей спальни ты для меня во всем Батурине сыскать не можешь.

— Быть по-твоему,— сказал Ермил и вышел.

В скором времени явился он с сыном и работником, несшими топоры, гвозди и доски. Вошед в мою спальню, принялись за работу и, не будучи плотниками, в скором времени уставили у задней стены прочные подмостки. После сего началась выгрузка нашей брички, в чем и я с Королем участвовал, а Неонилла, оставаясь на месте, раскладывала приносимые нами вещи и приготовляла постелю. Мы так были трудолюбивы, что до заката солнечного не только моя спальня, но и Королева были совершенно готовы.

Ужин наш прошел весело. Ермил и его семейство окружали нас и прислуживали, стараясь предупреждать и малейшие желания. По окончании стола все распрощались. Анна, по приказанию свекрови, готовилась идти за Неониллою, дабы служить ей при раздеванье; но сия отговорилась, сказав, что с некоторого времени привыкла все, до нее лично относящееся, делать сама. Уединясь в спальню, мы принесли милосердому промыслу душевное благодарение за все помощи, доселе нам оказанные. После сего предались покою безмятежному.

Часть третья



Глава I

Гетман и двор его

Поутру все в доме занялись делами: Ермил поехал на базар с возом садовых плодов и огородных овощей; Король скрылся, не сказав куда и зачем; Глафира начала стряпать, а я с Муконом и Неонилла с Анною отправились за разными покупками. В полдень все собрались вместе. В привезенный мною шкаф уложены платья; в небольшом ларчике спрятаны деньги и дорогие вещи; в особенном сундучке находились женины снадобья, как-то: нитки, шелки, иголки и проч.; словом, мы спальню свою убрали так, как прилично семейным людям. Вечернее время проведено в саду вместе с хозяевами, из коих каждое лицо, не исключая и четырехлетнего сына Муконова, старалось нам услуживать, сколько было сил у каждого. После ужина Король сказал:

— Через два дня, в наступающее воскресенье, ты увидишь, Неон, в церкви нашего великого гетмана Никодима. Он будет во всем блеске и великолепии. Друг мой! заклинаю тебя моею неизменяемою дружбою, полюби сего державного старца, при лице коего служить намереваешься. Так он сделал мне немало зла, но он действовал как оскорбленный отец и повелитель. Я охотно его прощаю и сделаю еще более: я стану сражаться под его начальством, ибо знаю, что знамена, его осеняющие, суть знамена моего отечества. Сколько противен мне Никодим лично, столько священно для меня его звание — гетмана всей Малороссии. Неон! привяжись к нему сердцем твоим и с его пользами соедини неразрывными узами свои пользы!

Так говорил Король, и взоры его казались воспламененными. Я приступил было к нему с вопросами; но он удалился, сказав:

— Что ясно, то не требует пояснений.

Не знаю, почему, но я охотно согласился с его мыслями, ибо чувствовал, что они не есть цель какого-либо честолюбия или своекорыстия, но побуждение одной любви к отечеству, стенающему под игом иноплеменным.

Настал первый день сентября, день воскресный, день нового лета[1], день рождения гетманова, коему исполнилось тогда шестьдесят два года. Сколько причин к торжествам всякого рода! Я оделся в богатое кармазинное платье, подаренное некогда Мемноном; Неонилла нарядилась в золотое парчовое. Она была так прелестна в моих даже глазах, что казалось, будто в первый раз вижу нимфу Овидиеву. Приметная округлость стана делала ее в глазах моих драгоценнее всего на свете. Кроткая, милая Мелитина, если иногда и приходила на мысли, то на одну только минуту, и то в виде какого-то воздушного явления.

Король, отпуская меня с Неониллою, Ермилом и Муконом в церковь, затуманился, и слезы навернулись на глазах его. Я не утерпел спросить: что за причина такой чувствительности?

— Сын мой! — сказал он вполголоса,— позволь назвать тебя сим именем в награду моей любви к тебе, Неон! ты увидишь гетмана, увидишь человека, которого и я любил некогда, как отца своего! Я хотел бы тебе сопутствовать, но не должен! Сила закона всегда священна для душ непреступных. Меня выслали из Батурина для того, чтобы появление мое не огорчило взоров гетмана. Довольно дерзости с моей стороны, что прибыл в сей город; зачем же казаться в тех местах, где — как известно мне — непременно будет повелитель?

Пришед в соборную церковь, мы увидели чрезмерное стечение народа. Великолепие блистало со всех сторон. Уставив Неониллу среди женщин[2], я постарался найти себе место поближе к тому, где становится глава народа. Оно устлано было богатым ковром и осеняемо сверху покровом малинового бархата с золотою бахромою и такими же кистями. Вскоре суетливость духовенства и народа возвестили прибытие великого гетмана. Молчание распро-

[1] Известно, что до 1701 года новое лето начиналось 1 сентября.

[2] В Малороссии и до сего времени большею частью сохраняется обычай, чтобы в церквах женщины стояли от мужчин отдельно.

стерлось повсеместное. Сначала показалось около полусотни телохранителей, одетых в богатые черкески; они последуемы были важными чиновниками в блестящем убранстве, за коими шествовал державный старец. Стопы его были медленны, величие блистало во взорах, возвышенный рост и стройная осанка отличали его от всех прочих. Шествие заключалось знатнейшими гражданами Батурина и других городов Малороссии. Когда гетман проходил мимо меня, я почтительно преклонил голову и потупил глаза в землю; однако ж сие положение не мешало мне приметить, что Никодим кинул на меня благосклонный взор и сделал легкое потрясение головою. Во время священнодействия, хотя я усердно молился господу богу, благодаря его за все блага, столь нечаянно и незаслуженно на меня излиянные, однако сие не мешало мне почти беспрестанно смотреть на гетмана и ловить каждый из его взоров. По окончании богослужения он вышел из храма тем же порядком, как и вошел. Я вмешался в толпу его провожающих и последовал за ним до крыльца церковного. Тут подвели ему богато убранного коня; он сел и, окруженный телохранителями, медленно возвращался в свои палаты при пушечном громе и колокольном звоне. О, как наружное великолепие и блеск умножают в нас благоговение к державным особам! Какая разница между гетманом, окруженным своими телохранителями, сопровождаемым знатнейшими лицами и бесчисленным множеством народа, и консулом переяславской бурсы посреди своего сената, окруженным ликторами и целерами, хотя и последнего власть довольно значительна на своем месте!

Соединясь с Неониллою и своими спутниками, я собирался отправиться домой, как подошел ко мне назнакомец и сказал отрывисто:

— Великий гетман Никодим обратил на тебя высокое внимание и желает знать, кто ты, откуда и зачем прибыл в столицу?

Будучи гораздо прежде научен Королем, как поступать в подобных случаях, я отвечал непринужденно:

— Имя мое Неон, по прозванию Хлопотинский, по месту рождения принадлежу я Переяславскому полку. Отец мой был шляхтич и умер в походе противу татар, матери также я лишился; а приехал в Батурин посвятить себя на службу отечеству и желал бы определиться в полк гетманский.

Получа сей ответ и расспрося о месте моего жительства, незнакомый удалился, и мы возвратились домой.

На другой день все принялись за работу. Неонилла, отобрав платье своей матери, атласные, бархатные и парчовые, нашла, что они, несмотря на ее беременность, гораздо широки; почему и начала переделку по своим девическим платьям. Сидя подле нее, я читал вслух патерик, Минеи-Четьи и другие церковные книги, ибо достать светских на польском языке нельзя было иначе, как покупкою на ярмарках, бывающих в Батурине два раза в году, по зиме и по лету. Король большею частию находился в саду, где помогал Ермилу и Мукону собирать остатки плодов и овощей и учил обоих, как сохранить оные без вреда до новых. Так прошло время в продолжение всей недели, и в воскресный день я и Неонилла в сопровождении по-прежнему Ермила и Мукона отправились в церковь. По совету Короля я и жена моя оделись гораздо простее противу прежнего. Гетман также был во храме в одеянии, мало чем отличающем его от высоких сановников. Он заметил меня и, возвращаясь из церкви, сказал мимоходом одному из сопутствовавших войсковых старшин: «Представь ко мне сего молодого человека во дворце». Мгновенно четыре телохранителя окружили меня, и я — едва успел сказать Неонилле: «Ступай домой и жди меня» — должен был идти с ними по следам гетмана.

Вошед во дворец, я могу сказать, что не был ослеплен великолепием оного. Блеск и богатство, всюду мною виденные, были так велики, что я сейчас решился ни на что не обращать особенного внимания и тем предохранить себя от неизбежного замешательства и насмешек.

Гетман с приближеннейшими своими удалился во внутренние покои, а я остался в огромной комнате, где множество знатных людей, малороссиян, черноморцев и поляков, в блестящих одеждах, взад и вперед разгуливали. Иные были веселы и мололи всякий вздор; другие задумчивы и неохотно отвечали на делаемые вопросы; третьи попарно, или по три и по четыре человека, отошед в угол, шептались между собою; четвертые — казавшиеся совсем без нрава и занятия — похаживали важно по комнате, смотрелись в зеркала, закручивали усы, полуобнажали сабли и явно всем рассказывали, каких трудов стоило им изучение искусства биться на поединках, зато и сделались они совершенными наездниками. Между тем придворные служители набрали большой стол и уставили

оный водками, винами и разными кушаньями, каких прежде я и не видывал. Все многолюдство обратилось к сему привлекательному предмету, — да, правду сказать, и время такое было. Один я, не смея даже шевельнуться, и подавно не осмеливался приблизиться к цели общего обольщения, а стоял у окна, как на горячих угольях. Вдруг входит странный человек, который привлек все мое внимание. Летами казался он немного моложе гетмана. Росту был несколько ниже малого, но зато плотен, даже толстоват и одет великолепно. Верхнее платье его было бархатное; правая сторона красного цвета и вышита золотом; левая — синяя, вышитая серебром. Сапог на правой ноге был черный с преогромною серебряною шпорою, на левой — красный с такою же золотою; парчовый пояс унизан был жемчугом и каменьями. Едва показался он в комнату, как со всех сторон поднялся вопль: «Куфий, Куфий! милости просим!» Куфий поворачивался на все стороны, подавал с благосклонным видом руки свои то тому, то другому и, дошед в таком торжестве до стола, опорожнил золотой кубок водки. После сего, разгладя ужасные усы, висевшие на целую четверть ниже челюстей, сказал:

— Что слышно нового?

— Кому лучше и скорее знать всякую новость, как не тебе, Куфий? — отвечали знатнейшие из присутствующих.

— То-то и диво,— говорил Куфий, — что я сегодня в немилости. Когда проснулся, то гетман был уже в церкви, а теперь он так пасмурен и дик, что, лишь только я показался, сейчас приказано выйти и без особенного позволения к нему не являться.

— Вот подлинно новости! — вскричали многие.— Бедный Куфий!

— Нет,— отвечал сей,— Куфий не так-то беден, как вы думаете! Берегитесь, чтоб кому-нибудь из вас не быть в накладе!

— С кем теперь гетман?

— С одним Еварестом, полковником стародубовским. Но кто этот молодой казак, у окна стоящий? Как он зашел сюда? Для чего не пригласите вы и его к завтраку?

— Это,— сказал пожилой польский сановник,— по-видимому, какой-нибудь малороссийский шляхтич, который приехал ко двору предложить посильные услуги, лишь бы его одели, дали клячу и — кусок черного хлеба.

— Все не мешает, пан Казимир,— сказал Куфий.—

Пусть он и нищий дворянин; но как скоро господь бог сподобил его взобраться в чертоги своего гетмана, то не должен выйти из них с засохшим горлом и пустым желудком. Ах! сколько наш старый простак Никодим питает польской саранчи, которая за его же хлеб-соль над ним издевается и строит козни!

С сими словами он налил золотой кубок какого-то напитка, подошел ко мне и сказал:

— Будь веселее, молодец; ты в доме честного старика Никодима. Выпей и ступай к столу. Не смотри, пожалуй, на этих польских хвастунов и подражателей их, безмозглых земляков наших.

Едва я протянул руку, чтоб взять кубок, как быстро вошел Еварест — имя его узнал я вскоре — и, приближась ко мне, спросил:

— Ты тот молодой человек, которому гетман велел следовать за собою?

— Я!

— Ступай за мною!

Следуя за сим проводником, я успел заметить, что толпа знатных собеседников находилась в крайнем изумлении. Полные чарки, быв поднесены ко ртам, остановились в руках, и, по установлении снаряда сего опять на подносы, каждый шептал своему соседу во услышание всех: «Возможно ли? Кто этот молодой шляхтич?» В третьей уже комнате Куфий нагнал меня, обнял и сказал весело:

— Добрый знак! Пойдем вместе. Где допускается приезжий, там искренний друг и подавно не лишний!

Глава II

Есаул

Прошед длинный ряд комнат, одна другой пространнее, одна другой великолепнее, вступили мы в небольшой покой, в коем находился гетман. Я стал в отдалении и в безмолвии ожидал повелений. Куфий подошел к нему и с соучастием сказал:

— Ты мне кажешься, Никодим, с недавнего времени или не совсем здоров, или сердит. Неужели затеи поляков тебя беспокоят? Плюнь на этих бестолковых и более

надейся на свое храброе, верное войско. Божусь, что если до чего дойдет, то я сам, вот этою рукою, не одному поляку намну чуб и растреплю усы. Жаль только, что русский царь позамедлил; зима на дворе, а зимою хорошо только сидеть в теплой хате и пить наливки или заморские вина.

Гетман, осмотрев меня внимательно, дал знак, и я предстал к нему твердыми шагами.

— Имя твое, молодой человек?

— Неон, по прозванию Хлопотинский.

— Имя отца твоего и матери?

— Отца моего звали Ипполитом. Он урожденный шляхтич Переяславского полка. Находясь в последнем походе против крымских татар, он умер от ран; мать моя, Анфиза, получа о сем сведение, последовала за ним во гроб. Оставшись сиротою, я продал наследственное имение и, слыша, что ты готовишься к войне, явился в Батурин, чтобы умножить собою число храбрых сподвижников за свободу и честь отечества.

— Не правда ли, Еварест,— спросил гетман после некоторого молчания,— не правда ли, что сей молодой человек имеет чрезвычайно сходные черты в лице с двумя известными тебе особами? С первого взгляда я поражен был сим необыкновенным сходством и покушался думать, что он сын их; но теперь вижу, что обманулся. Как многоразлична природа в своих изменениях! Итак, ты, Хлопотинский, желаешь служить под знаменами Малороссии противу ее утеснителей? Хорошо! Наружность твоя мне нравится, ибо она обещает мужество души и крепость тела. Я принимаю тебя в число ратников полка моего. Завтра поутру явись к полковнику Евaресту, яко главному твоему начальнику, и он прикажет дать тебе приличную одежду и вооружение.

После сего он кивнул головою, я сделал почтительный поклон и намеревался выйти; но Куфий, подскочив ко мне с веселым видом и схватив за руку, сказал:

— Пойдем вместе; наш завтрак пропадать не должен!

Он повел меня обратною дорогою, и когда достигли мы прежней комнаты пиршествующих, то Куфий вскричал:

— Посторонитесь все! Никодим поручил мне попотчевать сего молодого шляхтича, яко нового своего телохранителя, и не будь я Куфий, если он в скором времени не выскочит в люди!

Прочие собеседники, предполагая ласковый прием гет-

манский, о чем безошибочно заключали из ласк и приветливости нелицемерного Куфия, стали обходиться со мною вежливее, чем за полчаса дотоле; однако еда и питье не шли мне на ум: я нетерпеливо желал рассказать Неонилле и Королю о следствиях свидания моего с гетманом, простился с добрым Куфием и бросился к жилищу Ермилову.

Всякий догадается, с каким нетерпением дожидались меня милая жена и добрый друг!

— Ну, Неон,— сказал последний, выслушав рассказ о моем приеме у гетмана,— теперь уже от тебя зависеть будет идти ко храму счастия проложенною дорогою; помни мои наставления, тебе деланные и какие впредь сделаю. Сколько приметно, то наступающая зима пройдет в мире. В течение сего времени приготовь себя исподоволь ко всем неприятностям, какие неминуемо встретят воина на полях брани.

На другой день рано поутру, когда Неонилла покоилась еще сном безмятежным, я оделся и быстро пошел ко двору гетмана. Мне нетрудно было найти жилище полковника Евареста, жившего во дворце, и как скоро объявил свое имя, то стоявший у дверей часовой велел мне войти в ближнюю комнату, переодеться в приготовленное платье и вооружиться. Я исполнил по сему приказанию, надел синюю куртку, такие же шаровары и черкеску красного цвета, препоясался саблею и в руки взял копье. Когда я был готов, то вошедший есаул (о звании его я сейчас догадался по наставлению Диомида) велел мне следовать за собою. Мы прошли обширным задним двором и очутились на пространном лугу, где увидел я более тысячи подобных мне рыцарей, гордо сидевших на конях и оказывающих удальство свое различным образом. Мне также подвели коня; я сел и начал, подобно другим, кружиться, скакать, обращаться назад и опять скакать с быстротою ветра. В сем занятии провели мы часа два, и громкий звук трубы раздался по лугу. Мы построились все в ряды, и полковник Еварест, в сопровождении сотников и есаулов, явился перед нами. Он проехал насквозь ряды и движением сабли разделил на шесть частей, означив каждой время должности. После сего мы спешились, и я со многими другими поведен ко дворцу. Некоторые из моих товарищей расставлены у разных входов на дворе, другие — у наружных ворот в сад, а я введен во внутренние покои. Уставя меня у дверей великолепной комнаты, провожающий нас сотник сказал:

— Должность твоя, Хлопотинский, состоит: в эту комнату, непосредственно ведущую во внутренние покои гетмана, не пропускать никого, кто не покажет на бумаге слепка сей печати, висящей у дверей на золотом снурке. Из сего исключаются только полковник Еварест, Куфий и дневальные: войсковой старшина, сотник и есаул, которых безошибочно узнать можешь по золотым поясам. Здесь пробудешь ты четыре часа; после чего я сменю тебя другим, и ты пойдешь куда хочешь. Завтра, едва лишь рассвенет, являйся опять на гетманский луг и жди новых приказаний. Вот вся твоя должность, пока гетман или Еварест не возложат особенной.

Я провел у сих дверей объявленные мне четыре часа, то стоя на месте, то сидя, то похаживая взад и вперед. Многие важные чиновники как малороссийские, так и польские проходили заповедные двери, показав нужные отпечатки, которые давали им на то право. Пред окончанием моих служебных часов Куфий появился, узнал меня, весело подошел и сказал:

— Здравствуй, Хлопотинский! Приятна ли показалась твоя должность?

— Как скоро мое занятие составляет должность, — отвечал я,— то оно не должно быть скучно или тягостно.

— Браво! — вскричал Куфий,— за такой ответ ты достоин быть поскорее есаулом! Ах, как мне хочется дождаться весны, когда начнут резаться храбрые люди. Что касается до меня, то я — несмотря, что слыву недальним человеком,— считаю себя умнее многих тысяч так называемых умников. Я люблю смотреть на сражения издали. Если наших поколотили, я по крайней мере остаюсь цел; если же мы возьмем верх, то первый являюсь на торжественных пиршествах и наемся и напьюсь исправнее тех, которые вышли из сражения кто без руки, кто без ноги, кто без глазу, без носу, с оторванными усами и взъерошенными чубами.

В самую сию минуту явился гетман. Я распрямился как стрела и приклонил к ногáм его копье свое. Он взглянул на меня благосклонно и, обратясь к моему собеседнику, сказал:

— Куфий! если у нас дойдет до войны с кем-либо из соседей, то мне советуют вверить тебе целый полк, доказывая, что ты — храбрец первостатейный.

— Если советники твоего высокомочия,— отвечал Куфий,— полагают храбрость с жареными индейками,

курами и зайцами, то они правы, и я на сем поприще не уступлю и Александру Македонскому; если же в драке с чужеземными забияками, то они солгали, и ты будешь очень прост, если им поверишь. Нередко приходило мне на ум осмотреть всего себя внимательно, и, воспламенясь жаром воинственным, я спрашивал: «Скажи, любезный друг Куфий, которого из членов, данных тебе природою, охотнее согласишься лишиться на сражении?» После сего щекотал у себя ребра, дергал за волосы, щипал ляжки, кусал на руках пальцы и чувствовал, что везде больно. Будучи нарочито не глуп, я тотчас смекнул, что милосердый бог создал меня человеком во всем совершенным не для того, чтобы я, по дерзости и безрассудству, делался калекою и оборотнем.

Гетман улыбнулся и, уходя, сказал:

— Куда как много было бы хорошего, если б все так думали, как ты!

— Гораздо более было бы добра,— вскричал вслед ему Куфий,— если б на земле не было других жителей, кроме хомяков, кротов, зайцев и других им подобных, нежели когда бы населена была одними волками и медведями.

Урочные часы мои прошли; я сменен и, увязав домашнее платье в узел, пошел домой. Как был я весел, как легок и свободен. Из сего заключил я, что точное исполнение обязанностей, возлагаемых на нас отечеством и нами признанных справедливыми, есть великое утешение во всех обстоятельствах жизни. Неонилла и Король встретили меня с отверстыми объятиями, и все семейство Ермилово приносило нелицемерные поздравления о счастливом начале моего служения.

Как сей день, так — или почти так — прошли пять месяцев. Мне случалось отправлять службу то у самой опочивальни гетмана, то у его конюшен, у сада, под открытым небом, и я, несмотря на трескучие морозы, на бури, вьюги и всякого рода непогоды, никогда не терял своей бодрости. Когда руки и ноги от холода костенели, я говорил: «Потерпи, Неон! Неонилла отогреет тебя в своих объятиях!» Сия мысль вливала теплоту в кровь мою; я напевал духовные песни, и неприятные часы неприметно пролетали.

Во второй день февраля, в праздник сретения, лишь только появился я на сборном лугу, как дневальный сотник приказал идти за ним. Я вошел в приемную палату,

и о сем доложено дневальному старшине, который по порядку пошел уведомить полковника Евареста.

— Зачем меня сюда призвали? — спросил я у сотника.

— А какая мне и тебе до сего нужда? — отвечал он,— про это знает старший.

Не прежде как через час меня представили гетману.

— Хлопотинский! — сказал он милостиво, — я службою твоею доволен и хочу наградить. Поздравляю тебя есаулом в полку моего имени.

Я пал пред ним на колени и с безмолвным умилением облобызал десницу старца.

— Встань, есаул! — говорил он,— если ты и впредь с таким же старанием, ревностию и терпением будешь проходить военное поприще, то без воздаяния не останешься. Поверь мне, что в молодые лета и я немало вытерпел, пока отечество поручило в распоряжение мое судьбу свою. И я перенес много горя, пока препоясался мечом гетманским и взял в руку булаву повелительства. Ступай к новой своей должности.

Едва дошел я до прежней палаты, как приведший меня сотник взял за руку, поздравил с милостию и ввел в особую комнату, где я переоделся в другое платье, соответственное новому званию. Оно было точно такое же, как и прежнее, но сукно гораздо тонее, и черкеска по краям выложена золотым галуном, а за спиной висели две такие же кисти. Копье не принадлежало уже к моему вооружению.

— Сегодня, — продолжал сотник, — со вверенными пятьюдесятью всадниками будешь провожать гетмана до соборной церкви. Для услуг тебе назначен конный казак, который навсегда при лице твоем и останется, пока будешь сам на службе.

Я взлетел на хребет коня своего, коего убор нарядностию отличался от убора коней всадников низшей степени. Когда звук колоколов раздался по стогнам батуринским, гетман, имея по левую руку стародубовского полковника, сопровождаемый множеством войсковых старшин и сотников, сошел с крыльца и сел на коня. Я, последуемый моею дружиною, поехал за ним сколько можно чиннее. Мне казалось, что взоры встречавшегося народа устремлены были не на великого гетмана Никодима, а на нового есаула Неона. «О родители мои! — думал я,— если бы видели теперь своего сына, то вам не для чего было бы стыдиться!»

Подъехав ко храму, мы спешились и торжественно вошли во внутренность. Тщетно оборачивался я на все стороны, чтобы увидеть Неониллу, или Короля, или Ермила, или по крайней мере кого-нибудь из его семейства; никого не было. Тут спесь моя исчезла, а вместо оной тоска стеснила мое сердце. Я не предвидел причины, для чего бы набожная жена моя могла пропустить такой великий праздник, не отслушав обедни, а особливо в ее положении, которое день ото дня становилось затруднительнее. Более всего тревожило меня то, что я не видал ее с самого вечера, ибо Неонилла, будучи еще так неопытна в настоящем состоянии своего здоровья, с нескольких недель уже ночевала одна в своей спальне, имея в той же комнате или Глафиру, или Анну, спавших на полу возле кровати; а я с Королем опочивали в небольшом теплом чулане, примыкавшем к кухне, куда друг наш переместился из сада при наступлении глубокой осени.

По окончании священнодействия я проводил гетмана до дворца, а там и до приемной палаты; когда же он удалился во внутренние покои и посетители, по обыкновению, окружили стол с завтраком, я, несмотря на все приглашения приятеля Куфия, выбежал вон, бросился на коня и, подобно стреле, пущенной рукою сильного наездника, в сопровождении приставленного ко мне казака пустился к своему пристанищу.

Глава III

Новое торжество

Надобно думать, что Король видел меня в окно; ибо, едва только вступил я в сени, как он меня встретил и поздравил с повышением.

— Это очень хорошо,— говорил он,— но в жилище нашем найдешь ты нового гостя, прибытию коего не меньше рад будешь, как и новому чину.

— Кто же такой? — спросил я, вступив в светелку и стирая снежную пыль с усов и чуба.— Неужели Мемнон с Евлалией и Мелитиной? Правда, я очень люблю сие почтенное семейство; но желал бы, чтоб посещение оного было сделано гораздо позже, именно, когда Мелитине сыщут достойного жениха и выдадут замуж.

В самую ту минуту боковая дверь отворилась, и Глафира вошла к нам, держа на руках спеленного младенца.

— Неон,— сказал Король,— вот гость, который задержал дома Неониллу. Обойми своего сына!

Я обомлел от радости, поцеловал со слезами дитя, благословил его и бросился к Неонилле. Взоры ее были томны, щеки бледны; но никогда милее, никогда драгоценнее она мне не казалась. При воззрении на меня она протянула слабую руку, которую в безмолвии осыпал я поцелуями.

— Неонилла! — вскричал я с восторгом.— Ах! сколько счастливым ты меня делаешь! Да будет над тобою всегдашнее божие благословение.

— Друг мой! — сказала она тихо,— чтоб в полной мере чувствовать радость, нам необходимо нужно иметь и родительское благословение. В те минуты, когда я давала бытие новому жителю мира и не уверена была в своей собственной жизни, весьма чувствовала истину слов, сказанных в Святом писании: благословение отца и матери строит детям домы, а их клятва разрушает оные. Как скоро даст бог мне оправиться, мы оба пошлем в Переславль к отцу моему повинную и с покорностию будем умолять о прощении.

— Все это сделаем,— сказал я,— но в свое время; теперь будь покойна и не тревожь себя мрачными мыслями.

Священник прибыл, и по моему настоятельному требованию дитя названо Мелитоном.

— Пусть по крайней мере, — говорил я Королю,— это имя припоминает мне всю красоту, любезность и невинность, кои некогда прельщали меня в виде девицы, которую и теперь еще люблю со всею нежностию брата.

На другой день усердный денщик мой, Сисой, раз двадцать должен был напоминать, что пора ехать во дворец. С неописанным чувством сожаления расстался я с Неониллою и сыном; да и то Король принужден был вывести меня из спальни за руку. Дорогою ехал я шагом, и должность моя в первый раз показалась тягостною. Вступив в приемную палату, я не сделался веселее. Посетителей время от времени набиралось более и более; они шутили, рассказывали забавные происшествия, накануне в столице случившиеся; но меня ничто не трогало; мне беспрестанно мечталась Неонилла, держащая у груди маленького Мелитона. Хотя я знал и был уверен от Гла-

фиры и Анны, что как мать, так и дитя вне всякой опасности, однако же вздыхал и беспрестанно погружался в задумчивость. Около полудня я разбужен был от такового усыпления легким ударом по плечу; осматриваюсь — и вижу Куфия, кивающего головою с видом удивления.

— Что это значит, пан есаул,— сказал он со смешною важностию,— что на другой день после производства ты так расстроен, как будто обошли тебя! Более двадцати лет верчусь я во дворце гетмана, а такого дива не видывал!

— Друг мой! — отвечал я со вздохом,— иногда человек невольным образом кажет вид печальный, когда можно бы и усмехнуться.— Тут рассказал я о домашних обстоятельствах.

— Ба, ба! — вскричал Куфий,— зачем же давно о сем меня не уведомил? Я знаю Никодима, как самого себя. Хотя он любит строгий порядок в службе, но никогда не забывает человечества. Останься здесь и жди меня.

Около часа я пробыл в неизвестности, что Куфий собирался для меня сделать. Наконец появился он, таща за руки полковника Евареста и дворцового казначея Уврикия, которые не могли довольно насмеяться его суетливости.

— Чему смеетесь вы, пустоголовые? — говорил он. — Если б кто сказал: «Уврикий! ангел-истребитель посетил кладовые, смотрению твоему вверенные, и половины гетманских сокровищ не стало!» А тебе: «Еварест! ангел-хранитель ниспослал благодать на дом твой: все твои кобылы родили жеребенков из чистого золота с жемчужным прибором!» Что бы вы сделали? Не каждый ли из вас сломя голову бросился бы один в подвалы, а другой в конюшни? То-то же, бестолковые!

Когда сии сановники подведены были ко мне, то Еварест, приняв степенный вид, сказал:

— Неон! Великий гетман по случаю рождения у тебя сына оказывает новые знаки особенного благоволения: он желает быть восприемником новорожденного и приказывает мне совершить его именем святой обряд сей; на память же таковой милости увольняет тебя на три дни от должности и дарит жене твоей два куска парчи, а тебе двести злотых. Ступай теперь за Уврикием и возьми подарки. Завтра, во время вечерен, присылай в соборную церковь сына, а я, по окончании обряда, буду в твое

жилище. О приискании кумы не беспокойся; я привезу с собою сестру свою Асклиаду.

С сими словами он пошел назад в покои гетмана, а я — пораженный такою неожиданною милостию властелина — поплелся за Уврикием в его кладовые. Он выбрал два куска прекрасной парчи, один золотой, другой серебряный, испещренных цветами, каких лучше и блистательнее в самой природе едва ли сыскать можно, и, вручив мне оные вместе с двумястами злотых, расстался. Отведши Куфия на сторону, я просил его принять половину подаренных мне денег. Он отскочил на три шага и, помолчав несколько, сказал полусердито:

— Ты должен быть не очень разумен, когда в целые почти полгода так мало узнал Куфия! Не верь, когда говорят тебе, что веселые люди, забавляющие знаменитых особ в часы скучные, от которых и они не могут укрыться, ничего доброго даром не делают. На все есть своя уловка. Если бы Еварест за какую-нибудь услугу, мною ему оказанную, предложил пятьсот злотых, я сказал бы ему в глаза: «Бесстыдный скряга! этого очень мало!» Но от Неона Хлопотинского, который только что начинает подниматься на ноги, взять сто злотых, может быть половину всего имущества, для Куфия кажется слишком много. Ступай с богом к своей жене и не трать по-пустому данных тебе трех дней на веселье; а если на четвертый служба ничего не потерпит, то ты преисправный малый, какого только желать надобно. На крестинном пиру и я побываю.

С каким восторгом скакал я к Неонилле; мой казак Сисой едва издали мог за мною следовать. Хотя жена моя в нарядах, а я в деньгах не имели никакой надобности, но мысль, что везу с собою знаки особенной милости повелителя, давала мне новую бодрость, новые силы. Если бы в то время кто-нибудь сказал: великий гетман Никодим хочет, чтобы ты, Неон, с высокого утеса бросился в пропасть, думаю, что ни одною минутою не замедлил бы исполнением. Так-то оковывает сердца наши благодарность за благодеяния.

Я предложил Неонилле подарки и Королю объявил о всем бывшем.

— Это очень хорошо,— сказал Диомид после некоторого молчания,— но мне очень досадно, что не могу быть с тобою в такой радостный день!

— Как! — вскричал я,— мой друг, мой вернейший

друг не будет участвовать в таком торжестве, которое возрождает меня в другом виде? Нет, Диомид! я не выпущу тебя из своих объятий, и ты непременно будешь на крестинах.

— Неон! — сказал Король,— конечно, чтобы не показаться странным, я обязан сказать причину моего поступка. Знай же: Еварест — второй друг мой после Мемнона, а сестра его Асклиада была некогда моею невестою. Связь моя с отцом твоим лишила меня имения и жены, ибо вскоре после моего изгнания из Батурина Асклиада вышла за Марсалия и теперь мать многих возрастных детей. Во всем Батурине, кроме Евареста, Куфия и Ермила с семейством, никто не знает о моем здесь пребывании, и если Еварест объявил тебе, что сестра его будет кумою, то сим самым потаенно давал мне знать, чтобы я на ту пору, как она будет в сем доме, скрылся. Как Асклиаде не узнать Диомида, а она ничего не должна знать о сем. Да, Неон! если гетман так скоро обратил на тебя милостивое внимание и отличил от прочих, хотя — согласись сам — ты не имел еще ни времени, ни случая порядком отличить себя, то сим обязан ты стараниям Евареста и Куфия, которые знают твоих родителей и всячески пекутся помирить их с гнетущею судьбою. Ты понимаешь, что обнаруживать сего перед ними отнюдь не надобно, а должно продолжать обращение по-прежнему, как с посторонними людьми. Ты не смотри, что Куфий нарядил себя в шута: это сделано в угодность гетмана, которому хотелось — в самом начале его господства — иметь человека, который бы, не навлекая на себя злобы и мщения, мог всенародно пристыдить знатного бездельника и оправдать невинного несчастливца; а до того времени Куфий служил в полку телохранителей сотником и отличал себя остротою ума и добросердечием. Один гетман и его приближенные сановники настоящим образом понимают Куфия; все же прочие считают самым злобным шутом и боятся его, как огня, наводнения и язвы.

На другой день, едва раздался звон вечернего колокола, в жилище наше прискакал есаул с несколькими казаками объявить, что Еварест и Асклиада отправились уже в соборную церковь. У нас все было готово; бричка подвезена, и укутанный малютка на руках Глафиры отправился во храм, а я с целым домом начал приготовляться к приему гостей. Когда все приходило к концу, то и не заметили, как Диомид скрылся. Сколько оставав-

шаяся при жене моей Анна его ни искала, но тщетно. Наконец Еварест, в сопровождении множества гетманских телохранителей, показался, за ним следовала Асклиада. Я встретил их с надлежащим почтением и дружески обнял Куфия, который, прыгая пред Глафирою, несшею нового христианина, вскочил в светелку. Весь вечер до самой ночи проведен очень весело. Еварест, при всей важности, был ласков и вежлив. Смотря на его открытый вид, его благосклонные слова ко всякому, даже к Ермилу и жене его, я говорил сам себе: «Кто подумает, что это старший полковник во всей Малороссии и по кончине Никодима, вероятно, провозглашен будет великим гетманом? Не скромнее ли он, не приветливее ли, чем самый скромный и приветливый консул в переяславской бурсе? Чудное дело политика, которой учили меня в семинарии, и я ничему не научился».

К полуночи все гости разъехались, и почти в ту же минуту явился Король. Домашнее веселие началось снова, но ненадолго, и когда мы отправлялись в свою опочивальню, то товарищ сказал:

— Неон! ты уволен от должности на три дни, докажи, что умеешь беречь время, и завтра явись во дворце.

Я дал слово — и сдержал его. Еварест при многочисленном собрании похвалил меня за такую ревность, а Куфий, вертясь на одной ноге, провозгласил:

— Божусь, что на его месте другой, а особливо воспитывавшийся в Варшаве, утянул бы четвертый день и нашел чем отговориться.

По прошествии нескольких дней Неонилла настолько оправилась, что могла уже участвовать в наших беседах. Взоры ее стали проясняться, и румянец поалил щеки. По ее замечанию мы обязаны были о настоящих своих [делах] уведомить Истукария и Мемнона, первого как отца, а второго как друга, принимающего в судьбе нашей истинное участие. Вследствие сего нанят был надежный казак, который и отправился с нашими посланиями, моим — к Истукарию, а Королевым — к Мемнону. Я не преминул извиниться пред тестем, сколько можно учтивее, называл его высокопочтенным мужем, жену его милосердою госпожою, а сына их молодцом милым, храбрым, разумным. Говоря о благосклонности ко мне властелина, я не преминул употребить самых звонких выражений, а надежду на будущее представить в самом блестящем виде. Неонилла приготовила особое письмо, в коем

также, не унижаясь, впрочем, ни на вершок, оправдывалась в своевольном поступке, просила прощения и возврата родительской любви. Она заключила следующим замечанием: «В шестнадцать лет я не понимала сама себя и по воле вашей, родители! отдала руку ненавистному Памфамиру. Каждый день, живучи в его доме и слывя женою, не будучи таковою ни на одну минуту, я проклинала жизнь свою, ибо она исполнена была страданий. И самый маленький червяк копошится и хлопочет, если встретит притеснение. На девятнадцатом году я стала несравненно умнее; сердце мое само собою отдалось предмету любви его. Вы хотели, родители, соединить меня опять с бездушным и бестелесным Варипсавом, но Неонилла была уже не шестнадцати лет. Со слезами прошу у вас прощения и надеюсь получить его. Если же сердца ваши отвердели подобно камням, то я и тут унывать не буду: под сению любви, дружбы, душевного спокойствия невинных радостей я надеюсь быть счастливою! Каков бы ответ ваш ни был, любезные родители, я всегда благословляю память вашу и молю бога о вашем здравии и смягчении сердец, если они в самом деле окаменели».

Ровно через месяц, в семнадцатый день марта, посол наш возвратился и привез целый узел писем и посылок. Евлалия, жена Мемнонова, при особом письме прислала небольшой образ в золотом окладе, осыпанный дорогими каменьями, несколько ниток жемчугу и мешок с золотыми деньгами. Такая щедрость заставила нас удивляться и в безмолвии благодарить бога, даровавшего таковых благотворителей. Мемнон писал к Королю, и хотя в словах его проскакивала тень какого-то неудовольствия насчет скоропостижной моей женитьбы, однако оно растворяемо было кротостию и любовию. «В отношении любви,— писал он, между прочим,— никто не избежит судьбы своей, никто не должен говорить: я поступил бы иначе, гораздо умнее, расчетистее. Где расчет, там нет и тени любви. Весь ум Неониллы да заключится в том, чтоб заставить мужа любить себя постоянно. Когда сего достигнет, то оба счастливы, и на сем да оснуется общий расчет их».

Вельможный пан Истукарий не столько был сговорчив. Он удостоил нас следующею грамотою:

«Беспутные! ты, бурсак Неон, и ты, беглянка Неонилла.

Вы осмеливаетесь называться детьми моими. Но, кроме Епафраса, я детей не имею. Была у меня и дочь, но она погибла невозвратно. Кто передо мною произносит ваши гнусные имена — если он чужой, я нечестно выгоняю из дома; а если свой, то даю ему добрую пощечину. Вперед ко мне не пишите, я и без того найду вас, и тогда — Неонилла в монастыре оплакивать будет свое безумие, а бурсак поплатится и дороже».

Глава IV

Поражение

В продолжение зимы гонцы царя русского беспрестанно приезжали в Батурин с уведомлением, что вспомогательное воинство готово немедленно отправиться в путь. Настала весна; леса опушились зелеными листьями; ледяные оковы растаяли; вся Малороссия возмутилась. Полковники со своими полками разбили шатры на полях батуринских, полчища охотников к ним примыкались; гетман ожидал только появления московитян, чтобы со своим полком двинуться из стен столицы и, совокупя все силы, идти по дороге к Киеву.

Между тем один из евреев, посланный примечать за всеми движениями поляков, возвестил, что киевский воевода, исполняя повеления двора варшавского, собрал небольшое ополчение и выступил с ним в поле, ожидая значительной помощи. Никодим, получа о сем сведение, встрепенулся; жар юности озарил румянцем его ланиты; он препоясался мечом и, окруженный сонмом избранного воинства, выступил в поле. При сем случае я пожалован в сотники на место одного поляка, который наряду со всеми одноземцами своими взят под стражу. Гетман объявил всенародно, что начальство и угнетение со стороны Польши поставили его в необходимость искать защиты у царя православного, что помощь сия готова и скоро появится, а между тем и одних собственных сил достаточно, чтобы напору буйных врагов поставить преграду.

Я не буду описывать слез, пролитых мною и Неониллою при расставанье. Мы оба очень чувствовали, что ими хода дел не переменим. Я вырвался из ее объятий, благословил сына и — со вверенною мне сотнею примкнулся

к полку гетманскому, предводимому самим повелителем и составлявшему средину воинства. Над правым крылом начальствовал Еварест, а над левым — Полтавского полка полковник Каллистрат. Король, окруженный дружиною собранных им охотников, следовал за гетманом. Звук труб, ржание коней, говор воинства и резкий стук оружия наполняли воздух. Необыкновенное волнение крови произвело в груди моей трепетание сердца. Я горел нетерпеливостию сразиться, но непонятная робость, ненадеянность на свои силы повергали меня в уныние; однако ж один взор Короля возвращал душе моей прежнюю бодрость: я чувствовал себя богатырем, досадовал, что не встречаю неприятеля, и молил бога представить его поскорее.

Молитва моя услышана. Немного за полдень третьего дня, когда и людям и лошадям нужно было отдохновение, мы получили приказ остановиться в тени густого леса, в виду нашем синевшегося. Увы! проклятый сын Евера, по рассказам коего мы действовали, жестоко обманул нас. По уведомлению сего жида, употребленного, как сказано выше, шпионом, не прежде думали встретить неприятеля, как на пятый или шестой день похода; а вместо того, едва только остановились, как туча ядер и пуль на нас обрушилась. Мы все оторопели и совершенно не знали, что делать, ибо, кроме деревьев и кустов, ничего не видали перед собою; люди падали, беспорядок умножался. Гетман дал приказание отступить и построиться; но едва мы обратились к лесу тылом, как неприятельская конница, подобно ужасной волне, показалась из лесу и на нас устремилась. Мы опять начали обращаться, дабы сколько-нибудь защитить себя. Побоище сделалось ужасное, но неровное. Ряды наши расстроились; один сражался, как лев, а двое бежали, как зайцы; гетманское знамя пало на землю и скоро развеялось в руках неприятельских. Король поражал, как стрела молнии; но что значит один орел противу огромной стаи ястребов? Конь под ним убит, и он опрокинут на груду пораженных. Я получил в левую руку рану от ружейной пули, и саблею рассекли мне лоб. Льющаяся кровь заслепила глаза; я оборотил коня и дал ему свободу скакать по его усмотрению. Целое поле усеяно было беглецами.

Верстах в пяти от сего пагубного места рассеянные толпы начали собираться. Еварест, подобно уязвленному вепрю, метался во все стороны и соединял в одно место

рассеянных сподвижников. Время от времени толпа наша увеличивалась, ибо сей полковник послал во все концы небольшие отряды, которые должны были приводить к нам шатавшихся по полям и лугам и скрывавшихся в буераках. К величайшему моему удивлению и радости, вскоре после солнечного заката явился Король, которого считали погибшим. Он был ранен в щеку и грудь, однако казался бодрым, как будто после одержанной победы.

— Итак,— сказал он, обняв меня и Евареста,— первая попытка наша неудачна! Сами виноваты! Как можно, положась на слова одного изменника, жертвовать тысячами? Надобно поправить ошибку, хотя и трудно!

Вдруг ужасная весть погрузила всех в отчаяние. Достоверно узнано, что гетман не избежал плена; верный Куфий, не отстававший от своего повелителя в самом пылу сражения, пропал без вести. Все смотрели друг на друга помертвелыми глазами. Ночь настала, и никто не придумал, что начать, на что решиться. Мы походили на неоперенных птенцов, у коих мать хитрым охотником поймана в сети.

Среди сего беспорядка, тревоги, горести и уныния Король не лишился присутствия духа.

— Если дурного дела не постараемся исправить,— говорил он к собравшимся полковникам, войсковым старшинам, сотникам и есаулам,— то оно скоро и неминуемо обратится в дело гибельное. Пока жив гетман, то он еще не потерян; однако, пока он лишен власти, да примет Еварест начальство над войском! Рассуждать много там, где надобно действовать, есть глупость, и мы постараемся от оной остеречься.

Еварест тут же провозглашен военачальником, и войско несколько оживилось; огни разведены во многих местах, и все начали осматривать один у другого раны и врачевать их по усмотрению. По совету Короля посланы вокруг нашего становища верст за пять вооруженные отряды, дабы к утру припасти достаточно пищи для войска и представить всех возрастных жидов, каких только встретить могут. Нужное число стражи расставлено со всех сторон для неусыпного наблюдения. Вожди и войско разлеглись на долине. Король, опускаясь на траву, сказал мне:

— Не робей, Неон! бог все устрояет к лучшему! Я видел, как ты сражался, и не мог не похвалить. Хотя чуб твой, правда, стоял дыбом, так что и шапка свалилась,

но это ничего; в другой раз ты не пошевелишь и усом, занося саблю на неприятеля и видя льющуюся кровь свою.

Всякий поверит, что сон наш был не что иное, как беспокойная дремота, каждую минуту прерываемая ужасным представлением настоящего положения. Едва показалась на небосклоне заря утренняя, мы все были на ногах, и долина, избранная нами для отдыха, подобилась купели Силуамской, куда собирались калеки всякого рода в ожидании возмущения воды. К удивлению заметил я, что собравшиеся в сие убежище большею частию были раненые, из чего заключил, что те, у коих после сражения все члены остались в целости, заблагорассудили убраться далее.

При восхождении солнца посланные отряды возвратились. Они привезли великое количество хлеба и несколько подвод с вином, а сверх того, представили пред Евареста до двадцати жидов, не знавших, чего ожидать им — смерти или помилования. Привезенный запас разделен был по полкам и роздан в сотни, евреи поставлены в строй, и Еварест, окруженный сановниками и телохранителями, произнес к ним следующую речь:

— Чада Израиля! один от сонма вашего сделался предателем, подобно Иуде Искариотскому. Мы дались в обман и чрезмерно много потерпели. Изменник скрылся, и теперь отыскивать его некогда. Согласитесь, что правосудие есть добродетель, людям полезная и богу угодная. Изберите между собою одного, коего считаете расторопнее других, и пусть он сейчас — в виде ли польского шляхтича, или малороссийского переметчика, или как хочет — отправляется в стан польский, осмотрит положение войска и его силу, узнает намерение воеводы и положение нашего гетмана и тогда верно обо всем нас уведомит. Сроку на сие дело целого дня для доброго жида весьма довольно, ибо в сумерки он непременно должен возвратиться. Все вы, сему избранному единоплеменные, останетесь здесь вместо залога. Если он возвратится с желаемым успехом, то получит богатую награду, а все вы — свободу; если же, обольщенный золотом и обещаниями, вздумает обмануть нас, то клянусь вездесущим, что все вы с родом и племенем сожжены будете живые!

У евреев еломки на макушах пошатнулись. Они смотрели один на другого туманными глазами и не могли промолвить ни слова.

— Время летит,— вскричал Еварест,— и каждый миг для нас дорог! Сейчас решайтесь!

Тут бодро выступил из ряда седой старик, раздвинул пейсы и с улыбкой сатаны сказал:

— Братья! что дадите, если я соглашусь один за всех вас собою пожертвовать? Слава милосердому богу! родители мои давно уже покоятся на лоне Авраама, а жены и детей никогда не бывало. Если перехитрят меня поляки, так тому и быть. Где-нибудь и как-нибудь, а умереть надобно.

Жиды оживились, весело зашумели и начали торговаться с охотником идти на верную почти смерть, как Диомид, подняв руку, торжественно произнес:

— Еварест! с твоего дозволения! Жиды! — продолжал он,— когда вы не можете до сих пор уладить выбором, то мы сами беремся это сделать. Представляемый вами охотник нам ненадобен. Кто не имеет на определенном месте ничего ему драгоценного, для такого бездушника целая вселенная есть отечество, и о слове «клятва» он не имеет истинного понятия. Приближься сюда, молодой человек с заплаканными глазами, изодранным еломком и склокоченными пейсами. Как твое имя?

— Осия.

— Есть ли у тебя родители?

— Есть!

— Жена и дети?

— Есть!

— Достаток?

— Посредственный.

— Ты можешь вдруг его утроить!

По данному знаку все прочие евреи отведены в сторону, а Осия остался на месте. Согласно с его желанием, мы дали ему волю действовать в жидовском платье.

— Мне немного надобно притворяться,— сказал он,— чтоб представить горестное лицо беглого, ограбленного жида; ибо корчма, мною содержимая, недалеко отсюда и действительно вашими наездниками превращена в развалины.

— Не печалься, Осия! — сказал Еварест,— от доброго успеха твоего похождения зависит, что выстроишь новую, лучшую корчму и заведешься достаточным хозяйством.

Целый час продолжались наставления Осии, как поступить ему в сем опасном случае. Нам очень хотелось, чтоб он из сего омута выполз с пользою для себя и для

нас. Когда уверились, что он урок свой хорошо вытвердил, то, повторив ласки, обещания и угрозы, отпустили. Осия взошел на ближний песчаный холм, натаскал в одну кучу множество всякого дрязгу, разодрал в нескольких местах одежду, лег на землю и начал валяться, посыпая себя песком и пылью от макуши до пят. Когда он сделался похожим на пугалище, то встал и, нисколько не отряхнувшись, пошел прямо к лесу, весьма для нас памятному.

— Что значит эта комедия? — спросил я у Короля.

— Добрый знак,— отвечал он,— из сего поступка Осии заключаю, что он усердно хочет исполнить нашу волю, и уверен, что если в сем ему не посчастливится, то причиною будет не измена, а неопытность, робость или что другое. Он представил себя наверху скорби и сетования и будет молить врагов наших о защите и отмщении.

День прошел в хлопотах и беспокойствах, всегда неразлучных с такими обстоятельствами, каковы были наши. В Батурин послано уведомление, что дела остаются нерешенными и, вероятно, не окончатся прежде, пока поляки не получат из Варшавы, а мы из Москвы ожидаемого вспоможения, почему и должны все оставаться в покое и надеяться на промысл божий, благоразумие вождей и дознанную храбрость воинства.

Я душевно страдал, вспоминая о жене и сыне. Мне хотелось бы только взглянуть на них, обнять, прижать к сердцу и после стремглав броситься в пучину бедствия; но дело было несбыточное. Оставить своих сотрудников на поле славы или смерти, оставить для таких маловажных причин, обнаруживающих более слабость душевную, нежели нежность сердечную, нет! и воспоминание о сем приводило весь состав мой в содрогание! Я дал слово быть воином и должен свято сохранить его.

В глубокие сумерки представлен был пред военачальниками Осия.

— Милосердые господа! — говорил он с бодростию,— я сдержал свою клятву и всею кровию моею отвечаю за истину слов моих. Поляки, по одержании некоторого преимущества над малороссиянами, оставили лес, служивший вчера для них засадою, и расположились станом на равнине, верстах в двух от оного, на берегу речки, имени которой не знаю. Я легко обольстил их рассказами о несчастиях, от вас претерпенных. Меня приняли ласково и накормили. Они не возымели никакого подозрения, тем более что я, казалось, не обращал ни на что внимания,

а только стенал и плакал, между тем слушал в оба уха и глядел обоими глазами. Ставки киевского воеводы и гетмана малороссийского стоят на берегу реки, и каждая охраняется — по безопасности местоположения — не более, как шестью стражами. Гетман, несмотря на все представления, не захотел видеться с воеводою, а тем менее согласиться на требование, чтобы писать всему войску о прежней преданности польскому скипетру. Он один в своей ставке с Куфием. Воевода о торжестве своем послал нарочного гонца в Варшаву с испрашиванием разрешения на дальнейшие подвиги и присылки вспоможения людьми и деньгами. До получения ответа не слышно, чтобы он на что-нибудь хотел отважиться, и очень доволен будет, если только самого не обеспокоят. Вот все, что я мог узнать в продолжение времени от утра до вечера!

Глава V

Наши умудрились

Король, взяв от Евареста дозволение действовать отдельно, выбрал двадцать человек из своих охотников, кои показались ему ревностнее, отважнее и расторопнее других. Он приказал мне одеться в платье польского всадника, сам облачился в такое же и переодел своих сподвижников. После сего каждый из нас вооружился саблею, кинжалом и парою пистолетов, а сверх того, привесил к поясу баклажку с лучшим пенным вином. Когда мы во всем были исправны, то полководец наш Король, поставя полчище свое в кружок и став посредине, сказал:

— Храбрые витязи! все вы обязались ратовать не по принуждению, а из доброй воли, по одной любви к свободе дорогой отчизны. Все вы уже не школьники, и каждый из вас, кто по собственному опыту, а кто понаслышке знает, что звание воина ведет к чести или смерти и что там нет никакого права на отличия и почести, где мы достигаем своей цели без всякого усилия, без очевидной опасности. Нам предлежит теперь подвиг важный, даже отчаянный, но — необходимый! Надобно погибнуть или спасти гетмана и Малороссию! Мы идем в стан польский. Дорогою расскажу подробно, как должны мы действовать, дабы достигнуть великого преднамерения.

В безмолвии вышли мы из стана и, следуя путеводи-

тельству Осип, направили шествие к лесу. Во время пути Король подробно вразумил нас, как должен поступать каждый, примечая условленные знаки. Мы прошли уже поперек лес и — хотя ночь была не самая светлая — скоро завидели ставки польские. Мы представились крепко пьяными и, то бранясь между собою как ни попало, то обнимаясь приятельски, потчевали один другого своими баклагами. В таком прекрасном виде достигли мы передовой стражи и были окликаны.

— Тише, приятель,— сказал Король заикаясь,— пожалуй, говори потише, чтоб кто из старшин не проведал, видишь, мы немного позашиблись.

Между тем, шатаясь на все стороны, добрели мы до часового и увидели, что невдалеке от него, растянувшись на покатости холма, человек около десяти храпели весьма исправно.

— Вот видишь, — говорил Король часовому, опершись ко мне на плечо,— мы были у жидов в гостях. Какое славное вино, какие милые жидовки! Я уже было с одною и поладил, как вдруг нечистая сила привела в корчму целую сотню проклятых батуринцев, и они же вздумали перебить нам дорогу. Статочное ли дело! Я первый приосамился, обнажил саблю и...

Тут Король с быстротою вихря выхватил саблю; она взвилась и голова часового пала к ногам его. С возможною осторожностию подошли мы к сонным и всех предали смерти без всякой пощады, хотя с горьким сожалением.

— Таковы жестокие законы войны,— сказал Король с тяжким вздохом,— чье сердце не содрогнется, не оледенеет, когда рука вражия обагряется кровию невинного, беззащитного сочеловека? Но так должно, необходимо должно — убивать или быть убиту!

В глубоком безмолвии, не переставая спотыкаться и пошатываться, пробрались мы сквозь весь стан и вышли на берег речки у шатров гетмана и воеводы. Предварительно разделились мы на два отряда. Король с своими сподвижниками ударился к ставке воеводы, а я со своими — к гетмановой. Шатаясь на стороны, я спросил у часового, где мы можем найти шатры полка Краковского, к которому принадлежим? «Хороши воины! — сказал с досадою часовой, — один стой во всю ночь, не смыкая глаз, мерзни, как собака, а нет тебе никакой награды; другой в это время веселится, бражничает, и нет

никакого наказания! Это в одном нашем войске случается!»

— Постой, дружище,— сказал я, стараясь на ногах укрепиться и отстегивая баклагу,— если мы сегодня подгуляли, то и приятелей своих не забыли. Ты говоришь, что озяб? Вот тебе полная баклага преславного пеннику. Согрейся, а после попотчуй товарищей. Францишка! отпояшь и свою баклагу и отдай часовому; пускай потешатся за наше здоровье, зато укажут нам дорогу к полку Краковскому.

— Правду говорят,— заметил служивый, втыкая в землю свою саблю и протянув руки к баклаге,— что веселые люди всегда добрее пасмурных!

Он поднес дорогой сосуд к губам; но не успел пропустить в горло и пяти глотков, как и голова и баклага полетели на землю, и кровь смешалась с пенником. Тогда стали мы на колени у каждого из пяти спящих стражей и, зажав им дыхание, начали поражать кинжалами. Ни один не мог произнести ни слова; глухое мычание было признаком разлуки с жизнию.

Управясь и с сею стражею, мы, наблюдая почтительное молчание, вошли в ставку гетмана, слабо освещенную лампадою. Высокоповелительный старец сидел на своем ложе, и я не мог вдруг отгадать, собирался ли он опочить, или уже проснулся. Увидя перед собою толпу страшилищ, у коих одежда, лица и руки обагрены были дымящеюся кровию, он несколько смутился, но скоро, приняв обыкновенный свой спокойный вид, спросил равнодушно:

— Что вы за люди и чего от меня хотите?

Я подошел к нему быстро и, встав на колени, сказал:

— Державный гетман! оставь ложе свое и следуй за нами! Познай во мне Неона Хлопотинского, который с избранными, верными, храбрыми сподвижниками решился освободить тебя из плена или погибнуть. Не медли следовать за нами!

Тут я взял его за руку, облобызал ее с благоговением и помог сойти с постели. Мгновенно мы одели его, вооружили (ибо все оружие было у него отобрано), и, подняв спавшего в углу Куфия, вышли из ставки и в безмолвии устремились вдоль берега речки. Я и один из дружины вели гетмана под руки, или, лучше сказать, несли его на руках своих. Когда мы были от польского стана так далеко, что считали себя почти вне опасности, то поворо-

тили к лесу. Там, срубив несколько древесных ветвей и скрепя их поясами, сделали носилки, усадили изнемогшего старца и пустились далее, неся поочередно наше бремя. Еще зари не видно было на восточном небе, как достигли мы до своего стана. Передовой страже гетман открылся. Поднялся радостный шум и вопль; в несколько минут взгнетены костры дров; все воинство было на ногах, и военачальники со слезами умиления лобызали десницу растроганного повелителя. Он обнимал с нежностию каждого и говорил дрожащим голосом:

— Чувствую, что я счастлив, ибо любим своими собратиями. Да будет благословенно и препрославлено имя господне! Хлопотинский! — продолжал он, обратясь ко мне,— и по разлучении души моей с сим бренным телом не забуду великой услуги твоей, оказанной мне и в лице моем всему отечеству!

— Могущественный гетман! — отвечал я,— в сем подвиге не один я участвовал. У меня есть друг, который предводительствовал, а я был только его товарищем и исполнителем советов.

— Кто он таков? Где? Что я не вижу одного из моих избавителей? — вскричал гетман и с любопытством обращался на все стороны.

Я продолжал:

— Когда половина небольшой дружины нашей под моим предводительством истребляла стражу у твоей ставки, товарищ мой с другою половиною делал то же у ставки воеводы киевского. Если не погиб он в сем замысле, то скоро должен соединиться с нами.

Едва я произнес слова сии, как невдалеке показался Король со спутниками своими; он шел впереди, имея по правую руку незнакомого мне человека в великолепной одежде. Сердце мое затрепетало от радости, и я тотчас догадался, что этот незнакомец есть воевода. Подошед к гетману, Король сказал:

— Воевода киевский делает тебе приветствие в стане твоем!

Гетман, подав руку гостю, произнес:

— Когда я находился у тебя, ты был ко мне довольно снисходителен и вежлив; будь уверен, что и я не уступлю тебе в великодушии. В батуринском дворце моем ты будешь столько же покоен и доволен, как и в своем киевском. Не осуди только, что, может быть, погостишь у меня долее, чем я в твоем стане.

После сего сделано было распоряжение об отсылке воеводы в Батурин. Подведен конь, хотя из предосторожности и не самый лучший; воевода сел и, окруженный пятьюдесятью телохранителями, отправился. При расставании с гетманом тщетно умолял он о возврате оружия.

— На что оно,— возразил гетман,— если бы кто осмелился причинить тебе хотя малейшее огорчение, то сто рук во всякую минуту готовы защищать тебя! — Надобно было повиноваться.

Заря занялась и рассыпала розовые кудри свои по голубому небу. Гетман сел на зеленом холме, и в полукружии стали пред ним вожди и воины, ибо все нетерпеливо желали видеть своего повелителя и собственными глазами увериться, что он избавлен от поносного плена, могшего дать преднамерениям оборот самый гибельный. По велению гетмана Король был к нему представлен. Тут я порядочно рассмотрел его и увидел, что одежда на нас была во многих местах растерзана, лицо обагрено чужою и своею кровью, которая, смешавшись с песком и пылью, прикипела целыми комьями к щекам его, усам и чубу. Поляки непременно назвали бы его узником, выпущенным из чистилища, дабы показать неверующим, каково обращаются там с преступниками, и тем предохранить живых от грехопадения. Гетман, подав ему правую руку, которую Король облобызал с почтением, сказал с чувствительностию:

— Храбрый воин, обязавший меня и всю Малороссию неограниченною благодарностию за неслыханную предприимчивость и чудесное благоразумие в доведении намерения своего к концу желанному! объяви нам имя твое и звание, дабы я, как глава воинства и народа, придумал, чем должно возблагодарить тебе за услугу, превышающую, впрочем, все награды, коими располагать может земной повелитель!

— Высоковластный вождь всея Малороссии! — отвечал с благородною скромностию Король,— я ношу такое имя, которого никогда стыдиться не буду, хотя оно при дворе твоем и в пределах целого отечества предано было посрамлению! Проступок, за который был я судим и осужден на всегдашнее отдаление от столицы и лишен возможности быть чем-нибудь полезен своим соотчичам, заключался в родственной любви, в дружбе, готовой на все пожертвования и необходимости, свойственной молодым летам. Так, державный гетман! пред тобою предстоит те-

перь, в сем безобразном виде старик, бывший некогда войсковым старшиною, членом твоего совета, предстоит...

Тут Король пал к ногам гетмана и дрожащим голосом произнес:

— Я Диомид Король!

— Король! — вскричал гетман, изменился в лице, вскочил и, сжав обе руки крестообразно на груди, стоял в безмолвии, потупя взоры в землю.

— Король! — воскликнули сановники и толпились вокруг его. «Король!» — раздалось во всем воинстве, и все старались хотя издали его увидеть.— Король поднялся, подошел к Еваресту и стал подле него. Гетман продолжал хранить ужасное молчание. Он ходил по вершине холма то скорыми, то медленными шагами. Иногда останавливался, и умиление просиявало в его взорах; потом вдруг блистали в оных гнев, негодование и мщение. Никто не предузнавал, чем кончится буря сия; на лице каждого из взирающих начертаны были то надежда, то отчаяние; один Король был тверд, как утес гранитный во время свистов ветра, нападения волн разъяренных и грозных ударов грома.

Еварест, закрутя усы, разгладя чуб, поправя шапку и приподняв саблю левою рукою, медленно подошел к гетману и сказал:

— Выслушай, что скажет твоему высокомочию человек, никому и ни для чего не произносивший лести и неправды. Честь твоего имени для меня и для всех здравомыслящих драгоценна, потому что в нем хранится честь всей Малороссии. Я не был еще в числе твоих советников, когда осужден Король; иначе, я утвердительно скажу, не бывать бы тому, что было и что продолжается до сего времени. Если известный тебе и большей части из нас, теперь слушающих, поступок Короля есть преступление, то оно относилось только до особы Никодима, отца семейства, нимало не касаясь до гетмана, к коему ни на одну черту не умалены благоговение и покорность. Посмотри на Короля! Он весь облит кровью своею и чужою. Для чего? Чтобы спасти тебя и в лице твоем честь отечества. Для человека, подобного Диомиду, быть лишену возможности служить стране отцов своих есть наказание, лютейшее смерти. Теряя голову, он в одно мгновение избавляется мучения; а при ссыльной жизни с каждым днем казнь его становится мучительнее. При всем том Король, в продолжение более двадцати лет скитавшийся

по лицу земли малороссийския, скрывая свое достоинство, теперь, когда отечество в истинных сынах имеет крайнюю нужду, когда глава народа и воинства подвергся плену и унижению, грозившему унижением всей стране сей,— Король, нимало не медля, ничего не рассчитывая, является на поле брани и предает себя на жертву случая, лишь бы спасти своего грозного властелина. Великий гетман сил малороссийских! благоволи внять совету искреннейшего твоего послушника и перемени несправедливое определение свое о Короле, за двадцать два года перед сим произнесенное!

Военачальники и войско притаили дыхание, дабы не проронить ни одного слова, какое произнесет гетман. Нельзя не удивляться, что на месте, где стояло более десяти тысяч человек, слышно было в траве стрекотание кузнечика. Наконец чело повелителя, подобно месяцу, исторгшемуся из облаков дымчатых на лазоревое поприще небесное, прояснилось; он осклабился, взял Евареста за руку, потряс ее дружески и потом громко воззвал:

— Диомид Король, приближься!

Король ровным, твердым шагом приближился и остановился. Гетман, возвыся к небу десницу, произнес с умилением:

— Благодарю тебя, милосердое провидение, что ты даруешь мне случай в жизни сей исправить свои проступки, последствия гнева и мщения! Дети мои, сыны Малороссии! бывшего войскового старшину полка гетманского Диомида Короля назначаю полковником Хорольской области на место Елевсиппа, за день пред сим падшего в роковом сражении. Повелеваю возвратить ему все хуторы и домы, некогда ему принадлежавшие, и из собственной моей казны выдать денежное жалованье по чину полковника за двадцать два года.

Тронутый во глубине души старец погрузился в объятия Диомида, и слезы их смешались. Воинство произнесло радостный вопль и затмило солнце брошенными вверх шапками. Старики, бывшие в битвах под предводительством Короля, рассказывали о славных подвигах его молодым воинам; сии, исполняясь огня геройского, провозглашали «ура!», и целые тысячи повторяли сие восклицание.

Когда восторг несколько утишился и всякий старался уставиться на своем месте, гетман сказал:

— Отныне, Диомид, будем по-прежнему добрыми

друзьями, однако под некоторым условием. Я уверен, что тебе известно убежище изменников, забывших права гостеприимства, права общежития, права природы. Ни одним словом я при тебе не упомяну об них, но и ты не раздражай слуха моего произношением ненавистных имян их. Раздраженный гетман щадит сих преступников, ибо давно уже перестал искать их; но оскорбленный, обманутый отец не простит никогда, ни на краю могилы. Да судит бог между мною и ими!

По велению гетмана назначен военный совет, на который приглашены были одни полковники. Король, будучи в собрании, объявил дружине охотников, что как он обязан уже предводительствовать Хорольским полком, то она может впредь действовать совокупно с полком гетманским.

Глава VI
Победа

По окончании совета каждый полковник объявил полку своему решение оного. Все воинство должно было разделиться на три полчища, как и прежде, но действовать каждое особо. Гетман пылал отмщением и никак не согласился на представление Короля и Евареста, чтобы успокоиться и даже возвратиться в столицу. Он решительно захотел предводительствовать серединою воинства и с четырью избранными полками устремился прямо к лесу, взяв уже все предосторожности, чтоб не быть попрежнему невзначай захвачену неприятелем. С толиким же числом Еварест потянулся вправо, а Каллистрат влево. Гетман и окружающие его чиновники, в числе коих был и я, ехали теперь гораздо с большею бодростию, чем в первый раз, и сей отваге не мало содействовало отсутствие воеводы, коего искусство и личная храбрость были главным щитом для поляков. Медленно осматривались мы на каждом шагу, а особливо вступив в гибельный лес, и проходили оный, так сказать, ощупью. Наконец долина, занятая неприятелем, открылась перед нами; мы построились в боевой порядок и устремились прямо скорыми шагами. Едва открылся издали стан неприятельский, в то же время увидели мы с правой стороны полчища Еваристовы, а с левой Каллистратовы. Чем далее

подвигались мы вперед, тем яснее примечали смятение и беспорядок, господствовавшие между поляками. Раздавшийся гром из наших пушек умножил их ужас; им немедленно надлежало сражаться или кинуться в речку и наудачу искать спасения на другом берегу. Некоторые из них, не потеряв еще надежды, начали собираться в ряды и издали грозили нам саблями; зато другие, кои были животолюбивее и звук славы считали обыкновенным пустым звуком, целыми толпами бежали из своего стана, являлись к нам и повергали на землю оружие. Гетман принимал их ласково, однако из предосторожности приказал вязать таковым витязям назад руки и, прикрепляя одного к другому, отводить в лес и стеречь крепко-накрепко. От сих-то переметчиков узнали мы, что пан Бурлинский, великий коронный подкаморий, старик самый неугомонный, принял начальство над войском, одушевил унылых своих ратников и уговорил их стоять за честь свою твердо, если не хотят, чтоб он всех трусов перевешал. «Я дозволю! — говорил он с запальчивостию пасмурным своим сподвижникам,— выщипать себе правый ус, если своими руками не возьму лукавого гетмана в плен и связанного не пошлю напоказ в Варшаву. Нет! От меня не уйдет, как от глупого воеводы!» Слушая сии хвастливые речи, гетман улыбался и, поглаживая чуб, говорил:

— Посмотрим! Но я всегда той веры, что разумный человек не будет хвалиться, идучи на рать.

Воинства сошлись, и начался бой рукопашный; кровь полилась рекою, и болезненные вопли, проклятия, бранные восклицания колебали воздух. С величайшим присутствием духа гетман наносил удары и давал повеления. Я безотлучно как по долгу звания, так по чувству любви и благодарности при нем находился и не столько старался поражать неприятеля, сколько отклонять удары, грозившие моему властелину. Надобно признаться, что в начале битвы руки и ноги мои задрожали, сердце забилось, зубы щелкали как во время лихорадочного озноба; но, благодарение промыслу, мой добрый гений в самую пору подоспел ко мне на помощь. Он шептал на ухо: «Стыдись, храбрый бурсак! Отчего ты робеешь и трепещешь? Разве редко, во время твоего риторства и философствования в бурсе, случалось тебе ратовать на кулачных боях с семинаристами? Разве там не проливали токи крови, не летели на воздух зубы, не трещали чубы, усы и пучки? По-

верь, друг Неон! ты и теперь на кулачном бою с поляками. Поражай храбро по чему ни попало, и ты останешься победителем».

Сии внушения моего доброго духа разлили в душе необыкновенную бодрость, которая еще умножилась или, правильнее, превратилась в бешенство, когда увидел собственную кровь, полившуюся из ран, полученных одну в шею, а другую — в правую ляжку. Я уподоблялся тигру, пронзенному стрелою. Вскоре продрался к нам незнакомый неприятельский воин, окруженный многочисленными телохранителями. Позади его развевалось великолепное знамя королевства.

— Ба! — сказал гетман, утверждаясь в стременах,— вот и пан Бурлинский! Надобно по достоинству принять его!

Он дал шпоры коню, исторгся из ряда, и началось единоборство. Из всего видно было, что Никодим в свое время был витязь знаменитый, но также и того нельзя было не видеть, что ему теперь за шестьдесят лет. После третьего оборота саблею она исторглась из слабой руки, и Бурлинский занес убийственный меч над головою изумленного старца. Быстрее луча молнии рванулся я вперед, и меч неприятеля отлетел далеко вместе с рукою; я ударил плашмя супостата и низверг на землю.

— Вперед! — воззвал я с неистовством.

Моя дружина за мною устремилась с победным воплем, и кучи врагов поверженных знаменовали путь наш. С головы до ног мы были облиты дымящейся кровию; кони едва выдергивали ноги из растерзанных членов человеческих; дыхание наше стеснилось, и убийственные руки с трудом погружали мечи в тела неприятельские. В скором времени мы, утомленные, расслабленные, полумертвые, поневоле должны бы остановиться, если б враги, будучи, вероятно, еще в опаснейшем положении, нас не предупредили. Они обратили хребты и предались бегству — прямо к берегу речки; ибо, быв поражаемы с одной стороны Еварестом, с другой — Каллистратом, они не находили другой дороги ко спасению. Те, кои чувствовали себя несколько еще в силах действовать руками и ногами, стремглав кидались в волны; другие же, предчувствовавшие неизбежную погибель во влажной могиле, решились просить пощады. Они повергли на землю остатки оружия, пали на колени и, простерши к нам руки, горестно возопили: «Змилуйтесь, змилуйтесь!» Гетман-

ская труба зазвучала, мы остановились. По данному знаку неприятельские военачальники приближились и, по кратком совещании, согласились отправиться в Батурин пленными вместе с своими сподвижниками. Все они лишены коней и оружия, и — зачем скрывать истину? — у них отобраны не только золотые и серебряные деньги, но и все то, что хотя немного походило на серебро и золото. После сего они отправлены в стан наш.

Гетман, сошед с коня, преклонил колена и в безмолвии принес благодарение верховному распорядителю жребия народов. После сего собрались к нему все полковники, войсковые старшины и прочие начальники для поздравления с одержанною победою.

— После господа сил, моего повелителя,— сказал гетман с благоговением,— коего до конца дней моих не перестану славословить за счастливое окончание сей битвы, я обязан благодарностию вам, мои храбрые сподвижники, и в особенности тебе, Хлопотинский! Так, друзья мои! без его отличного мужества вы хотя бы и не лишились победы, но наверное видели бы теперь один бездушный труп вашего гетмана. Неон! по прибытии в Батурин я поищу средств достойно наградить тебя.

— То нечего сказать, Никодим, — воззвал Куфий, стирая пот с лица,— сколько я ни храбр, что весь свет знает, но как скоро перед глазами моими блеснула сабля проклятого Бурлинского на пол-аршина от твоего чуба, то я чуть-чуть с коня не свалился. То-то было бы хлопотливо опять на него взмащиваться при такой ужасной суматохе. Но об этом успеем довольно поговорить в Батурине; а теперь, Никодим, не мешало бы заглянуть в шатры польские. Они не совсем-таки глупые люди и, верно, без хорошего запаса далеко не ходят; а у меня, божусь, от жажды пересохло в горле, а пить из речки воду — боже избави! она теперь перемешана с кровью, и на дне немало всякой падали.

Никодим, осмотрев местоположение, нашел, что оно приятнее и выгоднее, чем избранное нами для своего стана второпях, по одной необходимости. Вследствие сего повелено: первое, не теряя времени, разобрать трупы и предать земле как польские, так и малороссийские особо с подобающим благочинием. Второе, весь стан с находящимся в нем запасом переместить на новое место, у неприятеля отбитое. Третие, поляков, взятых в плен, расса-

дить в крепости, где удобнее. Четвертое, раненых и больных как своих, так и неприятельских со всею сохранностию отвезти в Батурин. В ту же минуту началось исполнение по сим повелениям.

Хотя я очень был доволен сам собою, да чего более и надобно человеку, однако, к немалому ужасу, приметил, что нигде не вижу Короля, своего друга. Время проходило, а его не было. Тяжкая скорбь объяла мою душу, неизвестность меня мучила, и при всем том я ни у кого о нем не спрашивал, страшась услышать весть плачевную. В молчании, походящем на безмолвие могилы, бродил я за Еварестом, коему поручено было с полком его разобрать трупы, всматривался в лицо каждого страдальца, в каждом думал найти Короля и — не находил. Нетерпение усилилось и взволновало всю мою внутренность; с судорожным движением схватил я Евареста за руку и спросил диким, дрожащим голосом:

— Где Диомид Король?

Он несколько смутился; но скоро, оправясь, отвечал довольно равнодушно:

— По тайному повелению гетмана он отправился с поля сражения в некоторое место, где и будет находиться в неизвестности до возвращения нашего в Батурин.

— Ты меня обманываешь! — вскричал я с отчаянным видом,— перед сражением, в продолжение оного и после я безотлучно был при гетмане и не мог не знать о малейших его приказаниях; но о Короле не было ни слова. Заклинаю тебя богом и тою дружбою, какую имеешь ты к достойному сему воину, скажи мне, где он и что теперь? Самая ужасная известность отраднее неизвестности!

— Хорошо,— сказал Еварест с кротостию,— я надеюсь, что ты столько же тверд в духе, сколько храбр на брани! Диомид сражался подле меня. Его запальчивость тебе известна. Он врубился один в толпу неприятелей и, конечно бы, погиб, если б я не подоспел ему на помощь. Мне удалось освободить его от смерти или плена; но уже из правого бока его струилась кровь, ноги дрожали, в глазах темнело. Полумертвого велел я отнести в стан наш и вручить Иоаду, первому врачу придворному. Вот все, что я знаю; однако ж, надеюсь, что искусство врача и сложение Диомида будут иметь свою силу!

— Прощай, Еварест! — вскричал я, — мне надобно быть в нашем стане!

Еварест, схватя меня за руку, сказал с важным видом:

— Как, молодой человек! Разве забыл ты, что я непосредственный твой начальник? Можешь ли ты, без позволения моего, оставить вверенных тебе ратников? Стыдись, малодушный! Что поможет Диомиду твое присутствие, твои стоны и вопли? Это более огорчит великодушного нашего друга и умножит болезнь его; а притом не ты ли был сам при гетмане, когда он, между прочим, дал повеление, чтобы раненых со всею бережливостию привезти в Батурин и там доставить им всевозможное пособие. Останься при мне, Неон, и возверзи печаль твою на господа!

Мы пробыли на сем гибельном поле до самого заката солнечного. На четверть версты от стана, на берегу реки, вырыты были две ямы глубокие и обширные. В одну опущено около двух тысяч малороссиян, а в другую — с небольшим четыре тысячи поляков. Нарочно призванные из ближних селений священнослужители унылым, протяжным пением испрашивали у неба милосердия душам падших на брани, как между тем воины наши покрывали тела их землею. Еварест вздыхал, а я плакал неутешно.

По окончании сего горестного обряда на обеих могилах водружены древесные кресты. Мы поклонились памяти усопших собратий и вместе со священством в глубоком молчании тихими шагами пошли ко стану. Там все было также в готовности. Обоз наш привезен, шатры уставлены в порядке; над ставкою гетмана развевалось великое знамя, в прежнем сражении у нас отбитое и ныне опять возвращенное. По возвращении нашем совершено благодарственное молебствие и весь стан окроплен святою водою. Вскоре все умолкло, и я вошел в назначенный мне шатер, опустился на приготовленную Сисоем охапку свежей травы, прося у бога мирного сна в ночь сию после дня столько утомительного.

Глава VII

Великий переворот

Кажется, я имел на сон неотъемлемое право, но он ни на минуту ко мне не пожаловал; израненный Король и сетующая Неонилла мечтались мне беспрестанно, а сверх

того, и свои раны не давали мне покоя. Я чувствовал во всем теле то жар, то озноб; шея распухла так, что едва можно было дышать, рана на левой руке, за два дня полученная, вновь открылась, и я пришел в крайнее изнеможение. Едва появилась заря, как испуганный состоянием моим Сисой бросился к Еваресту, дабы испросить возможную помощь. Благодетельный военачальник вскоре показался в моей ставке вместе с мудрым Иоадом и молодым учеником его Авдоном, тащившим за плечами небольшой ящик. Опытный врач, раздвинув седые пейсы, внимательно осмотрев мои раны, промыл их какою-то минеральною водою, приложив целебные мази, распрямился и сказал Еваресту:

— За выздоровление его могу ручаться, если и сам он поможет мне в пользовании. Это значит, что до совершенного закрытия ран кровь в жилах его должна обращаться сколько можно покойнее; а чтоб сохранить сие правило, надобно ему отречься до времени от свидания с людьми, кои любезны или ненавистны. Для прогнания скуки и уныния, также затрудняющих выздоровление, он может забавляться чтением книг, но отнюдь не польских или латинских, в которых нередко описываются предметы и положения, могущие и здорового старика приблизить к могиле, а тем скорее молодого больного человека. С пользою может читать он Книгу Иова, Плач Иеремии и Екклезиаста.

— Спасибо за совет,— сказал мой начальник,— недалеко от Батурина есть у меня большое село, а подле него маленький хутор, состоящий из господского дома и трех крестьянских хат; обширные сады окружают сие поместье, и я свободное от должности время препровождаю в оном. Там поселен мною старик, смотрящий за садами и за домом; небольшое семейство его составляет работников, коими распоряжает он со всею властию отца древних времен. В сие-то уединение отправлю я Неона, а ты, честный Иоад, отпусти с ним достаточное количество лекарств и одного из учеников твоих, который бы прожил там дня два или три и научил Сисоя и садовника обращению с больным и правильному употреблению врачеваний.

С сими словами Еварест вынул из-за пазухи порядочный кошелек, наполненный золотом, и весьма степенно опустил его в жидовскую шапку. Старик встрепенулся, глаза его заблистали, морщины разгладились.

— Ты преразумно вздумал, господин полковник,— сказал врач, вынимая из шапки деньги и укладывая в карман,— отправим твоего сотника немедленно, а я отпущу с ним на время Авдона, самого понятного и самого опытного из множества учеников моих.

Колымага Еварестова подвезена; меня уложили на мягком пуховике, у ног уселся Авдон с своим ящиком; несколько всадников, назначенных проводить меня до места, вскочили на коней, и мы двинулись. Еварест провожал верхом до выезда из стана, увещевая быть терпеливым и обещая посетить меня с Неониллою и Мелитоном, если прежде моего выздоровления возвратится в Батурин и если Иоад согласен будет на такое посещение. Еварест удалился от меня неприметно, вероятно избегая прощания. Хотя, по словам провожатых, назначенный для меня хутор не далее шестидесяти верст был от стана, однако мы прибыли в оный не прежде, как на другой день около вечера. Садовник Пармен встретил меня у ворот, и с помощию Сисоя и нескольких казаков я внесен в самую лучшую комнату в доме, в сад окнами, и уложен на покойной постели; ибо правду сказать, я так ослабел, что с трудом мог сделать сам собою какое-либо движение. Авдону и Сисою приготовлена была небольшая горенка подле моей спальни; и когда я заметил Пармену, что он к принятию меня распорядился так хорошо, как будто бы знал о том прежде, то старик ответствовал:

— Как не знать, когда вчера еще об эту пору прискакал сюда нарочный от Евареста с приказанием, чтоб сколько можно скорее все было готово для помещения больного господина, слуги его и жида лекаря.

Мне ничего не оставалось, как только мысленно возблагодарить милосердого бога за неоставление меня во дни скорби и сетования. По данному знаку все удалились; благодетельный сон начал осенять меня своими крыльями, я опустился на подушки и — забылся.

Когда я проснулся и, не открывая глаз, погружен был в дремоту, услышал невдалеке приятное пение птичек. С удивлением взглядываю и вижу, что на окнах моей спальни висело несколько клеток с жаворонками, чижами, щеглами и синицами. Такое внимание к моему развлечению мне понравилось. Я попробовал привстать и к немалой отраде мог приподняться без ощущения прежней боли; я попытался говорить и довольно явственно произ-

нес: «Любезная Неонилла! ты, верно, теперь грустишь и крушишься о своем Неоне! Потерпи, и мы увидимся! Что-то делает друг мой Король? Миновалась ли опасность его жизни? Боже! продли дни великодушного мужа сего, который один мне отца и мать заменяет!»

Вскоре появились ко мне Пармен, Сисой и Авдон.

— Добрый знак,— сказал последний, подошед к постели и щупая пульс на руке моей,— кто с раннего вечера покойно проспит до позднего утра, тот вне уже опасности.

— Как? — спросил я с удивлением,— неужели теперь утро?

— Утро уже прошло,— отвечал Пармен,— и скоро наступит полдень!

Тут и сам я догадался, что после трех дней беспрестанного волнения крови, движения, трудов, утомления провести полдня в покойном сне есть немалое лекарство. Авдон перевязал мои раны, и по наступлении обеденной поры я поел с довольным вкусом.

Так проведены мною две недели, и хотя немало радовало меня приметное выздоровление, однако я не мог не скучать, лежа в постели, привыкнув с самых молодых лет быть в беспрестанном почти движении. Заниматься чтением по предписанию Иоада мне также наскучило, а слушать пение моих пернатых собеседников мне стало досадно. «Вероятно,— сказал я,— что, если каждый из них не понимает смысла в пении другого, по крайней мере собственное свое ему понятно, и он утешает себя в неволе; я только должен сидеть или лежать в безмолвии и забавлять себя или воспоминанием прошедшего, или воображением о будущем».

По прошествии сего времени мудрому Авдону показалось, что я могу уже, хотя с помощию костылей, пройтись несколько раз по комнате и посидеть у окна на лавке. Я восхищался, рассматривая великолепный сад Евареста. Все деревья были в полном цвете, и легкий ветерок доносил до меня слабый запах; ибо мой врач никак не дозволял открыть окон, а тем упрямее отказал в прогулке по саду.

Вдруг послышался в соседнем покое легкий шум, вскоре отворились двери, и Еварест показался. Я столько объят был восторгом, что, забыв о больной ноге, вскочил, хотел устремиться к нему с распростертыми объятиями; но едва не полетел со всего размаху на пол. Все бросились ко

мне, поддержали и усадили на скамье; после чего Еварест, севши подле меня, сказал:

— Благодарение богу! поход наш кончился, и после известного тебе сражения не пролито уже ни одной капли крови. В самый тот день, как ты отправлен в сей хутор, получили мы от разъездных отрядов два известия: первое, что московская сила идет к нам быстро и прибудет не позже двух дней; второе, что армия варшавская также не медлит и может появиться перед нами следующего утра. Последнее известие привело нас в великое смущение; ибо весьма легко расчесть можно было, что мы успеем быть побиты наголову, пока подоспеет вспомогательное воинство, которому останется одна забота похоронить нас и отпеть общую панихиду. Собран был совет, и, по обыкновению, начались прения. Иной, надеясь, на собственные силы и мужество, полагал, что и в каждом воине столько же сих преимуществ, а потому думал, что опасаться нечего, и должно, дождавшись неприятеля, ударить на него со всею отвагою. Другой, будучи умереннее, советовал окопаться рвом и со смирением отбиваться от врага, пока не подоспеют московитяне. Словом, сколько было голов, столько голосов, и гетман сидел молча и размышлял, на чей совет склониться будет полезнее. Тогда Куфий, встав с места, вытянулся и важным голосом произнес: «Вижу, что и тут вы, умные головы, без меня не обойдетесь! Если об одной вещи судят десять человек, равных в летах, в здоровье и в житейских обстоятельствах, и суждения их совершенно противоречат одно другому, то не должно ли заключить, что из десяти таковых судей один только мыслит и говорит основательно, а прочие девять безумствуют, или же что и все дураки набитые! Положение наше таково: к нам приближаются поляки и русские; один чтоб нас поколотить, а другие чтоб избавить от побоев. Расстояние и тех и других довольно неравное, так что и подлинно прежде, нежели поздороваемся с друзьями, должны будем облобызать родную мать свою землю сырую. К нам идут русские; кто же мешает бежать к ним навстречу? Если мы сейчас двинемся с сего места, то, прошед до вечера, мы приближимся к русским на полдня, они к нам настолько же, что и составит целый день разницы. Пусть поляки завтра поутру прибудут на сие место; им ничего более не останется, как только поклониться могиле своих соотчичей и остановиться там или гнаться вслед за нами. Если остановятся, то поступят благоразумно, ибо

успеют отдохнуть с дороги и собраться с духом и силами; если же погонятся, то все-таки не прежде настигнут, как по соединении с нашими друзьями, и, сверх того, устанут, как гончие собаки, и мы порядком потешимся над их чубами. Я готов всех вас счесть и всенародно провозгласить глупее ослов и слепее филинов, если сейчас не признаетесь, что мнение мое премудрее всех ваших».

По окончании сей замысловатой речи Куфий отошел в угол ставки и спокойно начал курить тютюн. Гетман подтвердил, что Куфиева мысль не достойна презрения; в скором времени все на оную согласились. Дано повеление, и не более прошло часа, как мы со всем обозом и артиллерией были уже в походе вниз по течению знакомой тебе реки; ибо предуведомлены были, что сим же путем шли к нам и московитяне. На другой день к вечеру оба воинства сошлись, и общая радость была неописанна; костры дров запылали, и станы наши походили на большое селение, в коем жители празднуют свадьбу своего доброго господина; почти вся ночь прошла в игре, пляске и пении.

Наутро мы поднялись и потянулись прежнею нашей дорогою. На другой день, около полудня, увидели мы на другой стороне реки развевающиеся знамена варшавские, и скоро оба воинства сошлись одно противу другого близко, что только одна река оные разделяла. По-видимому, поляки не помышляли, чтобы мы так скоро могли соединиться с союзниками. По их движению и по той торопливости, с какою начали укреплять стан свой, мы догадались, что они в недоумении и даже робости.

Не теряя времени, по велению гетмана, я с приличным числом чиновников и телохранителей переправился на плоту на другую сторону реки и введен в ставку воеводы, начальствующего силами польскими. Я представил ему коротко и ясно право наше на соединение с Россиею, умеренность требований, превосходство воинства и неизбежную погибель сарматов, если отважатся на сопротивление. Воевода ответствовал, что хотя он и совершенно уполномочен от короля и сейма вести войну или заключить мир на условиях, какие признает лучшими, но как дело такой важности стоит зрелого рассуждения и без согласия военного совета решено быть не должно, то и требовал сроку на два дня. Я охотно на сие согласился и с тем прибыл восвояси. Многочисленная стража поставлена была в

приличных местах для примечания всех движений неприятельских. Мы не столько опасались нечаянного от них нападения, как побега; да надобно думать, что и они все единодушно помышляли о последнем, не предвидя ничего доброго от первого.

Вместо двух условленных дней, данных полякам на размышление, прошла целая неделя в беспрестанных спорах, пока наконец кое на чем решились, да и то по твердому слову московского воеводы, что он не намерен более медлить, если в самом скором времени не дано будет согласие на все требования наши. Тогда-то наконец со всех сторон подписаны и утверждены печатьми статьи мира. Король польский отказался навсегда от господства над Малороссией, и река Днепр поставлена границею обоих владений. Гетман обязался царя русского почитать верховным своим повелителем, помогать ему в военное время ратными людьми и платить ту же самую подать, какая доселе платима была Польше. Воевода московский, именем царя своего, утвердил все права и преимущества гетмана, обещая охранять как общие, так и частные пользы его высокомочия и всего войска малороссийского силою своего величества, власти и могущества. На соизволение гетмана предоставлено, оставить ли кого в Малороссии из поляков, а особливо их духовенство, занятое большею частию воспитанием юношества и преподаванием учения, или прогнать их за границу.

По окончании сего великого дела назначено быть и пиршеству немалому. Гетман и московский воевода приглашали в Батурин и воеводу польского; но он с огорченным видом решительно отказался, снял стан и двинулся обратно в отчизну. Мы торжественно прибыли в столицу при громе пушек и звуке колоколов. Пиры следовали за пирами, веселья за весельями, что и продолжалось три дня. Вчера только поутру вождь русский со своим воинством направил путь в области царские, а при дворе гетмана оставил одного боярина с приличным числом дьяков и военных людей. Так-то, любезный друг Неон, кончилось славное наше предприятие. Хотя оно, конечно, многим храбрым и мудрым мужам стоило крови или жизни, а семействам их многих слез, стонов и сетований, но частный вред или польза никогда не должны быть взвешиваемы на одних весах с общим вредом или пользою.

Глава VIII

Повышение

По окончании рассказа Еварестова я погрузился в задумчивость. Мне казалось, что при посещении отсутствующего больного мужа, отца и друга сперва надобно бы уведомить его о состоянии особ, для него драгоценных, а потом уже повествовать о предметах, хотя также близких к сердцу его, в коих участие разделяет он с миллионами единоплеменников. Если бы посетил меня полковник Каллистрат и об окончании войны сказал то же, что и Еварест, я слушал бы его внимательно, с соучастием; ибо мне известно, что он не знает, есть ли у меня жена Неонилла, сын Мелитон и друг Диомид; но Еварест, коему особы сии известны совершенно, равно как и моя к ним горячность,— Еварест молчит, и горестное уныние растерзало мое сердце. От взора Еварестова не скрылось болезненное состояние души моей; он пожелал знать тому причину, и я чистосердечно открыл оную.

— Друг мой,— говорил полковник с открытым взором, хотя с некоторым смущением,— хорошо ли я поступил в сем случае, или нет — не знаю, но только я следовал старинной пословице: «De absentibus nihil nisi bene» [1]. Признаюсь, что прежде военные труды, а после придворные пиршества столько меня утомили, что некогда было посетить жену твою; притом же она напала бы на меня с вопросами, на которые я и не мог и не должен был ответствовать. Не довольно ли с тебя, что, выступая в поход, ты оставил жену и сына в совершенном здоровье, в доме безопасном, среди людей, готовых служить им со всем усердием? Что касается до друга нашего Диомида, то осторожный Иоад до сих пор никого к нему не допускает, и я, будучи не менее тебя другом сему почтенному воину, довольствуюсь уведомлением, что он вне опасности, что ему день ото дня становится легче, и я за сие приношу благодарение богу милосердому. Будь терпелив, Неон, и надейся, благой промысл вышнего никогда не дремлет.

После сего Еварест, подозвав Авдона, тщательно расспрашивал о состоянии моего здоровья и о времени, когда я, не подвергаясь опасности возобновить болезнь, могу явиться в люди. Авдон утвердительно отвечал, что через

[1] Об отсутствующем или ничего, или хорошо *(лат.)*.— *Ред.*

неделю я могу уже по нескольку часов прохаживаться в саду, если погода то дозволит, что спустя еще две недели он дозволит мне понемногу проезжаться верхом, а там еще через две недели — если поможет всемогущий — могу уже и я, раб его [1], отважиться на дальнейшие подвиги.

— Это ужасно,— сказал я с крайним огорчением,— неужели еще более месяца томиться в неволе?

— Что делать, Неон! — прервал Еварест с улыбкою,— врачей столько же надобно слушаться, как и духовных отцов. Одни указывают душе путь ко спасению, а другие направляют тело ко храму здравия.

После сего он меня обнял с ласкою, сунул Авдону в руку горсть злотых и, наказав Пармéну довольствовать меня сколько можно лучше и никого не допускать постороннего, кто бы он ни был, удалился.

Авдон был весьма точен в словах своих. Не прежде недели открыты для меня садовые ворота.

Время от времени я становился тверже на ногах и исправнее мог владеть раненою рукою. Рана на голове совершенно очистилась, и остался один только рубец, а на шее хотя несколько и беспокоила, а особливо ночью и в мокрую погоду, но она не мешала говорить и есть, сколько мне было угодно. Когда прошли еще две недели, и я чувствовал себя — по крайней мере так мне казалось — совершенно здоровым, то предложил Пармену достать две каких-нибудь, хотя деревенские клячи, на коих бы я с Сисоем для укрепления сил мог прогуливаться в окрестностях хутора.

— Достать двух коней,— отвечал Пармен,— дело бы не мудреное, но прогуливаться на них — дело невозможное. Мой господин, уезжая отсюда в последний раз, именно сказал мне: «Пармен, как скоро Авдон признает, что нашему больному можно уже показаться на лошади, то предварительно уведомь о том меня, и до получения ответа ворота моего дома должны быть заключены для всякого». Так хочет Еварест, и ты согласишься, что воля его должна быть свято исполняема. Вчера еще послал я в Батурин нарочного с мнением Авдона о твоем выздоровлении и с часу на час ожидаю решения.

Хотя таковая прихоть несколько мне и не понравилась, но нечего было делать. Я принужден довольствоваться прогулкою в обширном саду и слушанием убедительных

[1] *Авдон* с еврейского значит *раб судии бога.*

доказательств Авдоновых, что есть свиное мясо и ходить на войну суть дела самые негодные, богопротивные.

— Припомни-ка,— говорил он с жаром,— что всякий из праотцев наших до потопа прожил не менее пятисот лет! Отчего это? Именно оттого, что они самой нечистой скотины и не видали, а о войне не было у них и слуха.

— Хотя,— возразил я,— твои собратия и теперь не едят свинины, а сражаться не заставишь их и плетью, однако же не думаю, чтобы хотя один прожил долее всякого умеренного христианина.

— Это оттого,— вскричал мой врач,— что злой рок судил нам жить между христианами. Тут против воли наберешься свиного духа и вдоволь наслышишься о кровопролитных драках, а это-то самое и укоратывает нить жизненную.

Прошло еще два дня, и я непритворно начал скучать и задумываться. Пока я был болен, то более всего думал о счастии здоровых людей; а когда оправился, тогда милая Неонилла ни на минуту не выходила из моих мыслей. Воображение рисовало предо мною ее нежный взор, сладкую улыбку; я представлял себя в ее объятиях, и сердце мое трепетало. Король, сей верный друг и путеводитель, занимал часто мои мысли, и самый Мемнон с любезным семейством исторгал из груди моей вздохи, что я, столько им обласканный, облагодетельствованный, ничего о нем не слышу и не знаю, счастлив ли сей человек великодушный!

На третий день, рано поутру, когда я прохлаждался еще в постели и Авдон в последний раз, по словам его, прикладывал мази к двум остальным ранам на руке и на ноге, ибо и шейная совершенно очистилась, вошел ко мне Сисой с объявлением, что какой-то молодой есаул полка гетманского с десятью казаками прибыл в хутор и желает меня видеть.

— Хорошо,— отвечал я,— объяви пану есаулу, что как скоро раны мои будут перевязаны, то я оденусь и к нему выйду.

Сисой, исполняя приказание, сейчас возвратился, дабы помочь мне одеться в сотническое платье и мечом препоясаться. Мне не хотелось пред чиновного человека предстать в простом одеянии.

Вошед в большую комнату, в которой обыкновенно угощал хозяин гостей своих, посещавших его в уединении, я увидел молодого, прекрасного мужчину с пламенными

глазами. Стан его был прям и гибок, как стебель молодого клена, румяные щеки показывали здоровье; и хотя он был в есаульском наряде, но усы едва начали пробиваться, что и давало ему вид не более двадцатилетнего. Подошед ко мне почтительно, но свободным шагом и с благородным видом, он сказал:

— Высокоповелительный гетман сил малороссийских приказал вручить тебе сию бумагу.

С сими словами подал он мне большой лист; я развернул, пробежал глазами и не смел сам себе верить. Я прочел в другой и третий раз, и все еще казалось, что брежу. Свернув бумагу, я начал ходить по комнате, дабы увериться в бодрственном своем состоянии; после чего, сев на лавку, спросил:

— Известно ли тебе содержание сей бумаги?

— При выезде из дворца,— отвечал есаул,— Куфий подробно обо всем меня уведомил. Прими поздравление мое с новою милостию столько же благосклонно, сколько о сем радуемся я и все мои родные!

— Так,— сказал я, глядя в бумагу,— это грамота на пожалование меня войсковым старшиною в полку гетмана. Но кто ты и кто твои родные, принимающие во мне такое дружеское участие?

— Ты узнаешь о сем из письма,— сказал есаул, подав мне сверток бумаги.

Я развернул и прочел следующее:

«Посылая грамоту его высокомочия на пожалование тебя, Неон, в новое и высокое достоинство, поздравляю. Все друзья твои сему очень рады. Теперь надобно тебе забыть о своей молодости и вести себя так, как прилично опытному мужу. Ты называешься старшиною; молодость не будет уже извинением в проступках. Грамоту и письмо сие вручит тебе молодой есаул Кронид, который будет собеседником твоим в сельском доме и провожатым во время прогулок в полях окрестных. Присланные телохранители должны везде вам сопутствовать, как скоро оставите двор ваш. Не спрашивай ничего: так надобно! Прошу тебя: будь ласков к Крониду и удостой его любви твоей и дружбы. Мне все говорят, даже нелицемерный друг наш Диомид, что молодец достоин любви всякого почтенного человека. Хотя я и не должен таковым лестным слухам верить без разбора, потому что Кронид родной сын мой, а глаза отцовские нередко в таких случаях ослепляются,

но, как бы то ни было, и я повторяю просьбу: полюби, Неон, моего сына, ибо и тебя искренно любит отец его.

Еварест».

Я вскочил с места с изумлением, превратившимся скоро в восторг радости.

— Ты сын Евареста? — вскричал я.

— Так,— отвечал молодой человек, бросив на меня величественный взор, который тогда показался мне несколько гордым.

Я обнял его с нежностию и не мог не вздохнуть тяжко, вспомня, что я лишен сего высокого наслаждения и не могу сказать, кто мои родители. Мысль сия так меня поразила, что и новое достоинство, полученное в столь молодые лета, меня не веселило.

Разговорившись с Кронидом, я тотчас увидел в нем пылкого юношу, который всегда знает, что он — сын вельможи, а пришедши в возраст, смотрел на отца своего как на будущего гетмана. При всем том воспитание, полученное им в глазах родителей, под надзором старого опытного и ученого иезуита, делало его любезным и заставляло забывать, что он слишком молод. Мы условились, чтобы после завтрака ехать верхами подальше за хутор, почему я опять намекнул Пармену о деревенской кляче.

— На что это? — спросил Кронид,— для тебя отец мой прислал одного из лучших коней своих со всем прибором.

Я не мог довольно надивиться великодушию Евареста и возблагодарить за сие в лице его сына. Мы вооружились огнестрельным оружием, сошли на двор, сели на коней и пустились в поле в сопровождении гетманских телохранителей.

По возвращении домой уже вечером, хотя и чувствовал я усталость и расслабление, однако чувства сии имели в себе некоторую приятность, происходящую от мысли: «Я устал, как устают все здоровые люди». В продолжение двух недель связь моя с Кронидом день ото дня делалась прочнее: я ни одним словом, ни одним взглядом не обнаруживал своего пред ним начальства, да и кто я, чтобы без зазрения совести мог чиниться пред сыном первого человека в Малороссии после гетмана? Хотя и меня уверяют, что родители мои — люди благородные, но я и до сих пор не знаю, кто они такие. Наконец время заточения моего миновалось; роскошный червец начал дышать под безоблачным небом, и Авдон отправился в Батурин

с донесением, что я опять стал человеком, следовательно, могу иметь с людьми обращение. В тот же вечер прискакал нарочный с письмом от Евареста, причем привезено богатое платье, сообразное с новым моим достоинством. В письме содержалось повеление на другой день поутру ехать в столицу и, никуда не сворачивая, прямо явиться во дворце гетмана. Сборы наши были невелики; с восхождением солнца облачился я в золотистую одежду, все вскочили на коней и полетели. Я чувствовал, что с каждым шагом, приближающим меня к городу, бытие мое оживляется. Мысли о блаженстве, какое вкушать буду, обнимая жену, сына и друга, занимали во всю дорогу душу мою и сердце. Какое-то рассеяние, близкое к упоению, к самозабытию, столько мною овладело, что я ничего не видел, ничего не слышал, что вокруг меня происходило, и не прежде опомнился, как раздался в воздухе звонкий голос Кронида: «Стой!» Я встрепенулся, осмотрелся и, к удивлению, увидел, что мы достигли уже чертогов гетманских. Тут-то вспомнил я приказание, *никуда* не заезжая, явиться прямо во дворце. Я сердечно благодарил Евареста за его предусмотрительность; ибо, если бы подле меня не было его сына и стражи, то, наверное, целый день рыскал бы по городу, не зная сам, где и зачем, а по наступлении ночи очутился бы в реке или буераке.

Вошед в приемную палату, я возбудил всеобщее движение. Все обступили меня с приветствиями, поздравлениями. Иной удивлялся необычайным моим достоинствам, другой — чудесному счастию; сей превозносил великость моего разума, доказанного освобождением гетмана из плена, а тот отдавал преимущество сверхъестественному мужеству, с каким поразил я пана Бурлинского и тем сохранил на плечах гетманову голову. Словом, на сей раз все сделались самыми красноречивыми витиями, и я начинал уже принимать важную осанку витязя, кидать вокруг величественные взгляды и несколько пасмурно кивать головою,— как пришел в себя, услыша, что отходившие в сторону поздравители, говоря между собою вполголоса, довольно явственно произносили: «Настоящий бурсак!» Как скоро сие магическое слово коснулось моего слуха, вдруг я с превыспренного неба ниспал на землю бренную, на одну минуту задумался и после, неприметно вздохнув, сказал самому себе: «Vanitas vanitatum et omnia sunt vanitas!» [1]

[1] Суета сует и всяческая суета! *(лат.)*

По прошествии довольного времени появился в палате Куфий. Он был очень пасмурен и шел медленно, смотря в пол и перебирая на руках пальцы; но как скоро меня приметил, то, приняв веселый вид, подбежал, обнял и, отведши на сторону, сказал:

— Поздравляю, друг, в новом звании, которое сделало бы много чести и седому воину. Я видел на опыте успехи твоей предприимчивости и мужества; а теперь посмотрю, сумеешь ли остаться великодушным при потере чего-нибудь важнейшего, чем голова наша! Как ты думаешь, Неон, есть ли для человека что-нибудь любезнее жизни? Что ж ты молчишь? Ин я скажу пояснее. Согласен ли ты будешь на предложение: лишиться рук, ног, глаз, ушей и в сем положении остаться жить? Ведь у тебя останется голова и брюхо: чего же более? Рот будет принимать пищу и питье, а желудок переваривать то и другое. Что за пропасть! ты все молчишь, изменяешься в лице, взор твой обнаруживает робость!

В сие мгновение вошел дворцовый старшина и объявил, что его высокомочие меня ожидает.

Глава IX

Важное открытие

Я шел за старшиною в чрезмерном смущении. Загадочные речи Куфия поразили меня, как ударом грома, и хотя я в полноте не понимал их, но предчувствовал, что должен буду лишиться чего-то драгоценного. «Что же может быть дороже жизни?» — спрашивал я самого себя. Невидимый голос во глубине души моей шептал: «Потеря свободы, потеря милой, любимой жены и залога любви пламенной!» Дрожь проникла во все составы моего тела; я хотел остановиться, но двери впереди нас растворились, я вошел, взглянул и едва не ослепнул. Хотя я в продолжение почти годичного служения при дворе и гораздо привык к пышности и великолепию, но подобных видеть еще не случалось. Против самых дверей у стены, на возвышении нескольких ступеней, стояли золотые кресла, осеняемые сверху балдахином из малинового бархата, вышитого серебром и золотом; по правую и по левую сторону кресел стояли небольшие столики, из коих на первом лежал обнаженный меч, а на другом — золотая булава, испещрен-

ная драгоценными камнями. По обе стороны сего возвышения стояли все находившиеся в Батурине полковники и старшины войсковые; позади великое множество телохранителей. Я стоял неподвижно и терялся в догадках.

Немного времени спустя боковые двери открылись, и гетман вошел в великолепной одежде; за ним последовали Еварест и Диомид, а позади всех тащился Куфий, на сей раз пасмурный, задумчивый. Когда гетман воссел на своем месте и уставились подле него Еварест и Диомид, а Куфий позади кресел, то первый, взяв булаву в правую руку, по некотором молчании, осмотрев величественным взором палату собрания, произнес голосом, хотя не гневным, но довольно строгим:

— Приближься, Хлопотинский!

Действительно, тот из семи мудрецов древности был человек весьма опытный, который за верх ума человеческого поставил *познать самого себя.* Наука сия тем труднее к изучению, чем кажется с первого взгляда легчайшею. Когда я введен был в сию палату, а особливо когда появился гетман с полумрачным взором, с нахмуренными бровями, то я трепетал всем телом; когда же услышал голос судии: «Приближься!» — то некий дух, живущий внутри меня, произнес громко: «Ободрись! разве ты злодей, что колеблешься предстать пред повелителем?» — Нечто животворное проникло все мои составы; мужество разлилось в каждой капле крови, и я, твердыми шагами подошед к седалищу гетмана, повергся на колена.

Несколько мгновений он хранил глубокое молчание; потом, возвыся булаву, прикоснулся ею к моему темени и несколько ласковее произнес:

— Встань и выслушай внимательно; существо дела того стоит.

Я поднялся и, взглянув на своего повелителя взором неробким, отошел к стороне и остановился, оперпшсь обеими руками на свою саблю. Гетман произнес:

— Ты, Хлопотинский, в течение прошедшей маловременной брани оказал много истинных услуг отечеству, за что оно в лице моем и воздало тебе достойную награду. Теперь обвиняют тебя в преступлении, которое прощено быть не может. Не ты ли обольстил дочь Истукария в Переяславле? не ты ли довершил беззаконие, увезши ее с немалым отцовским имуществом, чем разрушил преднамеренный брак ее с достойным мужем? не ты ли, наконец,— к совершенной невозможности поправить семейственное

расстройство — женился на беглянке против воли ее родителей, сродников и ближних? Ответствуй, Хлопотинский!

Я ответствовал с видом надежным и со взором негодования:

— Если все обвинения, тебе, державный гетман, против меня сделанные, заключаются в объявленных тобою показаниях, то я считаю себя до такой степени невинным, что остаюсь совершенно покоен. Так, мне нравилась Неонилла, дочь Истукариева; я молод, неопытен и не успел избежать сетей, расставленных для моего обольщения. Я вместе с нею пробирался в Батурин, но не похищал ее, а только не имел сил ее оставить, к чему способствовала — признаюсь пред всеми — и моя к ней склонность, день ото дня возраставшая. Я принужден был на ней жениться, когда она доказала свою беременность и решилась сим единственным средством прикрыть общий стыд наш. Неужели я поступил бы согласнее с законами божескими и человеческими, когда бы, видя несчастную жертву любви и чувственности в столь жалком положении, кинул бы ее на распутье, предоставя честь ее и жизнь на произвол случая и на решение отца жестокосердого?

Кротость изобразилась на лице и во взорах гетмана, все присутствующие были тронуты и, казалось, в мою пользу. После короткого молчания гетман произнес:

— Если верить словам твоим, то ты гораздо менее виноват, нежели как тебя обвиняют. Кто докажет нам справедливость твоих сказаний?

— Я,— воззвал Король, и бледное лицо его побагровело.

— Ты? — спросил гетман с удивлением.— Но какая могла быть связь между пожилым, почтенным мужем и молодым, опрометчивым человеком, а особливо в подобных обстоятельствах?

— Обстоятельства делают весьма много,— отвечал Король, а часто и совсем изменяют предположенный путь нашей жизни. Если благоугодно тебе выслушать, то я открою нить происшествий, за кои обвиняют Хлопотинского, и докажу, что все сказанное им в оправдание весьма справедливо.

Получив дозволение, Король воспламенился жаром юноши. Он рассказал, как познакомился со мною, как полюбил меня за кротость и чистосердечие, как удостоверился о тайне моего рождения. Он объявил причины, для

коих ввел меня в дом Истукария, и как Неонилла, пламенная, влюбленная Неонилла умела воспользоваться неопытностию молодого, пылкого человека. В заключение рассказал он все обстоятельства моей скоропостижной женитьбы и кончил замечанием:

— Всего для меня удивительнее, что Истукарий, человек уже старый, а потому, думать должно, что опытный и богобоязненный,— я не коснусь здесь до собственного его поведения,— вместо того, чтобы радоваться и благодарить бога, окончившего дело сие, дело греховное, благим освящением церкви, он еще жалуется и не стыдится во всю Малороссию провозгласить свое посрамление, но не в том, что дочь его сделалась законною женою Неона, а что могла сделаться матерью, не будучи женою.

Все удивлены были красноречием, жаром, твердостию Диомида и силою его доказательств. Пользуясь молчанием, он спросил:

— Благоволи теперь, великий гетман, поведать, чего желает от тебя Истукарий?

— Он требует,— отвечал державный старец,— чтобы я дозволил ему дочь свою и с ее младенцем отдать на его волю до тех пор, пока брак ее с Хлопотинским не будет расторгнут; чтобы зять его до того времени содержан был в темнице под строгим надзором, дожидаясь, какое решение последует от духовной власти касательно дальнейшего наказания за столь явное нарушение священного права родителей. Признаюсь, мои воеводы и чиноначальники, что желание Истукария, яко отца семейства, кажется мне справедливым. Я сам был некогда отцом и до сих пор чувствую всю великость несчастия, постигшего меня от непокорства дочери, которую любил я более всего на свете и хранил, яко зеницу ока. Теперь я спрашиваю вас: согласны ли вы с моим мнением, которое есть последствие требования Истукариева?

— Нет! — сказал Диомид торжественно.— Я согласен, что дети подлежат неограниченной власти своих родителей, пока их слабость и неопытность того требуют. Но ежели я, старый, дряхлый скряга, дочери своей, цветущей юностию и здоровьем, следовательно, от самого небесного раздавателя благ земных одаренной всеми способами наслаждаться счастием жизни, предложу в мужья такого же старого, дряхлого скрягу, потому только, что он еще богаче меня, неужели я имею тогда право носить на себе священное право родителя? Неужели я сделаюсь угоден

милосердому небу за то, что одно из его творений, возросшее с надеждою на счастие, сделаю злополучнейшим на лице земли?

Гетман изменился в лице, но Диомид, как будто того не примечая, продолжал:

— Но пусть я и смягчу свое заключение. Всякий отец и мать дают дитяти своему тело, но душу дарит господь. Если законы не противятся, чтобы родители указывали отрасли своей дорогу ко счастию по их умоначертанию, то зачем вместе с сим отнимать у последней данное богом право следовать внушениям души своей и сердца? Итак, я полагаю: Неониллу, яко дочь Истукария, возвратить отцу одну, без сына, ибо дитя не одной матери принадлежит. Истукарий может надзирать за нею, но со всею скромностию, как прилично с замужнею женщиною, которая, и по словам Святого писания, принадлежит уже мужу, а не родителям, тем менее родителям вздорным, своекорыстным и детей своих почитающим меновым товаром. Пусть власть церкви разрешит будущую участь Неониллы! Что же касается до заключения в темницу и в оковы Неона, то я обращаюсь к тебе, великий гетман, обращаюсь к вам, полковники и старшины воинства, с вопросом: неужели будет справедливо, законно, богоугодно лишать света того мужа, который извлек из плена нашего повелителя? возлагать оковы на те руки, которые остановили меч, готовый размозжить голову нашего гетмана? заставить томиться в неволе того, который, по благословению неба, дал свободу всему отечеству, поддержал, увеличил власть нашего повелителя?

Безмолвное изумление господствовало в палате, во взорах гетмана сияла нежность и умиление. Король продолжал:

— Итак, я полагаю: Неониллу, дочь Истукариеву, на объявленном мною условии возвратить в дом отеческий. Сына ее отдать отцу, которого и оставить в полной свободе, доколе святая церковь не рассудит между ними.

Гетман, после довольно продолжительного молчания, возвыся булаву, вопросил:

— Что скажут на сие мои советники?

— Согласны! согласны! — раздалось со всех сторон.

Тогда повелитель сказал:

— Надобно выслушать обвиняющего!

Он дал знак, и дневальный старшина быстро устремился к углу палаты, завешенному ковром шелковым. Зана-

вес распахнулся,— и кто опишет общее изумление и мой ужас! На стуле сидел Истукарий, бледный, изможденный. Своими руками щипал он на голове волосы и ерошил усы; пена белелась на губах, и глаза пылали, как у разъяренного зверя; от бешенства он дрожал всем телом и не мог подняться с места. Я отвратил глаза от исступленного изувера. Потеря Неониллы и предание ее в руки изверга затемняли мой рассудок.

Дневальный старшина с несколькими телохранителями взяли почтительно Истукария под руки и подвели к гетману.

— Успокойся,— сказал дружелюбно старец,— мужу в твои лета малодушествовать непозволительно. В третий раз, при собрании уже всего моего совета, предлагаю тебе, простив своих детей, сделать их счастливыми и тем осчастливить последние дни своей жизни.

— Никогда! — сказал Истукарий, скрежеща зубами.

— А если так,— продолжал гетман довольно строго,— то я утверждаю положение моего совета. Да возвращена будет Неонилла отцу своему, а сын ее останется при своем отце; с сим вместе Неон есть войсковой старшина полка моего имени, и особа его неприкосновенна!

— Правосудное небо! — сказал Истукарий задыхащимся от бешенства голосом,— у меня требуют согласия на утверждение союза ненавистного, посрамляющего голову мою срамом неизгладимым; меня убеждают признать своим сыном бурсака безродного!

— Какая кому надобность,— сказал с важностью гетман,— чем я и ты были прежде, нежели почтены настоящими достоинствами? Впрочем, по уверению особ, достойных всякого вероятия, Неон происходит от благородных родителей, а собственные его заслуги то доказывают!

— Все сии уверения достоверных особ,— сказал со стоном Истукарий,— суть личины, посредством коих думают они прикрыть свои злодеяния и остаться ненаказанными!

Глаза у Диомида заблистали, как раскаленные угли.

— Ах! — сказал он, ударя себя по лбу,— доказательства все в моих руках, и я должен молчать о них! Как несносно слышать хулы беснующегося, иметь возможность зажать ему челюсти, окаменить лживый язык — и молчать!

— Говори, Диомид,— сказал торжественно гетман,— буде что можешь сказать в опровержение слов Истукария противу тебя и твоего питомца!

— Великий гетман! — произнес Король, понизя голос,— я не дерзаю сделать сего по крайней мере до удобного времени!

— Можешь ли ты найти к сему время удобнейшее теперешнего? Говори, я приказываю!

— Дай обещание твоего высокомочия, что слова мои будут приняты великодушно, и никакое мщение не поселится в душе твоей!

— Даю, но не простое обещание, а торжественную клятву, что до самой могилы, которая уже для меня разверзает зев свой, ни слух твой, ни зрение, ни одно из чувств оскорблены не будут, и ты навсегда останешься доверенным моим советником!

Король уподобился вдохновенному. Возвыся голос, он произнес:

— Вы слышали клятву повелителя, мужи именитые! Она решает узы языка моего. Итак, знай, великий гетман, что старшина полка имени твоего Неон Хлопотинский, избавивший тебя из плена иноземного, сохранивший на брани жизнь твою, есть — будь великодушен, гетман, как достойно мужу в твои лета с твоим званием,— он есть — еще умоляю тебя собрать всю крепость твоего духа, всю доброту твоего сердца,— он есть — внук твой, сын брата моего Леонида и дочери твоей Евгении!

Милосердый боже! Какое поражение разлилось в сердце каждого от слов сих. Гетман затрепетал, булава выпала из охладевшей руки его, голова склонилась к груди, глаза закрылись. Диомид и Еварест бросились поднимать его, я туда же устремился; сделал шага три, но колени мои поколебались, голова закружилась, сердце заныло, я обеспамятел.

Глава X

Надежда

Душа человеческая бывает иногда в таком состоянии, что хотя и чувствует бытие свое, но никак не может обнаружить оного посредством телесных членов, более уже ей непослушных. Теперь со мною то же случилось. Пришед в себя, я очень чувствовал, что меня везут; обонял запах крепкого спирта, осязал трение висков и при всем

том не мог открыть глаз, не мог пошевелить губами, ниже другим каким-нибудь членом. Наконец тяжелый, продолжительный вздох сделал перелом в телесном составе; сперва я открыл глаза и увидал себя в гетманской колымаге; подле меня стоял на коленях Кронид, держа в одной руке стклянку, а в другой грецкую губу; в ногах сидел знакомец мой велеречивый Авдон, давая наставления, как действовать сими снадобьями. На первый случай я довольствовался возвращением зрения и слуха и дал волю врачам своим действовать, как изволят. Вскоре потом я мог уже положить руку на сердце, и казалось, что трепетание его несколько ослабело; наконец, губы мои открылись, и я мог спросить довольно явственно:

— Куда мы едем?

— В самое покойное место, какое только можно отыскать в Батурине,— отвечал Кронид,— именно в дом полковника Диомида.

— Друг мой! — сказал я с умоляющим взором, взяв его за руку,— прикажи везти меня на край города, в дом черноморца Ермила; там найду я жену и сына, и одно на них воззрение уничтожит или по крайней мере уменьшит несносную скорбь души моей.

— Мне велел отец мой доставить тебя в дом Диомида,— отвечал Кронид с кротостию,— и я имею причину думать, что он лучше нас обоих знает, как поступать в подобных случаях. Ты скоро увидишься с Королем и можешь сделать ему предложение о перемене места жительства сам от себя.

Мы въехали на пространный двор и остановились у большого дома. Хотя я не чувствовал болезни, даже боли ни в одном члене, но был слаб до изнеможения. Дворецкий встретил нас у самого крыльца и помогал Крониду и Авдону вести меня до покоя, мне назначенного, из чего я заключил, что о прибытии моем дано знать предварительно. По велению Авдона, в таких случаях самовластного, меня раздели и уложили в постель.

— Милосердый боже! — сказал я вслух,— едва избавился я постели, опять меня в ней погребают!

— Что делать,— молвил Авдон,— и праотцы мои, сыны Израиля, народ избранный, едва избавлялись одного плена, смотри — уж попадались в другой, тягчайший. На них находили черные столетия, а на тебя, как видно, нашел черный год; они терпели, потерпи и ты!

— Но они,— заметил я,— дотерпелись до того, что те-

перь и пейсов своих не могут считать прочною собственностию!

— Успокойся, Неон,— подхватил врач,— я не буду на сей раз мучить тебя лекарствами; все, что я предписываю, состоит в сохранении спокойствия, и если ты в точности исполнишь по рецепту, то завтра поутру будешь столько же здоров, сколько был сегодня до появления во дворце гетмана.

Я отвечал, что с сей же минуты хотел бы начать пользоваться по его советам, и оба мои провожатые удалились.

Оставшись один, я силился привести в порядок мысли, клубившиеся в голове моей подобно слоям густого тумана на долине, на которую нечаянный вихрь со всею силою опрокинулся. Я размышлял: «Итак, Неон, ты внук великого гетмана, следовательно, и малейшие дела твои сочтены будут величайшими отличиями. Без сомнения, тайну сию знали, кроме Диомида, еще Еварест и Куфий, как мне о том и сказано; но гетман не имел в том ни малейшего подозрения, ибо в противном случае он мог действовать во вред мне или пользу, не роняя булавы из рук и не лишаясь чувства: следовательно, я получил свои почести за действительные заслуги и не должен стыдиться пользоваться ими. Но в самое то время, когда враждующая судьба, казалось, обратила на меня взор веселый, злой дух мятежа, гордости и мщения посылает сюда ненавистного Истукария и внушает ему мысль отыскивать прав своих, может быть, не совсем неправильных, и я осужден лишиться моей Неониллы! Нет, скорее откажусь я от родства с гетманом, от дружбы с дядею, чем от милой жены, матери моего сына, жены, пожертвовавшей для меня всем, чем только страстная женщина пожертвовать может.

Но почему знать,— продолжал я, повернувшись на другой бок,— может быть, гетман давно уже знал тайну моего происхождения и, намереваясь мщение свое к моим родителям сохранить — по собственным словам его — в пределах самой вечности, согласился возвысить одного меня, и на сей конец в столь короткое время возвел на такую степень, до которой многие поседевшие во бранях и глаз возвести не смеют. Может быть, он сам или по его желанию Еварест, Каллистрат, самый Король посторонним образом подустили надменного глупца Истукария требовать возврата назад своей дочери и заключения меня в темницу! Для чего Король, защищая права мои, довольствуется только избавлением меня от неволи, соглашаясь

с первого слова на отдачу Неониллы во власть раздраженного отца ее? Боже! какой свет начинает окружать сумрак души моей! Для чего не хотели отвезти меня во время гибельного помешательства в дом Ермила, где под скромною соломенною кровлею нашел бы я любовь, спокойствие, блаженство, а приволокли в сии пышные палаты, где, кроме тоски, скорби, горестного предчувствия, ничего не вижу, ничего не ожидаю!»

Утвердясь в мыслях, что я не что иное, как игрушка, как жертва честолюбия, своекорыстия и мщения, решился одним мигом прервать сии сети, оставить блеск, пышность, великолепие и, наслаждаясь одним семейным счастием, кончить дни свои так, как и начал: в безопасной неизвестности! На что мне чины и почести, сии обольщения слабоумных? Разве у жены моей нет столько имущества, чтобы, обратя оное в деньги и соединя оные с наличными, завестись в самом уединенном углу Малороссии маленьким домом с садом и огородом? Сам я свидетель, когда дядя мой, Диомид Король, был в Переяславле огородником, он всегда был здоров, весел и в пятьдесят лет казался двадцатилетним; но едва появился в столице, как заразительный воздух оной и его коснулся. Он сражался,— надобно отдать справедливость,— как отличный сын отечества, взошел на высшую степень достоинства, исключая гетманское, и теперь посмотри, кто хочет, на Диомида! Целая переяславская бурса, узнававшая его за версту по одной только бодрой походке, теперь не узнала бы и в двух саженях.

Вследствие сей решимости я встал с постели, оделся, вооружился и вышел на двор. Не успел я пройти и десяти шагов, как дворецкий нагнал меня, стал впереди с распростертыми руками и воззвал:

— Что это, пан Неон? Разве забыл ты наставления многоопытного Авдона?

— Он советовал мне хранить более всего свое спокойствие,— отвечал я,— но могу ли быть спокоен, лежа в постели, в совершенной неизвестности о семье своей?

— Однако ж,— продолжал дворецкий,— пан Диомид наказал мне чрез нарочного, чтобы я имел о тебе неусыпное смотрение, пока не оправишься.

— Ты видишь,— сказал я,— что иду, как человек здоровый, следственно, данное тебе приказание исполнено, и ты можешь заснуть без боязни. Посторонись!..

— Никак! — отвечал верный слуга,— я принял тебя

из колымаги гетманской и должен пану своему сдать руками. Почему знать мне, что ты прислан сюда спроста? Может быть, здесь только ждать будут твоего выздоровления, а после обкорнают уши!

— Ты верен своему пану,— сказал я полусердито,— это очень хорошо; но ты крайне глуп, это неладно. Посторонись, или я спихну тебя с дороги!

С сими словами я ударил по ефесу сабли рукою, дворецкий с криком от меня бросился в сторону, и я проворно вышел за ворота.

Великолепный дом Диомидов стоял лицом на один из базаров батуринских совершенно в противоположной стороне, взяв за основание палаты гетманские, от дома Ермилова, и я, дабы избежать всякой встречи с кем-либо из знакомых, взял большой круг и к скромному жилищу моей любезной жены пришел уже незадолго пред закатом солнечным. Может быть, медленность сия произошла оттого, что во всю дорогу я погружен был в сладкие мечтания, кружившие мою голову и нередко скрывавшие от глаз все мне встречавшееся; ибо сам помню, что не раз стукался головою о заборы или заходил в бурьян, кое-где на пустырях повыросший.

Долго и крепко стучал я в ворота, но не получал никакого отзыва. Я, конечно, мигом перелез бы через забор, ибо ухватки бурсацкие гораздо были еще мне памятны; но как приступить к сему в богатом платье войскового старшины полка гетманского, при дневном свете, в виду соседей и прохожих. Это был бы явный соблазн, и после все сотники и есаулы, не говоря уже о простых казаках, стали бы прыгать через заборы, извиняясь, что к сему побудила непреодолимая страсть одного к жене своей, другого к соседке, третьего к карману ближнего. Итак, по необходимости я ополчился терпением и уселся на лавке в ожидании кого-либо из хозяев или по крайней мере наступления ночи, чтобы без зазрения совести можно было, не входя в ворота, попасть на двор. Хотя положение мое было для нетерпеливого человека в мои лета довольно тягостно, однако не без примеси и удовольствия. «Наверное,— думал я на просторе,— Ермил с сыном, с женою и невесткою по каким-нибудь домашним обстоятельствам все разом отлучились, оставя одну Неониллу с своим малюткою и детьми Мукона. Чтобы не обеспокоил ее какой-нибудь незнакомый посетитель или, и того хуже, знакомый, но неприятный, она заперлась наглухо, и, может

быть, я уже не первый, стучавшийся у ворот понапрасну.— Успокоясь сими мыслями, кои казались мне самою достоверною догадкою, я то ходил вдоль забора, то сидел на лавке, попевая и насвистывая веселые песни. Солнце закатилось, и на небе запылала заря вечерняя.

Внезапный шум обратил мое внимание. Оный происходил от толпы военных людей, позади коих ехали две нарядные колымаги, каждая в четыре лошади. Когда толпа сия ко мне приближилась, то я тотчас узнал Диомида, Евареста и Истукария с Епафрасом. За ними следовала гетманская стража.

— Как,— спросил Король с некоторым неудовольствием,— и ты здесь? Зачем?

Такой вопрос показался мне вызовом на сражение, если не саблями, то по крайней мере языками, и я отвечал голосом отрывистым:

— Будучи человек свободный, я думаю, что могу ходить по здешним улицам, где хочу, и отдыхать там, где вздумается.

Король понял состояние моего сердца и, взяв за руку, произнес дружелюбно:

— Я для тебя же хотел сделать лучше, удаля от Неониллы во время отъезда ее отсюда. Ты слышал мнение совета, утвержденное гетманом; оно непременно должно быть исполнено!

От слов сих пришел я в такое замешательство, которое походило на исступление. Мне мечталось, что впервые слышу о необходимости расстаться с Неониллою; я трепетал всем телом и не мог даже вздохнуть; грудь моя стеснилась. Истукарий сделал движение подойти ко мне, но я отскочил шага на три и быстро опустил руку на ефес сабли, Диомид и Еварест стали между мною и Истукарием, и первый сказал:

— Не безумствуй, Неон, и успокойся! Разве философия твоя не говорит, что всякие намерения наши, как бы они твердыми ни казались, нередко изменяются или совсем исчезают! Ты был счастлив любовию жены своей; потерпи — и опять будешь таким же.

— Неон! — сказал Истукарий, и, к удивлению моему, голосом дружелюбным, даже нежным,— выслушай терпеливо, что скажет человек старый, никогда не забывавший о своем благородстве, приехавший сюда полон гнева и мщения и уезжающий с тишиною в душе и кротостию в сердце! Так! при одной ужасной мысли, что ничтожный

бурсак дерзнул возвести преступные взоры на дочь мою, что обольстил ее, увез и женился, я страдал несказанно и жаждал крови. В сем расположении прибыл я в Батурин, предстал гетману, требовал мщения и твердо решился погибнуть, только бы и вас обоих низвергнуть в пропасть бедствия. Когда же узнал я, что кровь твоя не может обесславить крови моей, текущей в жилах Неониллы, когда сими почтенными мужами удостоверен, что ты законный сын знаменитого полковника Леонида и гетмановой дочери Евгении, то гнев мой мгновенно переменился в умиление, и я с радостию, с благодарною слезою к богу, устрояющему и самые проступки наши во благо, даю отеческое благословение дочери моей, тебе и вашему сыну. Но, Неон, с того самого дня, как Неонилла с тобою скрылась, почтенное имя мое предано поруганию. Оскорбленный, разгневанный Варипсав не хотел — сколько я и жена моя его ни умоляли — сохранить тайну, и все происшествие, столько для всего дома моего поносное, рассказывал всякому, и думаю, что если бы в городах наших, по примеру польских, устроены были книгопечатни, то стыд моего дома он распространил бы по всей Малороссии. Порчу сию надобно поправить, и в намерении моем согласны оба почтенные мужа сии, которых считать в числе моих приятелей поставлю за особенную честь и удовольствие. Я теперь же возьму с собою дочь, а маленький Мелитон останется в доме Евареста. Неонилла будет жить в девическом тереме, и как скоро она любит и знает, что взаимно любима, то ей не будет тягостно провести несколько недель в разлуке с мужем и сыном, оживляясь каждую минуту надеждою показаться открыто в виде внуки великого гетмана. В это время получу я торжественное посольство от Никодима с просьбою о соединении Неона с Неониллою. Слух сей быстрее молнии разнесется во все концы Малороссии. Не знающие всего предыдущего будут радоваться, нашед случай повеселиться; кому же оно известно, останется в недоумении, и пусть ломают себе головы, добираясь постигнуть истину. Изготовя приданое, пристойное жениху и невесте, я отправлю ее в Батурин в сопровождении друзей моих и сродников, и по прибытии во дворец гетмана последует повсеместное объявление о бракосочетании знаменитых особ в дворцовой церкви, чего, разумеется, не будет, да и быть не должно. Следующие затем пиршества заставят граждан мало думать о причинах, для коих гетман обвенчал своего

внука не в соборной, а в своей домашней церкви. Хотя ты, Неон, по всему вероятию, не будешь иметь надобности в имении, но честь моего дома требует, чтобы дочь и зять могли обойтись во всякое время без помощи деда. Да! приданое Неониллы будет ее достойно.

От сих неожиданных утешительных слов грусть моя мгновенно пременилась в восторг радости. С почтением подошел я к Истукарию, стал на колени и облобызал его десницу. Он поднял меня, заключил в объятия и, проливая радостные слезы, сказал:

— Не правда ли, Неон, что сколь ни сладостны утехи любви, но всегда имеют в себе некоторую горечь, пока истинное благословение неба не увенчает их, а сие не иначе случается, как после благословения родительского!

Диомид, Еварест и самый Епафрас, забыв происшествие в Королевом огороде, накануне нашего выезда из Переяславля с ним случившееся, удостоили меня своих объятий.

Когда общий восторг несколько утишился, то Диомид спросил:

— Чему приписать, что Неон вышел из моего дома вопреки лекарского наставления; а пришед сюда, вместо того чтоб резвиться с милою женою, так долго не виданною, и пугать ее описанием богатырских своих подвигов, преспокойно погуливал по улице и напевал казацкие песни?

Я рассказал им, что уже более часа против воли занят был сим упражнением, но что на стук мой, на пение и свисты не получаю никакого ответа. Все крайне изумились и глядели друг на друга, не произнося ни слова.

Глава XI

Примирение

Истукарий, доселе надменный, вспыльчивый, мстительный Истукарий, при сих словах моих более всех всполошился. Диомид никогда не был ни мужем, ни отцом; Еварест имел большое семейство, но ему и на мысль не приходило когда-нибудь представлять лицо подобное Истукариеву, следовательно, оба были довольно равнодушны. Вот что значит хранить порядок! Если хозяин дома его не нарушает, то никто из домашних и подумать о том

не осмелится. Мой тесть и сын его околотили руки и ноги, стуча в ворота, но ответа нет как нет, даже ни одна собака не лаяла.

Я почел за нужное прежнюю догадку свою сообщить присутствующим, и все согласились, что Неонилла заперта и не откроется прежде, пока не придет кто-либо из хозяев.

— Этого, может быть, доведется ждать долго,— сказал Еварест и дал повеление; один из телохранителей перелетел через забор и отпер ворота. Мы вошли на двор, и дикая пустота нас окружила. Осмотрев все комнаты дома, нигде и ничего не находили. Сметливый Епафрас кинулся в сарай и, возвратясь, донес, что ни брички, ни лошадей нет и следа.

Кто может описать тогдашнее наше положение! У Истукария потемнели глаза от выступивших слез и от тяжких вздохов остановилось дыхание. Диомид и Еварест с горестным безмолвием взглядывали друг на друга и, не находя слов, в замену того закручивали усы и потирали то лбы, то затылки. Что касается до меня, то, смотря на одни пустые подставки, на коих расположена была постель Неониллы, на корзину, служившую люлькою моему сыну, я не мог сохранить мужества, не оставлявшего меня в минуты, когда в жестокой битве готовился оставить жизнь и все счастие, меня к ней привязывающее.

— Неонилла! Где ты? — возопил я болезненно, повергся на сосновые доски и зарыдал неутешно. Я слышал, что Истукарий всхлипывал, Король ломал на руках пальцы, Еварест вздыхал и томным голосом произносил:

— Что бы это значило? Куда деться Неонилле и всему семейству Ермилову?

Шурин мой Епафрас на малые дела был человек превеликий. Видя, что ночь наступила, а все мы довольствуемся слезами, вздохами и восклицаниями, он расчел, что такая духовная пища самый худой ужин. Мы немало подивились, когда, по прошествии двух горестных часов, комната наша вдруг осветилась дюжиной горящих свеч и четыре телохранителя внесли большой стол, уставленный разного рода кушаньями, на конце коего возвышалась просторная корзина с напитками.

— Что это такое? — спросил Истукарий, утирая усы.

— Батюшка! — отвечал сын с улыбкой самодовольствия,—видя вас всех в таком неприятном положении, я вздумал кое-что не худое. Сестры моей здесь нет, но это не значит еще, что ее нигде нет. Она всегда была пылка,

нетерпелива, и так не диво, что, сделавшись женою и матерью, стала еще пыльчее, нетерпеливее! Узнав о появлении нашем в Батурине и не предчувствуя ничего доброго, а сверх того, быв в разлуке с мужем и не зная, когда с ним соединится, она поступила так же решительно, как в хуторе, что подле села Глупцова, и уехала в безопасное место в ожидании развязки.

— Ты рассуждаешь нарочито здраво! — воскликнул Диомид,— и стоишь, чтобы старый воин обнял тебя дружески. Точно так! испуганная Неонилла где-нибудь скрывается поблизости, а где именно, то хозяева здешнего дома должны знать непременно, а что знают они, то будем знать и мы. Епафрас! ты в этот вечер разумен беспримерно; а если молодой человек устоит твердо там, где старики пошатнулись, то надобно думать, что в нем прок будет.

Слова сии гордому Истукарию, влюбленному в своего сына, крайне показались милы; он дружески пожал руку у Диомида, подал другую Евaресту и, усадив обоих за стол, сел сам и сказал с веселою улыбкою:

— Ну, так и быть; пусть теперь погрустит, пусть поплачет наша Неонилла; тем утешительнее для нее будет, когда узнает, что отец ее ни о чем столько не думает, как устроить ее счастие не по своему уже, а по ее собственному умоначертанию. Спасибо, Епафрас, спасибо, друг мой! По мере любви твоей к сестре и я с матерью расположим к тебе любовь свою. Поступай и впредь сколько можно благоразумнее и ни на одну минуту не забывай, что ты одноутробный брат внуки великого гетмана! Вот,— продолжал он, подавая сыну полную горсть злотых,— отдай это телохранителям, и пусть себе идут, куда знают: а мы, почтенные друзья, и ты, любезный зять, кое-чем за сим столом позаймемся.

Уже с полчаса мы ликовали и всякий на свой вкус строил воздушные замки, как дверь отворилась и пред нами предстал старик Ермил. Не знаю, отчего только все пришли в некоторое замешательство. Вероятно, случилось сие от нечаянности, ибо в сию ночь мы никого уже к себе не ожидали.

— Ба! — вскричал весело Диомид,— откуда ты, Ермил, и где твои домашние?

— Милостивый наш пан! — отвечал Ермил, поклонясь в ноги,— как же я рад, что опять сподобил бог видеть тебя здоровым! Во время болезни я каждый день приходил в дом твой осведомиться; но упрямый жид Иоад на-

казал строго всем слугам, чтоб никого к тебе не допускали. Сегодня затем же прибрел я в город; завтра поутру был бы у тебя, и...

— Но ты забываешь,— вскричал Король,— отвечать на первый вопрос мой. По всему видно, что ты избрал себе новое жилище.

— Напротив,— отвечал Ермил,— я переселился на старое, где служил тебе лет за двадцать!

— Как! ты опять на моем хуторе? Что тебя к сему принудило?

— Я скажу тебе много нового, но не теперь!

— Ничего, ничего; сей почтенный пан, которого вид, вероятно, оковывает язык твой, сделался нашим другом и охотно признает Неона своим зятем. Расскажи нам все, что знаешь о Неонилле и ее сыне.

Истукарий подтвердил слова Диомидовы и обласкал Ермила, а черноморец сей, сделавшись доверчивее, начал рассказывать следующее:

— По удалении вашем в поход Неонилла только что скучала, впрочем, была здорова и по временам играла с своим сыном. Первая весть, нас поразившая, была о разбитии нашего воинства и пленении гетмана. Неонилла зарыдала, и весь свет ей опротивел. «Если уже и повелитель,— говорила она,— не избежал плена, то как может уцелеть простой сотник из числа его телохранителей?» Вскоре появление здесь воеводы киевского поселило в сердцах наших надежду, и мы беспрестанно молились богу о сохранении особ, столько для нас любезных. Прибывшие сюда с израненным Диомидом опять нас встревожили. От них узнал я, что когда отправлялся Король, то сражение еще не кончилось, но по всему вероятию победа должна оставаться на нашей стороне. Так и вышло. Гетман и воинство возвратились в столицу, но Неона не было, и бедная Неонилла впала в отчаяние. Раз двадцать в день бегал я то во дворец, то в дом Диомида, чтобы проведать что-нибудь достоверное; однако ж везде должен был довольствоваться одними догадками и, возвратясь домой, терзаться душевно, смотря на страдания отчаянной Неониллы. Она всегда была одна и даже не допускала Анны, упрекая бедную женщину излишнею ветреностию. Ей казался тогда всякий безмерно веселым, кто не рыдал и не рвался. То-то подлинное горе!

В один день Неонилла сказала: «Добрый Ермил! вот двадцать червонцев; отдай их врачу Иоаду и попроси его

ко мне». Я полетел к дому Диомидову, выждал, как жид вышел за ворота, отдал деньги и смиренно просил посетить больную женщину в моем доме. Кого не заманит к себе золото! Почтительно ввел я знаменитого еврея в сию самую комнату, усадил его под образами, и Неонилла предстала к нему с младенцем на руках. «Сын Израилев! — сказала она томным голосом,— благодарю тебя за посещение; но лекарства твои мне ненадобны. Одного слова довольно, чтобы или исцелить меня, или повергнуть в могилу. Ты пользуешь Диомида Короля, а потому надеюсь, что знаешь участь искренних друзей его, бывших на брани. Скажи мне истину, заклинаю тебя всевышним! Не знаешь ли чего-нибудь о Неоне Хлопотинском, сотнике гетманского полка?» Жид взглянул на нее ласково, улыбнулся и спросил: «А кто дал тебе право о сем любопытствовать?» — «Этот младенец!» — вскричала Неонилла, подняв вверх своего сына, и слезы полились ручьем по бледным щекам ее. «Понимаю,— сказал жид,— и чем могу готов услужить тебе, только и ты лишнего не спрашивай. Так, не только видел я сотника Хлопотинского, но сам перевязывал его раны. Божусь тебе десятисловием, что если муж твой соблюдает наставления мои, то раны его нимало не опасны. Сильный вельможа при здешнем дворе держит Неона под своим покровительством. В одном из загородных его поместьев пользуется больной, и для надежнейшего в сем успеха я отпустил с ним лучшего из учеников моих. Где же именно лечится муж твой, я не знаю, а хотя бы и знал, то не открыл бы ни за пятьдесят червонцев. Ты молода, горячо любишь своего мужа, из чего заключаю, что недавно замужем и брачное состояние вам еще не надоело,— и верно, не утерпишь, чтобы с ним не повидаться, а это-то самое и будет для него гибельно, как некогда в старину свидание Орфея с Евридикою в пропастях ада. Ты умертвишь мужа, а все припишут то неискусству или небрежению Иоада. Уверяю тебя моею честию и клянусь неприкосновенностию пейсов, что сотник Хлопотинский вне всякой опасности; не подвергай же и ты его опасному искушению — сиди дома и нянчись с дитятею».

С сими словами жид, поправя еломок, степенно вышел, и Неонилла оживилась. В несколько дней глаза ее получили часть своего блеска, щеки просияли слабым румянцем; она иногда улыбалась и начала понемногу принимать участие в семейственном удовольствии. Мы все воз-

ложили надежду на благость промысла и терпеливо ожидали выздоровления Диомида и Неона, особ столько необходимых для нашего счастия.

Недели две пред сим, или около того, я заметил, что сии паны,— продолжал Ермил, указывая на Истукария и Епафраса,— что-то очень часто похаживают около ворот моего дома и пристально посматривают на окна. «Видно, какие-нибудь знакомцы моих гостей»,— думал я и догадку сию открыл Неонилле, сделав предложение пригласить пришельцев. Но как же удивился, когда, описав сколько можно точнее приметы обоих любопытных, увидел, что Неонилла побледнела, задрожала и так ослабела, что я выхватил из рук ее дитя, боясь, чтоб она его не уронила. «Милосердый боже! — сказала она томным голосом,— это отец мой и брат! Если бы они прибыли сюда с добрым намерением, то зачем не посетить меня, а бродить скрытно по улицам? Всего вернее, что непримиримый отец, зная об отсутствии моего мужа, выжидает только случая, чтобы слабую, беспомощную женщину похитить и на всю жизнь заключить в каком-нибудь уединении».

Она погрузилась в размышление, а я стоял молча и опустя вниз голову и руки. Мне и самому казалось, что предчувствие Неониллы основательно, но не знал, как избавить ее от угрожающей опасности. Вдруг, к немалому удивлению моему, она бодро встала на ноги, глаза ее заблистали, щеки запылали, и, доселе томная, изнеможенная, теперь сказала твердым голосом: «Ермил! доверши свое к нам доброхотство и отпусти со мною на неделю или на две сына Мукона с невесткою. Мне надобно иметь безопасное убежище, и я такое знаю. Половину моих денег оставлю на твое сбережение, равно как все дорогие вещи и платья. В эту же ночь и отправлюсь отсюда!»

Хотя такое предприятие показалось мне весьма скоро заключенным, мало обдуманным, но, не находя основательных причин противоречить оному, я согласился. В тот же день на данные деньги купил четырех добрых коней,— ибо те, на коих сюда приехали, при самом водворении в сем доме были проданы,— снарядил сына и невестку по-дорожнему и по закате солнца начали укладываться.

Во все продолжение дня Неонилла старалась казаться твердою, веселою; и хотя иногда слезы навертывались на глазах ее, но как скоро примечала, что кто-нибудь из нас то видел, вдруг улыбка появлялась на губах ее, она при-

жимала к груди сына, и спокойствие просиявало на лице ее.

Настала полночь; Неонила взяла дитя на руки, усердно помолилась богу, обняла Глафиру и ее внуков и, обратясь ко мне, сказала: «Благодарю тебя, добрый Ермил, за гостеприимство! С возвращением Мукона и Анны ты узнаешь, где я. Как скоро прибудет сюда Неон, скажи ему, что я должна была искать себе безопасного убежища, надеюсь найти таковое и пробуду там до тех пор, пока он не приищет другого, безопаснейшего». После сего она села с Анною в бричку, Мукон взмостился на козлы, и лошади двинулись. Я решился провожать любезную гостью до самого рассвета, почему с вечера еще приговорил себе в сопутники соседей — кузнеца Аммоса и бочара Луку, и в сем порядке все со двора съехали. Когда я, при занятии зари, поворотил коня назад, то Неонилла, Анна и младенец спали глубоким сном. Мукон взмахнул кнутом, и доселе довольно тихо ехавшая бричка быстро покатилась по дороге к Пирятину.

— Вот все,— продолжал Ермил,— что я знаю; а как возвратится Мукон, то проведаешь что-нибудь и побольше. Вскоре, по возвращении гетмана с воинством из похода в Батурин, всем известно стало, что имение твое, Диомид, поступило опять в твое владение; почему я с женою и рассудили переселиться в прежний наш хутор и до совершенного выздоровления доброго пана всеми мерами стараться поправить то, что в продолжение более двадцати лет порчено было. Теперь, благодарение богу, ты, Диомид, здоров, я тебя вижу и буду ожидать повеления оставаться ли на хуторе или опять переместиться в город.

Ермил замолчал. Мы все посматривали один на другого и, не находя слов, потупляли глаза в землю.

Глава XII

Великодушный разбойник

Такое неприятное положение дел разлило прискорбие и уныние в сердцах наших. Казалось, что Ермил рассказом своим умножил беспокойство каждого. Я трепетал об опасностях, какие могут встретиться с Неониллой в дороге. Мукон, конечно, малый честный и добрый, но он хороший огородник и худая защита для женщины, подпадающей опасности. Истукарий вздыхал и морщился, и изо

всего нашего общества один Епафрас был так великодушен, что без всякой остановки ел и пил преисправно, как будто бы речь шла не о сестре его, а о какой-нибудь китайской принцессе. Король первый прервал молчание вопросом:

— Что же вы, паны, задумались? Разве забыли прекрасное замечание Епафраса, что если Неониллы здесь нет, то это не значит, что ее уже нигде нет! Припомните, что она по своему усмотрению избрала себе убежище и, вероятно, проживает там в совершенном довольстве и спокойствии. Мукон возвратится, мы узнаем всю тайну, и я с Неоном поскачем стремглав утешить унылую красавицу и приготовить ее к свиданию с родителями, возвращающими ей любовь свою, и с прочими людьми, кои не могут уже отказывать ей в должном почтении. Выпьем-ка за здоровье милой беглянки с ее сыном по полному кубку доброй наливки и перестанем задумываться, когда все обстоятельства дают нам повод к веселию.

Предложение сие всем обществом одобрено; мы придвинули к себе сулеи и начали веселиться прямо по-свадебному. Быв сильно заняты своим предметом, мы и не приметили, как солнце осветило чертог пиршества. Тогда, встав из-за стола и принеся господу богу благодарение за ниспослание великих щедрот своих, постановили: Неону поселиться в доме Диомида и, несмотря, что гетман захворал и не допускает к себе никого, кроме Евареста, Иоада и Куфия, на следующий день начать отправление службы и являться во дворце с возможным равнодушием, как будто бы ничего не бывало. Истукарию с Епафрасом жить на своем подворье, посещать кого хотят, но во дворец не являться ни ногою, пока не последует на то особого повеления. Диомиду дожидаться выздоровления гетмана или по крайней мере облегчения, и тогда начать действовать со всею возможною ревностию для приведения всего к желанному концу. Ермилу, согласно с его охотою, расположиться навсегда в хуторе с своею старухою; а как скоро возвратится Мукон из путешествия, то занять ему с семьей своею городской дом и хозяйничать в нем по примеру отца. Наконец, чтобы и Епафрас молодых лет не проводил в праздности, то каждое утро являться ему на гетманский луг и там, под начальством старшины Неона, приготовлять себя заблаговременно ко всем воинским ухваткам. По заключении сих условий мы обняли друг друга и разошлись по своим жилищам.

Я проснулся незадолго до полудня и, узнав, что Король в саду, пошел и сам туда, дабы освежиться воздухом и разгулять все последствия пиршественной ночи. Соединясь с своим дядею и другом, я поздравлял его с благополучным выздоровлением от столь опасной раны и желал ему возможного счастия за его ко мне благодеяния.

— Конечно,— отвечал он,— я кое-что доброе для тебя сделал и постараюсь сделать еще более; но советую тебе — не будучи неблагодарным — не слишком выхвалять меня: ибо с того времени, как впервые увидел тебя в доме Мемнона, я действовал уже в пользу твою несколько пристрастно. После вчерашнего объяснения моего с гетманом тайна моя сделалась открытою. Так, отец твой, мой любезнейший друг, есть вместе двоюродный брат мой; и отцу его, почтенному полковнику Калестину, обязан я воспитанием, удачным прохождением службы и всем добрым, если только есть во мне что-нибудь доброе!

— Сколько меня радует,— вскричал я вне себя от радости,— что нахожу в тебе дорогого дядю, но откровенно скажу: для меня отраднее, что прежде открытия родства нашего я имел счастие найти в тебе благодетеля, друга!

— Да,— отвечал Король, обняв меня с нежностию,— я твой дядя, друг, товарищ и на тебе хочу оказать благодарность мою к твоему деду! Твоя правда, я полюбил тебя гораздо прежде, нежели знал, что ты — мой племянник; но когда сие родство сделалось мне известно, то любовь моя усугубилась, и я дал клятву наблюдать за тобой, как за родным сыном. Признаюсь, что связь твоя с Неониллою мне крайне сначала не нравилась, а особливо женитьба; но, рассудя обстоятельство, я утешился, признав, что, видно, судьбе того хотелось, по времени же любезность и множество добрых свойств жены твоей меня совершенно примирили с нею, и я смотрел уже на нее отеческими глазами.

— Неужели и теперь,— сказал я с видом умоляющего,— не удостоюсь я получить достаточное сведение о моих родителях и о тех препонах, кои доселе лишали меня счастия обнять их колена и слышать название сына?

— Ты скоро обо всем будешь уведомлен,— отвечал дядя Король,— но дай мне еще несколько оправиться и мысли свои привести в порядок. Притом согласись, что хотя отец твой двоюродный мой брат и друг, но все не должен я тайны его, может быть, погрешности и даже пороки вверять другому, хотя бы и сыну. Завтра я пошлю к

нему письмо, в коем объясню все настоящее положение наших дел и испрошу согласие на открытие тебе происшествий, кои были для него временно то счастливы, то бедственны. Ты можешь писать к благодетелю твоему Мемнону, ибо мой посланный будет проезжать мимо его хутора.

На другой день я вступил в исправление своей должности. Епафраса, не преминувшего явиться на гетманском лугу, поручил я старому опытному есаулу, который должен был приняться порядком, чтоб сделать из него что-нибудь похожее на человека и на воина. Во дворце виделся я с Куфием и к нелицемерному прискорбию узнал, что хотя гетман и не болен, но и не здоров; что часто вслух произносит имена Калестина, Леонида и Евгении, делается угрюм и по временам восклицает: «Возможно ли? Боже мой!» Когда ему объявлено, что я начал исправлять новую должность с примерным рачением, то он отвечал: «Это хорошо, пусть продолжает, но я не прежде его увижу, пока совершенно не оправлюсь». Такую предосторожность Иоад назвал премудрою. Мне ничего не оставалось, как ждать и на досуге льстить воображению, представляя себе ласки родителей и нежные объятия Неониллы.

На третий или четвертый день после примирения моего с Истукарием, как скоро встали мы с дядею из-за обеденного стола, вошедший слуга объявил, что какой-то незнакомый казак, называющий себя Муконом, желает с нами видеться.

— Мукон! — вскричали мы в один голос,— где он? сейчас введи его!

Мукон был представлен, и недовольный вид его разлил трепет в моей внутренности. Я окаменел и не осмелился сделать ему никакого вопроса. Дядя, который также казался несколько смущенным, но, не имея причины столько тревожиться, как его племянник, велел Мукону подробно уведомить, где и в каком положении оставил он Неониллу.

— Увы! — отвечал сын Ермилов,— я оставил не одну Неониллу, а вместе с нею и мою Анну, а к большей печали — в руках весьма ненадежных. Выслушайте:

Я так исправно ехал, что через три дня миновал Пирятин и, по приказанию Неониллы, пустился по дороге к Переяславлю. Верстах в тридцати от сего города, к несчастию, ночь настигла нас в поле. Что бы нам тут же и заночевать, свернув немного в сторону с большой дороги, как я и советовал; но Неонилла и Анна решительно велели

ехать в селение, находя для себя опасным, а для дитяти вредным проводить ночь под открытым небом на безлюдье. Я пустился далее; ехал, ехал и наконец сам догадался по обширному лугу, где и следа человеческого видно не было, что сбился с дороги. Я задумался, вожжи были опущены, и лошади шли шагом. Не прежде я опомнился, как ужасный голос загремел в ушах моих: «Стой! Что за люди?» Я поднял голову и увидел, что человек с полсотни или и более стояли впереди и держали уже лошадей. Тотчас догадался я, какого звания должны быть сии ночные стражи. Чуб у меня стал дыбом и на сердце легла ледяная гора. «Что у тебя в бричке?» — спросил один из витязей. «Знатная госпожа,— отвечал я голосом, похожим на шипение змеи,— с дитятей и служанкой!» — «Весьма хорошо!» — вскричали все и подняли хохот такой неумеренный, что путешественницы проснулись и Анна высунула голову. «Знатные госпожи не ездят в дорогу без доброго запаса»,— заметил один, вскочил на козлы, дал мне подзатыльщину, от которой я слетел на землю, а сам начал править лошадьми. Первая Анна подняла вопль, и такой, что у меня в ушах зазвенело. Потом я слышал голос Неониллы, ее ободряющей. Я сам непременно зарыдал бы, если б не боялся быть награжден за сие насмешками и оплеухами от своих сопутников. Вскоре показалась Неонилла и кротким голосом спрашивает: «Куда едете?» — «Видишь ты, знатная госпожа,— отвечал один из шайки, по-видимому, начальник сего отряда,— так следует тебя представить также немаловажному господину. У нас такой устав, что всякая находка, хотя бы копеечная, должна прежде представлена быть пану Сарвилу, и он уже или дарит ею кого из нас, или к себе прибирает, как изволит!»

«Сарвилу? — спросила Неонилла довольно равнодушно,— так Сарвилом называется ваш начальник?» — «Ага! видно, и ты о нем наслышалась!» — сказал один из витязей и начал издеваться. Шутки, самые глупые, сыпались у них как из мешков; впрочем, ни один и не подходил близко к бричке, не пялил глаза на сидевших в ней женщин и ни одним словом не приводил их в краску. Словом, разбойники,— они показались мне довольно благочестивы. Взошло солнце, мы въехали в лес, которому и конца не видно было; шатались со стороны на сторону, то вперед, то назад, и не прежде как спустя около двух часов нахождения в лесу очутились на обширной полянке пред большим шатром. Мы остановились; двое из провожатых

тотчас бросились под шатер, а прочие стали в два ряда по сторонам брички. Всего мудренее для меня показалось, что Неонилла не обнаруживала ни малейшего беспокойства, между тем как моя Анна утопала в слезах и задыхалась от вздохов.

Не прежде как через полчаса появился из-под шатра преужасный мужичинище в сопровождении одного молодого человека. Они подошли к бричке, и первый, поклонясь учтиво Неонилле, сказал: «Советую быть покойною и ничего не опасаться. Я прошу посетить мое жилище и разделить мой завтрак». Тут подал он руку Неонилле и пособил ей сойти на землю с сыном, товарищ его сделал такую же честь жене моей, и мы все пятеро вошли в палатку. На лице атамана начал я примечать некоторое беспокойство; он часто взглядывал на Неониллу, потирал себя по лбу, собирался что-то сказать — и молчал. Наконец Неонилла с легкою улыбкою сказала: «Кажется, пан Сарвил начинает узнавать меня!» — «Клянусь моею жизнию,— вскричал он,— что я тебя когда-то видел, но не могу припомнить, где и когда!» — «Ты не забыл еще,— продолжала Неонилла с приятностию,— друга молодости твоей бурсака Неона и приятеля его Диомида Короля, которые без малого за год перед сим...» — «У меня здесь гостили,— заревел Сарвил, ухватился обеими руками за усы и, выпяля глаза, продолжал весело:— Так, теперь узнаю тебя! ты — жена Неонова, а это, верно, дитя твое!» Тут с величайшей учтивостию усадил он гостью на лавку и сказал: «Благодарите все бога, что попались в руки людей моих, и оттого останетесь целы и все ваше с вами. Я проведал, что из Переяславля и Пирятина высланы для поимки нас сильные военные отряды; если бы вы с сими честными господами повстречались, то продолжать бы вам путь свой пешком и — без копейки».

Неонилла коротенько рассказала ему о своих обстоятельствах и просила, чтобы он не отказал ей в провожатых из лесу, которые бы поставили нас на дорогу к Голтве. «На что тебе лучшие проводники, как я сам и этот есаул Арий? Так! мы сейчас отправляемся в наш женский стан, где и отобедаем. Там я вверю тебе некоторую тайну и буду просить помощи, надеясь, что ты в ней не откажешь».

Когда по приказанию атамана Арий ввел в шатер всех сотников и есаулов, бывших налицо в стане, то он сказал: «Эта особа есть жена моего старинного друга. Вам извест-

но наше положение. Надобно приискать надежное место, которое в случае неудачи могло бы служить для нас крепостию. Для сего отправляюсь я с Арием, а между тем выпровожу сию госпожу из нашего леса. Может быть, я промедлю в своих исканиях сутки или двои, то на сей конец тебя, Урпассиан, назначаю начальником до моего возврата. Объявите о сем всенародно, пока я в стане».

Все, кроме Ария, удалились. Тогда Сарвил продолжал, обратясь ко мне: «Ты, молодец, получишь от меня лошадь, проводника к Пирятину и нужное количество денег на дорогу. По прибытии в Батурин расскажи Неону и Королю, что видел и слышал, и уверь их моим именем, что Неонилла так же у меня безопасна, как бы с ними вместе. Ей нельзя пробыть без служанки, и потому твоя жена на время при ней останется».

После сего он уединился с Арием в особое отделение, где и пробыл около часа, а между тем стол уставлен был кушаньем и напитками. Наконец атаман явился с есаулом, оба вооруженные с ног до головы, и все сели за стол. Сарвил уговаривал Неониллу подкрепить себя пищею, но она решительно отказалась; зато я, промучавшись всю ночь на козлах, чувствовал сильный голод и жажду и, видя такого доброго хозяина, не дожидался приглашения и, поклонясь атаману, принялся за еду; Анна мне последовала.

По окончании сего завтрака Сарвил встал, высыпал на стол изрядную кучу денег золотых вместе с серебряными и сказал: «Вот тебе на дорогу!» После сего все мы вышли на полянку.

Неонилла с Анной сели в бричку, Арий взмостился на козлы. Сарвил взлетел на прекрасную верховую лошадь и сказал мне: «Скажи Неону, что я скоро буду писать к нему, и еще уверь, что его жена на меня не пожалуется». Неонилла раз десять подзывала меня к бричке, наказывая объявить тебе, Неон, чтоб ты не печалился и что она приложит все старания как можно скорее с тобою соединиться. После сего Сарвил поехал на восток, бричка за ним покатилась. Мне также подвели не худого иноходца; я уселся и поехал на запад в сопровождении двух витязей. Из лесу выехал я скорее, чем въезжал в него, и пустился по указанной дороге. До самой столицы не случилось со мною ничего примечательного. Все золотые деньги и большая половина серебряных у меня в кармане, и вообще я очень был бы доволен своею поездкой, если бы не печалила меня разлука с моей Анною.

Часть четвертая



Глава I

Раскаяние

Повествование Мукона растерзало сердце мое. И подумать даже ужасно: жена осталась в руках разбойничьего атамана! Сколько бы он великодушен ни был, но все разбойник и на пространстве десяти верст окружен такими же собратами. Однако ж он сказал, что будет иметь в Неонилле надобность, и все поведение сего человека во время бытности там Мукона довольно доказывает, что он не есть обыкновенный злодей, а более несчастливец, силящийся выпутаться из сетей, в кои повержен злыми обстоятельствами. Если бы я знал, что он остался на месте, то кто удержал бы меня искать его? При расставанье с Муконом он объявил, что на несколько даже дней оставляет притон свой, и в такое время когда все ожидают нападения со стороны раздраженного правительства,— это много значит. Дядя утешил меня несколько замечанием, что Сарвил не имел никакой надобности так чинно поступать с Неониллою, если бы не расположен был вести себя по христианской совести. Мукону приказано немедленно отправиться в хутор к отцу и не являться в город, пока не будет призван. Разумеется, что происшествие с Неониллою надобно было скрыть от Истукария. В продолжение болезни гетмана Куфий посещал нас нередко, и от него узнали мы, что повелитель все еще не решился признавать меня за внука, хотя утверждает, что не даст прощения ни зятю, ни дочери.

— Не унывай, молодец! — продолжал весело старик,— если человек не совсем глупый остановится на распутье, чтобы размыслить, идти ли вправо или влево, то наверное выберет лучшую дорогу. Что же касается до дальнейшей участи твоих родителей, то не знаю, что и придумать. У меня в часы скорби, от которой не уйдет и грече-

ский философ, одно утешенье: бог строит все к лучшему! Будем же молиться и надеяться!

Истукарий каждый день навещал нас и осведомлялся о Муконе, но всегда получал отрицательный ответ, морщился и должен был утешаться, гладя по голове Епафраса. Так прошло около двух недель после возвращения Муконова, и в первую пятницу благодатного серпеня[1] получено повеление: полковнику Хорольского полка Диомиду и войсковому старшине полка гетманского Неону в следующий воскресный день, по окончании литургии, явиться во дворце гетмана. Известие сие кинуло меня в жар; но Король, со всем хладнокровием посидев несколько минут молча, сказал:

— Это воскресенье или должно кончить все беспорядки, или ход дела запутать столько, что оно не иначе может быть распутано, как смертию. Тогда и я умою руки свои. Приближилось время, в которое ты, Неон, должен быть решительнее, чем на сражении с неприятелями. Ты, конечно, существуешь теперь сам по себе, но никогда не должен забывать о тех, коим обязан жизнию. Они не имеют нужды ни в чем, кроме родительского благословения, а сей недостаток для людей чувствительных, даже и не христиан, велик чрезвычайно, и уничтожить оный можешь только ты или никто! Справедливость требует, чтоб ты знал обстоятельство тех особ, о счастии коих обязан стараться, как о своем собственном или и более. Завтра поутру уединимся мы в одну из беседок моего сада, и там-то узнаешь ты судьбу благородных твоих родителей.

Под вечер того же дня, когда я и дядя Король сидели вместе и рассуждали каждый по-своему о предстоящем свидании с гетманом и о последствиях оного, вошедший слуга объявил, что какой-то незнакомый черноморец стоит у ворот и хочет с нами повидаться.

— Пусть въедет на двор и войдет сюда,— сказал дядя Король,— здесь лишнего никого нет.

— Но он этого не хочет,— отвечал слуга,— а просит, чтобы вы оба потрудились выйти к нему за ворота.

— Это походит на диковину,— отвечал дядя,— но почему и не так? Пойдем, Неон, открывать таинства. Чем мы плоше старинных богатырей, храбро сражавшихся с ведьмами и оборотнями без всякой цели, из одного только любопытства.

[1] Старинное название месяца августа.

И действительно мы нашли средних лет всадника в черноморском платье, видного собою. Он подъехал к нам, соскочил с коня и, почтительно поклонясь, сказал:

— Меня уверили базарные люди, что в сем доме найду я панов Диомида Короля и Неона Хлопотинского.

— Ты видишь их перед собою!

— Итак, прошу меня выслушать: в пяти или шести верстах отсюда по полтавской дороге несколько в стороне стоит корчма, в которой теперь остановился один проезжий пан с своим приятелем. Он вам обоим давно и весьма знаком: теперь хочет проститься и угостить вас ужином, а сверх того, вверить вам весьма важную тайну и дать достоверное известие о Неонилле.

Может быть, мы поначалу сей речи и поупрямились бы склониться на такое необыкновенное приглашение; но мысль узнать о местопребывании моей любезной жены, которую и сам дядя Король, узнав ее совершенства, полюбил как достойную родственницу, сейчас склонила нас быть витязями ночного свидания. Однако благоразумие моего друга, почти никогда его не оставлявшее, сейчас родило в нем мысли, как можно провести вечер и часть ночи истинно по-философски, то есть: воспользоваться случаем насладиться удовольствием в малом кругу друзей, не оставляя за спиной своей ненавистного мешка с раскаянием, одним из главнейших бичей, созданных для рода человеческого.

— Друг мой! — сказал он черноморцу,— мы согласны на желание твоего пана, но только с непременным условием, что при нас не будет ни шелеха денег, а возьмем с собой двоих слуг, вооруженных подобно нам, как бы на сражение с Еруcланом Лазаревичем.

— Уверяю,— сказал посланный,— не моею честию, ибо незадолго пред сим я считал ее за пустое имя какого-нибудь баснословного божества,— но уверяю честию моего начальника, с коим путешествую и который пред вами обоими доказал, что честь родилась с ним, а потеря ее произошла от стечения обстоятельств, столько же сильных, как и самая судьба, и оттого, что обстоятельства сии произошли не в свое время, не на своем месте,— уверяю, что не только не нужно вам брать с собою деньги, но что вы от нас поедете с хорошими деньгами, назначенными для некоторых несчастных; относительно же слуг, я полагаю, что открывать многим тайну злополучного,

которая вам одним вверяется, едва ли назваться может делом истинной честности!

— Ба! — вскричал Диомид,— ты ораторствуешь как философ переяславской бурсы!

— Не меньше того! — отвечал незнакомец.— Впрочем, не диво,— продолжал он,— что почтенный полковник Король смотрит на меня, как совершенно на незнакомого ему человека. Я не очень часто посещал огород его в Переяславле, а сей промысел возложен был на моих сенаторов, ликторов и целеров! Но для меня кажется задачею, труднейшею трактатов о возможном и невозможном, что и любезный собрат Неон Хлопотинский не узнает старинного начальника своего, консула Далмата, который не один раз щипал его за виски и мял пучок.

— Праведное небо!— вскричали мы с дядею в один голос,— ты Далмат? Какие ветры занесли тебя в Батурин?

— Те самые,— отвечал он,— которые круговращают одушевленные пылинки, людьми называемые. Однако, почтенные друзья! начинает темнеть, и общий приятель нетерпеливо нас ожидает!

Мы приказали подвести коней, вскочили на них и пустились за своим провожатым. Дорогою добивались мы проведать, кто именно нас ожидает, но тщетно; Далмат довольствовался ответом, что скоро сами увидим и будем рады такой встрече. Ночь наступила, но мы не видали еще корчмы, где обещали угостить нас дружески. Наконец, въехав на небольшой луг, увидели костер пылавших дров, возле коего сидели два черноморца, а невдалеке паслись стреноженные их кони.

— Милости просим! — вскричал Далмат, соскочив с коня,— мы на месте!

— Как? — спросил дядя Король,— где же твоя корчма?

— Все равно,—отвечал тот,— было бы только что поесть и попить, а до места нужды мало!

Когда мы спешились, то Далмат взял наших коней, чтобы, стреножа, пустить на траву. Два сидевшие у костра незнакомца вскочили, устремились к нам с распростертыми объятиями; мы также к ним поспешили, приблизились и — окаменели от изумления, узнав атамана Сарвила и его есаула Ария. Они обняли нас с нежностию, и первый сказал:

— Благодарю, друзья, что не обманули в моем ожи-

дании. Но прежде надобно удовлетворить телесным нуждам, а там уже помышлять о душевных. Усядемся вокруг сего костра и насладимся дарами божиими.

После сего огонь разведен был поярче; дорожные кисы принесены, и атаман, подавая дяде Королю баклагу, сказал: «Прошу откушать!» Тут началось пиршество, и мы с дядею должны были признаться, что напитки и кушанья нашли не хуже тех, какими угощены были в лесу, недалеко от села Глупцова.

По окончании сей полевой трапезы Далмат и Арий начали увязывать кисы, а Сарвил довольно времени сидел задумавшись. Он одною рукою потирал лоб, а другою закручивал усы. После сего предисловия, от которого мы и подлинно ожидали чего-нибудь значительного, Сарвил взял у Короля и у меня руки и трогательным голосом сказал:

— Вам обоим вверяю судьбу свою или, лучше, судьбу любимой жены и двух малюток, сына и дочери. Ты правду сказал, Диомид, будучи в моем стане, что жизнь моя весела, но не очень покойна. Такую толпу народа, какая была мне подвластна, удерживать в пределах подчиненности и не допускать до смертоубийств требовало беспрерывной заботы, а между тем в случае поимки я подвергался такому же истязанию, как если бы перерезал целые селения. Мысли сии день ото дня более и более тяготили мою душу; я начал думать о побеге, но не знал, как произвести сие в действо. Если бы я был один, то, конечно, мог бы легко сего достигнуть; но куда денется бедная жена моя, которую сделал я участницею горестной судьбы своей. Она должна остаться на произвол раздраженной сволочи и плачевно лишиться жизни или искупить ее своим позором. Одна мысль сия терзала мою душу, и я открыл сердце свое двум испытанным друзьям — Арию и Далмату, месяцев за пять перед сим случайно подпавшего моей власти, но которого я — по прежней связи в переяславской бурсе — особенно любил и отличал от прочих. К великой радости моей, я услышал от них признание, что давно уже в том рассуждали, но не смели открыться, опасаясь плачевных следствий. Тут заключили мы, что, вероятно, целая половина шайки одинаких с нами мыслей, и вся связь скрепляется одними узами страха; а в каком обществе — хотя бы оно было целое королевство — соединяются члены страхом, то оно крайне ненадежно и близко к разрушению.

Новое происшествие еще более утвердило нас в намерении оставить жизнь столько опасную и презренную. Знакомец ваш Урпассиан, самый смышленый, самый осторожный из всего братства, истинный отпечаток многоопытного Улисса в греческом стане под Троею, захвачен с четырью товарищами, и все лишились буйных голов в Пирятине. Весть сия привела нас в ужас, и тем более что с разных сторон приходили слухи о приготовлении противу нас целого ополчения. В самое то время привели в стан мой бричку Неониллы. Я тотчас узнал ее и велел со служанкою ввести в мою ставку. Утешительная мысль просияла в душе моей, и сладкая надежда оживила мое сердце. Выслушав от нее признание, что бежит от жестокого отца и намерена скрыться в хуторе одного из благодетелей своего мужа, я сказал: «Неонилла, я окажу тебе сию услугу и провожу с двумя храбрыми товарищами до избранного тобою убежища, только не откажи и ты в моей просьбе. Ты знаешь, что в сем лесу есть у меня жена и дети. Мне самому теперешняя жизнь опротивела; я хочу спастись, но также спасти и мое семейство. Согласись взять сих несчастных в свою бричку, привезти в твое убежище и держать при себе в услужении, пока не получишь от меня известия. В деньгах недостатка не будет». Неонилла дала требуемое согласие. Предприятие имело желанный успех; мы привезли всех на хутор пана Мемнона.

— Как! — вскричали мы с дядею Королем,— Неонилла в хуторе Мемнона? Под кровом сего великодушного мужа? О, провидение!

— Так! — отвечал Сарвил,— но я с товарищами, не зная того пана, поопаслись его видеть. Подвезши бричку к самому крыльцу, быстро выбрались мы из оврага, причем я дал Неонилле слово отыскать тебя, Неон, и вручить от нее письмо, которое теперь и вручаю, а с тем вместе и сей мешок с золотом, в коем заключен другой с дорогими вещами. Мы отправляемся в Запорожье, как самое безопасное и приличное для нас убежище. Если, добрые люди, чрез пять лет не будет от меня никакого известия, то дайте Серафине позволение выйти замуж; при сем случае вручите ей драгоценности, а деньги оставьте для детей. Неон! Диомид! не откажитесь быть их ангелами-хранителями и не воспитывайте сына моего в бурсе, дабы и он не имел некогда несчастия искать убежища в Запорожье.

Тут Сарвил замолчал и утер усы, по коим текли слезы. Однако ж скоро, усмехнувшись, взял нас опять за руки и сказал:

— Перестанем печалиться и плакать! может быть, и для меня есть еще в мире хотя искра радости!

Глава II

Есть надежда

Разумеется, что за такое благодеяние, оказанное Сарвилом жене моей с сыном в столь опасном побеге, я торжественно обязался считать Серафину сестрой, а детей ее своими собственными.

— Добрый путь, любезный друг! — говорил я, обняв его,— будь в Черномории столько же храбр против заклятых врагов наших, крымских татар и турков, сколько был таковым противу единоземцев, и я надеюсь, что бог тебя помилует за прежние непорядки. Уведомляй нас сколько можно чаще о своих подвигах и о месте жительства. Это дело не трудное: ибо как из Батурина в Запорожскую Сечь, так и обратно беспрестанные бывают выходцы.

Дядя Король примолвил:

— Хотя по всему видно, что ты, Сарвил, с товарищами отправляешься в предположенный путь не без денежного запаса, но как и с человеком, на одном месте пребывающим, случаются великие коловратности, то с тобою в таком зыбком болоте, как Запорожская Сечь, и подавно могут произойти непредвиденные противности. В сем случае не только дозволяю, но и прошу с верным человеком давать мне знать о своих нуждах. Клянусь никогда тебя не оставить!

Тут дядя Король почел за нужное дать кое-какие наставления Сарвилу, а особливо касательно Запорожья. Неприметным образом занялась заря; мы все встали, перекрестились, и Далмат с Арием начали ловить коней, дабы оседлать их в дорогу. Сарвил казал вид пасмурный и тихими шагами похаживал вдоль подле погасшего костра. В утешение его дядя сказал:

— Знаю, что с отечественною стороною тяжело расставаться, хотя бы мы претерпели в ней и много горя. Это испытал я на себе, когда получил некогда повеление оставить пределы батуринские. Но что делать! везде сияет солнце и светит месяц, везде бывает ведро и ненастье.

Благоразумие требует, чтоб мы разбивали шатер свой под такою полосою неба, где надеемся укрыться от порыва бури и ударов грома. Но совсем избежать непогоды можно только в областях царствующего над звездами!

Кони изготовлены; мы все обнялись еще раз, сели на своих возниц и поскакали — я с дядею Королем к Батурину, а Сарвил со своею дружиною по дороге к Полтаве. Во время пути мы говорили мало, ибо ночь, проведенная в бессоннице, отяжелила наши головы, а сверх того, и участь Сарвилова с его семейством трогала нас несказанно. Неонилла с своим малюткою также занимала мои мысли.

— Как ты думаешь,— спросил я у дяди,— уведомлять ли Истукария о местопребывании его дочери?

— Не думаю,— отвечал он,— подождем следствий свидания нашего с гетманом, и тогда все само собою разрешится.

Когда мы въехали на двор своего дома, то полный круг солнца блистал уже на небосклоне.

— Теперь надобно несколько часов успокоиться,— сказал дядя Король,— а после приходи в дальнюю садовую беседку, где я исполню свое обещание и уведомлю обо всем, что тебе знать нужно.

Хотя и я отягчен был усталостию, однако не прежде прилег на постелю, как прочитав письмо Неониллы. Оно было следующего содержания:

«Я очень уверена, любезнейший друг, как много обеспокоила тебя весть о побеге моем из Батурина. Причины, для коих сие сделано, ты, верно, знаешь уже от честного старика Ермила. Могла ли я, не будучи, впрочем, из числа робких женщин, не устрашиться при мысли, что раздраженный отец прибыл на место моего убежища, отец, грозивший мне заточением, а тебе погибелью? Я сейчас вспомнила о добродетельном Мемноне и, слыша весьма часто от тебя и от Короля о его добродушии и кротости, решилась искать у него убежища. «Если он благодетель Неона, думала я, то, верно, не оставит в крайности и жену его».

Из рассказа Муконова известно тебе, как попалась я в руки старого знакомца Сарвила, а из слов сего последнего узнаешь, как прибыли в дом Мемнона. Поступок разбойников, которые, остановя бричку мою у крыльца, в одно мгновенье распрягли лошадей и, предоставя им

стоять смирно или бегать по двору, сами во всю конскую прыть бросились прочь, не оглядываясь, встревожил целый дом. Вдруг показался на крыльце в сопровождении нескольких слуг хозяин, что сейчас и безошибочно можно было заключить не столько по нарядному платью, сколько по величественному виду и осанке, и, подойдя к бричке, спросил: «Кто здесь?» — «Дозволь прежде сойти мне на землю, и тогда все узнаешь,— отвечала я и с помощию Анны и двух слуг вышла из брички, держа на руках Мелитона. Тогда, приближась к нему, продолжала: — Почтенный муж! мне известно, какие оказал ты благодеяния и продолжаешь оказывать некоему Неону Хлопотинскому. Благоволи теперь дать пристанище беглой жене его с сыном».

Он крайне изумился, протянул было руки, но, вдруг остановясь, спросил с некоторою дикостью: «Ты беглая жена Неонова? Что же принудило тебя оставить своего мужа?» — «Нет, великодушный благодетель! — отвечала я,— как можно мне бежать от отца сего дитяти? Муж мой ушел в поход, и я до сих пор неизвестна о его участи; а между тем раздраженный отец, которого никакою покорностию не могли мы умилостивить, ищет достать меня во власть свою и предать заточению. От него-то бегу я и ищу спасения!» — «О! когда так,— сказал с благосклонностью Мемнон,— то позволь обнять тебя и этого малютку». Тут он обнял меня с нежностию отца, поцеловал Мелитона и спросил: «Кто это еще с тобою и кто такие странные твои провожатые?» Чтобы несчастную Серафину не привести еще в большую робость, я отошла с Мемноном несколько к стороне и коротко уведомила его о великодушном разбойнике Сарвиле и о несчастном его семействе, которому обещала я быть благодетельницею, и что другая женщина есть моя служанка. Я просила у него также позволения написать к тебе письмо, которое Сарвил обещал доставить непременно.

Мемнон, приказав сопутницам моим сойти на землю, повел меня во внутренние покои и представил жене своей и дочери. Как скоро услышали они мое имя, то бросились обнимать с горячностию. Почтенная хозяйка выхватила из рук моих Мелитона и осыпала его поцелуями. «Мелитина! — сказала она,— отведи Неониллу в ту комнату, которая смежна с твоею и которая будет ее спальнею».

Я не могла довольно налюбоваться красотою и любез-

ностию Мелитины. В пять минут нашего обращения мы были уже как родные сестры, росшие вместе с младенчества. Она распоряжала слугами и служанками, приносившими в мою комнату пожитки из брички, и скоро все было в довольном порядке. Жалкую Серафину поместили на время в той комнате, где некогда оттирали тебя снегом и отрезали драгоценный пучок. Анне назначено жить в общей девичьей. Пока приличным образом убирали мою спальню, о чем особенно хлопотала сама хозяйка с дочерью, почтенный Мемнон дозволил мне в своей комнате и на своем столе написать к тебе сие письмо, которое, как скоро готово будет, один из слуг вынесет из хутора и вручит Сарвилу, о чем мы предварительно условились. Сей чудный разбойник дал мне клятвенное обещание отыскать тебя хотя бы с опасностию жизни; ибо, по словам его, он намерен сделать тебе какое-то весьма важное поручение. Ах! как жалка мне Серафина! Приметно, что она была прекрасна; но какого лица не обезобразит такая жизнь, какую вела она противу воли! Она стыдится взглянуть прямо в глаза даже Анне и покрывается краскою, как скоро кто ей скажет: «Серафина!» или одно из детей ее произнесет: «Маменька!» Какое должна она чувствовать страдание, и — невинно! Все меры приложу, чтобы моею искренностию и простотою приблизить ее к себе и сделать ручнее. Ее малютки: сын Лолий пяти и дочь Лидия трех лет, прелестны. Они и понятия не имеют о звании отца своего и довольно свободны. Прости, милый друг мой! Теперь ты знаешь место моего убежища и, верно, найдешь скоро случай меня о себе уведомить. Ах! скоро ли мы опять соединимся?

Твоя навсегда *Неонилла*».

Прочитав письмо сие, я прижал его к сердцу, поцеловал милое имя жены моей и лег отдохнуть, благодаря бога, что он привел мое семейство в безопасное убежище. Во сне мечталась мне Неонилла, Мелитон и Мемнон со всем домом.

Когда проснулся, то слуги объявили, что старый Ермил прибрел из хутора и желает со мною видеться.

— Может быть, с дядею Диомидом? — сказал я.

— Никак,— отвечал один из слуг,— с паном Диомидом он уже виделся и, узнав, что у тебя есть какое-то письмо, где говорится о его невестке Анне, хочет тебя видеть.

— Понимаю,— сказал я,— введи его.

Ермил явился. На глазах его написано было любопытство, растворенное надеждою.

— Пан Неон! — говорил старик,— мой малый Мукон сходит с ума по своей жене Анне. Хотя он и не войсковой старшина, но не меньше любит жену, как и ты свою. Мне сказали, что ты получил письмо от Неониллы. Неужели она, пишучи о себе, ничего не говорит о своей служанке? Не думаю! Она всегда была так добра к ней, что, верно, если сама уплелась от разбойников, то не оставила в когтях их нашу Анну. Прочти же мне это письмо, чтоб я мог все пересказать Мукону и его утешить. Он, право, теперь как одурелый, только что на стены не лазит.

— Изволь, старик,— сказал я, вынул письмо, развернул и хотел читать, как он проворно схватил меня за руку и вскричал:

— Постой, будь ласков, постой! Я прямо буду глядеть тебе в глаза и сейчас примечу, если ты что-нибудь пропустишь или сочинишь от себя. Читай только то, что написано, а лишнего нам ненадобно!

Я читал, перечитывал, возвращался назад и повторял одно и то же раза три и четыре. Ермил стоял, опершись на посох и не сводя с меня глаз. Иногда улыбался и шевелил усами, а иногда морщился и мял чуб; словом, я вытвердил письмо наизусть, но Ермилу все еще казалось мало, и думаю, что он не отпустил бы меня до вечера, если бы не пришел посланный от дяди Короля звать меня к нему в сад. Тут Ермилу нечего было более делать; он низко поклонился и вышел, а я поспешил к назначенному месту.

— Что ты до сих пор делал? — спросил дядя,— неужели все спал или забавлялся чтением жениного письма?

— Ты отчасти отгадал,— отвечал я,— я занят был сим чтением, хотя и не очень им забавлялся! Хочешь ли, я прочту его наизусть?

— Что это значит?

Тут я рассказал забавный случай с Ермилом.

Дядя Король улыбнулся и говорил:

— Так-то, друг мой! всякому свое мило! Сколько для величайших властелинов любезны какие-нибудь их Феодоры, Клеопатры, Марианны, столько и для беднейших поселян дороги их Мавры, Марины и Макрины. Ты хорошо сделал, что не оставил доброго Ермила в неудовольствии. Мы еще успеем свое дело кончить.

Тут дядя разложил пред собою довольное число рукописей, облокотился на них левою рукою, а правою разгладя усы, начал свое повествование.

Глава III

Honores mutant mores[1]

Никодим и Калестин, два первые полковники в малороссийском войске, славились повсюду знатностию породы, воинскими подвигами, богатством и неразрывным дружеством, связывающим их с самого юношества. Калестин имел единственного сына Леонида, а Никодим — единственную дочь Евгению.

— Праведное небо! — вскричал я, не могши удержать сильного движения духа,— я припоминаю нечто странное, в молодости моей случившееся. Не их ли видел я в Переяславле, в саду женского монастыря, первого в виде дьявола, а другую в виде ведьмы, и не мое ли имя упоминали они с таким соболезнованием?

— Слушай терпеливо! — отвечал дядя Король,— и не перебивай меня.— Тогда он продолжал:

— Отец мой был старший брат Калестина; но как он в молодых еще летах пал на сражении с турками, а мать умерла с печали, оставя меня по десятому году, то дядя Калестин взял меня, сироту, в дом свой, предположа воспитывать с сыном своим Леонидом, коему было тогда пять лет.

Воспитание наше шло обыкновенным порядком, итак, нечего об нем говорить до того времени, когда в небольшой круг наш замешалась Евгения. Никодим и Калестин, преднамерясь увековечить дружбу свою соединением по времени детей узами брака, не пропускали ни одного случая знакомить их между собою и намерение сие простерли до того, что Калестин приказал семнадцатилетнему Леониду быть учителем десятилетней Евгении. Хотя сию последнюю можно было назвать еще дитятей, однако черты лица ее предвещали редкую красавицу, а разговоры, самые простые, обнаруживали остроту ума и доброту сердца. Леонид, уча ее по-русски и по-польски говорить, читать и писать, проводил с нею половину каждого утра,

[1] Латинская пословица, значит: Почести переменяют нравы.

предчувствовал грозы, которая по возвращении изрыгнет на твою голову потоки молнийные!

Два года после сего прошли обыкновенным порядком. Леонид часто писал письма к отцу, ко мне, к Никодиму и Евгении. Под конец начал скучать столь продолжительною разлукою со своею любезною и сам себя утешал тем, что до окончания курса остается не более нескольких месяцев, и он возвратится в Батурин в объятия любви и дружбы.

Вдруг последовало происшествие, хотя весьма обыкновенное, не не меньше того и важное. Старый гетман скончался. Вся Малороссия восшумела. Полковники и войсковые старшины стекались со всех сторон в Батурин, и как скоро земные остатки покойного повелителя с подобающею честию преданы были недрам земли, то все сословие чинов начало думать о избрании преемника. Дворы варшавский, виленский и московский прислали депутатов, которые отличались гостеприимством и великолепием. Полковники малороссийские, которые были знатнее и богаче других, старались силою великих издержек привлечь большинство голосов на свою сторону. Из депутатов отличался князь Станислав, сын великого гетмана литовского, как сам по себе, так и по своим пиршествам. Он был лет около тридцати, красив собою, статен, учен и храбр. Из наших полковников превзошли всех Никодим и Калестин, однако первый много брал преимущества. Два месяца прошли в сих совещаниях, и, наконец, избрание пало на Никодима; он провозглашен великим гетманом малороссийским, депутаты соседственных дворов подписали согласие своих монархов, и Никодим принял в руки жезл повелительства.

Калестин первый поздравил друга с сим высоким избранием и учредил в почесть ему великолепный праздник. Опять поднялись пиршества и продолжались в течение целого месяца с отличным блеском и общею радостию, и только наступление великого поста могло остановить оные, и в сие-то время, в один день на второй неделе, возвратился Леонид, быв в отлучке от родительского дома около двух лет с половиною.

Дядя мой принял в объятия свои сына с нежностию и сказал: «Радуюсь, Леонид, той великой перемене, какую в тебе вижу. Об успехах твоих в науках и некоторых искусствах уверяет меня ректор академии, а в добром поведении, которое и само по себе делает много чести всякому человеку, а в образованном науками оно бесценно,

свидетельствует отец Геласий; я обоим верю и радуюсь несказанно. Тебе известна перемена, происшедшая у нас в правлении: будущий тесть твой избран в высокое звание, а сие-то еще более обязывает тебя быть сколько можно совершеннее. Твоя будущая жена стала противу прежнего прелестнее, умнее, любезнее. Правда, с некоторого времени она сделалась робка, застенчива и даже неприступна, так что и мне не удается видеть ее наедине, а тем менее сказать хотя одно слово; но кто имеет право проникать в сердечные тайны осьмнадцатилетней влюбленной девицы; да и то сказать, что дочь великого гетмана должна быть возвышеннее, степеннее, даже спесивее, нежели дочь полковника. Сегодня же еду во дворец Никодима и посоветуемся о твоем будущем образе жизни, а завтра представлю самого, и, может быть, тогда же ты вписан будешь в число гетманских телохранителей».

Так как я в сем полку был уже сотником, то Калестин, уезжая во дворец, сказал: «Я думаю обедать у Никодима, а потому поручаю тебе, Диомид, учредить праздничный обед и пригласить на оный всех начальников и прочих чиновников полка гетманского от старшего до младшего и познакомить с ними твоего брата, как будущего сослуживца. Не жалей для сего ни кухни моей, ни погреба: так в подобных случаях поступали деды и отцы наши, и делали недурно. Конечно, и одни достоинства и заслуги могут приобрести нам приязнь от товарищей и благосклонность от начальников; но для чего же не присоединить к сему, буде мы в возможности, некоторого рода приласкания посредством гостеприимства?»

По отбытии Калестина я с таким рвением принялся за исполнение воли его, что около полудня все было готово, и в столовой комнате роились гости. Я не удовольствовался приглашением чиновников одного полка гетманского, но призвал и других полков лучших людей, кои известны были или своею храбростию, или способностями, или даже одною приветливостию. Всем вообще и каждому порознь представил я брата своего и друга и просил их быть к нему благосклонными. В особенности поручал я сослуживцу моему, молодому есаулу Еваресту (которого после Леонида любил более всех и на сестре коего Асклиаде располагал жениться по прошествии двух лет, ибо ей тогда было не более семнадцати), полюбить моего брата, ручаясь с своей стороны за его достоинства, дающие право на благоприятство каждого. Замечу теперь мимоходом,

а преподавая также уроки на бандуре, провождал в доме Никодима почти целый вечер. Так протекло довольно времени, и Леониду исполнилось двадцать два года, а Евгении пятнадцать. Юные любовники, зная намерение о себе родителей, и не думали скрывать взаимной нежности. Хотя Леонид никогда не забывал строгой благопристойности, хотя Евгения, вышедшая уже из отрочества, очень знала, что стыдливость более перлов украшает девицу, но и опытные родители также знали, что может в двух пламенеющих сердцах произвести случай, а любовники имели таковых каждый день множество; к тому же добрые супруги, надзор коих в таких обстоятельствах всего вернее, давно уже покоились сном непробудным. Посему они, предположив не раньше соединить детей, как по совершению одному двадцати пяти, а другой осьмнадцати лет, решились разлучить их на несколько времени, не опасаясь, чтобы короткая разлука сильна была расторгнуть сердца, столько одно к другому прилепленные.

Наилучшим к сему средством признано отправление Леонида в Киевскую академию для прослушания там курса философии, к чему домашним воспитанием он уже довольно был приготовлен. Как я не мог ему сопутствовать, ибо за несколько лет определен был на службу в полк гетманский, то в сопутники Леониду назначен священник одного из сел Калестиновых, отец Геласий, человек довольно пожилой, нимало не ученый, но примерной честности и добродушия. Сверх значительной денежной награды, определенной Геласию, и весьма изобильного содержания, помещик дозволил ему взять с собою своего сына, записать в академию и держать на общем счете.

Я находился при прощании Леонида и Евгении и не заметил ничего такого, что бы казалось особенным. Хотя, правда, они несколько раз обнимались и пролили по нескольку слез, но не более, и даже когда Калестин сказал: «Полно, Леонид, пора садиться в бричку» — то молодой человек, запечатлев поцелуй на пламенеющей щеке красавицы, пожал у нее руку и сказал довольно спокойным голосом: «Прости, милая Евгения!» Провожая его до брички, я сказал, что так прощается самый хладнокровный муж с женою, уезжая дня на два в хутор. «Что же такое?— отвечал Леонид,— я не иначе считаю Евгению, как супругою, и отъезжаю несколько далее, чем на обыкновенный хутор; а что касается до времени, то два года и два дня немного делают разницы». Бедный Леонид! ты не

что с того дня Еварест и Леонид сделались друзьями и остаются таковыми до сего времени, несмотря на все коловратности счастия.

Нечего и сказывать, что пир наш был самый свадебный. По окончании обеденного стола мы вошли в другую комнату. Там загудели гудки, забренчали бандуры, зазвенели цимбалы. Явившиеся скоморохи и машкары [1] плясали разные пляски: малороссийские, польские и черноморские. Некоторые из гостей, особливо молодые, вмешались в сию забаву и немало всех увеселили; те же, кои не охочи были плясать, тешили себя всякого рода наливками; словом, все до одного были довольны, веселы.

Под вечер весь дом освещен был великолепно, и прибытие Калестина не только не расстроило общего веселия, но еще умножило оное. Лично представляя гостям своего сына, объявил, что он записан уже в полк гетманский, и просил старшин быть благосклонными к молодому неопытному воину. Разумеется, что звание, богатство и дружба с гетманом делали всякого совершенно готовым к услугам.

Поутру Калестин лично представил сына своего гетману, окруженному многочисленным сонмом чиновников. Никодим принял его приветливо и протянул правую руку в таком направлении, чтоб ее поцеловали. Леонид, привыкший с младенчества обращаться с будущим тестем как с родным отцом, сначала оторопел от сей новости; но вдруг, собравшись с духом, вспомнил, что он теперь повелитель, следовательно, и родные братья его обязаны были оказывать ему сии знаки благоговения к власти его, а не только дети, и посему, подошед почтительно к Никодиму, преклонил колено и облобызал его десницу. «Встань, есаул Леонид! — сказал дружелюбно гетман,— и выслушай, что скажет старинный твой доброжелатель. Ты вступил теперь на службу в полк моего имени, это значит, в такой полк, который всегда у меня пред глазами и где всякий от большого до меньшого должны быть образцами для своего войска малороссийского. Я тебя знаю и уверен, что всегда останусь доволен».

Он дал знак, и Калестин с сыном вышли. У последнего голова кружилась и дрожали колена; он совсем не такого

[1] *Машкарами* в Малороссии называются замаскированные шуты, которые на ярмарках или при домашних пирушках пляшут и производят разные фокусы.

ожидал приема. «Что это значит? — спросил он у отца своего,— это ли Никодим, прежний друг твой, отец моей Евгении?» — «Леонид! — отвечал Калестин,— это не должно удивлять тебя. Подданный, сделавшийся повелителем, по необходимости во многом должен переменить образ своей жизни и при посторонних людях казаться другим человеком, нежели при ближних и домашних! В день избрания Никодима в гетманы и я — друг его юности, товарищ во всех походах, всегдашний собеседник в советах, должен был — признаюсь откровенно — с крайним отвращением приложить губы свои к руке его наравне с прочими. Но в тот же самый день ввечеру, когда остался он в кругу прежних друзей, я обнимал в нем друга своего Никодима, забыв совершенно об его гетманстве. Надеюсь, что он сам найдет скоро случай, и ты обнимешь его как отца твоей Евгении и опять при общественных собраниях будешь вести себя в отношении к нему как к гетману, даже и тогда, когда сделаешься его зятем».

Хотя такое истолкование и утешило несколько Леонида, но он не утерпел сказать: «Ах! как бы хорошо было, если бы Никодима никогда не выбирали в гетманы!» — «Стыдись, сын мой! — отвечал Калестин довольно строго,— разве ты не слушал философии? Разве надобно избирать то, что хорошо для одного меня, а не то, что составляет благо целого отечества? Конечно, я не хочу уступить Никодиму ни в любви к сему отечеству, ни в уме, ни в личной храбрости,— но он несколько долее меня в службе и несколько богаче, а этого довольно, чтобы дать ему перевес передо мною!»

«Пусть так,— сказал Леонид смущенно,— пусть Никодим ни перед кем не забывает, что он гетман; но я надеюсь, что он не воспретит Евгении оставаться для меня прежнею Евгениею! Где ее покои?» — «Сын! — отвечал Калестин с принужденною улыбкою,— уверяю, что вход в приемную султана хотя и труден, но все легче, чем в преддверие его гарема. Евгения без согласия главной надзирательницы над няньками и девушками, коих у нее теперь более двух дюжин, сорокалетней девицы Филониды, не смеет никого принять к себе, а Филонида, не испрося на то соизволения от родителя, никому не даст своего согласия. Филонида, будучи дворянского происхождения, хотя до вступления в дом гетмана была очень бедна, но зато примерной честности и благонравия. Ясно ли?»

«Понимаю,— отвечал Леонид с изменившимся лицом и дрожащим голосом,— понимаю, что в чертогах, где блистает великолепие и пышность и бродит жалкая принужденность под кротким именем благопристойности, там нет свободы, нет любви,— нет счастия!»

Глава IV

Умный дурак

С сего времени Леонид сделался уныл и не таил состояния души своей; однако ж, следуя наставлению отца, тщательно исполнял свою должность. Изредка, и то мимоходом, видал он Евгению; но она, казалось, не обращала на него особенного внимания. Только в церкви имел он случай наслаждаться счастием смотреть на нее продолжительно, и это счастие — в существе своем — было истинное несчастие, ибо после каждого такого свидания он на несколько дней лишался покоя, терял охоту к пище, и сон целые ночи не смежал веждей его. Иногда просил он отца, чтобы он, продолжая пользоваться дружбою и доверенностию Никодима, исторг из сердца его сию мучительную тайну; но всякий раз Калестин, человек честный, добрый, прямодушный, но вместе с тем благородно гордый и почитающий честь выше всего на свете, всегда отвечал сыну: «Леонид, я и сам примечаю, что тут не без тайны, но стыжусь ее разведывать. Для меня самого крайне было бы неприятно слышать, что кто-нибудь силится проникнуть то, что я скрываю, а по себе сужу и о других. Впрочем, я тут не предвижу ничего для тебя печального. Ты знаешь наше с ним условие, чтобы соединить вас не прежде, как тебе исполнится двадцать пять, а Евгении осьмнадцать лет; но тебе также небезызвестно, что сие время настанет не прежде, как в конце будущего лета, а теперь и весна не началась еще. Но если бы,— продолжал он с некоторым жаром и приподняв саблю,— если бы Никодим и позабыл наше условие, то я столько горд, что никогда не напомяну о нем. Он сегодня гетман, я могу быть таковым завтра. Леонид! ни мое звание, ни древность моего рода, ни мои богатства, нет! ты, сын мой, составляешь предмет моего тщеславия, и руку твою считаю я достойной руки польской королевны. Однако ж подождем. Никодим продолжает обходиться со мною почти по-прежнему, ибо его новое звание, сопряженные с ним заботы, даже пус-

тые приемы депутатов, воевод, знаменитых путешественников,— все сие, без сомнения, отнимает у него много часов во дню, и он не может уже — хотя бы сердечно желал — быть тем же для меня, для тебя, для своей даже дочери, чем был прежде. Без ясной причины я никого не обвиняю, тем более не обвиняю друга моей юности».

Что после сего оставалось Леониду? Терпеть и молчать! Однако ж чего не сильны сделать любовь, дружба и молодость! Мы составили заговор и произвели его удачно в действо. Кто ж эти мы? Леонид, я, Еварест и — Куфий.

В первые недели гетманства Никодимова он умел весьма тонко узнать каждого из чиновников полка своего. Куфий был тогда сотником и имел от роду с небольшим тридцать лет,— а более ничего. Он был здоров, весел, замысловат, отважен; но ты его сам знаешь. Теперь Куфий довольно богат, но тогда был беднее всех в целом полку. Это все не укрылось от внимания Никодимова. Он сделал предложение; оно принято безотговорочно, и в скором времени сотник Куфий сделался начальником придворных шутов и скоморохов. Его одели богато, отвели для житья покои во дворце, кормили и поили хорошо; чего ж больше для голодного бесприютного Куфия? Наедине говорил он с Никодимом как человек самый рассудительный, справедливый, преданный пользам своего повелителя; в обществе — под видом шутки — он, указывая на какого-нибудь полковника или старшину, описывал их распутства, лихоимства, хищничества, бесчеловечия. Все смеялись, даже сам гетман; но это не мешало ему послать тайно нарочного осведомиться о справедливости извета Куфиева, находили оный основательным, и виноватые бывали наказаны. Это имело следствием, что всякий начальник, боясь языка Куфиева, боялся делать несправедливости, и преступления, если не истребились, по крайней мере умалились. Куфия дарил гетман, дарили придворные, дарили приезжие, и он начал обогащаться. На сего-то мудреца возложено было исполнение нашего замысла, которое и началось следующим образом.

Куфий стал представляться страстно влюбленным в Филониду и по времени объявлял ей любовь по-своему. Вместо томных взглядов, тяжелых вздохов и прочих примет любовных Куфий, при свидании с своею Дульцинеею, наступал ей на ноги, щипал за руки, трепал по плечу и, глядя ей в лицо, ласково шевелил усами. Устарелая

красавица смеялась от чистого сердца, делала ему ловкие тычки по носу, ерошила чуб, и, словом, каков был вызов, таков и ответ, а дело своим чередом шло далее и далее, и Куфий добрался до того, что, давши любовнице легонький щелчок сзади, когда она оборачивалась, мгновенно хватал ее за уши и целовал в губы. Такие несомненные знаки любви обыкновенно награждаемы бывали пощечинами; но сия малость храброго Куфия нимало не смущала. Он начал закрадываться на женскую половину, что для всякого другого было бы непростительно, да и невозможно, ибо входы охраняемы были стражею; но как Куфия велено пропускать в покои самого даже гетмана во всякое время, то из сего заключено, что он везде бродить может, и его нигде не задерживали. Посещая свою любовницу временно и безвременно, он иногда находил ее не совсем в порядке; она сердилась, прочие женщины смеялись, после чего и она, также смеючись, выталкивала его вон, а он убегал в другую девичью и, дав ей время исправить такой или другой беспорядок, опять являлся и производил общий хохот. Словом, в скором времени при появлении Куфия ни одна из женщин не приходила уже в смущение, хотя бы он застал ее в постеле, и, считая его каким-то амфибием, всякая исправляла свои нужды, как бы там, кроме женщин, никого не было.

В таких подвигах Куфиевых прошел весь великий пост. В первый день светлого праздника гетман, раздавая награды, пожаловал меня в полковые старшины, а Леонида в сотники. Он продолжал обходиться с ним весьма благосклонно, но Евгения продолжала казаться рассеянною, не обращающею на него внимания, совершенно для него чуждою. Однако ж Леонид заметил, что она время от времени делалась пасмурнее; огонь в глазах ее стал тускнеть; розы на щеках, мало-помалу бледнея, наконец совсем исчезли и уступили место свое поблекшим лилиям. Всякий раз в церкви,— ему нигде более не удавалось ее видеть,— когда она как бы нечаянно на него взглядывала, какое-то смущение разливало туман по прекрасному лицу ее, и взоры медленно опускались на помост храма. Леонид не спускал с нее глаз своих, стенал и терзался. В первый день праздника она также взглянула на Леонида, и ему показалось, что всегда туманные взоры ее просияли искрами нежности, прелестные губы ее легонько двигались, и она шептала: «Христос воскресе!» Взор любовника воспламенился, багровая краска бросилась в ли-

цо, и он машинально начал ломать себе на руках пальцы. Взоры Евгении еще более оживились, и легкий румянец поалил щеки. Леонид не понимал сам своих ощущений.

На другой день праздника под вечер, когда Калестин не возвращался еще из дворца, я с Леонидом сидели вместе, думая и гадая, вдруг ввалился к нам Куфий с веселым видом. После обыкновенных приветствий он сказал моему брату: «Я — человек придворный и даром ничего и ни для кого не делаю! Что дашь, если скажу тебе хорошие вести?» — «Половину жизни моей,— вскричал Леонид,— буде вести сии докажут, что Евгения все еще меня любит!» — «На что мне такая обуза,— сказал Куфий,— с меня и моих собственных дней едва ли не много! Ну, добро, мы сочтемся! Велите-ка подать доброго вина, так языку моему удобнее будет ворочаться».

Немедленно подана была сулея с лучшим волохским вином; Куфий осушил кубок и начал повествовать: «Вчера, часа за два до благовеста к литургии, дворец гетмана набит был всякого звания христианами в ожидании выхода его высокомочия из своего чертога, дабы поздравить с праздником, приложить свои губы к его руке и подставить свои щеки и лбы к его губам. С величайшею важностию побрел я на женскую половину и нашел всех мамок и девушек в строю. «Что вы тут делаете, красавицы?» — спросил я. «Ожидаем выхода Евгении, дабы поздравить с праздником!» — «А где моя дражайшая?» — «У Евгении!»— «Одета ли Евгения?»— «Давным-давно!» —«Дельно! Так я и там поздороваюсь с моей красавицей! Ведь законная любовь, какова, например, моя, не порок!» Сопровождаемый насмешками, я вошел в комнату дочери Никодимовой и нашел ее вместе с Филонидою. Поклонясь почтительно Евгении, я оборотился к своей прелестнице: «Что же ты, дражайшая! — вскричал я,— так застенчива! поздороваемся по-христиански!» Я подошел к ней, а она отступила, прося Евгению выгнать бесчинника. «Нет! от меня нигде не укроешься,— сказал я,— сейчас здоровайся!» С сими словами я подошел к ней с таким видом, как будто намереваясь обнять ее покрепче и поцеловать раз десять. Она с криком бросилась вон, а я, пользуясь сею минутою, подбежал к Евгении и вполголоса сказал: «Леонид умирает! Оживи его хотя одним благосклонным взглядом и хотя одною строчкою руки твоей. Не опасайся меня; я — друг его!» — «Приходи сюда завтра перед обеднями,— отвечала она,— мое дело будет задержать здесь

Филониду, а твое — выгнать ее отсюда». С сими словами она вышла к своим девушкам, и начались поздравления, а я пошел к гетману сказать, что он излишне изволит мешкать и что жаждущие облобызать дебелую его десницу могут потерять терпение, лишаясь так долго сего блаженства, так грех будет на душе его.

Сегодня поутру, в назначенную пору, я очутился где было надобно и нашел, что девушки заняты были поправлением одна на другой нарядов и пяленьем поочередно пред зеркалами, а про Филониду сказали то же, что вчера, то есть что она у Евгении. Я сейчас иду туда и нахожу их обеих занятыми рассматриванием перстней, серег, жемчужных ниток и других драгоценностей. Отдав должное почтение молодой госпоже, я бросился к Филониде и, приняв вид сатира Марсиаса, с которого Аполлон сдирает кожу, сказал плачевным голосом: «Умилосердись, жестокая! Неужели ты некресть татарская, что для таких великих дней не хочешь оказать мне небольшой благосклонности?» Филонида задумалась, а я, испугавшись, чтоб она, склонившись на мое страстное желание, не осталась при Евгении, возопил: «Ах! дражайшая Филонида! что колеблешься сделать меня благополучным? Дозволь мне обнять тебя, как обнимал древний Иксион волоокую Юнону, и облобызать у тебя не только прелестные уста, но и лоб, уши, глаза, щеки, затылок...» — при сем расширил пасть и растопырил руки. «Ай, ай!» — вскричала она и бросилась вон. В ту минуту Евгения отперла ларчик, выхватила письмо и кошелек и сунула мне то и другое в руку. Проворно спрятав приобретение сие в карман, я бросился к женщинам, спрашивая страстно: «Где же Филонида?» Она взяла свои меры — скрылась в угол и выставила впереди себя с дюжину баб и девок. Я представил вид, что не дерзаю сделать нападение противу крепости, защищаемой таким могучим войском, почесал печально чуб и медленно вышел. До сей поры мне нельзя было урваться из дворца. Вот письмо, Леонид, возьми. Оно хотя и без надписи, но я догадываюсь, что принадлежит тебе; кошелек с сотнею червонных также без надписи, но я уверен, что принадлежит мне,— и потому тебе и видеть его нечего: вещь самая обыкновенная!

Леонид трепещущими руками принял письмо, развернул и начал про себя читать. В лице его попеременно видел я нежность, горесть, надежду, негодование. Он бледнел и краснел, улыбался и морщился. Кончив чтение, по-

дал мне письмо и сказал: «Брат! прочти и дай совет, что я должен думать и делать; а я так смущен, так расстроен, что совершенно ничего не понимаю, ничего не чувствую, хотя кажется, более чувствую, нежели когда-нибудь. Повидимому, я могу назвать себя весьма счастливым, ибо Евгения уверяет в непременности любви своей, и вместе с тем злополучным, ибо должен опасаться, чтоб ее у меня не похитили. Прочти, любезный брат, и скажи свое мнение!»

Я взял письмо, прочел с великим вниманием, подумал, еще раз пробежал; потом, положа укромно на стол, задумался и сидел молча, щелкая пальцами по ефесу моей сабли. «Что же скажешь?» — спросил Леонид с нетерпением. «Ничего!» — отвечал я смущенно. «Немного же!»

Куфий, который во время чтения письма и наших суждений, казалось, ничем не занимался более, как узнанием доброты вина, слыша последние слова наши, сказал: «Вижу, что вы оба неразумные парни! Ну, не стыдно ли, что двух молодцов, которые одним движением усов должны обратить в бегство целые полчища татар и турков, молодая, робкая девушка несколькими строчками поставила в тупик так, что и последний польский шляхтич успеет обрить вам усы и головы, прежде нежели вы опомнитесь. Дайте-ка я прочту это волшебное письмецо, и тогда посмотрите, не храбрее ли я вас обоих».— «Сделай одолжение!» — сказал Леонид, подавая письмо, и Куфий прочел вслух следующее: «Неужели добрый, нежный, чувствительный Леонид хотя на одно мгновение мог помыслить, что Евгения способна переменить чувство сердца своего,— Евгения, от самой колыбели привыкшая видеть в нем единственного друга, верного любовника? Так, Леонид! я видела твои страдания и сама не меньше страдала, но не имела возможности тебя о том уведомить, ибо мне и на мысль не приходило, что добрый Куфий в связи с тобою. Я поступала по данному мне повелению; кто повелел, ты сам догадаешься, но для чего — и по сие время наверное не знаю и, соображая обстоятельства, страшусь проникать тайну; однако ж и скрывать от тебя мои догадки считаю непростительным грехом и не хочу, чтобы ты, видя меня погибшею, мог сказать: «Я нашел бы средства спасти ее, но она скрывала от меня бездну, сама пала в нее и меня вовлекла с собою». Догадки мои состоят в следующем,— но заметь, что не более как догадки, и прежде времени не предавайся унынию, которое всегда бесполезно, а иногда и пагубно.

При возглашении отца моего гетманом я пользовалась тою же свободою, как и прежде. Все вокруг меня дышало довольством, радостию. Часто, без всех докладов, виделась я с отцом моим, говорила о скором твоем возвращении, изъявляла радость свою непринужденно, и отец, улыбаясь с нежностию, подавал мне руку, которую осыпала я поцелуями, и говорил: «Будь уверена, моя Евгения, что твое счастие есть мое собственное!» О! как я благословляла небо, даровавшее мне такого родителя! Но золотое время скоро улетело.

В одно утро, когда явилась я к отцу с обыкновенным поздравлением, то застала его с тремя депутатами соседственных держав и несколькими полковниками нашего войска, в числе коих был и Калестин, отец твой. Облобызав родительскую руку, я хотела удалиться, но получила приказание пообождать конца сей аудиенции, и тогда я получу особенную. Я села у окна и смотрела на площадь, не думая вслушиваться в слова присутствующих, однако ж не могла не заметить, что молодой князь Станислав, сын великого гетмана литовского, отличался от всех ловкостию, остротою в речах и основательностию суждений. Все соглашались с его мнениями, и казалось, что он один был с языком в сей беседе. Нередко, обращаясь ко мне, он спрашивал: «Ты что на это скажешь, прелестная Евгения?» — и я всегда непринужденно отвечала: «Извини, князь, я даже не слыхала, о чем говорено было!» — «Это очень нехорошо, дочь моя! — сказал в последний раз отец довольно важно,— надобно быть внимательнее, когда говорят достойные люди!» Я покраснела и не отвечала ни слова.

Когда сия беседа кончилась и все разошлись, то отец, подошед ко мне с важностию прямо гетманскою, сказал: «Евгения, ты должна с переменою обстоятельств и сама совершенно перемениться и навсегда забыть, что была некогда дочерью полковника Никодима. Помни постоянно, что, по воле всеблагого бога, ты можешь теперь равняться со всякою королевною; а чтоб тебе удобнее было сообразоваться с сею новою обязанностию, то я заблагорассудил устроить при тебе особенный штат, гораздо приличнейший теперешнего. Старая мамка твоя Марина, женщина, конечно добрая и честная, но слишком простая, щедро награждена мною и отослана на родину в Миргород; четыре горничные девки также не остались без возмездия и отправлены по разным хуторам моим. Теперь приготовлены

для услуг тебе десять женщин и столько же девушек. Над ними вверил я смотрение Филониде, пожилой девице дворянского происхождения. Без моего дозволения никто к тебе допущен не будет, ибо сего требует приличие нового твоего звания. Ты будешь в своих покоях иметь обеденный стол, пока не прикажу явиться к моему. Иногда и я приду к тебе,— один или с кем-нибудь из знатнейших особ, при дворе моем находящихся. Теперь покажись новым твоим служительницам».

Со слезами на глазах, колеблющимися ногами пошла я на свою половину. Меня встретила Филонида и что-то говорила приветственное; но я, сказав, что хочу остаться одна, бросилась в свою спальню и, упав в кресла, зарыдала. Увы! куда девалось прекрасное время моего детства и юности, время любви и счастия! Милосердый боже, неужели гетманы необходимы на земли?

Отец мой всякий день навещал меня или призывал к себе. В обоих сих случаях я находила с ним князя Станислава, не перестающего оказывать мне всякого рода учтивости. Всего прискорбнее, что я должна была — так мне приказано — казаться веселою тогда, когда неизреченная горесть терзала мое бедное сердце. К большему мучению, ни одно из окружающих меня существ не произносило при мне имени Леонида, ибо им неизвестно даже было, существует ли таковой человек на свете. Может ли что быть сего несноснее, убийственнее?

Кто опишет чувство, я не знаю, как и назвать его,— растворившее раны сердца моего, когда я в первый раз в церкви тебя увидела! Из одного взгляда твоего поняла я, что несчастие мое тебе известно! Глаза мои помутились, колена задрожали — и я едва-едва не лишилась памяти. С молитвою сердца прибегла я к богу, прося его укрепить меня, слабую, и милосердый услышал безгласный вопль души моей. Надобно думать, что отец не заметил сего беспорядка, ибо никогда не давал мне повода к противным мыслям.

С сего времени дни мои сделались еще горестнее. Ночи мои провождаемы были в слезах, а если когда сон и смежал на несколько минут мои ресницы, то ужасные сновидения меня разбужали. Я трепетала и находила отраду опять в слезах. О! сколько несчастен, кто живет такою отрадою!

Отец, навещая меня по обыкновению, но уже один, ибо князь Станислав отправился в свое отечество,

спрашивал о причине такой перемены в моем лице и поступках и, получив ответ, что это происходит от непривычки еще к новому образу жизни, говорил хладнокровно: «По благости божией человек так устроен, что со временем ко всему привыкает».

Итак, мой милый, бесценный друг, из всех описанных обстоятельств заключаю, что отец назначил меня на жертву честолюбию, предав в руки князя Станислава. Дай бог, чтобы я ошибалась; но какое-то тайное, непреоборимое чувство гремит в душе моей: «Несчастная! ты угадываешь истину!» Что, Леонид, если это сбудется? Я вижу, что при одной сей мысли ты трепещешь! Слезы льются из глаз моих, дыхание стесняется! Боже! как мучительно такое состояние! Однако подождем: может быть, я и обманываюсь. Если же нет — выслушай меня внимательно: если я непременно должна буду сделаться супругою князя Станислава и ты не найдешь никаких способов исхитить бедную Евгению из челюстей вечного злополучия, то, прежде нежели приступлю к алтарю,— меня уже не будет, и я — не к брачному ложу, но с растерзанною девическою грудью явлюсь к престолу судьи небесного. Да будет со мною святая воля его!

Твоя или ничья *Евгения».*

Куфий замолчал и, сложа письмо, начал степенно ходить по комнате, закручивая усы. Я сидел в горестном безмолвии; Леонид рыдал горько. Какое мучение!

«И подлинно дело хлопотливое,— сказал Куфий, остановясь у стола и положа на нем роковое письмо,— я сам теперь почти в таком же положении, в каком и вы находитесь. Так! наконец я понимаю!» — «А что ты понимаешь?» — спросили мы с торопливостью. Куфий, усевшись между мною и братом, говорил: «По окончании всех торжеств, бывших по случаю возвышения Никодимова, все депутаты разъехались. Московский и варшавский как в воду упали, и не было об них никакого слуха; один виленский щеголеватый князь Станислав из каждого города и городишка присылал к Никодиму нарочного гонца, а по прибытии в Вильну каждую неделю двух. Но это не все. Недели за две перед пасхою начали убирать все левое крыло дворца великолепным образом. «На что это?» — спросил я однажды у Никодима. «По происшествии светлого праздника,— отвечал он,— я переведу туда Евгению

со всем штатом ее, который еще увеличу сообразно с ее достоинством!» Тогда я смеялся такой суетности; но теперь вижу, что он хитрее, чем я думал!»

Леонид покрылся бледностию, закрыл глаза руками и, облокотясь на стол, оставался безгласен. Я почел за лучшее оставить его в сем положении, отвел Куфия в сторону и сказал: «Кажется, теперь сомневаться нечего!» — «И я тех же мыслей»,— отвечал он. «Что-нибудь, а делать надобно,— продолжал я,— после Леонида мне лучше всех известен нрав Евгении: она, точно, устоит в своем слове и погибнет, а погибель ее, без всякого сомнения, погубит несчастного моего брата. Куфий! постараемся спасти обоих!» — «Но как же, скажи, пожалуй?» — спросил он пошептом. «Стыдись, учитель на все выдумки! — отвечал я,— довольно с тебя, если я во всем готов последовать твоим советам, один я с двумя казаками, преданными мне совершенно и достойными быть в числе лучших учеников твоих. Ты сам видишь, что бедный Леонид подобится теперь младенцу, которого на помочах водить надобно. Окажем ему эту дружбу; иначе он, решившись бегать сам собою, в прах разобьется».— «Хорошо! — сказал Куфий,— завтра под вечер я опять украдусь из дворца, и что до того времени удастся мне выдумать путного, скажу и тебе». С сими словами мы расстались. Леонид походил на помешанного, но я утешил его клятвою, что решился или потерять голову, или соединить его с любезною, в чем и Куфий обязался способствовать.

«Вы здесь сидите и бражничаете,— сказал вошедший Калестин,— а не знаете, что делается вне сего дома. Я сейчас только из дворца. Там такая суматоха, что избави господи! Совсем нечаянно, неожиданно появился в палатах князь Станислав, с огромною, великолепною свитою. Все смотрели друг на друга с удивлением и не знали, что бы это значило, однако были уверены, что не даровое. Когда предстал князю дворцовый старшина, то первый потребовал аудиенции и спустя несколько минут поведен к гетману. Тут приступили мы к предводителю его свиты с вопросами и узнали только, что сын приехал к здешнему двору с важными грамотами от отца своего. Посмотрим, что-то гласят грамоты его литовской светлости! Леонид! что ты так бледен? Ты дрожишь! Неужели боишься объявления войны от литовцев?» — «Я несколько нездоров,— отвечал Леонид,— позволь мне удалиться!»

С сими словами он вышел; Калестин, поговоря со мною недолго, также удалился на свою половину, и я остался один в самом мрачном расположении души моей.

Глава V

Спасайся, пока можно!

В таковой борьбе с самим собою я провел почти всю ночь, следующий день и часть другой ночи. Калестин все свободное время убивал во дворце, а сын его стенал в своей комнате, и хотя мог еще держаться на ногах, но всякий, взглянув на него, сказал бы, что он болен отчаянно.

Около полуночи вошедший слуга объявил, что незнакомый казак, с большим узлом под рукою, желает со мною видеться. Удивившись такому позднему посещению, я спросил: что ему надобно? «Видеться с тобою!» — «Впусти!»

Как скоро незнакомец вошел, то, оборотясь к слуге, сказал повелительно: «Удались!» Слуга с удивлением повиновался, а гость, кинув свой узел на пол, подошел ко мне и, шаркая ногами по-польски, говорил: «Дай бог здоровья людскому разуму; с ним всего достичь можно!» Рассмотрев пристальнее сего чудака, я, несмотря на всю унылость души моей, вскричал весело: «Куфий! какая ведьма так тебя оборотила?» — «Это могущая ведьма,— сказал Куфий таинственно,— называется дружбою и в силе своей уступает — и то немного, а не всегда — другой ведьме, называемой любовию!— Тут развязал он узел и вынул полный наряд свой, сшитый из разноцветных лоскутьев, и сказал:— Попечению твоему вверяю, чтобы по крайней мере через два дни готово было другое такое же платье по твоему росту. Из всего видно, что свадьбою торопятся, ибо за полчаса пред сим, когда я по обыкновению провожал гетмана в опочивальню, он, потрепав меня по макуше, сказал с улыбкою: «Постой, Куфий! мы скоро подымем такое веселье, какого ты еще во всю жизнь не видывал. Завтра скажи моим именем казначею, чтобы к следующему воскресенью изготовлено было тебе новое платье из золотой и серебряной парчи и чтобы во всем наряде отвечало одно другому». Если бы не удальство мое, посредством которого достал я письмо от Евгении, столько нас просветившее, помогло в сем случае, то я, наверное,

дался бы в обман; но теперь трудно меня одурачить. И не Куфий догадается, что в Фомино воскресенье назначено быть роковой свадьбе. Видишь, как надобно дорожить временем! Прежде определенного срока надобно переделать все по-своему, и пусть тогда ахают и охают. Кто готовится смотреть без жалости на чужие слезы, недостоин сожаления, если и сам принужден будет горько плакать».

Поговоря еще довольно времени, мы сделали условие как о наших свиданиях, так и о дальнейших распоряжениях по предмету столько важному, опасному, решительному. Наконец мы расстались, чтоб успокоиться; но я весь остаток ночи провел в креслах, не раздеваясь. Едва лишь начало на дворе брезжить, я поднял принесенный Куфием узел и пошел один к портному жиду, шившему на меня все платья. Дав ему приказание, состоявшее в десяти червонных, изготовить для меня шутовское платье к пятнице и быть молчаливу, буде не желает вопиять под ударами батогов, я возвратился домой и начал размышлять о последствиях наших замыслов. Задумавшись, сидел я долго и не приметил, как вполз ко мне Леонид с мрачным взором, с бледными щеками, с опустившимися усами. Он сел подле меня и потупил глаза в землю.

«Леонид! — сказал я,— ты весьма несправедлив, заставляя нас смотреть на тебя как на приближающегося ко гробу и в то время, когда друзья отваживают свои головы,— дабы доставить тебе счастие!» — Тут рассказал я о мерах, какие предпринимает Куфий к произведению общего намерения в действо, присовокупя, что любовник, будучи главное лицо, унынием своим может уничтожить все наши надежды. «Надежды? — сказал он со стоном,— легковерные! и вы можете еще льстить мне надеждами?» — «Да,— отвечал я,— несмотря на то, что брак...» — Тут я остановился и замолчал. «Продолжай! — произнес Леонид довольно резко,— какая разница умереть минутою раньше или позже?»

Я не хотел печалить его объявлением о таком скором времени, назначенном гетманом к совершению брака своей дочери, Леонид с своей стороны хотел знать все подробно, и между тем как мы, так сказать, пустословили, солнце было уже высоко, и слуги объявили, что Калестин давно во дворце. Я начал переодеваться, а Леонид решительно отрекся видеть Никодима и умножать собою число рабов его. Когда я был готов, то введенный придворный низшей степени шут кинул на стол письма и скрылся, как ве-

тер. Развернув обертку, я нашел две записки. В первой стояло:

«Если Леонид не пошлый дурак, то, прочтя вторую записку, сделается бодр, предприимчив, каким следует быть любовнику: сего только от него и требуется. Евгении весь наш замысел известен; но как я и сам покуда не надумался хорошенько, когда приняться за исполнение, то до времени помолчим. Более всего надобно Леониду быть отважнее. Ведь когда-нибудь, а умирать должно; пусть же умрет он, спасая Евгению. По прочтении сейчас письмо сожги.

Куфий».

«Клянусь всеми святыми,— вскричал Леонид, как будто восставший из гроба,— для спасения моей любезной, когда она именно того требует, буду столько же мужествен, как соименный мне спартанец, и тверд, как гранитный камень! Что же в другой записке?» Я развернул ее и прочел:

«Мне сказывают, Леонид, что ты продолжаешь печалиться и унывать; этим ничего не сделаешь. Соглашаясь с мнением Куфия, я до последнего дня буду казаться веселою; не стану противиться никаким предложениям, на все охотно соглашусь,— но помни — до последнего только дня. Тогда — я опять повторяю прежние слова мои — тогда я — твоя или уже ничья во всей подсолнечной.

Евгения».

Сии немногие строки воспламенили молодого человека мужеством, какого и сам он от себя не надеялся; взоры его заблистали, щеки покрылись румянцем здравия, походка сделалась твердою и все движения непринужденными. «Леонид,—сказал я,— сегодня середа, а спустя три дни настанет суббота; на такое короткое время, кажется, можно ополчиться всеми силами души твоей, когда уже и Евгения имеет столько мужества, чтобы при невозможности быть твоею обручиться со смертию».— «Что ты мне говоришь так много? — вскричал Леонид,— что значит жизнь без Евгении?»

В самое то время услышали мы на улице шум и разные голоса. Подбегаем к окну, и — кто опишет наш ужас и поражение? Калестин, бледный и трепещущий, едва держался на коне; его поддерживали двое войсковых старшин полка его; позади следовало до двадцати конных казаков,

Леонид и я затрепетали и бросились на двор. Едва мы сбежали с крыльца, как подвезли и Калестина. Он снят с коня при наших восклицаниях: «Батюшка, дядюшка! что с тобою сделалось?» — «Мщение! — возопил Калестин ужасным голосом.— Сын! племянник! клянитесь мне грозным мщением клятвопреступному! Друзья мои! — продолжал он, обратясь к старшинам,— войдите в дом мой; стены его не осквернены укрытием бесчестного изменника. Леонид! прикажи выдать каждому казаку по злотому; пусть за мое здоровье повеселятся!»

Мы ввели Калестина в спальню, раздели и уложили в постель. «Мне другого врача не надобно,— сказал он,— кроме спокойствия. Леонид! вынь из кармана моего гнусное писание, но не читай его дотоле, пока старшины не удалятся. Угости их прилично моему званию. Делай, что хочешь, но не мешай мне отдохнуть. Не входи сюда, пока не позову, и никого не допускай».

Мы приказали учредить довольный завтрак и вышли к гостям. «Ради бога,— сказал Леонид,— известите обстоятельно, что привело отца моего в столь жалостное состояние?» — «Это произошло так мгновенно,— отвечал один из старшин,— что никто не видал промежутка между началом и концом. Когда все чиноначальники собрались в приемной палате, ожидая повелений гетмана, то дворцовый старшина, вышед из внутренних покоев с письмом в руке, подал оное Калестину. Как только сей прочел, ужасный сумрак покрыл лицо его. Трепеща весь, свернул он бумагу, положил в карман и хотел закрутить усы; но рука опустилась, он задрожал и, конечно, упал бы на пол, если б не был поддержан. Мы вывели его на двор, усадили на коня и привезли сюда. Более ничего не знаем».

По окончании затрака гости удалились. Леонид, вынув письмо, сказал: «Я наперед предчувствую, что тут написано, смотреть на один почерк руки гетманской для меня противно. Читай ты». Я прочел вслух сии строки:

«Почтеннейший друг Калестин! тебе известно, что с переменою обстоятельств неминуемо переменяются и наши преднамерения. Сохранять прежнюю к тебе дружбу поставлю за самую святую и приятную обязанность, если и ты согласишься остаться в пределах должной умеренности. Сына твоего люблю по-прежнему и сочту за верх удовольствия доказать то на опыте, возведя его так высоко, как только власть моя дозволит, но — дочери моей

за него не отдам. Ты знаешь, что, восшедши на степень гетмана, я перестал принадлежать себе, а сделался отцом всего народа. Сын великого гетмана литовского ищет руки Евгении, отец его настоятельно о сем просит. Посуди, какие последствия могут произойти в случае отказа! Неужели кровию народа, вверенного провидением моему попечению, должен я жертвовать в угодности молодому человеку, который — по обыкновенному ходу природы,— потеряв свою любезную, прежде погрустит, потом успокоится, а наконец — как водится — найдет любезнейшую, и прежняя совершенно забудется. Будь великодушен, Калестин, и на меня не ропщи. Если бы ты избран был главою народа, и тот же литовский гетман предложил бы тебе мир, а твоему Леониду руку своей дочери, скажи по совести, стал ли бы ты колебаться и не была ль бы оставлена моя Евгения? Если бы ты поступил не так, то поступил бы не как гетман, а как обыкновенный отец, следовательно, поступил бы весьма несогласно с общею пользою, то есть поступил бы неразумно. Прости и будь здоров. Ввечеру увидимся и побеседуем.

Никодим».

Сие письмо, которое во всякое другое время и всякому другому показалось бы весьма основательным, не произвело в нас иного впечатления, кроме гнева и негодования. Прежнее письмо Евгении не могло быть забыто. У нас родилась непреоборимая охота поставить на своем и умствующего гетмана постричь в родню Куфию. Три дня прошли в приготовлении к сему важному подвигу. Уютная бричка и лошади стояли в моем отцовском доме. Роковой час настал.

В глубокие сумерки прокрался я в жилище Куфия, где и переоделся в приготовленное мною шутовское платье. Куфий, по заведенному порядку, вертелся во внутренних покоях гетмана и забавлял его своим остроумием. Сей властелин наедине с нареченным зятем занимался распоряжениями к торжествам брачным.

В самую полночь, когда огни везде, кроме покоев гетмана, потушены были, я прокрался на женскую половину, и как часовых, так нянек и мамок оделив щедро золотом, объявил, стараясь сколько можно подделаться к голосу и ухваткам Куфия, что дорогая Филонида назначила мне свидание и хочет прогуляться на чистом воздухе. Целомудренные девушки и степенные женщины, смеясь ти-

хонько, уверяли, что нельзя лучшего времени выбрать для прогулки, и внутренно были весьма довольны, что и важная начальница их не совсем без житейских слабостей. Евгения, по предварительному условию, с притворною робостию явилась в полном уборе Филониды, и я с ужимкою великого щеголя взял ее за руку и повел куда было надобно. Без всякого приключения пробрались мы в сад, достигли ограды, вышли из оной посредством приготовленного от калитки ключа, и я, отдав милую беглянку Леониду, бывшему уже там с бричкою, полетел домой, а любовники поскакали по пирятинской дороге.

Я стану описывать тебе, Неон, ход происшествий в том порядке, как они случались, не затрудняясь объявлениями, откуда я что знаю.

Вскоре за полночь Филонида за какою-то нуждою вышла из спальни в девичью. Все, кои еще не спали, ахнули от удивления. «Как ты сюда прокралась?» — спросили некоторые. «Я прокралась? —сказала оторопевшая надзирательница,— разве я куда выходила в полночь?» — «А как же? Разве мы не видали тебя вышедшую отсюда с Куфием?» — «Перекреститесь; вы грезите»! — «Не тебе ли что причудилось?»

Спор поднялся не на шутку. Все хотели быть правы, и Филонида стояла твердо, что она ни шагу из спальни не делала и тени шутовой не видала. Няньки и мамки уверяли, что все они при свете месяца очень хорошо рассмотрели ее рыцаря, слышали его голос и получили подарки. Тут устрашенная надзирательница вскричала: «Видно, в моем образе был здесь оборотень! Сейчас посмотрим»!

Она трижды перекрестилась, проворно вошла в комнату Евгении — и окаменела. Постель молодой госпожи была даже не тронута; везде пустота и безмолвие. Болезненный вопль Филониды раздался из угла в угол, испуганные служанки вскочили с постелей и бросились ей на помощь. «Неверные! окаянные! — вопила она,— чего смотрели вы, когда безбожный шут Куфий уводил Евгению? Ах, злодей! Можно ли было только подозревать? Так для того он и подбивался ко мне! Ах, вероломный! Ах, душегубец! Вот подлинно несчастие! Однако терять времени не для чего; их еще догнать можно. О, горе! о, беда!»

С сими словами, растрепав косы и теребя себя по бокам, кинулась она в покои гетмана и застала его на прощанье с нареченным зятем, а Куфий на ту пору, стоя в

углу, доканчивал кубок. «Высокоповелительный гетман! — кричала Филонида в отчаянии,— долгом поставлю донести, что злокозненный шут Куфий теперь только увел дочь твою Евгению и оба провалились без вести».

Гетман и князь Станислав поражены были сим доносом. «Куфий? — спросил первый с крайним замешательством,— но когда он успел это сделать, находясь при мне целый вечер и половину ночи?» Куфий, утирая усы, подступил к своей возлюбленной, обошел ее кругом и плачевным голосом промолвил: «Ах, как жаль, что такая молоденькая красавица рехнулась ума! Конечно, ей привиделся домовой в моем наряде! Не печалься, душа моя! Помолись усерднее, и вся сила вражия тебя не одолеет!»

«Пусть так! — вскричал наконец Никодим,— я своим глазам больше верю, чем ушам, и знаю, что Куфий был при мне безотлучно; но куда ж девалась Евгения? О женщины, кто постигнет ваши прихоти? Не она ли казалась совершенно довольною моим выбором, а накануне свадьбы скрывается! Но почему знать; может быть, она пробралась в дворцовую церковь, дабы наедине помолиться господу богу о ниспослании счастия в новой жизни. Не надобно никого винить, не видя ясных причин к обвинению. Поищем ее подле себя, не делая огласки, и я надеюсь, что найдем!» — «Но зачем же,— сказала рыдающая Филонида,— зачем, идучи на молитву, брать в проводники оборотня и надевать мое спальное платье?» — «Твое платье?» — спросил с пасмурною важностию отец, и печальная надзирательница поведала подробно, что сама узнала от служанок.

Теперь нечего было сомневаться, что Евгения не с тем вышла из своей комнаты, чтоб когда-нибудь или по крайней мере скоро в нее возвратиться. Гнев отца, оскорбленного в глубине души, и негодование жениха, коего надменность столько унижена, были неописанны. Тот же час дано приказание делать обыск во дворце и в доме Калестина, ибо многие полагали, что домовой в шутовском наряде был не иной кто, как дерзкий любовник Леонид; сверх всего, отряд из полка гетманского послан объездить все окрестности Батурина, чтобы, буде встретит беглецов, задержать и представить в столицу; словом, все было в сильном движении, в суете, но успеха не вышло нисколько. Три дни и три ночи прошли в бесполезных поисках и, наконец,— по обыкновению,— все утихло во дворце и городе; литовский князь отправился восвояси, один гетман

пребыл в гневе непрерывном. Тщетно Куфий советовал ему простить дочь виновную и объявить о сем во всех концах Малороссии,— нет! он дал клятву искать случаев к примерному отмщению.

Глава VI

Похороны

Желая утешить больного, огорченного дядю, утром на другой день после сего я подробно уведомил его об удальстве своем и Леонидовом. «Благодарение небу! — воззвал Калестин,— я умираю не без отмщения, и память моя не будет поругана! Объяви сыну и потомству его мое благословение!» При сих словах он поднял вверх руки, устремил в потолок неподвижные взоры, вздохнул — и его не стало. Ты можешь, Неон, вообразить горесть мою, да и как равнодушно снести в одно время потерю брата и дяди, коим обязан был более, нежели жизнию! Опрятав усопшего с надлежащею честию, уложил в великолепном гробе и поехал во дворец. От придворного старшины настоятельно потребовав свидания с гетманом, был введен в его комнату, где, отдав глубокое почтение, сказал: «Высокоповелительный гетман! письмо твое к дяде Калестину имело наконец свое действие! Он оставил уже все требования на дочь твою для своего сына, остается совершенно спокойным и тебе равномерно желает мира и спокойствия».— «Хотя сын его,— отвечал он,— огорчил, обидел меня несказанно, так что и до гроба не надеюсь быть утешен, но для меня отрадно, что старый друг мой ничего не знал о сем преступном деле. Хотя я Леонида никогда уже не увижу или увижу на эшафоте, но Калестина охотно приму в свои объятия, и он по-прежнему останется моим другом и первым вельможею в совете».— «О гетман! — сказал я с тяжким вздохом,— мой почтенный дядя не имеет уже нужды в земном величии!» — «Как, что это значит?» — спросил гетман протяжно и изменяясь в лице. Вместо ответа я зарыдал, закрыл глаза руками и отошел к стороне. «Понимаю!» — сказал Никодим и замолк. Горестное безмолвие длилось несколько минут. Когда я утер слезы и взглянул, то увидел, что и он сидел за столом, склоня голову на руки и закрыв глаза. Тогда Куфий, тут же находившийся, подошед к нему, сказал: «Добрый человек! Я знал Калестина и уверен, что он теперь на тебя не

ропщет. Мы ненавидим смерть и представляем ее в виде ужасного чудовища, пока душа наша пребывает в теле; но как скоро она избавится от сего тягостного ига, то мы взглянем на нее с любовию, и она покажется нам в образе прелестного благодетельного ангела, и тогда на все земное будем смотреть, как теперь смотрим на самые черные, гнусные вещи».

Умствующий Куфий достиг своей цели: гетман встал, прошел по комнате взад и вперед и, вздохнувши, произнес: «О мудрый сын Давидов! сколько справедливо сказал ты: суета суетств и всяческая суета! — Тогда, подошед ко мне, спросил: — Когда же располагаешься отдать последний долг своему дяде?» — «Послезавтра»,— отвечал я, и мы расстались.

Весь город любил покойного дядю за его честность, добродушие и готовность к помощи. Немало подивился я, когда накануне похорон дворецкий подал список особ, кои, посещая покойного, объявили желание проводить гроб до могилы, а это значит, что приготовились по окончании печального обряда хорошо поесть и попить в его доме. Дядя всегда был запаслив, и угощение великого множества народа не делало остановки; но меня затрудняла мысль, где уместить всех. Подумав о сем обстоятельстве, я решился в столовой комнате угостить духовенство и почетнейших людей, а для прочих разбить на дворе шатры, которые равно пригодны во время дождя и ведра. Я приказал сделать нужные на сей предмет распоряжения.

Поутру, в уреченное время, явились духовные и миряне. Все готово было к начатию отпева, как на улице раздалась унылая, плачевная музыка. Мы бросились к окнам, и общее удивление было немалое, когда увидели гетмана, сопровождаемого знатнейшими чинами военными и целым полком телохранителей. Позади его развевалось знамя Малороссии, последуемое множеством пушек. Все одеяние повелителя было черное бархатное, вышитое серебром; сабля и кинжал вложены были в такие же ножны. Мы все, как духовные, так и светские, стали в надлежащий порядок и дали свободный путь высокому посетителю. Он вошел в покой, приблизился ко гробу, облобызал чело покойного и стал у возглавия с такою важностию, с таким спокойствием, с таким даже равнодушием, что подивились все, коим известна была прежняя дружба его с Калестином, а известна она была всем до одного. Но когда томные, унылые гласы провозгласили преставившемуся

вечную память и приглашали всех предстоящих к отданию ему последнего целования, гетман не мог более крепиться; он задрожал, припал на труп, обнял гроб обеими руками и зарыдал горько. Все поражены были сим неожиданным явлением, и слезы брызнули из глаз каждого. И действительно, кого не тронет до глубины сердца сколько горестное, столько и — если смею так сказать — величественное позорище видеть человека, превышающего всех в своем отечестве властию и могуществом, уступающего наконец силе природы наравне с последним из рабов своих!

Никто не дерзал прервать сетования Никодимова. Он скоро, однако, укрепился; облобызал чело, губы и руки Калестиновы и в горестном безмолвии отошел от гроба, утирая белым платком глаза свои и щеки. Общее прощание кончилось. Гетман шел с открытою головою позади гроба. По опущении оного в могилу произведена была пальба из пушек и ружей, и, по отдании сей последней чести, все возвратились в дом Калестина, не исключая и гетмана, удостоившего обед наш своим присутствием. Вскоре после стола он, с приличною свитою, отправился во дворец, а прочие гости начали бражничать, ибо его пребывание удерживало всех в границах строгой благопристойности. Не знаю, хорошо или худо установлено, чтобы по предании земле родственника или друга заводить пиршества; но утвердительно говорю, что пиршества такого рода, какие у нас в употреблении, то есть исполненные во всем излишества, отвратительны, следовательно,— никуда не годятся.

Несколько за полночь никого из посторонних не оставалось в доме. Я вздохнул покойнее и лег в постелю, но не мог уснуть: обстоятельства сего трогательного дня беспрестанно представлялись моему воображению, а не меньше того и участь Леонида меня занимала. Пока существовал Калестин, то все еще можно было ожидать, что гетман, рано или поздно, сжалится над дочерью и зятем и дозволит опять сердцу своему дать им имена сии; но со смертию сего друга такая надежда была бы уже тщетною, и я очень был уверен, что если раздраженный отец откроет убежище Леонида, то погибель его, а может быть и моя, будет наградою за премудрую нашу выдумку и произведение оной в действо.

На третий день, по определению войсковой канцелярии, все имение Калестиново описано на казну, и я должен был переселиться в дом родительский. Как собственного

моего имущества весьма достаточно было к хорошему содержанию, то я нимало не печалился о сей потере, которая была началом мщения гетманова. Состояние Леонида и Евгении также меня с сей стороны не беспокоило, ибо я знал, что брат мой запасся на дорогу большою суммою денег, а Евгения, по совету дальновидного Куфия, не опустила взять дорогих подарков, какие по временам получала от отца и родственников.

Должность исправлял я сколько можно ревностнее и всегда доволен был благосклонностию гетмана; но как время стояло мирное, то у меня много было досугов, и я, опасаясь скуки, сего яда душевного, взял в дом к себе ученого иезуита, лишенного в батуринской семинарии должности за некоторые вольные мысли, обнаруженные им при многих слушателях. Прилично ли в самом деле бедному монаху умствовать, и притом в столице, в противность общим мнениям и господствующему исповеданию? Но как я давно уже перестал считать себя мальчиком, то и не боялся еретических умствований и смело его к себе приближил. Время мое текло между исправлением должности и упражнением в науках или, лучше, в повторении того, что знал прежде и что забыто было с течением довольно долгого времени.

Отец Василиск, мой мудрый наставник, был лет пятидесяти. Сколько я ни старался откормить его, но он все походил на усохшую сосну. Это мне не нравилось, ибо, по какому-то предубеждению, я думал, да и теперь даже той веры, что человек совершенно здоровый в хорошей жизни, если не сделается тучен, что означало бы его леность и бездействие, то и тощим не будет; в противном случае я не хочу сомневаться, что в нем нечиста совесть, и это есть единственное причиною его худощавости. Впрочем, сие неудовольствие не мешало мне пользоваться его ученостию и опытами, приобретенными в течение полувековой жизни. Я охотно дозволил сему монаху говорить предо мною все, что ему угодно, но отнюдь не обнаруживать пред моими домашними тех мыслей, за кои выгнали его из семинарии; он также пользовался полною свободою в комнате своей распевать латинские молитвы до усталости. Словом, со всех сторон казалось, что он мною, а я им довольны были, и таким образом прошел целый год. Все, что только смущало меня до крайности, было молчание Леонидово, и я совершенно не знал об участи моего брата.

Наконец, к неописанной моей радости, и сия горесть сердечная рассеяна, уничтожена. В один вечер, когда я и Василиск с довольным жаром беседовали и — как водится между учеными — спорили, не соглашаясь, какому великому философу дать преимущество в положениях о происхождении добра и зла, о свободе или ограниченности нашей воли и проч., слуга, вошед ко мне с письмом, сказал: «Какой-то незнакомый крестьянин, вызвав меня к воротам и отдав сию бумагу для вручения тебе, пошел прочь скорыми шагами и немедленно скрылся. Не считая за нужное его преследовать, я спокойно воротился в дом». Надпись на письме была на мое имя, но рука совершенно незнакома. Разломав печать и взглянув на подпись, я вскочил от радости и воскликнул: «Слава богу! наконец я узнаю теперь, мои любезные изгнанники, о месте вашего пребывания! Не осуди, честный отец!» С сими словами я оставил изумленного иезуита и побежал в свою комнату.

Тут дядя Король взял одну бумагу из лежавших пред ним и прочел следующее:

«Теперь только, мой любезный друг и брат, я нашел случай о себе уведомить, хотя обстоятельства дела и любовь наша к тебе, совокупясь с вечною благодарностию, давно сего от нас требовали.

В самую ту решительную и вместе счастливую ночь, когда ты, в виде Куфия, умел исхитить из неволи и вручить мне Евгению, милую трепещущую Евгению, мы поскакали по пирятинской дороге, и когда начала заниматься заря, то были уже в верстах в тридцати от Батурина. Во все это время нежная моя сопутница плакала беспрестанно; я утешал ее и — также плакал; да и мог ли я удержаться от слез, воспоминая, что оставляю доброго отца и примерного друга, оставляю, может быть, до конца жизни.

Перед восходом солнечным увидели мы впереди недалеко от дороги небольшое селение и услышали звон колоколов. Ты припомнишь, что этот день был воскресный. Я приказал ямщику своему поворотить к молодому перелеску, на правой стороне зеленевшему, и удалился в чащу оного. Тогда, по сделанному условию, моя стыдливая Евгения скинула с себя платье Филониды и оделась в приготовленное мною крестьянское, под пару мне; ибо тебе также памятно, что я в то же время превращался в крестьянина, как ты в шута. Ах! как мила, как прелестна показалась мне Евгения и в сем простом наряде!

Белая, тонкая сорочка, розовая плахта[1] и голубая запаска[2] делали ее прелестнейшею поселянкою. Прочие украшения составляли: две ленты, коими перевиты были косы, сложенные на голове в виде короны, а на пальцах несколько медных колец под фольгою. Я не мог налюбоваться ею и беспрестанно целовал ее руки, ибо большего счастия я не смел ожидать еще от робкой красавицы. Въехав в селение, мы остановились в крестьянской избе, где я сплел о себе хозяевам повесть, какая мне пришла на мысль. После сего дав нужные приказания проворному ямщику своему Андрону, я отправился с Евгениею в церковь. Во все время богослужения мы усерднейше молились господу богу о ниспослании нам в новом роде жизни счастия, какого будем достойны. По окончании заутрени мы обвенчаны, и честный иерей не мог и подумать, кто такие были бракосочетавшиеся, хотя мы и не скрыли подлинных имен своих. Но мало ли на свете Леонидов и Евгений?

Боже! Какое чувствовал я тогда блаженство! с каким умилением слушал литургию и воссылал мольбы свои к богу любви и милосердия! Тогда-то ощутил я превеликую разность между любовию обыкновенною и супружескою. Я и до того времени — ты сам знаешь — страстно любил Евгению и считал ее дороже моей жизни; но с той минуты, когда пред лицом бога священнослужителем его она отдана мне на всю жизнь и в присутствии множества христиан названа частию самого меня, я смотрел на нее — как тебе выразить, мой Диомид? — я смотрел на нее, как на свою душу, душу прелестную, разумную, бессмертную, какою вышла она из рук создателя. Каждый взор Евгении был для меня источником бесконечного блаженства; пожатие руки ее, мне кажется, оживило бы меня и на одре смертном!»

— Пришествие Евареста,— говорил дядя,— прервало мое чтение. Но как он знал всю общую тайну и принимал в деле сем немалое участие, то я вознамерился открыть ему и дальнейшие обстоятельства. Прочитав до места, где теперь остановился, я продолжал вслух следующее:

«По окончании священнодействия, когда возвратились мы на квартиру, то нашли, что расторопный Андрон успел уже бричку и двух коней продать корчмарю жиду, а

[1] Род шерстяной юбки различного цвета.

[2] Шерстяной передник.

на место первой купить крестьянскую кибитку, в которой удобно поместили постель и баул с пожитками. Хотя крайне хотелось нам отдохнуть в сем месте и провести остаток дня и ночь, но благоразумие требовало сколько можно скорее и дальше удалиться от Батурина; почему, отобедав наскоро, я приказал Андрону впрячь в кибитку остальных двух коней и возвратиться домой, а сам, усадя мою милую крестьянку, взмостился на козлы и пустился в дорогу. Путешествие наше в день сей шло успешно, и было бы еще успешнее, если бы я почти каждую минуту не оборачивался назад, дабы взглянуть на Евгению, поймать ее улыбку и отблагодарить за нее страстным взглядом. Прибыв к ночи на малолюдный хуторок, мы остановились там до восхода солнечного.

Уже пять дней и пять ночей прошло, как мы были в дороге. О! какое счастливое время! Диомид! у меня нет сил описать тебе мое блаженство! Оно так велико, так усладительно, что ничье перо изъяснить того не может! Но ты можешь чувствовать его, мой достойный друг и брат, можешь им наслаждаться, ибо ты, по образованному уму и доброму сердцу, того достоин. Стоит только тебе найти такую девицу, как моя Евгения,— может быть, это хотя отчасти возможно,— и сделаться любезным ей супругом, тогда и ты будешь пить блаженство из той же чаши, из коей ныне пью я!

В середине шестого дня небо начало облекаться тучами, которые, соединяясь вместе более и более, затмили природу и из светлого полудня произвели серый вечер. Заблистали молнии излучистые, раздались ужасные удары грома, посыпался крупный град, и дождь пролился ливнем. Я остановил лошадей, дабы укутать Евгению и избавить ее от воззрения на сии грозные виды, способные и мужчину привести в трепет. Исправляя сие дело, я заметил, что робкая жена моя, бледная, смятенная, закрывала руками лицо и стоны вырывались из колеблющейся груди ее. «Что с тобою делается, моя милая?» — спросил я в крайнем смущении. «Увы, Леонид! — отвечала она дрожащим голосом,— праведное небо настигло наконец преступников. В сем ярком блеске молнии вижу я раздраженный взор отца моего; в сих грохотах грома слышу грозные речи его, исполненные проклятия; в сих порывах ветра чувствую его тяжкие стоны и в сих дождевых потоках вижу его горькие слезы. О, я несчастная! Для чего наслаждения любви покупаются так дорого?» Тут упала она

ниц лицом, и громкие рыдания заглушили голос ее. Сие неожиданное явление растерзало сердце мое. Не отвечая ни слова, да и что мог отвечать я в сем случае, я опустил занавес кибитки, надел свиту [1], накинул на голову торбу [2] и поехал далее шагом.

Гроза была ужасная. Часто от пламенных разливов молнии кони мои останавливались и от громового треска падали на колени. Река дождевая затемняла воздух, и когда по моему расчету наступал вечер, то на небе была уже ночь самая мрачная. Я сбился с дороги и, не надеясь отыскать ее, мало о том и думал, дал волю коням брести, куда хотят, и прислушивался только, не продолжаются ли стоны моей Евгении. Не слыша ничего, я несколько успокоился.

Долго пробыл я в сем несносном, убийственном положении. Опасаясь, чтобы робкие животные не опрокинули повозки в буерак или реку, я сошел с козел и брел, так сказать, ощупью, держа в руках вожжи. С трудом выдергивал я из грязи ноги, и одна пламенная любовь могла только меня поддерживать. «Потерпи, Леонид,— говорил я сам себе,— ты умел блаженствовать в объятиях Евгении, умей теперь для ее спокойствия сносить все, что может представить противного злая судьбина; одна улыбка прекрасной жены твоей достаточно наградит за все труды, за все опасности».

Гроза утишилась, тучи рассеялись, и серебристый месяц покатился по синему небу. Я радостно вздохнул, остановился и загрязненною рукою стирал пот с лица своего. Откинув занавес повозки, я сказал: «Успокойся, милая Евгения, буря прошла в небе, и светлый месяц улыбается. Дозволь, подобно ему, просиять отраде в душе твоей после возмущавшей ее бури! Приподнимись, взгляни на небо и благослови того, который дает иногда волю вихрям, громам и молниям свирепствовать, но вскоре после того, в виде лучезарных светил небесных, отечески улыбается к сынам земли!» Евгения привстала, взглянула на безоблачное небо и — улыбнулась. Светлый месяц облобызал алые уста ее, и твой брат, упоенный радостию, побрел далее, брел, брел и, наконец, совершенно выбился из сил.

К великому теперь удовольствию моему, корчмарь, у коего мы в тот день обедали, вместо сдачи на червонец,

[1] Верхнее суконное платье у крестьян.
[2] Род капюшона у свиты.

по неимению — по словам его — мелких денег, почти насильно сунул в повозку несколько булок и сулею с вишневкою! Как я на ту пору благодарил его за мошенничество сего рода! Я, конечно, мог бы еще продолжать путь, сидя на козлах; но, видя, что и кони мои едва волокли ноги, остановился, отыскал сей запас и, принудив жену, также всю обмокшую (ибо, хотя циновка на крыше повозки была новая, но все же не кожа, и не могла, вбирая в себя дождь, не передавать его во внутренность), проглотить несколько капель своего эликсира, истинно на такие случаи спасительного, и поесть булки, принялся насыщаться с такою охотою, которая до того времени была мне незнакома, ибо я во всю жизнь не бывал в подобном переделе.

По насыщении нашем надобно было думать о покое. Евгения кое-как отыскала сухое место и улеглась, но мне нельзя было и подумать к ней приближиться; с головы до ног я облеплен был грязью, а сверх того, казалось опасным оставить лошадей без надзора, хотя я твердо надеялся, что они после претерпенного мучения и не подумают тронуться с места. Подумав о сем обстоятельстве, я привязал вожжи к козлам, а сам, скорчившись в три дуги, на них же улегся. Чтобы не уснуть, я начал припоминать прошедшие случаи моей жизни и рисовать прелестные картины для будущего. Поверишь ли, мой любезный брат, что в тогдашнем положении, конечно, во всех отношениях невыгодном, одна мысль, что я обладаю Евгениею, что она подле меня, что я оставил ее в положении гораздо лучшем, нежели мое, делала меня благополучным. Ведь не всегда же я буду гнуться на козлах в ночную пору: придет время, воссияет солнце светлое, я обсохну, взойдет месяц безоблачный, и я успокоюсь в объятиях моей супруги. Поверишь ли, Диомид, что я в такое, по-видимому, горестное время считал себя счастливейшим человеком.

Весьма часто высовывал я голову из торбы, чтобы посмотреть, не начинает ли светать; но всякий раз, находя небосклон, покрытый сумраком, вздыхал и опять прятался в торбу. Наконец сон начал одолевать меня, и я, сколько ему ни противился, но неприметным образом уснул. Как я после упрекал себя за сию оплошность! Самое меньшее зло, что лошади могут быть украдены и мы остались бы середи поля одни в ожидании какой-нибудь встречи.

Я проснулся от страшного вопля и шума. Вскакиваю с поспешностью, сажусь на козлах и хватаюсь за вожжи. Опомнясь несколько, осматриваюсь во все стороны и вижу вправе несколько кибиток с парусинными наметами. Они примыкались к густому лесу; перед ними на траве разложен был большой пылающий костер дров и на железном треноге висел огромный котел. Человек с десять мужчин стояли впереди моих лошадей с изумленным видом, ибо, как казалось, они полагали, что в кибитке никого нет, и считали ее благословенною находкою. Несколько мгновений я не знал, на что решиться и за кого счесть лесных обитателей; но, осмотрев их прилежнее, а особливо их жен и детей, сидевших у огня, увидел, что они не что иное, как плащеватые цыгане и что бояться их нечего, а только крайне надобно беречься».

Тут дядя Король, положив письмо на стол, сказал:

— Я уверен, что ты, Неон, худо знаешь людей сего рода, и потому дам тебе краткое о них понятие. Это не что иное, как и обыкновенные цыгане, но только дичее прочих. По селениям живут они только одну зиму, а с начала весны до глубокой осени кочуют у лесов и в самых даже лесах. Летнее жилище каждой семьи, как бы она, впрочем, ни была многолюдна, составляет одна кибитка с парусинным, суконным, войлочным или из всех сих изделий сшитом по лоскуткам навесе, защищающем их от ведра и ненастья. Одежда как мужчин, так и женщин состоит в одном плаще, накинутом на плеча, дети же их до совершенного возраста пресмыкаются вовсе нагие. Промысел их состоит: для мужчин в охоте, для женщин в ворожбе, для детей в пляске перед проезжими, а сверх сего, для всех вообще в воровстве, в коем они величайшие искусники. Пляски их так срамны, так отвратительны, что надобно быть очень бесстыдну, чтобы смотреть на них без зазрения совести. Жизненные потребности всякого рода исправляют они без малейшего понятия не только о законе, но даже и благопристойности. Родители в таких случаях и не думают стыдиться детей, а дети родителей,— да и чувство родства и крови почти для них незнакомо. Браки между ними также очень просты. Как скоро холостой парень удальством своим, то есть мошенничествами разного рода, приобрел кибитку с навесом, коня со сбруею и пару плащей, сшитых обыкновенно из разноцветных лохмотьев, находимых ими по деревням в сору, то ему дается от атамана позволение выбирать невесту. Тут же-

них, не объявляя никому, для которой из взрослых девок всего становища назначает он сей завидный жребий, собирает, сколько может, больше приятелей, и все пускаются на промысел. Они у одного крадут что попадется и продают другому, между тем и у сего также крадут и также продают третьему. Словом, проведши в таком упражнении неделю или более, они имеют уже довольно в запасе кур, гусей, уток и поросенков. Иногда удается им стянуть барана и угнать теленка. На приобретенные вышеупомянутою торговлею деньги, а иногда также проворством, запасают они вино в таком количестве, чтоб стало довольно для всего стана, ибо в сих случаях и малые дети за долг поставляют участвовать. Когда же все к пиршеству готово, то перед кибиткою жениха разводится великий костер дров и навешиваются котлы на треногах, а жених идет к атаману и объявляет имя избранной счастливицы. В одну минуту узнает о сем весь стан, невесту ведут к ближнему ручью или озеру и тщательно вымывают, ибо нередко до той минуты бывает она по уши в грязи; после сего с торжеством, состоящим в пении страшных песен и в такой же пляске, подводится она к жениху, который накидывает на нее плащ и обнимает с нежностию сатира. Она садится с ним рядом у костра, выпивают попеременно плошку вина, разбивают ее вдребезги с криком и воплем, и таким образом законный брак заключен по всем правилам. Тут открывается общий пир, и когда все сделаются сыты и пьяны, то молодых укладывают в кибитку и продолжают торжество до тех пор, пока не будет съедено и выпито все припасенное.

Погребение у сих извергов бывает также уродливо. Умершего собрата без дальних церемоний относят нагого на несколько саженей в лес, вырывают мелкую яму, опускают в оную и прикрывают листьями и травою. После сего родственники и друзья покойного пускаются на обыкновенный промысел, и пока не добудут всего нужного, на что иногда требуется дней до десяти, до тех пор труп гниет и нередко бывает приманкою для волков и лисиц, отчего случается, что когда придут все прикрыть его землею, то находят в ней одни оглоданные кости.

— Теперь, Неон,— продолжал дядя Король,— имеешь ты некоторое понятие о плащеватых цыганах.— Потом, взяв прежнее письмо в руки, начал читать.

Глава VII

Измена

«Добрые люди,— сказал я,— объявите мне из милости, далеко ли отсюда до какого-нибудь селения?» — «Ах! как жаль,— говорил цыганский атаман,— что ты здесь очутился. Я намерен женить своего сына, и твоя кибитка с конями весьма бы мне пригодилась. Что же касается до твоего вопроса, то я отвечаю, что ближе десяти верст не сыщешь ни одной хаты. Каким образом ты здесь очутился?» — «Пан атаман! — был ответ мой,— как я здесь очутился, до тебя не касается; а если покажешь мне дорогу до первого селения, то в убытке не будешь!» — «Согласен! — вскричал атаман,— но с тем, чтобы ты довез меня до сельца Мигуны, лежащего несколько в стороне между городом Переяславом и селом Хлопотами. Там я имею дом, который намерен продать; ибо он, стоя невдалеке от других хат, весьма неудобен для сбережения животины, которую мне и моим честным собратиям удается достать в свои руки».

По заключению сего торга он сел возле меня на козлы, взял вожжи, и — мы поплелись по полю, ибо не только дороги, но и тропинки не было. На досуге захотел я посмотреть, что делает моя Евгения, и нашел, что она давно уже не спит, что слышала все приключение с цыганами и не показывалась единственно из опасения, чтобы не возбудить нескромного любопытства сих чудовищ, не знающих законов чести и стыдливости. Атаман столько выхвалял передо мною доброту своего дома и сада, что я вознамерился купить его, как скоро он и Евгении покажется удобным. Я сообщил мысль сию цыгану, и он более прежнего начал выхвалять все изящество сей маетности. «Никогда,— кричал он, ударяя себя в грудь,— никогда не расстался бы с сим райским местом, если бы по грехам моим не жили весьма близко бессовестные соседи. Если иногда, бывало, поможет господь затащить к себе свинью или барана, то хрюканье одной и блеянье другого так слышны, как на улице; лихие соседи опрометью прибегают, ищут, находят — и, кроме хлопот, нет никакой прибыли».

По прибытии в сельцо Мигуны мы остановились в доме цыганского атамана. Строение было хотя не старое, но запущено совершенно; садик наполнен плодовитыми де-

ревьями, одичавшими хуже лесных; огород порос крапивою и репейником. Однако, осмотря все внимательно, мы нашли, что, употребив немного денег и приложа довольно старания, можно будет из сего логовища звериного сделать удобное и приятное жилище человеческое. Нимало не мешкая, мы условились в цене; я выбрал в свидетели священника Гервасия и отсчитал цыгану условленные двести злотых. Тут-то, любезнейший друг, я поселился под званием польского выходца из шляхетства. Отец Гервасий, приметя, что мы люди неубогие, приискал нам батрака и работницу, а сверх того, приказал старшей дочери своей составлять беседу с Евгенией во всякое время, когда только того потребуют.

Запасшись нужными для дома пожитками и орудиями, я принялся с помощию батрака за обработание сада и огорода, и как пора весенняя не совсем миновала, то я в последнем насеял множество разных овощных и цветочных семян и с радостным биением сердца ожидал всхода оных. Каждый день с раннего утра до обеда и с обеда до вечера я занят был работою или в доме, или в саду, или в огороде. Я совершенно был бы счастлив, если бы непрерывного покоя души моей не возмутила печальная новость. У отца Гервасия один сын находится в переяславской бурсе, и он-то сообщил отцу своему разнесшийся слух о похищении гетманской дочери, о неукротимом гневе отца ее и о кончине полковника Калестина. Я и Евгения пролили слезы горести и воссылали теплые мольбы к богу милосердия о успокоении души блаженного.

Время все уносит на крилах своих, и наши радости и печали. К скорейшему утешению нашему не мало способствовало состояние Евгении, имевшей несомнительные признаки, что она будет матерью. Ах, Диомид! ты никогда не ощущал сего кроткого усладительного чувства: «Я даю жизнь новому созданию в мире». С каким восторгом смотрел я на *свою* Евгению! Мне казалось, что она теперь сделалась более моею, нежели была прежде. Каждый взор на нее был для меня источником нового блаженства.

За шесть перед сим недель благое провидение обрадовало меня дарованием сына, которого нарекли мы Неоном. Сколько радости, сколько восторгов! Мне и на мысль не приходила потеря имения, почестей, звания. Я чувствовал, что счастлив в полной мере, чего ж еще более?

Прости, мой любезный друг и брат! Один из мигуновских крестьян по своим нуждам отправляется в Батурин,

и я кое-как склонил его доставить тебе это письмо. Сей простой, добросердечный человек так боится чиновных людей, что и смотреть на них даже издали не дерзает; суди же, чего мне стоило уговорить его побывать в твоем доме. Не найдешь ли ты какой-нибудь возможности урваться от дел и несколько дней посвятить мне и моей Евгении? Я уверен, что сии дни не будут для тебя потерянными. Если вздумаешь писать к нам, то сыщи сам человека верного, ибо моего посланного селянина едва ли ты увидишь. Твой навсегда

Леонид».

Дядя Король, окончив чтение письма, продолжал повествование.

— Я и Еварест чрезвычайно были веселы, получив такое сведение о нашем общем друге; мы были счастливы его счастием.

Спрятав письмо в лежавший на столе Патерик [1], я отправился с Еварестом, дабы провести вечер с его семьей, ибо за месяц перед тем я сговорен был на сестре его Асклиаде, и до брака оставалось ждать недолго. Домой возвратился я очень поздно и лег в постелю с самыми приятными мыслями. Я надеялся быть скоро столько же счастлив, как и Леонид, или еще более, ибо меня не отравляла горестная мысль, что счастие мое есть похищенное.

Поутру я лежал еще в постеле в положении полусонного, как вбежавший в спальню испуганный слуга разбудил меня. Не успел я спросить о причине сего замешательства, как появился Еварест в сопровождении пяти слуг. Он был бледен и трепетен. «Вставай, Король, сию минуту вставай и спеши в свою учебную комнату». Он схватил меня за руку, стащил с постели, накинул на плеча черкеску и поволок за собою. Я находился в самом странном положении и не знал, шутку ли играет друг мой, или в самом деле опасность мне угрожает. Когда я вовлечен был в помянутую комнату, то Еварест грозно сказал: «Если ты не хочешь остаться совершенно нищим и жить от сострадания других, то подавай сейчас все твои деньги и дорогие вещи». Я изумился, смотрел на него с вопрошающим взором и не знал, что отвечать. «Где письмо Леонидово?» — вскричал Еварест. Я бросился к столу, раскрыл Патерик и остолбенел, не найдя рокового письма.

[1] Одна из церковных книг, в коей описывается житие киевских древних угодников.

«Не трать по-пустому времени,— сказал томно Еварест, взяв меня за руку,— письмо сие находится теперь в руках гетмана».— «Боже! — сказал я с трепетом,— неужели брат мой погибнет? О, я несчастный!»

«Да,— говорил Еварест,— ты действительно несчастлив, что приближил к себе еретика Василиска; он твой Искариот. Но отдавай мне на сохранение все твои деньги и лучшие вещи. Тебя спасти я не в силах; но что могу, то сделаю».

Я и сам очень ясно видел, что каждая минута приближает мою погибель. Тот же час на слуг Еварестовых навьючены были мешки с серебром, золотом, дорогою посудою и оружием. Я оставил при себе один кошелек с несколькими стами червонных и ожидал, чем кончится сей странный случай. Весь дом узнал об угрожающей опасности, и смятение, плач, вопль, стоны поколебали стены. «Итак, Леонид, беспечный и счастливый брат мой, погибнет!» — вскричал я, ломая на руках пальцы. «Будь рассудительнее,— сказал с важностию Еварест, похаживая по комнате.— Неужели думал ты, что сбережение твоего серебра и золота озаботит меня более, нежели спасение нашего друга? Как скоро благородный Куфий известил меня об угрожающей опасности, то я в ту же минуту снарядил самого надежного из слуг своих скакать сломя голову в сельцо Мигуны и обо всем известить Леонида, дабы он к спасению своему мог принять надлежащие меры. Сколько нам всем известно, то гетман не посылал еще погони для задержания счастливых супругов, следовательно, мой посланный целым полуднем успеет раньше прибыть к ним и обо всем уведомить».

Еварест поспешно удалился, и я, приняв наружно вид совершенно спокойного человека, остался ожидать разрешения судьбы своей. Всякое покушение к побегу казалось мне весьма неразумным, ибо, вероятно, на всех заставах приказано уже задержать меня, и я поступком сим умножил бы только гнев гетмана и вину свою.

Через час после сего полковник стародубовского полка, почтенный старец и хороший приятель моего покойного дяди, прибыл ко мне в дом в сопровождении двадцати гетманских телохранителей. «Друг мой Диомид! — сказал он с горькой улыбкою,— для меня крайне прискорбно, что теперь, посещая тебя, должен быть твоим стражем. Что делать! я человек подвластный и обязан исполнять повеления старшего. Впрочем, будь доволен, что на меня пал

жребий охранять тебя. Всякий другой на моем месте постарался бы угодить раздраженному гетману и стеснил бы твою свободу; но я сего не сделаю. Мне известны твои правила, и ты, наверно, погубить меня не захочешь. Делай, что знаешь, но только не выходи из дому и не высылай из оного никакого имущества до разрешения войсковой канцелярии, в которой произведено будет следствие о похищении дочери гетмана. Я полагаю, что самое величайшее зло, какое тебя постичь может, будет не более, как лишение звания и имения, а наконец изгнание из Батурина».— «Разве этого мало?» — спросил я, тяжко вздохнувши. «Друг мой! — отвечал старик,—ведь и потеря дочери также чего-нибудь стоит!»

Три дня провел я в ужасной неизвестности; друзья и знакомые меня оставили; одни Еварест и Куфий скрытно посещали дом мой. Наконец вышло определение, какое предрекал страж мой и которое тебе, Неон, уже известно. С стесненным сердцем, с растерзанною душою сел я на коня и выехал из Батурина. Первая мысль моя была посетить сельцо Мигуны, хотя и твердо был уверен, что не найду уже там ни Леонида, ни Евгении. Так и вышло. Отец Гервасий повестил меня, что искомые мною супруги неизвестно по каким причинам мгновенно скрылись, оставя дитя свое на воспитание вдовой попадье, его невестке. Я бросился к сей особе и, к немалому ужасу, узнал, что младенец неизвестно кем похищен. Что мне оставалось делать? Я был совершенно один во всей природе, и мрачная пустота тяготила душу мою. Не имея никакого занятия, не предположа никакой цели, я бродил из одного места в другое; везде видел лица незнакомые, везде чувствовал сердца чуждые, холодные. Я старался питать алчущих, поить жаждущих, не жалел денег там, где только примечал бедность; но ничто не веселило сердца моего, ибо везде находил обман, своекорыстие, неблагодарность. Расстройство души имело сильное влияние на здоровье тела. Силы начали приметно умаляться, а наконец, совсем исчезли; изнеможение разлилось по всем суставам, и я походил на едва движущийся остов. Так провел я десять лет кочующей жизни, которую и жизнью назвать не должно, и приближился ко гробу, давно мною желанному.

В сие время борьбы остатков жизни со смертию случилось мне проживать в Переяславле на квартире в шинке знакомой тебе Мастридии. Видя меня в сей крайности,

она вместо лекаря призвала ко мне из монастыря инока Герасима, который славился своею ученостию, красноречием и благочестивою жизнию и который вскоре потом в награду за сии достоинства возведен был в степень ректора семинарии. Ты его довольно знаешь.

Разумный Герасим умел скоро приобрести всю мою доверенность, и я не усомнился открыть ему обстоятельства всей жизни моей. Выслушав внимательно, он сказал: «Друг мой! источник твоей болезни есть бездействие души и тела. Если хочешь — при помощи господней — возвратить прежнее здоровье, то найди себе постоянную работу, и ты сам увидишь, что скоро все примет другой вид. Подле квартиры твоей есть продажный домик с небольшим садом и пространным местом для огорода. Теперь самая удобная пора для сельских работ. Начни трудиться, не отлагая времени, помолись богу, и он тебе во всем поможет. В часы, посвященные для отдыха, приходи ко мне. Я могу снабжать тебя из монастырской библиотеки книгами всякого рода, и ты никогда не будешь знать самой мучительной болезни, скукою называемой».

Я послушал сего благого совета, привел его в исполнение, и уже садовничал и огородничал два года, как поймал тебя на воровстве. Ты сам знаешь, как я был здоров тогда и крепок.

Глава VIII

Великая потеря

— Во все сие время,— продолжал дядя,— я не имел ни малейшего сведения о брате Леониде. Я начинал думать, что его нет более в живых, иначе, как бы не найти случая известить о себе лучшего своего друга. Иногда и то приходило мне на мысль, что он не знал моего местопребывания, хотя я и не имел причины таить своего имени. Словом, я не знал лучшего способа к утешению, как работать в огороде, а во время досугов и во дни праздничные читать духовные книги или беседовать с отцом Герасимом, который со времени совершенного моего исцеления взирал на меня с таким же удовольствием, с каким я смотрел на возращенные мною арбуз или дыню. Какое различие находил я между сим кротким, богобоязненным иноком и между моим надменным, неблагодарным иезуитом!

В один осенний вечер, лишь только возвратился я из города и вошел в свою светелку, как незнакомый черноморец бросился ко мне на шею, и горючие слезы его оросили мои щеки. Сначала я крайне изумился; но кто опишет мое поражение, когда в незнакомце узнал любезного друга и брата! «Леонид! — вскричал я с восторгом,— тебя ли обнимаю? Какими судьбами ты опять возвращен мне? С тобою ли твоя Евгения? с тобою ли сын твой? Где они? Введи их сюда скорее!» — «О Диомид,— отвечал брат с новыми слезами на глазах,— благодарение милосердому небу, Евгения опять со мною, но, увы! первенец любви нашей погиб невозвратно. Я простился с женою до завтрашнего вечера и буду иметь довольно времени уведомить тебя о главнейших происшествиях, во время бегства моего из сельца Мигунов случившихся».

Услышав с несказанною радостию, что брат пробудет у меня целые сутки, я принес из погреба добрую сулею наливки и довольное количество разных овощей, а между тем, желая попотчевать милого гостя ужином на городскую стать, я велел батраку заказать в корчме несколько кушаньев по-праздничному. Распорядясь таким образом, мы уселись возле сулеи, осушили по кубку, и Леонид начал свое повествование:

«Ты согласишься, любезный друг, в каком ужасном исступлении были мы, когда гонец Еварестов объявил, что письмо мое к тебе попало в руки непримиримого гетмана, что местопребывание наше открыто и что с часу на час надобно ожидать нарочных, которые нас задержат и представят на суд гонителя. Что предпринять в сей крайности? Куда деваться с малюткою? Не сделается ли он добычею непогод небесных, даже самого солнечного зноя? Да и как прокормит его мать, находящаяся в беспрестанной тревоге, подверженная неизбежным огорчениям! К счастию — мы так тогда думали — пришла нам на мысль знакомка наша Рипсима, вдовая попадья, родственница Гервасиева. Она незадолго до смерти мужа родила и была так дородна и здорова, что, казалось, без всякого изнурения прокормить может двух младенцев. Мы прибежали к ней с своим Неоном, и я, показав ей кошелек с червонными, весьма легко склонил принять на себя новую обязанность, а в случае, буде бы она почувствовала, что ее для двоих детей недостаточно, то дозволялось приискать для нашего сына особую кормилицу и платить ей

из сих денег. Я обещался скоро о ней проведать и вновь прислать вспоможение.

Согласившись во всем, я написал записку, в коей объяснил о законности рождения Неонова, снял с руки своей и Евгениной обручальные кольца, связал их снурком, уместил все в шелковую сумку и повесил на шею малютки. После сего, омыв его слезами и поручив господу богу, выбежали из дому Рипсимы. Я запрег повозку,— ибо она и пара коней всегда у меня на всякий случай оставались в целости,— уклал самое необходимое, взмостился на козлы — и повез свою милую куда глаза глядели. Евгения и теперь проливала слезы, подобно как при побеге из Батурина. «Неужели я рождена для одних только потерь и горестей»,— говорила она и стенала. Я не смел и подумать об утешении терзающейся матери.

С сего времени вели мы кочевую жизнь, пробираясь ближе и ближе к Запорожью. Мне казалось, что жить на тамошних хуторах было всего безопаснее[1]. Но как сии одичалые люди и для своих собратий, а особливо семейных, не совсем были безопасны, то я избрал себе новым местом жительства небольшую усадьбу на берегу Днепра по сю сторону порогов, которая состояла из десяти хат, населенных малороссиянами, упражнявшимися в рыболовстве. В короткое время за небольшие деньги состроили и мне уютную хату; я нанял парня и девку и запасся сетями для ловли рыбы. Тут-то уже я думал быть вне всякой опасности, ибо никому из знакомых не намерен был открывать места своего пребывания, ниже тебе, любезный брат, хотя бы случай и открыл мне твое убежище; ибо я твердо был уверен, что в Батурине тебе не жить более после обнаружения нашего заговора. Таким образом, среди легких трудов, сердечной любви, душевного спокойствия и жизненного довольства провели мы четыре года, и Евгения подарила меня дочерью, которую в ближнем селении окрестили и назвали Мелитиною. У меня было небольшое стадо овец, за которым смотрел работник, несколько коров и достаточное число птиц дворовых. К концу каждого лета приезжали к нам чумаки, привозили муку и соль и меняли произведения сии на сухую и соленую рыбу. Мы ни в чем не имели недостатка, были здоровы, не зная

[1] В Запорожской Сечи строго запрещалось иметь жен и вообще женщин, и те из казаков, кои имели случай жениться, должны были жить на хуторах, занимаясь скотоводством и рыбною ловлею.

лекарств, веселы без больших собраний и пиршеств; и так протекли еще шесть лет.

Тут начала тревожить нас горестная мысль о будущей судьбе нашей дочери. «Что будет с Мелитиною? — говорил я своей супруге,— судя по законам природы и образу нашей простой жизни, мы должны пережить отца твоего, если не будем столько счастливы, чтобы и прежде его смерти получили забвение нашего поступка. Мы возвратимся в отчизну, можем получить назад свое имение; но что начнем с дикою, необразованною, а может быть — одна мысль сия леденит кровь мою — с распутной девкою? Сколько бы тщательно мы ни берегли ее, но как устережем, чтоб она не видалась с своими подругами, чтобы не переняла от них всего, что только есть подлого, предосудительного. Самая благонравная из наших девушек показалась бы в городе извергом бесстыдства».

Обдумав предмет сей с надлежащею осторожностию, я решился подвергнуть себя величайшей опасности, лишь бы спасти Мелитину. Когда я сообщил мысли свои Евгении, то она ахнула и побледнела, ибо мне необходимо надобно было оставить ее одну на довольно долгое время. Однако ж мои доводы и любовь ее к милой дочери наконец ее преклонили. Она отерла слезы и сказала с нежною улыбкою: «Так и быть! поезжай с богом и возвращайся счастливо». В скором времени я собрался, простился с Евгениею и поехал с Мелитиною по направлению к Батурину. Двухнедельная дорога была счастлива, и я, остановясь в одном из хуторов Еварестовых, послал к нему нарочного с запискою: «Один из ближайших друзей твоих желает с тобою видеться». На другой день, рано поутру, прискакал Еварест в хутор. Я не в силах описать тебе его радости, когда узнал меня, и того восхищения, с каким бросились мы в объятия один другого. «Еварест! — сказал я по утешении первых сердечных волнений,— вот дочь Леонида и Евгении! Я вручаю сие драгоценное перло тебе и твоей супруге. Заклинаю нашею дружбою, заклинаю самим богом, прими мою Мелитину и воспитай как дочь свою, так, чтобы она достойна была своих предков. Вечная благодарность наша и ее собственная будет сопровождать каждый шаг твой».

Еварест снова меня обнял и дал торжественную клятву содержать и воспитывать Мелитину под именем своей племянницы. Весь день тот провели мы вместе с несказанным удовольствием и поздно уже ввечеру расстались.

Мы не могли удержать слез своих, малютка рыдала. Я вырвался из их объятий, вскочил в повозку и поскакал во всю мочь конскую. Обратная поездка моя была также благополучна и скорее прежней, ибо никто уже меня в пути не задерживал.

Как радостно забилось сердце мое, когда я издали увидел свою хату! Я летел, а не ехал. Подъезжая поближе, я свистал и сколько было сил кричал на лошадей, дабы дать знать Евгении о прибытии ее друга; однако ж никто не показывался. Въезжаю на двор, шумлю, бурлю — нет никого. Сначала сердце мое окаменело, но быстрая мысль меня успокоила: конечно, она пошла в сей лесок рассеять тоску свою или на берегу Днепра покоится. Я начал хладнокровно распрягать коней. Вдруг является мой работник — и бледнеет. Холодный пот выступил на лбу моем, и глаза покрылись мраком.

«Где хозяйка?» — спросил я дрожащим голосом, ухватясь за повозку, дабы не свалиться на землю. «Ах! — отвечал малый со слезами,— уже боле двух недель, как ее нет здесь».— «Где же она?» — спросил я с судорожным движением. Он говорил: «В одну ночь, когда мы все находились в глубоком сне, вдруг разбужены были шумом и стуком. Я и работница вскочили и бросились в светелку, где спала хозяйка. Там, при свете фонаря, увидел я человек пять черноморцев, из коих главный говорил: «Ты должна повиноваться, и всякое сопротивление теперь не у места». Евгения упала на колени, умоляла о помиловании, но напрасно; злодеи бросились на нее, завязали платком рот, схватили на руки и вынесли на двор. Там стояла уже бричка. Ее уложили весьма бережно; один сел на козлы, а прочие бросились на коней, и все поскакали. Более мы ничего не знаем!»

Ты можешь, Диомид, хотя несколько чувствовать весь ужас тогдашнего моего положения; но я не в силах выразить страдания, какое ощущал в то злополучное время. Целая гора обрушилась на мое сердце, весь ад свирепствовал в душе моей!

Я столько был расстроен, утомлен, обессилен в немногие минуты страдания, что не иначе, как с помощию батрака и подоспевшей работницы мог доплестись до своей комнаты, где и уложен в постелю. Трои сутки пробыл я или в совершенном бесчувствии, или в сумасбродстве. Мысленно сражался я с безбожными похитителями, побеждал их, возвращал свободу моей Евгении и в сем по-

ложении приходил в себя, чувствовал свою бедность и беспомощность и снова погружался в забытье. Наконец — благодарение милосердому промыслу — крепость моего сложения взяла верх, а надежда возвратить когда-либо свою великую потерю довершила мое воскресение. Через неделю я мог уже, хотя дрожащими ногами, бродить по комнате и начал понемногу употреблять пищу. Первое дело мое по выздоровлении было осмотреть наши деньги и пожитки, и я, к немалому удивлению, нашел, что все было цело и на своем месте. Из сего всякий заключить может, что мнимые разбойники при похищении жены моей имели в предмете приобретение ее одной, а не имущества. Новая горесть, новое поле к печальным догадкам!

Когда я столько оправился, что мог довольно твердо стоять на ногах, то взяв к себе деньги и лучшие вещи, остальное все запер в светелке и, дав батраку довольно денег, наказал ему беречь усердно мой дом и стадо во все время моей отлучки, хотя бы продолжалась оная несколько месяцев и даже лет, обещая по возвращении наградить его щедро. После сего, взмостясь на коня, я отправился прямо в Запорожскую Сечь. По прибытии в сию чудовищную столицу свободы, равенства и бесчиния всякого рода тотчас явился я к войсковому писарю, объявил желание быть черноморцем, тут же вписан в книгу под именем Леона Рукатого, и в одном из куреней отведено мне место длиною в сажень и шириною в полтора аршина, которое должно служить мне ночлегом. Получив таким образом право гражданства, то есть высокое право похабничать, забиячить и даже разбойничать (последнее дозволяется только вне пределов запорожских), я исправно оделся по-казацки, вооружился и, дав куренному атаману денег, дабы сделать на них пирушку моим сокуренникам, пустился на коне осмотреть все хуторы запорожские, где жили казаки женатые и дозволялось привитать шинкаркам беззамужним.

В странствии сем пробыл я более недели, но напрасно. Под разными предлогами заглядывал в каждую хату, но и тени Евгении нигде не видно было. Я медленно возвращался домой, и сердечная тоска была неразлучною мне сопутницей.

Мне пришло на мысль, что, может быть, мои достойные сослуживцы, по давно заведенному обычаю, сделавшемуся уже законом, получив во власть свою Евгению, продали ее туркам, татарам или полякам. Такие случаи

между ними весьма не редки. Посему я твердо решился осмотреть все сопредельные к Запорожью стороны.

Удовлетворя и сему желанию, я оставался безутешен, ибо нигде не находил своей потери. Я участвовал во многих походах и сражениях противу татар и турков и сделался известен моим сослуживцам так, что к исходу года пожалован в есаулы. Весьма завидная участь для Леонида без Евгении!

Глава IX

Надежное пристанище

Из всех сподвижников моих на полях брани отличал я и приближил к себе казака Реаса, который телом и ухватками совершенно походил на Адрамелеха[1], а душою на херувима. Никогда робость не разливала трепета в сердце его; но оказать побежденному врагу защиту и помощь было для него необходимостию. Он полюбил меня, сражался всегда возле, и я не один раз обязан был ему свободою и жизнию.

Зима прошла в бездействии, и самым важным занятием была рыбная ловля. Как скоро весна показалась, то мы с Реасом не знали, за что приняться, ибо мирное время не дозволяло нашему оружию быть в действии.

Однажды, когда Реас рассматривал полученную им в разные времена добычу, состоящую в дорогих вещах и оружии всякого рода, то я сказал, что сабля, на ту пору бывшая в руках его, отменной доброты. «Твоя правда,— отвечал Реас,— но когда я ни взгляну на нее, то на душе у меня туманится. Ах! может быть, эта вещь стоит жизни двух существ невинных. За тайну могу открыть тебе, как досталась мне сия дорогая сабля; но, чур, никому ни слова». Я дал обещание быть молчаливым, и он, севши подле меня, начал так: «До прибытия в Запорожскую Сечь я служил в полку Полтавском хорунжим и был негодяй из негодяев. Некоторая надобность привела меня в Батурин, и на пущую беду — во время ярмарки. Теперь тому около двух лет. Всем известно, как ярмарки для молодого казака соблазнительны. В три дни прогулял я все бывшие со мною деньги, коня и платье, так что остался в одной сорочке. Когда в сем неприятном положении сидел я в шинке подгорюнившись, вдруг вошел дворцовый стар-

[1] Злейший и упорнейший из дьяволов.

шина, которого знал я и был им несколько знаем. Он взял меня за руку, ввел в особенную горенку и сказал: «Стыдись, Реас! прилично ли такому храброму казаку печалиться из безделицы? Ты лишился всей одежды? Это ничего! Сослужи верно одну службу, и ты сегодня же будешь одет, получишь доброго коня и много денег». Я дал христианскую клятву свято исполнить его поручение, хотя бы понадобилось лезть в горло самого беса, и старшина продолжал: «Знай, Реас, что у гетмана нашего была дочь Евгения и с небольшим за тринадцать лет пред сим похищена сотником гетманского полка Леонидом. Тщетно раздраженный отец искал беглецов более года; наконец, нашел, дал повеление захватить их; но они ускользнули и до сих пор пропадали без вести. Незадолго пред сим некоторые из батуринских чумаков, возвратившиеся из Запорожья, открыли своим женам, что они признали Леонида и Евгению; жены поведали о сем кумам, а кумы — сватам, так что вскоре прослышали о том придворные паны, а наконец, и сам гетман. По рассказам чумаков, так их отыскать нетрудно. Они имеют постоянное жилище в рыбачьем стану по сю сторону второго днепровского порога. Воля гетманова состоит в том, чтобы достать беглецов и с малолетнею их дочерью в свои руки. Тут силою ничего нельзя сделать без опасности раздражить запорожцев, ибо помянутый стан находится на их земле; надобно употребить осторожность, разум. Возьмешь ли ты на себя сие дело?» — «Не только возьму,— вскричал я отважно,— но сверх того, даю клятвенное обещание исполнить его в точности!» — «Хорошо,— сказал старшина, подавая мне большой кошелек с серебряными деньгами,— вот тебе на первый случай; повеселись, да смотри, никому ни слова. Я скоро сюда буду».

Легкая одежда, состоявшая, как сказал я, в одной сорочке, не мешала мне приняться за веселье. Я уставил стол сулеями с разными напитками и блюдами со съестными припасами и принялся за дело. Под вечер явился ко мне старшина и внес целый узел, в коем нашел я полное запорожское платье и оружие. Когда я оделся и вооружился, то старшина сказал: «Не пренебрегай этою саблей, даром что она не очень казиста; ее дарит тебе гетман из своей оружейной палаты, и такой подарок для храброго человека дороже золота. Приищи себе трех или четырех товарищей. Бричка в три лошади стоит здесь на дворе. Вот тебе на дорогу кошелек с золотыми деньгами

и это письмо. Как скоро пленишь ты помянутую семью, то скачи прямо в Переяславль. Отдай письмо игуменье девичьего монастыря и тогда же вручи ей Евгению. После сего с Леонидом и его дочерью поспешай в Батурин и явись ко мне. Более всего смотри, чтоб не ускользнул Леонид; он лукав и затейлив».

Имея кучу денег, мне нетрудно было подговорить четырех товарищей, от коих, однако, в силу данного мне наставления, я скрыл подлинные имена будущих наших пленников. Мы отправились в путь и благополучно прибыли к цели путешествия. Тщательно осведомился я о жилище Леонида и, к крайнему неудовольствию, тут же узнал, что его с дочерью нет на месте. Посоветовавшись с друзьями, что нам делать, большинством голосов решили похитить покуда одну Евгению и доставить в Переяславль, а давши о сем отповедь знакомцу моему старшине, пуститься за Леонидом, буде присутствие его в Батурине покажется гетману необходимо нужным.

Предприятие наше имело желанный успех. Евгения весьма бережно доставлена в Переяславль и отдана игуменье. Мы прибыли в Батурин и уведомили старшину о всем происшедшем. Он крайне встревожился и вскричал грозным голосом: «Безумные! неужели не могли вы размыслить, что приобретение похитителя-зятя было бы для оскорбленного отца отраднее, чем похищенной дочери? Сейчас ступайте обратно и не смейте возвращаться без Леонида».

С сими словами он вышел со гневом. Мы крайне подивились такому приему, какого отнюдь не ожидали. Что нам оставалось другое, как не отправиться скорее в жилище Леонидово; но как объяснить тебе наше огорчение, когда, прибыв на место, узнали, что он был там, но за несколько дней пред нами отправился неизвестно куда, а по всему видно, что надолго или и навсегда. Подумав, погадав, мы приняли самое благоразумное намерение не возвращаться никогда не только в Батурин, но даже и в Малороссию, а пуститься в Запорожье и сделаться братьями храбрых людей. Мы по сему исполнили, и ты, зная меня довольно давно, не мог не приметить, как иногда в кругу товарищей, веселящихся после одержанной победы, я, смотря на свою саблю, вздыхал и чуть не плакал. Ах! это было мучительное раскаяние, для чего я сию спасительницу жизни моей приобрел погибелью двух любящихся супругов!»

Так окончил Реас повесть свою, замолчал и, утирая глаза, начал укладывать в порядке разнородную свою добычу.

Ты легко представишь, любезный брат, чувствования, потрясавшие душу мою и терзавшие сердце. Если бы Реас обратил на то внимание, то он не мог бы не заметить, что я трепетал во всем теле; блуждающие глаза мои устремлены были на рассказчика и дыхание спиралось в груди моей. «Бедная Евгения! — сказал я сам себе, пришед несколько в чувство,— итак, ты в заточении? Итак, томишься ты под мрачными сводами монастырскими? Ах! твое состояние горестнее моего! Хотя мы оба разлучены с детьми и друг с другом, но я пользуюсь свободою, а ты лишена и сего утешения. Бедная мать! бедная супруга! надобно спасти тебя, хотя бы это стоило жизни моей!»

Подумав несколько минут о своем предприятии, я сказал: «Реас! ты вверил мне тайну, хотя она собственно не твоя, а чужая; я, напротив, намерен вверить тебе мою собственную, драгоценную тайну и надеюсь, что если ты не согласишься помогать в моем намерении, то и мешать мне не будешь. Убийственная и даже бесчестная жизнь, нами в Запорожье провождаемая, мне наконец опротивела; да и чего впредь должны ожидать мы, как не погибели? Рано или поздно, а которая-нибудь из соседних держав обрушится на нас всеми силами, и — что из Сечи останется? Кучи золы и громады черепов казацких. Не покойнее ли, не счастливее ли нас живет беднейший селянин в Малороссии? Разве мало у нас имущества? Почему не выбрать нам какого-нибудь уютного жилища подалее от Батурина? Если жива еще жена, тобою оставленная, ты возьмешь ее к себе; если же нет ее более, ты найдешь другую и будешь жить в тишине, в довольстве, в счастии».

Реас уставил на мне неподвижно глаза свои и после, вздохнувши, спросил: «Если бы я и согласился кинуть такую поганую жизнь, которая несравненно хуже цыганской, то как это сделать? Разве не известно тебе, чему подвергается всякий, осмеливающийся сделаться изменником своей клятве?» — «Что значит такая клятва? — говорил я хладнокровно,— если бы ты обещался медведю вечно жить в его логовище, куда завела тебя злая судьба твоя, то неужели не воспользовался бы первым случаем уйти от чудовища, чем каждую минуту опасаться растерзания?» Словом, я так расположил свои доводы, говорил так убедительно, что наконец совершенно преклонил

Реаса на свою сторону, а он в жару восторга обещался подговорить еще человек пять, шесть из самых завзятых. Он сдержал свое слово. Скоро помянутые храбрецы к нам пристали, и в моем курене, за баклагами вина, заключен союз освобождения от добровольной неволи.

Вследствие общего условия мои будущие сопутники, под видом посещения хуторов для закупки вина, мяса и хлеба, мало-помалу начали скрытно выносить пожитки в недальний лес на берегу Днепра и прятали их в потаенных трущобах. Когда все таким образом было в готовности к побегу, мы, по обыкновению, испросили благословение от атамана напасть на некоторое малороссийское селение, жители коего будто бы некогда угнали из такого-то хутора несколько овец с ягнятами. Под вечер выехали мы из Сечи, запасшись несколькими заводными конями. При въезде в лес, хранилище наших сокровищ, мы расположились станом и пробыли до заката солнечного, а тогда начали навьючивать коней и, при заре вечерней переправясь на приготовленном пароме через Днепр, пустились по направлению к Полтаве. Я столько выхвалял пределы переяславские и непременное намерение мое поселиться в окрестностях оного, что все сопутники пожелали за мною и Реасом последовать, ибо сей витязь испросил у меня дозволения жить и умереть вместе со мною. Наконец, достигли мы Переяславля, и тут-то открыл я Реасу важнейшую мою тайну относительно Евгении. Он немало сему подивился, просил прощения в учиненном злодействе и дал клятву приложить все силы к освобождению моей пленницы. Из предусмотрительности я остановился с Реасом в одной корчме, а прочие в других по одному, и всякий занялся, чем хотел, ожидая дальнейших от меня приказаний.

С сего времени начали мы с Реасом разъезжать по всем окрестностям Переяславля, допытываясь, не продается ли где-нибудь хутор; но поиски наши целую неделю были тщетны. Наконец, провидение сжалилось надо мною. В один день, обедая в селе Млинах, мы изъявляли сожаление свое корчмарю жиду Хаму, что не можем найти себе продажного места, где могли бы в шести семьях поместиться. «Я могу в сем случае услужить тебе,— сказал Хам,— и если ты не такой гуляка, как большая часть твоих товарищей черноморцев, то будешь доволен предлагаемым мною хутором. Целая половина села сего принадлежит пану Агафону; но он любил провождать жизнь, а особливо летом, за пять верст отсюда в хуторе, располо-

женном в большом овраге. Там находится пространный господский дом с обширным садом, а по сторону — до десяти хат для служителей. Дно оврага оканчивается пространным лугом, посередине коего протекает ручей, усаженный липами, ивами и ракитником. На поверхности половина оврага окружается дремучим лесом, а другая — нивами. Пока жив был пан Агафон, то он, весьма любя сие место, украшал его сколько умел и проживал в нем со всеми домашними большую половину года; но как скоро умер, чему уже около десяти лет, то жена и дети, жившие там из одного принуждения, как в плену вавилонском, перебрались в село и кинули навсегда ненавистную для них юдоль плачевную».

Я прельстился таким описанием и пожелал тотчас видеть сие прекрасное место, как будто нарочно для меня устроенное. Жид за несколько злотых дал нам проводника; мы достигли оврага, спустились на дно оного на конях довольно удобно, осмотрели все и не могли налюбоваться. Конечно, десятилетнее время положило во многих местах печать разрушения; но все, при помощи нескольких рук, хутор сей привести в прежнее устройство было легче, чем некогда в сельце Мигунах цыганское логовище сделать удобным для пребывания людей. В тот же день жид Хам привел меня ко вдове Агафоновой; она не дорожилась местом, совсем для нее ненужным, а я с своей стороны не скупился, и мы сейчас заключили торг. Она приняла от меня деньги, а я взял от нее запись на владение сим поместьем и, под именем Мемнона, сделался обладателем оного.

Три дня прошло, пока все мы кое-как устроились. В господском доме сделал я каждой комнате назначение и отвел особливую для Реаса. Пожитки мои, состоящие в золотых и серебряных вещах, в драгоценных камнях и перлах, а равно в великом множестве оружия и платья разных народов уложены были надлежащим порядком. Чтобы жене моей — которой настоящее имя и состояние известно было одному Реасу и которую я при прочих товарищах называл Евлалией — не оставаться совершенно одной между столькими мужчинами, я, по предстательству жида Хама, в селе Млинах нанял двух работников с их женами и детьми и поместил их в двух пустых хатах. После сего запаслись мы на довольное время житейскими припасами, и когда все было готово, тогда я начал уже думать об освобождении жены моей из плена».

— В сие время батрак мой,— продолжал дядя Король,— принес из корчмы сытный ужин; Леонид отложил продолжение повести своей до утра, и мы, благословясь, начали насыщаться. По окончании трапезы я спросил: «Для меня одно непонятно, друг мой! Ты купил поместье, устроил оное, водворил своих сопутников, а не подумал справиться о своем сыне, когда я, будучи только его дядею, почел сие непременною обязанностью».— «Увы! — отвечал Леонид с тяжким вздохом,— я не хотел возмущать сердца твоего в сии минуты радостные. Знай же: на другой день по прибытию моем в Переяславль я полетел в село Мигуны и прямо в дом ко вдове попадье. Каким громовым ударом я поражен был, услыша, что уже более пяти лет, как она преставилась. Бегу к отцу Гервасию, объявляю о себе и спрашиваю: «Где сын мой?» — «Ничего не могу сказать,— отвечал иерей с пасмурным видом.— Мы долго считали его похищенным теми людьми, кои и тебя с женою здесь искали; но покойная невестка моя, борясь со смертию и не стерпя мучений совести, при конце дней своих призналась, что она, не могши противиться искушению сатанинскому, ослепилась золотом, данным тобою на содержание сына, пожалела тратить оное и, сокрыв дитя в корзину, вынесла на большую дорогу, ведущую от Переяславля к Пирятину, и там оставила. Что дальше последовало с бедным малюткою, и сама покойница не знала». С растерзанным сердцем я возвратился в город.

Глава X

Дьявол

На другой день поутру Леонид продолжал повествование следующими словами:

«Устроя новое жилище свое, сколько по краткости времени можно было лучше, я отправился с Реасом в Переяславль, наказав остающимся в хуторе, чтобы не беспокоились, если мы несколько дней пробудем в отлучке. Приехав в город и остановясь в корчме недалеко от монастыря, прежде всего купил я покойную бричку и уложил в ней хорошую постелю, ибо я, со времени поселения в Запорожье, не знал другой, кроме войлока или рогожи. Стараясь от приходящих в сию обитель веселия сколько можно подробнее узнать о населяющих другую обитель благочестивых стариц, я, к неописанной радости, проведал,

что монастырский привратник, столько нужная для меня особа, был бы старик порядочный, если бы не предавался излишней веселости.— «Сколько мне известно,— сказал церковный сторож со злою улыбкою,— то честный собрат мой Ариан имел бы изрядный достаток, если бы всего, что ни получит от доброхотных дателей, не оставлял здесь, в сем омуте бездонном. Ба! да вот и он сам»,— вскричал сторож, указав на вошедшего лысого старика с багровыми щеками и красно-синим носом.— «Жид! — возопил новый пришлец, севши возле меня на лавке,— подавай кварту вишневки!» — «Давай же деньги!» — «Завтра!» — «Завтра и вишневку пить будешь!» — «Этакой несговорчивый!» — сказал со вздохом привратник и с неудовольствием шевелил усами. Я не преминул воспользоваться сим случаем. «Жид! — вскричал я в свою очередь и притом довольно сурово,— ты крайне неучтив и не умеешь различать людей. Сейчас поставь пред нас сулею запеканной водки да кварту вишневки и пару булок; а как приближается пора обеденная, то приготовь похлебку с курицею, лапшу с уткою и изжарь молодую индейку: вот тебе червонец!» Жид и Ариан глядели на меня с удивлением, не говоря ни слова; однако сын израилев скорее образумился, выхватил из руки червонец и скрылся.— «Так,— сказал я, трепля по плечу привратника,— с первого взгляда я полюбил тебя, честный Ариан, и прошу пообедать со мною и одним приятелем, который скоро сюда будет».— Ариан благосклонно принял приглашение, наговорил множество учтивостей, и когда поставлены были заказанные сулеи, то после нескольких истинно отеческих лобызаний с кубком глаза его заблистали как раскаленные угли, и он, понизя голос, спросил: «Не могу ли и я, смиренный, чем-нибудь отблагодарить за такое угощение?» — «И очень можешь!— отвечал я,— но о том побеседуем после!» — «О! только бы требование твое не простиралось далее стен монастырских, а то все возможно!» — «Именно не далее простирается!»

Между тем явился Реас, отлучившийся для нужных покупок; обед подан, и мы были весьма довольны жидовскою стряпнею. По окончании стола собрат мой опять вышел, и я остался один с восхищенным Арианом. «В чем же состоит твое требование?» — спросил он, уминая свое чрево. «Друг мой! — отвечал я,— мне также хочется спросить тебя: имеешь ли ты такой достаток, чтобы каждый день высушивать здесь по доброй сулее запеканной и есть

жареных индеек, не прося ничего в долг?» — «Нет! как можно об этом и подумать!» — «Хочешь ли быть в возможности?» — «Какой дурак не захотел бы!» — «Так пособи мне».— «Говори скорее, в чем состоит дело!» — «У вас есть в монастыре женщина лет в тридцать, прекрасная собою, с возвышенным станом, с черными пламенными глазами».— «Знаю, знаю! она года за два заперта в келье и сидит, как горлица в клетке. То-то жизнь хуже привратничьей. Никто, кроме игуменьи, не знает, кто она; но мы все вообще зовем ее бедною, томною красавицей, ибо она беспрестанно грустит и часто плачет».— «Видишь, любезный друг,— продолжал я,— как наша пленница страдает; неужели мы не поможем ей? Ибо знай: я — самый близкий ее родственник!»

Ариан всполошился, отступил шага на два и смотрел на меня недоверчиво. Я продолжал: «Коротко да ясно: если ты поможешь мне увезти ее сегодня, то дарю тебе этот кошелек с двумястами злотых и клятвенно обещаюсь присылать к тебе по стольку же каждогодно».— «Ах! — сказал Ариан, погладя лысину,— конечно, иметь такую кучу денег весьма не худо, но трудно заслужить их. Знаешь ли ты, что нашу томную узницу беспрерывно стерегут две старицы? К окну ее в сад приделана железная решетка, которую и сто рук не скоро отломают».— «Однако ж,— подхватил я,— ваши старицы на стражу к ней не сквозь решетчатые дыры пролезают?» — «Конечно,— сказал Ариан,— они входят в ее келью обыкновенными дверьми из коридора».— «Ну, так и она,— вскричал я торопливо,— в эти же двери выйти может!» — «Конечно; но об этом надобно подумать, да и подумать!» —«Ну! так приходи завтра в корчму, как скоро можно будет; мы хорошо попируем и вместе подумаем».

С сими словами мы расстались, и я отпустил с Арианом добрую сулею наливки, дабы ему удобнее было делать выдумки. Я и с своей стороны провел всю ночь без сна, строя, как говорится, воздушные замки и вмиг расстраивая оные.

Поутру, едва отошли заутрени, предстал перед меня Ариан с веселым лицом и, поставя на стол пустую сулею, сказал: «Прикажи-ка, друг, наполнить эту вещь опять, так я скажу нечто приятное». Желание сие мигом было исполнено. Старик, осуша кубок, говорил: «Куда как, право, догадлив ты, что вчера отпустил меня домой не с пустыми руками! Как скоро улегся я на войлоке и при-

нялся думать о средствах к освобождению твоей родственницы, как тяжелый сон начал на меня обрушиваться, однако я не поддался: тотчас схватил сулею, приложил к губам, и сон отлетел от меня, как отлетает нетопырь в щель свою при восходе солнечном; таким же образом оборонялся я от нападков его в другие разы; думал, думал и выдумал следующую мудрость: помогать другу своему в беде очень хорошо, но надобно это делать так, чтоб самому в беду не попасться! Можешь ли ты к ночи приготовить дьявольскую одежду, то есть такую, чтоб сколько можно более походить на черта?» — «Почему же именно к сей ночи?» — «А вот почему. Наши инокини бывают на страже у заключенной по очереди. Сегодня, по окончании обеденной трапезы, придут к ней сестры Манефа и Мамельфа. Они обе стары и примерно благочестивы; но в молодых летах столько понесли нападков от злых духов, что и до сих пор страшатся их безмерно. После заката солнечного я проведу тебя с твоим нарядом и с хорошим запасом на сон грядущий в свою конуру, где и пробудем до полночи; тогда нарядишься ты как следует. Мы прокрадемся коридорами до самых дверей твоей родственницы, и я впущу тебя в келью. Там делай ты, что знаешь, а я брошусь назад, отопру калитку в сад и уплетусь на покой. Твое уже дело будет найти средство перебраться через ограду и ускакать с своею находкою куда изволишь. Ну, какова кажется тебе моя выдумка?»

«Премудрая! — вскричал я, обнимая Ариана,— и вот тебе сто злотых за одну выдумку, а обещанные двести получишь тогда, когда отворится для меня келья пленницы. Но, любезный друг! — сказал я подумав,— ты забыл одно обстоятельство, которое может все расстроить, а именно: когда я с тем войду в келью, чтоб своим видом, голосом и ухватками перепугать благочестивую стражу и сделать ее безгласною и неподвижною, то кто уверит меня, что и бедная родственница моя не придет от страха в такое же положение и не сделается неспособною следовать за своим избавителем? Тогда все пропало!» — «И подлинно так!» — сказал пасмурно Ариан и сел молча на лавку. Пробыв несколько минут в безмолвии с устремленными горе очами, он вдруг вскочил как исступленный, осушил кубок наливки и сказал вполголоса: «И это препятствие исчезает! В обители нашей, в числе послушниц, находится моя племянница. Она девка весьма сметливая; ее настрою обо всем искусно родственницу твою предуведомить, и

она, конечно, тебя уже не струсит!» — «Прекрасно! — сказал я, подавая своему другу еще кубок,—только не забудь натвердить своей племяннице, дабы она объявила заключенной, что родственник, который в виде злого духа придет к ней для освобождения, называется Леонидом. Это нужно для того, что у нас есть еще много родни, которой она не совсем доверяет».

С сим мы расстались. Солнце между тем взошло высоко. Приказав Реасу изготовить веревочную лестницу, я бросился в лавки и купил кусок черного сукна, а у записного машкары маску, и с сим снадобьем возвратился в шинок. Запершись в своей комнате, я изрезал сукно в лоскутья так, что когда сшил его на живую нитку, то оно походило несколько на куртку и шаровары. После сего отправился я в мясные ряды и запасся бычачьими рогами. По возвращении домой я прикрепил рога к маске. Возвратившийся Реас уведомил, что лестница его готова и уложена в бричку. «Теперь все улажено! — сказал я вздохнувши,— боже милосердый! даруй, чтоб и окончание дела сего было так же удачно, как и начало!»

Пообедав наскоро, уложили мы в бричку добрый запас съестного и напитков, ибо я уверен был, что моя любезная Евгения после двухгодичного заточения, конечно, ослабела в силах, и ей приятно будет подкрепить себя во время довольно продолжительной дороги. Мы обошли монастырские стены раз пять и наконец, выбрав место, казавшееся нам удобнейшим для приступа, возвратились домой. Как билось мое сердце, то от радости при мысли скорого соединения с предметом нежнейшей любви моей, то от сомнения при воображении, что Ариан, удовольствовавшись сотнею злотых, ни за что полученных, не захочет уже подвергать себя опасности для получения двухсот обещанных. Еще был я колеблем страхом и надеждою, как честный привратник обрадовал меня своим появлением. Он поведал, что родственница моя все уже знает и с распростертыми объятиями встретит меня, хотя бы предстал пред нее в виде самого Веельзевула. Я пустился потчевать сего друга столь усердно, а он так охотно принимал сии потчевания, что в глазах у него потемнело, и едва лишь закатилось солнце, он уверял, что на дворе ночь уже глубокая. Общими силами едва мог я с Реасом доказать ему противное, прося поукротить свою ревность.

Наконец и в самом деле небо потемнело. Реас впряг в бричку четырех коней, ибо мы при выезде из хутора

взяли по одному заводному; я щедро расплатился с жидом, взял под мышку бесовский снаряд и пошел с Арианом в его обиталище; сопутник мой не забыл уложить к себе за пазуху две сулеи с жизненною силою, а Реас между тем поехал к условленному месту.

Когда я поверх бывшего на мне казацкого напутал бесовское платье, то Ариан, осматривая меня кругом, крестился, ахал и тянул вишневку. Он потчевал и меня, но мне было не до того. Ожидаемый час настал. Монастырский сторож пробил клепалом полночь, и сердце мое затрепетало, руки и ноги задрожали. «Вот час,— сказал я,— который или возвратит мне похищенное блаженство, или уже невозвратно меня погубит». Ариан вел меня по длинным, узким коридорам, слабо освещаемым тусклыми лампадами.

Проходя мимо одной двери, Ариан сказал: «Это калитка в сад; заметь ее хорошенько».— «Отопри теперь,— говорил я,— и оставь настежь. Второпях мне не мудрено будет ошибиться и пробежать мимо!» Он начал было противоречить, представляя, что, покуда я буду пугать монахинь, кто-нибудь может пройти мимо и, видя беспорядок, поднять тревогу; но я приказал вновь, и он повиновался. Для придания ему бодрости я сунул в руку его кошелек, набитый злотыми; он радостно встрепенулся и повел далее. В конце того же коридора он остановился и, сказав тихо: «Вот дверь от кельи твоей родственницы; ступай с богом!» — поспешно пошел назад, а я вступил во святилище. Перед образом горела лампада, и две старые инокини, сидя за налоем, дремали. Едва появился я, как Евгения, окутанная в простыню, поспешно встала с постели и начала пробираться к дверям. Я только лишь успел сказать: «Калитка в сад открыта, спеши!» — и Евгения скрылась за двери. Тут одна из стражей подняла голову и открыла глаза. В то же мгновение я подскочил к ней, защелкал зубами, зарычал неистово; она застонала и покатилась на пол. Соседка ее вскочила, но также свалилась с ног. Тут я бросился за двери и запер их бывшим в замке ключом. Прибежав в сад, я скоро соединился с Евгенией. Она так была слаба, что едва могла держаться на ногах, и потому я должен был более нести ее, пока прибыли к назначенному месту. Какого труда стоило мне взвести свою подругу по веревочной лестнице на ограду! Оттуда принял ее на руки Реас и усадил в бричку. Я по той же лестнице спустился со стены, кинулся к Евгении, и помчались во всю прыть конскую.

Ах, какое счастие! какой восторг! какое блаженство! Тот только поймет меня, кто любил страстно и был любим взаимно; кого насильственно разлучали с предметом страсти его, но он, по милости небес, опять с ним соединялся.

Глава XI

Свобода

При темноте ночной, покрывавшей небосклон, я выпутался из демонского облачения и уложил оное в бричку для памяти моему потомству; после сего сел лицом к Евгении, дабы при первых лучах зари утренней насладиться воззрением на прелести моей любезной. Я воображал себе, что она и теперь такова же, какою за два года оставил у порогов днепровских. Заря заблистала, я взглянул и обомлел от удивления. Я увидел бледное, тощее лицо, мрачные, впалые глаза, тонкие, высохшие руки. Сначала представилось мне, что Ариан сам обманулся и жестоко обманул меня и что похищенная женщина совсем не жена моя. Но тут же другая мысль мгновенно меня образумила: в монастырском саду я называл ее по имени, и она меня также; она плакала о потере сына Неона; звук голоса ее довольно знаком моему сердцу; так! это она — но долговременные страдания изнурили ее, обезобразили. Любовь моя, мои старания возвратят ей прежнюю бодрость, крепость и прелести.

Евгения отгадала причину моего смущения и улыбнулась, как улыбается невинность, стоя у своей могилы и устремляя взор к вечности. Она подала мне руку и сказала: «Неужели, друг мой, мог ты ожидать, что Евгения не потеряет своей наружности, пробыв два года в мрачном затворе, не видя никого, кроме очередных монахинь, которые, вместо утешения, каждую минуту терзали ее сердце, увещевая покориться воле неумолимого родителя».— «Но чего он от тебя требовал? — спросил я,— говори, ничего не опасаясь. Везущий нас казак есть друг мой, и ему известны все важнейшие обстоятельства жизни нашей. Говори, милая Евгения, чего еще мог требовать отец твой?» — «Рассказ мой будет весьма короток,— отвечала Евгения и говорила следующее: — Как скоро ввели меня в ужасное жилище, из которого ты исхитил, то явилась игуменья и подала сверток бумаг, прося прочесть. Я развернула и прочла следующее:

«Недостойная, но все еще любезная дочь!

Наконец ты опять в моей власти, и надеюсь, что бесстыдный оскорбитель моей и твоей чести в третий раз не увлечет тебя с собою. Высокое духовенство соглашается на развод твой, но не прежде, как ты подпишешь прилагаемую при сем бумагу. В ту же минуту, в которую исполнишь сию волю мою, получишь совершенную свободу, и с нею и звание моей дочери; в противном случае ты найдешь во мне судию неумолимого!»

Приложенная бумага была не что иное, как бесстыдная жалоба на тебя от моего имени и буйное, бесчестное требование на развод для вступления в новый брак. Гнев и негодование мое были безмерны; я изорвала гнусное писание в мелкие лоскутки и кинула их к ногам игуменьи. «Это ответ мой!» — сказала я и отошла к окну. Игуменья удалилась, оставя при мне для присмотра двух монахинь. Через две недели она опять показалась и, положа на налой какую-то бумагу, спросила: «Не надумалась ли ты, красавица! и не подпишешь ли сей бумаги, присланной сегодня из Батурина на место изорванной тобою? Это слово в слово та же самая, но рвать ее не советую, ибо от сего по-пустому будет проходить время в переписках. Буде и сию уничтожишь, то прислана будет третья, десятая, сотая и так далее. Воля отца твоего непременна!»

С сего времени в каждый полдень, когда являлись ко мне очередные монахини на смену прежних, то, ставя пищу на стол, имели приказание говорить: «Подпишешь ли эту бумагу?» Не отвечая ни слова, я садилась и обедала. Во время ужина была та же церемония, и в таком утомительном единообразии протекли два мучительные года. Неужели и теперь, Леонид, будешь удивляться, что твоя Евгения столько переменилась?»

Вместо ответа я схватил ее руку, осыпал поцелуями и облил слезами благодарности за ее непоколебимую верность. Солнце воссияло, и мы были уже у спуска в мой хутор. Все домашние встретили нас с восторгами радости; мы вышли из брички, и я повел Евгению в свое жилище. Будучи уже на крыльце, она зачем-то оглянулась, затрепетала и прижалась к груди моей. «Боже мой! казак, сидящий на козлах, так ужасен — лицо его, убийственный взор — так! я его видела; он! праведное небо! где я?» —

«Успокойся, милая Евгения! — сказал я.— Ты действительно некогда видела моего Реаса; но наружность нередко

бывает обманчива. Он человек самый честный и добродушный, а что важнее всего, ему обязан я освобождением Евгении, ему обязан сим бесценным счастием. Я после расскажу тебе обстоятельства, познакомившие тебя и меня с Реасом».

Я ввел жену в дом свой и показал устройство оного. Уединенное место сие представилось ей весьма многолюдным и шумным в сравнении с монастырскою кельею. Мы прожили тут около двух недель, и Евгения приметно начала оправляться. Для обзаведения вещами, столько необходимыми для деятельной женщины, я довольно часто бывал в Переяславле, и сегодня случилось мне пристать в шинке соседки твоей Мастридии.

Под конец моего обеда показался видный бурсак, потребовал вишневки и, наливши кубок, вскричал: «Я философ Далмат! Предаю душу вечному пламени, если не отомщу проклятому Королю за друга своего Сарвила!»

Я вслушался в сии речи. Чтобы приласкать к себе бурсака, я сказал: «Конечно, этот Король не честный человек, что не полюбился почтенным бурсакам! Желал бы я знать, что это за особа? Между тем прошу сделаться моим товарищем в еде и питье!»

Бурсак не отказался от предложения. «Этот Король,— говорил он, опоражнивая одну чарку за другою,— есть не что иное, как простой огородник, и зовут его Диомидом. Впрочем, он так лукав, что редко нашему брату бурсаку удается полакомиться его овощами. Надобно думать, что он знается с бесом! Несколько дней назад захотелось нам отведать дынь и арбузов; предосторожности все взяты; но, как на беду, он в самую полночь очутился на огороде с кучею народа и переловил всех наших витязей».

Ты можешь, любезный брат, представить радость, какую ощутил я, узнав, что могу соединиться с тобою и остаток жизни провести в объятиях любви и дружбы. Одна мысль — и мысль горестная — отравляла в те минуты мое восхищение, и сия мысль была о потере моего первенца».

— С сего времени,— продолжал дядя Король,— я поставил правилом два раза в неделю посещать хутор моего брата и находить удовольствие в его счастии. За три года перед сим привезена Мелитина в объятия родителей; ты не забыл еще случая, приведшего и тебя в сей хутор. Кто опишет восторг, посетивший душу Леонида, когда из рассказов твоих он познал своего сына, столь долго оплаки-

ваемого. Известить тебя о себе он не имел возможности, ибо и самое существование его не было обезопасено. Мне поручено было дальнейшее твое образование, ибо проведенное время в бурсе не могло сделать тебя достойным того сана, к какому порода призывала.

Сим окончил дядя свое повествование. Весь день прошел в тишине и мире, и я, получив наставление, как должен действовать на завтрашний день, провел вечер у любезного друга моего Кронида. В сей самый вечер испытал я радость, доселе для меня незнакомую радость — одолжать других.

— Неон! — сказал мне Кронид,— я должен наконец вверить душе твоей тайну, самую драгоценную, священную. Сего только утра узнал я, что ты — сын Леонида и Евгении. Друг мой! неужели мог ты подумать, что в течение девяти лет видеть сестру твою в доме отца моего и не полюбить ее страстно есть дело возможное для человека моих лет и сложения! Так, Неон! я обожаю прекрасную, и чувства мои от нее не скрыты. Отец мой и мать видели пламень, клубившийся в груди моей и с каждым днем возраставший,— они сие видели и для неизвестных причин сокрыли ее от глаз моих. Если в тебе, Неон, есть столько человеколюбия, чтобы снизойти на просьбу страстнейшего из любовников, то открой мне убежище твоих родителей, при коих, без сомнения, находится Мелитина. Для меня ничего нет невозможного! Найду способ упасть к ногам ее и снова принести клятву в вечной верности. От тебя, любезный друг, ожидаю содействия, чтобы и родители твои не отказали мне в сем благополучии.

Ответ мой согласен был с его ожиданием. Я и сам не мог не сознаться, что могу найти любезнейшего друга и брата, а сверх того, зная, сколько родители мои обязаны Еваресту за воспитание своей дочери, я почти не сомневался о согласии их осчастливить дочь свою союзом со столь достойным супругом. Могло оставаться одно только сомнение в согласии гетмана, если он удостоит примириться со своею дочерью и зятем. Какое ощущал я биение сердца, встречая восходящий месяц! Завтра, завтра должна решиться участь моих родителей и моя собственная! Они, конечно, виновны,— этого я не могу скрыть от самого себя,— но правосудие земных владык красится милосердием. Будем терпеть и надеяться — общая участь бедного человечества!

Глава XII

Победа природы

Солнце воссияло на небосклоне батуринском, и я был уже с дядею Королем во дворце гетмана. Куфий встретил нас с распростертыми объятиями и сказал:

— Надежда — хотя и женщина, но не всегда обманывает! Я употребил все, что зависело от Куфия, и, кажется, дело идет на лад. Неон! я полагал, что от твоей устойчивости должно зависеть счастие твое собственное и твоих родителей; на деле выходит гораздо простее, и я наперед поздравляю тебя с неожиданным счастием. Рано или поздно, но природа берет права свои!

Целительный бальзам разлился в моих жилах, и я существовал счастием моих родителей. В то время ни Неонилла, ни Мелитон меня не занимали.

Настал роковой час, и дворцовый старшина ввел нас к гетману. Державный старец сидел в глубоком безмолвии; Куфий, облокотясь на окно, стирал слезы с усов своих. Я бросился к ногам гетмана и обнял его колена; он закрыл руками глаза свои и пробыл довольно времени в безмолвии. После сего, простерши ко мне правую руку, сказал:

— Встань, сын моей Евгении, дочери преступной, но никогда не перестававшей быть драгоценною для родительского сердца, встань и приближься к сердцу деда, который никогда не забудет заслуг твоих.

Я встал, пал в его объятия, и горячие слезы мои оросили чело повелителя. Видя сии несомненные знаки чувствительности родительской, дядя Король быстро подошел к гетману, пал на колени и облобызал края его одежды. Куфий приблизился к трону и воззвал:

— Да здравствует Никодим, победитель над злейшим врагом — над самим собою! Прощение, примирение, счастие!

Никодим, указав места для меня и дяди Короля, произнес:

— В воздаяние тебе, Неон, которому обязан я свободою и возможностию исполнить любимое намерение свое — передать Малую Россию в материнские недра Великой,— забываю непомерную дерзость отца твоего и матери. Дядя твой Король показал собою пример непамятозлобия. Я обидел его чувствительнейшим образом, и он поддержал

мою славу. Король! считай меня в числе искренних друзей своих.

Дядя Король снова припал к стопам гетмана, и сей, подняв его, продолжал:

— Чрез два дня все отправимся в жилище Леонида и Евгении; но строго запрещаю всякому извещать хозяев о моем намерении. Я хочу со словом «прощаю!» дать им почувствовать всю великость сего слова. Уже сделаны распоряжения к сей поездке, и вся Малороссия не иначе сочтет ее, как путешествием гетмана для личного осмотрения полков своих.

Кто опишет наше общее блаженство! Я и дядя Король обедали за столом повелителя и расстались ввечеру в надежде совершенного примирения. Приготовление к пути со стороны нашей производилось с возможною поспешностию. На третий день начался поход по дороге к Переяславлю. Каждый шаг гетмана ознаменован был правосудием и щедротою. Чуть не забыл сказать, что восхищенный Истукарий с сыном были в числе наших сопутников.

В десятый день пути шатры гетманские разбиты на краю леса, граничащего с оврагом, вмещавшим в себе жилище моих родителей, на том самом месте, где я некогда умирал от озноба. Дано повеление приготовить обед самый великолепный, и в ожидании оного гетман решился повидаться с детьми после двадцатитрехлетней разлуки.

Спускаясь с косогора на долину, гетман почувствовал слабость. Простерши обе руки ко мне и дяде, он произнес дрожащим голосом:

— Поддержите меня. Я мог весьма долго питать в сердце своем гнев и мщение, не ощущая расслабления телесного; но теперь, когда готовлюсь примириться с природою, освятить права ее и опять назваться отцом семейства, какое-то непонятное чувство разносит во мне состав от состава, и я истаиваю!

Я и дядя Король поддерживали старца под руки; огромная великолепная свита нас провожала, и в сем порядке приближились все к господскому дому. Приметная мрачная суета наполнила сию обитель спокойствия. Едва вступили мы на крыльцо, как мои родители, поддерживаемые Мелитиною и Неониллою, показались и дрожащие колена преклонили пред державным старцем. Несколько мгновений он оставался в прежнем положении, заключен будучи

в мои и дядины объятия; наконец простер руки к небу и воззвал:

— Отец любви и милосердия! благослови сих чад моих, как я благословляю! Познаю премудрый промысел твой! Не для того сохраняешь ты свое сознание, чтобы властелины земли разрушали оное.

Тут гетман прослезился и пал на руки отца моего и матери. Неонилла с сыном на руках довершила сию трогательную картину. Истукарий обнял ее с нежностию и сказал:

— Я охотно последую примеру высокоповелительного гетмана и с такою же готовностию прощаю тебя, дочь моя, с какою он простил свою. Обе вы равно виновны и — равно наказаны угрызением своей совести, а вместе с сим подаете пример, что насилие над сердцами человеческими не производит ничего доброго. Да будет благословен и препрославлен бог, который и самые погрешности наши устрояет во благое!

Какое счастие озарило лица всего семейства! Гетман введен в дом и усажен в покойных креслах. Никогда не казалось лицо его столько величественно: оно сияло лучами горней радости, бывающей уделом одной непорочности. Гетман не мог налюбоваться прекрасною Мелитиною.

— Дитя мое,— говорил он, облобызав чело ее,— каким случаем нахожу тебя дочерью моей дочери, когда много раз видел тебя в доме Евареста и знал под именем его родственницы?

— Дружба не менее могущественна, как и любовь,— сказал Еварест, преклонившись пред повелителем,— и если ты удостоишь своим благословением, то прелестная Мелитина в скором времени назовется моею дочерью.

— Если будет на то соизволение вышнего,— отвечал гетман,— то и мне противиться не для чего.

Среди такого упоения радости, самой чистой, блаженной радости время летело на крилах быстротечных. При мирном завтраке Куфий, налив кубок меду, возгласил:

— Сей напиток очень сладок; но клянусь, Никодим, что для меня еще сладостнее смотреть на кроткое, исполненное любви и благости лицо твое! Если ты весьма долго лишал себя счастия, то по крайней мере теперь вполне насладись оным, по своей доброте ты сего достоин.

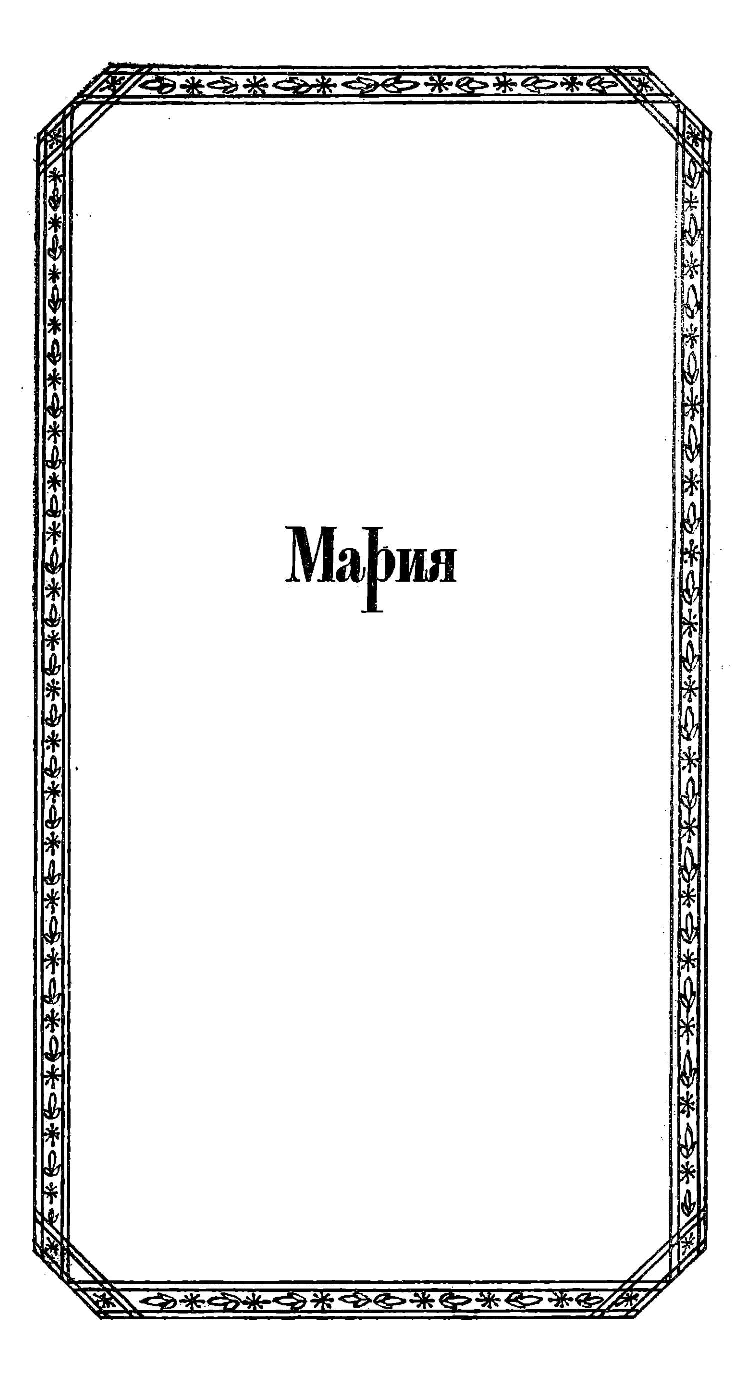
Все многочисленное семейство торжествовало сей радостный праздник обедом в шатре гетмана. Звуки бубнов и кимвалов раздавались в воздухе и умножали блеск веселия. Гетман пробыл семь дней в поместье своего зятя и признавался, что редко пользовался таким здоровьем, следовательно, и счастием.

В течение сего времени я имел случай подробно рассказать отцу и деду о несчастной судьбе бывшего товарища моего, философа Сарвила. Ах! кого бы не подвиг на сожаление один взор на томную, изнеможенную Серафину и прекрасных ее малюток! Гетман, узнав обстоятельно о великодушии помянутого разбойника, сказал:

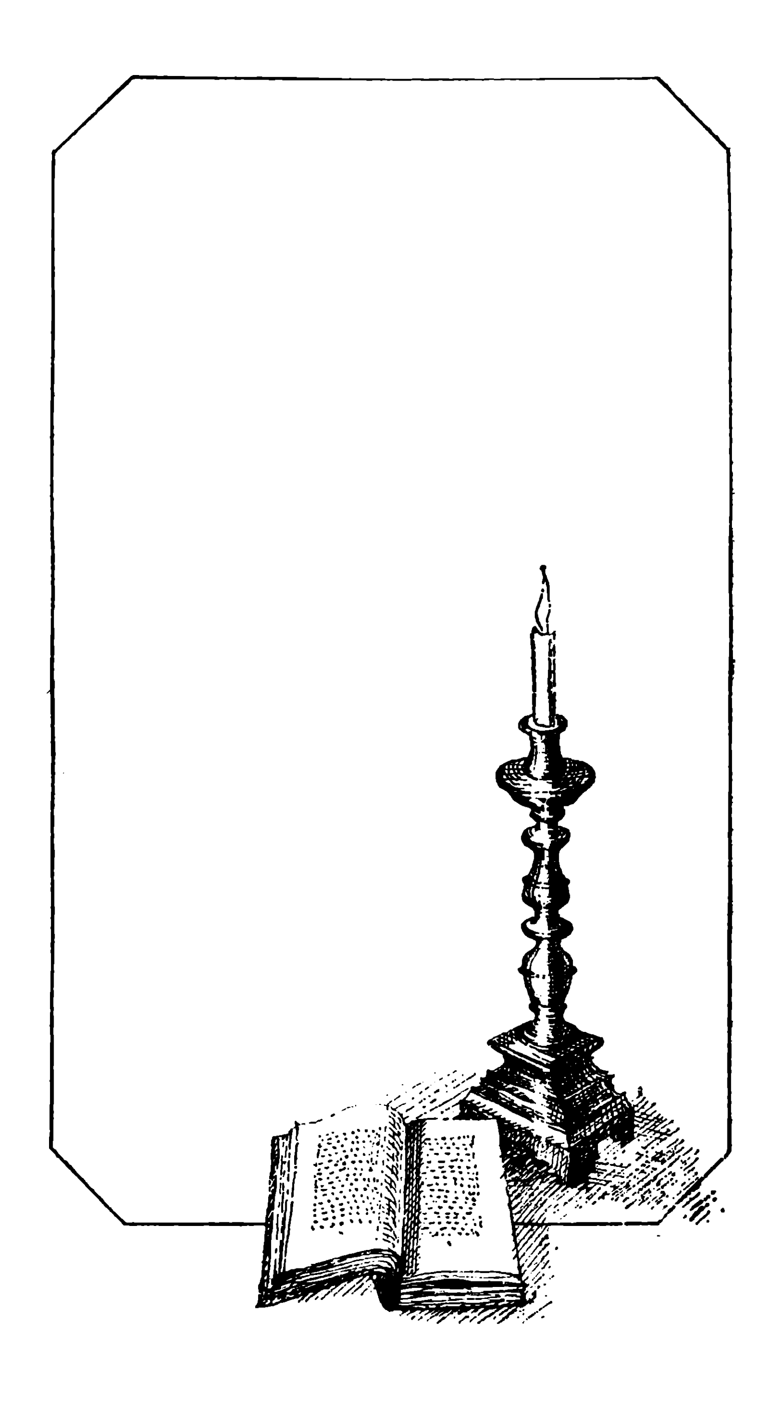
— Постараемся сколько-нибудь уподобиться богочеловеку, который, быв пригвожден ко кресту, простил висевшего подле него злодея и обещал ему царствие небесное!

По особенному распоряжению гетмана двое нарочных отправились в Запорожье с письмом к воинскому атаману для отыскания Сарвила и присылки в Батурин: милостивое прощение торжественно было обещано. Сей убитый роком предстал пред судию и преклонил голову под меч правосудия, которое на сей раз было милующею матерью. Он включен в число гетманских телохранителей и скоро сделался примером честности и терпения. Теперь, когда я сие пишу, он служит уже сотником, и если бы случай открыл военные действия, то — сколько нам известно — гетман не усомнился бы наречь его старшиною.

Само собою разумеется, что отцу моему не только возвращено было родовое имение, но и тесть присовокупил к тому часть от своих поместьев. Спустя два месяца после примирения Мелитина соединена с Кронидом. Умный дядя мой Король, расположась навсегда остаться одиноким, поселился в одном доме с другом и братом. Мир и спокойствие, сии неоцененные дары провидения, осенили наши семейства. Все прославляли бога, делали добро другим по мере возможности и были счастливы.



Мария



*

Один из коротких моих приятелей, прожив в северной столице нашей более двадцати лет, дослужился значущего чина, и остаток дней пожелал провести в покое. Наследственную деревушку, стоящую недалеко от Полтавы, назначил он пристанищем, взял отставку, простился с друзьями, и, обещаясь мне вести исправную переписку, пока и я не последую его примеру, отправился в дорогу.

Спустя около месяца после его отъезда, я получил письмо, по прочтении которого, показалось мне, что оно не без пользы и удовольствия может быть читано и другими. Письмо сие, по выпущении того, что собственно касалось до меня и его, гласит следующее:

— В двадцатый день июля, от восхода до заката солнечного, я уехал около двенадцати верст, хотя ехал беспрестанно, и лошадей измучил до крайности. Бывший накануне проливной дождь, превратившийся на сей день в мелкий и частый, до такой степени перепортил дорогу, не так-то исправную и при хорошей погоде, что я решился переночевать в ближнем селе, которое показывалось около версты в сторону от большой дороги. Слуга мой и кучер единогласно одобрили сие намерение. Прибыв в селение, мы уведомились, что лучшего ночлега не сыщем, как в господском доме, в коем живет старый управитель Хрисанф, положивший обязанностью никому не отказывать в страннолриимстве. С радостию приняли мы это предложение и взъехали на господский двор. Едва приближились к высокому крыльцу, как выскочили два работника и спрашивали, что нам угодно? «Отдохновение,— отвечал я,— а за издержки отблагодарю щедро». После сих слов, один из спрашивавших скрылся, и через минуту предстал к нам старик величественного роста и вида, с седою бородою, в купеческой одежде.— «Если вы, милостивой государь,—

сказал он с учтивым поклоном,— не более требуете, как покоя на ночь, и надеетесь найти сие счастие в здешнем жилище, я прославлю случай, доставляющий мне удовольствие провести с вами наступивший вечер и разделить ужин. Люди ваши и лошади также не останутся непризренными. Прошу покорно!»

Выскочив из повозки и дав нужные приказания слуге и кучеру, пошел я за хозяином в дом, и, прошед несколько покоев, вступил в комнату, весьма хорошо прибранную, а в ней нашел покойную кровать, у окон стол с письменным прибором, и в углу шкап. «Побудьте здесь,— сказал хозяин,— пока я дам нужные приказания, чтобы все довольны были. Если же покажется скучно, то в сем шкапу найдете несколько книг, которыми можете позабавиться».

По выходе его, я взял свечку, подошел к шкапу, открыл и — остолбенел от удивления: я полагал, что найду там похождения Ваньки Каина, Картуша и тому подобное, но — вместо того — увидел весь театр Корнеля, Расина и Вольтера, басни Лафонтеновы, полное издание Жан-Жака Руссо и лучших русских стихотворцев и прозаиков. В самом низу лежала гитара на куче нотных тетрадей. Несколько минут стоял я, не зная, что и подумать о моем хозяине; наконец вынул том Лафонтеновых басен и уселся за столом. Вскоре явился работник с самоваром, потом принес весь чайный прибор, а за ним пожаловал и управитель. Хотя во взорах его гнездилась какая-то горесть, очень ясно изображавшаяся,— но он хотел казаться веселым, и я почел за неучтивость выведывать причины сей болезни душевной. Когда прибор был вынесен и я остался один с хозяином, то не утерпел спросить: «Скажи, пожалуй, добрый старик, кто читает у тебя эти книги?» Он отвечал с горькою улыбкою: «Дочь моя, Марья. Конечно, я прогневил небо, что оно покарало меня в предмете моей горячности и, даровав мне милую, добрую дочь, сделало ее несчастною!» — «Почему же? — спросил я с недоумением,— по всему кажется, что дочь твоя воспитана гораздо выше своего состояния, и неужели это могло быть причиной какого-либо несчастия?» — «Это-то самое,— отвечал старец,— погрузило ее в бездну злополучия, от коего избавится она не прежде, пока не опустится в могилу».

Я не знал, что отвечать деревенскому жителю, которого взор, голос, движения и слова казались совсем несогласными с его званием. Любопытство начало подстрекать меня, и я задумался, выискивая приличный случай спро-

сить,— не казавшись нескромным,— кто он и дочь его Марья,— как в ближней комнате раздался громко женский голос: «Он приехал? где? где?»—Быстро отворились двери, и молодая, прекрасная женщина, в длинном белом платье, вбежала с отверстыми объятиями. Она устремилась ко мне, но, не дошед шага на три, остановилась с трепетом и закрыла глаза руками. Я совершенно расстроился. Старик, со слезами на глазах, подошел к ней, взял за руку и сказал: «Ах, Маша! бедная Маша! сколько раз я просил тебя, чтобы ты в такую погоду не выходила из дому? Смотри, ты вся обмокла, и руки холодны, как ледяные; поди в свою комнату и переоденься, а не то — ляг в постелю».— «Нет,— сказала она, открыв глаза и дико улыбнувшись,— мне спать не хочется. Злые люди обманули меня; они сказали, что Аскалон сегодня непременно будет сюда, и я бросилась встретить его. Но ах! целый день бродила по проезжей дороге, а его не видала. Возвращаясь домой, мне также сказано, что он уже приехал; я обмерла от радости — и опять обманулась».— Тут она быстро взглянула на меня, отворотилась и вышла из комнаты. Отец за нею последовал.

Очень ясно увидел я, что гощу не у обыкновенных крестьян и что хотя бледная, с пасмурными взорами, в вымоченном платье, но все еще прекрасная Маша лишилась первого драгоценнейшего дара, которым провидение облагодетельствовало человека, лишилась здравого смысла или по меньшей мере расстроилась в оном.

Когда я думал и передумывал о виденном и слышанном мною, хозяин вошел, а за ним работник с чашею пунша, о чем сейчас догадался я по ароматическому запаху. «Милостивый государь! — сказал он дружелюбно,— от слуги вашего узнал я, что вы довольно времени прожили в Петербурге, а потому покорнейше прошу принять приглашение мое и выкушать стакан напитка, столько уважаемого на Севере. Хотя помещик сей деревни от роду в нее не заглядывал, однако приказал мне содержать весь сей дом точно в таком состоянии, как будто бы каждую минуту его здесь ожидали. Прошу покорнейше!»

Когда в наших стаканах начало показываться дно, то время от времени делались мы доверчивее, чистосердечнее, и я без дальнего предисловия сказал, что очень было бы для меня желательно знать, какие обстоятельства повергли дочь его в то бедственное состояние, в каком ее видел? «Вы не ошиблись, милостивый государь,— отвечал

он,— что состояние моей дочери очень бедственно; она с каждою минутой приближается к гробу, и меня туда ж вовлекает. Она-то может служить примером, как воспитание, данное детям выше их состояния, бывает гибельно. О Маша! Если бы ты оставалась в быту крестьянском, то наверно была бы отрадою родителям, украшением стороны родимой, была бы благополучна, а теперь...»

Старик отер слезы, выступившие из глаз его. «Я вижу,— продолжал он,— что вы любопытны знать причины несчастия, постигшего мое семейство. Повествование о горестях, нами претерпенных, облегчает тягость, обременяющую сердца наши. Выслушайте:

Я принадлежу знатному и богатому графу С. Когда он начал управлять сам своими поступками и имением, то из великого числа дворовых служителей избрал меня управителем его дома. Беспрерывные занятия и хлопоты, сопряженные с сим званием, не оставляли мне времени подумать собственно о себе и о дальнейшей судьбе своей. Радея сколько можно к пользам моего господина, я приобрел полную его доверенность; слуги его беспрекословно мне повиновались, я жил в довольстве, был здоров, покоен в совести: чего ж не доставало к истинному счастию?

Граф от природы был кроткого, миролюбивого нрава, никогда не наказывал телесно, и, в случае какого-либо проступка со стороны слуги или служанки, один недовольный взор его был великим наказанием; зато и служители берегли спокойствие его более собственного. Супруга графская была хотя не совсем дурного нрава, но так высокомерна, так напыщена своим сиянием, что редко кого-либо из подвластных ей людей удостоивала ласковым взглядом. Она считала их за насекомых, которых могла душить и топтать по произволу; при всем том, однако ж, как такой образ ее чувствований был всякому известен, и все старались служить ей с величайшим подобострастием, то все шло наилучшим образом, и в нашем многолюдном, великолепном доме было весьма покойно.

Уже Аскалону, сыну графскому, исполнилось пять лет, как сиятельный дом обрадован был рождением молодой графини, Евгении. Тогда, при одном случае, граф сказал мне: «Хрисанф! ты уже начинаешь седеть, а все еще не думаешь приобресть удовольствие видеть возрождение свое в милых детях. Я знаю, что при всей честности твоей, ты имеешь порядочный достаток, следственно, можешь упрочить им жизнь безбедную; сверх же того, за твою усерд-

ную службу, я сделаю тебя свободным со всем будущим твоим потомством, с тем условием, чтоб ты до смерти моей служил при моем доме,— ибо я привык к тебе, и мне уже трудно на место твое выбрать другого».

Такое милостивое расположение господина показалось для меня весьма лестным; я благодарил его чувствительнейшим образом, выбрал себе лучшую девушку во всем нашем доме, женился и чрез год обрадован был рождением дочери, сей самой Марьи, которую вы видели. Ах! думал ли я тогда, что она сделается источником тяжких для меня горестей! Но видно так угодно было провидению!

Марья с самого младенчества обнаруживала кроткий, веселый нрав, покорность воле старшего и отличную чувствительность. Графиня, видя ее очень часто,— ибо жена моя была при ней смотрительницею над всеми горничными женщинами и девушками,— полюбила и по своей власти приставила [ее] непосредственно в услуги к своей дочери. Тогда Марье было от роду пять лет, Евгении шесть, а Аскалону одиннадцать.

По прошествии не долгого времени, к молодой графине приставлены были учители и учительницы; но главное воспитание предоставлено руководству славного аббата Бертольда, который воспитывал графского сына на швейцарский образец; ибо он, к несчастию, думал, что из россиянина ничего путного не выйдет, пока он предварительно в недрах своего отечества не сделается чужестранцем. Евгения полюбила дочь мою, как сестру, и просила, чтобы им дозволено было и во время уроков не разлучаться, так как они доселе во всякое время были неразлучны. Бертольд— как республиканец — похвалил такое благородное желание Евгении; родители дали согласие, и десять лет прошли так, что я благословлял небо за дарованную мне покойную жизнь, за здоровье моего семейства и успехи моей милой Маши во всех упражнениях, приличных ее полу и воспитанию, превосходящему состояние родителей.

Граф Аскалон, которому уже исполнилось двадцать лет, был истинное подобие добродушного отца своего; он за правило поставил каждый день несколько раз навещать сестру свою и в обхождении не делал никакого приметного различия между ею и моею дочерью. Когда он хвалил успехи Евгении, то всегда вмешивал тут и Машу; когда приносил небольшие подарки одной, то и другая никогда забыта не бывала, и — по рассеянности своей — не редко лучшие подносил последней, что бывало между ими

поводом к невинным шуткам, ибо Евгения хотя была не столько простодушна и кротка, как брат ее, однако ж не столь горда и напыщена, как ее родительница; а привычка видеть дочь мою участницею во всех играх, в ученьи, в прогулках и поверенною во всех детских тайностях, в глазах всякого постороннего показывали их двумя нежными сестрами милого Аскалона. Так прошло еще около двух лет, и непредвиденная буря зашумела над головами беспечных, грянул удар грома, раздробил в корне дерево надежд наших и оставил самое горестное воспоминание. Так угодно было промыслу божию! Следуя вдохновению всемогущей моды, Аскалон должен был готовиться к путешествию по иностранным владениям, не для того, чтобы, все хорошее и все дурное чужеземное слича с хорошим и дурным отечественным, найти способы — истребив последнее, придержаться первого, а так — то есть мода требовала, чтоб молодой, знатный, богатый человек путешествовал вне отечества, и Аскалон должен был непременно проскакать несколько сотен миль за границею. Когда мудрый Бертольд делал самые ревностные приготовления, к общему удивлению, заметили в молодом графе задумчивость, уныние, даже некоторую дикость, каковой нельзя было ожидать от человека, образованного по методу Жан-Жака. Такое необыкновенное явление родители приписали необыкновенной нежности сына и не могли нахвалиться тем и тайно и явно. День отъезда назначен, и Аскалон казался совершенно потерянным. Добродушные люди, более склонные к покою, нежели к действию, а особливо в то время, когда потребовалось бы нечто к нарушению сего покоя, не скоро могут быть возволнованы до того, чтобы дозволили себе какое-нибудь огорчение без самой важной, побудительной к тому причины. Посему граф весьма хладнокровно слушал о меланхолических проказах своего сына и ни на шаг не отступал от обыкновенных занятий, кои были весьма не мозголомны. Однако ж, к великому ужасу всего дома, накануне отъезда Аскалонова, поутру граф вышел из спальни в кабинет свой мрачен, как ненастная ночь осенняя. С негодованием выгнал он официанта, явившегося с шоколадом, и никого не допустил к себе. До двенадцати часов пробыл он в совершенном уединении. Разумеется, что служители, в числе которых был и я, стоя у дверей, трепетали, ибо никто не мог припомнить, чтобы граф был когда-нибудь в подобном положении. В сказанное время он позвонил, и я, по обыкновению, явился. Он был бледен; мрач-

ные взоры его устремлены были в землю, брови нахмурены; он взглянул на меня вскользь и спросил вполголоса: «Приятно ли тебе видеть меня в сем положении?» Я обомлел, колена мои задрожали, и припадши к ногам его, я едва мог произнесть: «Ваше сиятельство! от самой колыбели и до седин я был при вас беспрерывно и никогда не имел несчастия видеть вас в такой горести, как ныне. Удостойте меня узнать причину оной и поискать способов истребить сию змею ядовитую!» — «Встань,— сказал граф,— ты должен узнать, да сейчас и узнаешь причину моей горести и горести совсем не мечтательной. Ты опять изменяешься в лице? Разве ты предчувствуешь, что я хочу сказать тебе? Да! Если ты и под старость столько ж честен и предан своему господину, как был в молодости, то ты должен угадывать теперешние мысли мои! Говори, но говори истину, ложь к тебе не пристанет: что заключаешь ты о странностях, выкидываемых с некоторого времени моим сыном?» — «То же самое, что заключает весь дом вашего сиятельства!» — «А что заключают мои домашние?» — «Что молодому графу тягостно расстаться с своими родителями, с ближними».— «Да,— вскричал старик необыкновенным голосом: — ему действительно тягостно расстаться, но только не с нами, а с твоей дочерью — Марьею!»

Если бы он на ту пору был громовержец и во гневе своем бросил в меня тысячу перунов, то едва ли мог бы поразить меня сильнее. Без чувств упал я на землю, и когда опомнился, то увидел себя в постели, а подле оной рыдающих жену и дочь свою. Постепенно приводил я себе на память прошедшее и — взглянув на Марью, снова затрепетал, и на вопрос жены: «Ради бога, скажи, что с тобою сделалось?» — указал пальцем на Марью и со стоном произнес: «Спрашивай лучше у нее; она обстоятельно знает все дороги, проложенные ею на пути распутства, которое нас погубит!» Марья зарыдала, закрыла глаза руками и вышла. Жена моя стояла в беспамятстве, устремя на меня неподвижные взоры. Я ничего не мог сказать ей. Голос, с каким произнес граф имя Марьи, звенел в ушах моих. Мысленно молил я бога, чтобы он благоволил превратить меня в камень, дабы я не чувствовал своего несчастия.

Еще хранили мы с женою горестное молчание, как вошедший официант объявил, что граф идет навестить меня и желает быть без свидетелей. Жена, по данному знаку, вышла с посланным, я кое-как приподнялся на постели, и граф явился. Лицо его было покойнее против прежнего,

во взорах изображалась обыкновенная их кротость. Он сел подле постели и — помолчав несколько — сказал: «Я опечалил тебя, Хрисанф, и это мне досадно. Однако ж, согласись, что и я имею достаточную причину огорчаться. Подожди и выслушай до конца. Я надеюсь, что принятое мною намерение и тебе покажется самым лучшим по настоящим обстоятельствам. Знаю, что многие другие на моем месте поступили б по своей воле без всякого предуведомления; но я не хочу забыть, что и ты человек и отец и что счастие дитяти и для твоего сердца столько же дорого, как и для самого величайшего повелителя.

Из всех моих домашних, думаю, я один менее всех обращал внимание на поступки моего сына в последнее время его здесь пребывания. Может быть, дурачества его остались бы и навсегда неизвестными, ежели бы не случай обнаружил оные. Сегодня поутру, когда Евгения поехала к княжне Юлии, дабы вместе с нею протвердить роли из комедии, которою собираются нас позабавить, моя графиня, сама не зная как и зачем, очутилась в покое своей дочери. Представь, кто хочет, ее замешательство при виде чудного явления. Марья сидела на софе — в самом унылом положении. Аскалон стоял пред нею на коленях и осыпал руки ее пламенными поцелуями. «Клянусь,— сказал он, обратив взоры к небу,— клянусь, что ты, прелестная Мария, во веки моя, я во веки твой! Никакая власть земная не принудит меня избрать другую предметом моей любви, и — рано или поздно — ты должна быть моею супругой!» Он с нежностию обнял Марию; но, услыша по сторону вопль матери, вскочил быстро, и оба любовника окаменели. «Недостойный! — сказала графиня, получив употребление языка,— как дерзнул ты употребить такую клятву, которая никогда не исполнится, по крайней мере до тех пор, пока твои родители еще не в могиле! Безумец! разве забыл ты, чья кровь обращается в жилах твоих и какое имя носить назначило тебе провидение? Удались, непотребный, и жди повелений от твоих родителей!»

«Если бы Аскалон был рассудительнее, то, удалясь от огорченной матери, он бы избежал излишнего ее гнева; но он — в ослеплении страсти — отважился произнести: «Не думайте, матушка, чтобы я осмелился клясться без намерения исполнить свою клятву! Что ж касается до моего имени, от вас заимствованного, то сияние его нимало не помрачится, если я сообщу оное любезнейшему, прекраснейшему из творений общего отца нашего небесного».—

«Так, Маша,— вскричал безрассудный молодой человек, схватя ее насильно за руку,— ты — рано или поздно — будешь графинею, или меня не станет в числе живущих под солнцем».

«Он быстро вышел, а графиня, не обратив и внимания на жалкую Марью, вбежала в мою комнату, дыша гневом и мщением. Она рассказала мне все ею виденное и слышанное и, признаюсь, повергла меня в такое смущение, в такую нерешимость, каких я не чувствовал во все продолжение моей жизни. Призвали на совет г. Бертольда и объявили ему со всею подробностью о безумии его воспитанника. Мы ожидали, что педагог придет в замешательство, робость и даже из угождения родителям примет вид отчаянного: но не тут-то было. Швейцарец, выслушав все, улыбнулся, потер свои руки и весьма простодушно спросил: «О чем же вам угодно беспокоиться? Такие происшествия так не редки, что и думать об них не надобно! Всякий должен желать себе счастия — это закон природы; так не должно ли предоставить ему на волю искать своего счастия там, где найти его надеется? Это также закон той же природы. Если кто доволен куском черного хлеба, зачем принуждать его есть белый, на который почему-то он — но положим — по одной прихоти — и смотреть не может без отвращения? Это значило бы приготовлять оковы для природы, но она — по воле ее создавшего — всесильна и действует по своим, а не по чужим правилам».— «Как! — вскричала графиня с удивлением, услыша умствование, какого никогда не ожидала, а особливо от светского философа, знающего твердо науку жизни, то есть свою прибыль,— неужели вы, господин Бертольд, без негодования и даже ужаса могли бы слышать безумное намерение нашего сына сообщить свое великое достоинство, веками приобретенное, простой, ничтожной комнатной девке?» — «Я готов отступиться от своего имения,— сказал Бертольд хладнокровнее прежнего,— если вы в любой из знакомых вам княжен и графинь найдете что-нибудь такое, чего бы не имела Марья, и что которая-нибудь из двух первых могла бы в особенности способнейшею быть супругою Аскалона!» —«Слова господина Бертольда доказывают,— сказала графиня язвительно,— ясно доказывают, что в его родословной нет ни князей, ни графов; оставим судить о правах природы до другого времени, а теперь надобно обезопасить права породы, и я непременно хочу,— продолжала она, оборотясь ко мне,— чтобы эта ненавистная Марья се-

годня же обвенчана была с камердинером моим Меркуром. Он уже не раз о том мне заикался. Исступленный Аскалон, видя, что все его воздушные замки обрушились, поневоле успокоится, и все пойдет по-прежнему. Я уверена, граф, что вы не найдете лучшего способа вразумить безрассудных и восстановить спокойствие знаменитого дома».

Такая скорая, неожиданная перемена в обстоятельствах,— продолжал граф,— привела меня в крайнее расстройство. Я смотрел то на жену, то на Бертольда и не знал, что отвечать, хотя в ту же минуту чувствовал, что я не в силах согласиться на предложение жены моей. «Не довольно ли,— сказал я, обратясь к графине,— если по необходимости делаем кому-либо хотя временное несчастие; зачем же добровольно — из какого-то темного сомнения, умножать сие несчастие и делать его продолжительнее, а тем самым мучительнее, несноснее?» — «Это модная филантропия,— вскричала графиня разительно,— она приятна только в романах, а в существенных делах никуда не годится! Поэтому ты,— сказала она весьма вспыльчиво,— так же равнодушно смотрел бы, если бы и Евгения обратила взоры свои на какого-нибудь».— «Остановитесь, графиня,— вскричал я и почувствовал такое огорчение, такую досаду на всех, не исключая и себя, каких не ощущал в течение всей супружней жизни моей.— Графиня,— сказал я, несколько успокоясь,— кажется, мы хлопочем о пустяках и более беспокоимся, нежели чего стоит самое дело. Тебе известно, что Аскалон завтра едет и не на неделю или на две, а на столько времени, пока совершенно выздоровеет от своей горячки. Поверьте мне, если вы сами не испытали, чем сильнее бывает пламя, тем скорее оно потухает. Дайте мне переговорить с сыном, и я ручаюсь, что он никогда не забудет благопристойности, которая есть весьма важное правило в светской жизни».

Графиня и Бертольд удалились, а сын по приказанию моему явился. Я высказал ему все, что огорченный, но вместе и чадолюбивый отец говорить может, и, к величайшему удивлению, услышал от него то же, что прежде мать слышала. Видя, что суровостию ничего доброго сделать не можно, а напротив, весьма легко взволновать еще более и без того слишком возмущенное воображение, я переменил способ объяснения и сказал: «Друг мой! оставим пустые слова и пожалеем, что целое утро потратили на безделицу. Поговорим о чем-нибудь поважнее, например: завтра поутру ты отправляешься в путь довольно даль-

ний».— «Милостивый государь! — отвечал он,— я смею думать, что если и о важном предмете говоришь очень часто, то наконец сделается утомительно, скучно! О поездке моей твердили все около полугода; все готово, я с родными и знакомыми уже раскланялся, остается испросить ваше и моей матушки благословение и отправиться; но вместе с сим позвольте уверить вас, что намерение мое так твердо, так непоколебимо».— «Так как и мое,— сказал я решительно,— удались отсюда!»

Аскалон удалился, оставя меня в самом затруднительном положении. Ты знаешь, Хрисанф, что с самых молодых лет я терпеть не мог никаких ссор и браней, а теперь на старости должен начать настоящую войну с женою, с сыном, даже с самим собою. Я вошел в свой кабинет крайне расстроенным и пробыл там несколько часов, ни на что не решившись. Мне вспало на мысль, что ты так же стар, как и я, и что спокойствие твоей дочери не менее тебе дорого, как и мне сыновнее. Я позвал тебя, в надежде услышать от тебя совет, каким образом поступить умнее в таком примерном деле; но смущение твое при самом начале открытия роковой тайны было столь велико, что я не мог извлечь из того ничего больше, как только то, что и ты до сего утра не более знал о сем, как и все мы.

«Старик! — продолжал граф с особенною чувствительностью: скажи, как должен поступить я, чтобы не оскорбить человечества и не раздражить вкорененного породою самолюбия?» — «Милостивейший государь,— сказал я с душевною признательностью,— вы редкий и едва ли не единственный из сияющих своими титлами бояр, который защищал полученные им при рождении права и преимущества, печется и о спокойствии человечества! Так! разлука, вечная разлука между Аскалоном и Марьею —по моему мнению, может только одна возвратить и тому и другой потерянное счастие; но вместе с сим, я думаю, что принуждать дочь мою отдать руку свою другому, без сомнения, на сей раз ненавистному для нее человеку — значило бы погубить одним ударом несколько человек: меня, жену мою, дочь, ее мужа и — самого Аскалона!» — «Остановись! — вскричал граф с жаром,— эта выдумка родилась в воображении моей графини и должна навсегда остаться простою выдумкою».

Подумав несколько времени, он сказал с видом решительности: «Вот как мы сделаем. Дочь твоя остается при тебе с этой минуты безвыходно. Завтра рано поутру Аска-

лон с Бартольдом и назначенными служителями отправится в путь. До первой перемены лошадей мы все, родные и знакомые, будем провожать его. Ты — разумеется без дальней огласки — в течение сего дня приготовься также к дальной поездке. Для всегдашних услуг себе, возьми крестника твоего, форейтора Архипа с сестрой его Матреной; они сироты, и при тебе им будет не худо. Я назначаю тебя управителем самого дальнего поместья моего в Украйне. В господском доме оснуешь ты свое жилище и пробудешь там до тех пор, пока смутные обстоятельства переменятся. Доволен ли ты моим намерением?»

«Сиятельнейший граф,— сказал я с сильным движением,— можно ли придумать что-либо лучше, благодетельнее!» Потом я схватил его руку и осыпал ее поцелуями и слезами. «Хорошо,— сказал граф,— делай же свое дело; ввечеру получишь ты приказание к теперешнему управителю сказанного поместья, по которому [он] и сдаст тебе оное».

Он вышел, и такая прямо отеческая благодетельность господина меня оживила; я встал с постели, призвал жену и дочь и велел им в тот же день быть готовыми к отъезду.

В следующее утро, с восходом солнечным, Аскалон со всеми провожатыми отправился в путь, а спустя с час времени и мы двинулись. Проезжая двор графского дома, я и жена моя рыдали неутешно, но Марья была — бог знает, как это и выразить — она была ни печальна, ни весела; какое-то равнодушие отпечатлевалось в каждой черте лица ее; ни стук проезжающих экипажей, ни мычание прогоняемых на паству коров, ни звонкий крик проходящих продавцов с разными припасами, ничто не могло хотя на один миг родить на лице ее какого-нибудь изменения,— и когда выехали за заставу и тишина полей разлила в душе моей какое-то темное, но приятное чувство будущего покоя, Марья опустила голову на подушку и сомкнула глаза. «Слава богу! — шептала мне жена,— она уснула; я надеюсь, что сон будет для нее спасителен».— «Дай бог и святая матерь его,— сказал я со вздохом,— чтобы предчувствие тебя не обмануло».

Когда остановились мы для отдыха и обеда, Марья соскочила с повозки, осмотрела всех и улыбнулась. Мать бросилась обнимать ее, а я с ужасом отступил,— ибо улыбка сия — я не умею описать ее — изображала душу, ничего уже не чувствующую. В глазах ее мелькал слабый огонек, под черным пеплом беспрестанно кроющийся. «Матуш-

ка! — сказала она, стараясь уклониться из ее объятий,— не целуйте меня; вы сотрете с губ моих поцелуй, пламенный поцелуй, теперь только от него полученный! Ах, он плакал, и сердце мое разрывалось; он обнял, поцеловал, и оно ожило, радостно забилось в груди моей, я почувствовала себя всю в огне, но мне было так приятно, так сладостно! Ах, матушка! Не мешайте мне; может быть, он опять придет, может быть...» Она легла на траве, склонила голову на руку и опять закрыла глаза. Жена взглянула на меня робкими глазами и едва могла проговорить: «Что это значит?» — «Не более,— отвечал я с судорожным движением,— как только то, что предел нашего бедствия приближается! Отец небесный! Если угодно было святой воле твоей определить нас к мучениям, то даруй нам терпение, и да одеревенеет всяк, дерзающий роптать на провидение! Так, жена! Я предугадываю всю великость нашего несчастия, и нам не остается ничего, как молиться и терпеть».

Зачем отягощать вас подробным описанием тех случаев, которые постепенно уверяли нас, что милая дочь наша потеряла полноту своего рассудка. О вещах обыкновенных говорила она довольно основательно, но как скоро примешивалась туда мысль об Аскалоне, то воображение ее начинало воспламеняться, она погружалась в мечтания, видела его в какой-то мрачной отдаленности, простирала туда взоры и руки, звала громко, а оканчивала обыкновенно такие мечтания вздохами и слезами. «Видно, теперь с ним вместе,— продолжала она, утирая глаза,— жестокие его родители, и он не смеет ко мне приблизиться!» Она погружалась в мрачное уныние и не прежде от него освобождалась, как после какого-нибудь сильного потрясения, какое могло б разбудить спящего обыкновенным, но глубоким сном. Да она и отличалась от спящей только тем, что имела глаза открытые, неподвижно к какому-нибудь предмету обращенные.

Прибыв в селение, мы расположились в сем доме. Неутешная мать с каждым днем приближалась ко гробу, и — по прошествии года — ее не стало! О, как велика была горесть моя; но Марья не оказывала никакой перемены. Видя всех рыдающих вокруг гроба, она к нему приблизилась, глядела на покойную, терла виски свои, как будто что припоминая, и после весьма равнодушно говорила: «Ах, ей теперь гораздо лучше! Никто, никакие родители не запретят ей видеть всегда тех, кои ей любезны; между тем как я — не смею о том и подумать».

Так прошел еще год, так прошел и другой. Марья сделалась гораздо покойнее; реже предавалась своим мечтаниям, занималась прогулкою, чтением или игрою на гитаре. Разумеется, что все ее окружающие крайне остерегались тронуть болезненную струну, беспрестанно звеневшую в сердце ее. Когда даже болезнь ее возобновлялась, что также было весьма нередко, то она, чем бы занята ни была, оставляла все, спешила одеться и уйти из дому. На вопрос: «куда ты, Маша?» — она с доверенностью и удовольствием казала какой-нибудь лоскут бумаги, нередко ею самою написанный, и говорила: «Прочтите сами! Он пишет, что сегодня к нам будет, так не должно ли пойти встретить его!» Тут всякое сопротивление было бы тщетно. Вся предосторожность моя состояла в том, что я наряжал какую-нибудь из деревенских девок, которая, следуя за нею неприметно, как скоро видела, что слякоть, мороз, ветры и непогоды могли бы сделаться гибельны для ее здоровья, подбегала к ней и уверяла, что Аскалон другою дорогою проехал прямо к дому. Тогда больная летела домой, видела себя обманутою, вздыхала, плакала и, сказав: «Видно, сегодня что-нибудь его задержало»,— помаленьку успокаивалась; и в таком-то расположении духа видели вы ее в этот вечер. Целые три года не имею никакого сведения о господах своих. Все приказания относительно прихода и расхода по сему селению получаю я от главного управителя из столицы и туда же посылаю оброк. Ни в одном из писем столичных не упоминается даже ни имен графа, графини и детей их. Кажется, все, существующее в мире, готовится забыть меня с бедною страдалицею,—я же, с своей стороны, давно забыл все, и воспоминание дней радостных и дней горестных кажется мне воспоминанием сновидения, не оставляющего уже на сердце никакого впечатления.

Вот, милостивой государь, повесть трехлетнего моего здесь пребывания. Дни мои подобны воде болотной в омуте, осененном высокими деревьями. Никакие удары грома, никакие порывы вихрей не возмутят ее более. Дно и берега ее заросли травою зловонною, и в недрах клубятся отвратительные гады. Если что еще меня утешает, так это мысль, что я, по крепости телесного сложения, переживу несчастную дочь свою, испрошу на леденеющую голову ее благословение отца небесного, закрою глаза ее, столько слез пролившие, и уложу в мрачной могиле. Сим самым предохраню ее от тех несчастий, каким может подвергнуть-

ся бедная, осиротевшая, расстроенная в духе и теле невинность. Правосудный боже! какого горестного утешения должен я у тебя испрашивать — утешения видеть в гробе дочь свою любимую, дочь единственную, в объятиях которой надеялся я некогда испустить последнее дыхание!»

Старик умолк и тихонько утер слезы; я был растроган в глубине души моей. «Вижу,— сказал я, подошед к нему,— что печаль твоя не мечтательна и что одна надежда мира иного, мира лучшего, может еще поддерживать на кремнистом пути, заросшем терном и волчцами».— «Ваша правда,— сказал он, также вставши,— что сия надежда есть теперь единственный бальзам для растерзанного сердца моего».

Он вышел, но скоро возвратился и повел к столу. Я дал ему заметить то удовольствие, какое доставила б Марья, сделавшись собеседницею. «Она спит,— сказал старик,— а сон есть преддверие того блаженства, какого, может быть, сподобится она, уснув сном непробуждаемым».

Я провел ночь в сем доме, и противу чаяния очень покойно. Хотя Марья несколько раз мечталась мне в сновидении, но всегда так веселою, так довольною, с таким радостным взором, исполненным любви небесной и вышнего услаждения, что я, проснувшись с сладостным биением сердца, сказал: «Се образ Марии за пределами гроба!»

Наставшее утро было прекрасно; повозка моя подвезена к крыльцу; добрый Хрисанф уже был там с корзиною с съестными припасами на дорогу. «Что делает Марья?» — спросил я. «Вот она в саду». Я взглянул туда и увидел, как бедная девушка ходила от одного цветка к другому, поднимала прибитые к земле минувшею непогодою, очищала от прильнувшей к ним грязи и расправляла перепутавшиеся от дождя листочки.

«Вот лучшее препровождение времени,— сказал старик,— каким в хорошую погоду занимается по утрам Марья; но спустя несколько часов ничто не удержит ее от намерения встречать того, которого, по всему вероятию, не прежде встретит, как в обители бесплотных».

Я обнял старца, с сыновнею нежностью облобызал чело его, сел в повозку и пустился в путь. Несколько дней мысли о Марье были первыми при пробуждении и последними, когда я смыкал глаза свои сном отягченные.

Так оканчивалось письмо моего друга; и в продолжение более двух лет, хотя переписка беспрестанно между нами продолжалась, не упоминал он ничего о Марье;

а посему и я тогда только вспоминал о ней, когда прописанное письмо в глаза мне попадалось. По прошествии сего времени, в самую зиму, получил я письмо из Москвы, которое было окончанием первого, а потому и оно здесь прилагается.

Весьма несправедливо те думают, кои утверждают, что жить в деревне — значит жить мирно с самим собою и с другими, следственно — жить счастливо. Это было бы отчасти и справедливо, если б удобно было к исполнению; но ужиться во всегдашнем мире с окружающими нас людьми — столько ж возможно, как если бы я, поставлен будучи посреди Ливийской степи, сказал во услышание всем диким львам и тиграм: стекайтесь сюда, впрягайтесь в мою колесницу и везите меня куда укажу, а я уверяю, что мы доедем до таких благословенных мест, где челюсти ваши никогда не обагрятся невинною кровию робкой лани и смиренного агнца! Вы будете с особенным вкусом насыщать алчбу зеленою травою и молодыми ее кореньями, а утолять жажду водою из источника! Не правда ли, что сие удобно сделать одним только небожителям?

После сего длинного вступления, вырвавшегося из-под пера, так сказать, насильственно, я приступаю к делу, сказав, что глупая тяжба с одним из моих соседей заставила меня пуститься в Москву, ибо там дело мое должно получить окончательное решение. Несмотря на все неприятности, сопряженные со временем года, я снарядился и, перекрестясь, пустился в путь.

Проехав около двухсот верст и соображая приятности, какие видел я за два с небольшим года пред сим на этой же самой дороге, вокруг которой тогда, на необозримом пространстве, леса зеленелись и поля блестели золотом, с настоящим положением, когда повсюду расстилались снежные холмы и долины, вдруг вспомнил я о знакомце моем, добром Хрисанфе, и о несчастной его дочери. Мысль повидаться опять с ними, и, может быть, в последний раз, пролила какое-то томное чувство в душе моей, близкое к удовольствию, но на него непохожее. Это чувство можно назвать надеждою увидеть занимательный для нас предмет в лучшем состоянии противу того, в каком его некогда видели. Доехав до небольшой проселочной дороги, выходящей на большую, я велел по ней ехать и чрез полчаса езды увидел перед собою деревню и господский дом, где обитал Хрисанф с Марьею. Но что представилось мне новое, чего прежде не было, так это каменное здание, распо-

ложенное в уединенном углу сада, по наружности похожее на небольшую церковь или на огромную часовню. У входа толпилось несколько мужиков и баб, которые, вероятно по тесноте храма, не могли в нем уместиться. Вдруг озарила меня мысль, что, конечно, кто-нибудь из владельцев находится в сем поместье и отправляет семейный праздник, почему я и не рассудил заезжать на господский двор, а искать приюта в избе крестьянской. Приказав слуге ехать далее и остановиться у первого крестьянского дома, я вышел из повозки, вошел на двор графский, и, нашед в заборе отворенную калитку, вошел в сад, и по представившейся тропинке, тщательно вычищенной и усыпанной песком, пошел прямо к церкви.

Издали еще услышал я унылое пение и увидел обильные слезы на лицах молящихся. С непонятным трепетом вступил я во храм — и был пригвожден к помосту от неожиданности мною виденного. Вся церковь обита была черным сукном; по левую руку у западных врат устроена была пространная впадина, по середине коей на довольном возвышении стояли два гроба, обитые малиновым бархатом. Они окружены были огромными подсвечниками с зажженными свечами. У изголовья одного гроба стоял, облокотясь на оный, молодой человек, одетый в глубокий траур. Лицо его было бледно, глаза впалы, тусклы, полны слез. Длинные волосы в беспорядке расстилались по плечам; по обеим сторонам гроба стояли шесть священнослужителей и совершали молитвы о успокоении души Марииной. При сем имени колена мои задрожали, я чувствовал, что побледнел, кровь в жилах остыла, и я с судорожным движением воскликнул: «Мария во гробе!» Все предстоящие обратили на меня любопытные взоры; молодой незнакомец приподнял голову, взглянул вокруг взором испытующим, увидел меня, несколько мгновений смотрел внимательно, потом закрыл глаза обеими руками и склонился лицом ко гробу.

Я не мог выдержать сего зрелища, представляющего повсюду глубокую горесть и мрачное уныние. Сейчас представилась мне мысль, что стоящий у гроба молодой человек есть не кто другой, как несчастный граф Аскалон. Положение сего безнадежного любовника терзало душу мою. Ах! Теперь только ясно видна беспредельная любовь его к Марье. Кто же опишет ужасную бурю, раздирающую душу его! Вместе с молитвами священнослужителей воссылал и я к благому, всевечному источнику любви и милосердия

мольбы свои о успокоении в отеческих недрах своих души Марииной, поспешно вышел из церкви и пустился отыскивать свою повозку. Слуга, встретивший меня на улице и проводивший в теплую избу, подтвердил мою догадку. Так, молодой человек, виденный мною у гроба, действительно был Аскалон, давший клятву остальные дни свои провесть в уединении подле праха своей возлюбленной. Старая хворая женщина, остававшаяся в избе, рассказала нам, что молодой граф проживает у них уже около двух лет, живет уединенно как отшельник, редко с кем видится, а говорит и того меньше.

Когда мы рассуждали о судьбе сего верного любовника, имевшего от природы и случая столько надежд на безмятежное счастие и изнемогающего теперь под ударами незаслуженного им бедствия, дверь быстро отворилась, и предо мною предстал знакомец мой, седовласый Хрисанф. С горькою улыбкой он протянул ко мне руку, и я обнял его с сердечным соучастием. «Да, старик,— сказал я, усадя его на скамейке,— я нарочно заехал сюда, чтобы повидаться с тобою и твоею дочерью. Я ласкался надеждою, что время, самый лучший врач, сколько-нибудь излечит раны ее сердечные, но ах!..» — «Как, сударь,— сказал он вполголоса,— разве дочь моя не совершенно исцелилась от тяжкой своей болезни? Я по крайней мере уверен, что она теперь столько счастлива в другом мире, сколько была несчастна в здешнем! Я даже прославляю благость провидения, что оно, при самом начале уничтожения сладких надежд ее, лишило горестной способности чувствовать бедствия свои в полной мере! Граф Аскалон знает, что вы были здесь за два года и что история любви его вам известна. Хотя он, по принятым правилам, твердо им исполняемым, не имеет ни с кем никакого обращения, кроме меня и своего духовника Памфила, священника той церкви, которую вы сегодня посетили, при всем том гостеприимство не чуждо полумертвому сердцу его. Именем его, прошу вас в господский дом — откушать и несколько от дороги успокоиться. По праздничным дням, каков сегодняшний, мы — то есть: я и священник, угощаем обедом приезжающих из города священнослужителей и крестьян, замеченных в точном исполнении обязанностей христианских, ходящих в страхе господнем и служащих кротостью и трудолюбием примерами для своих детей и всего селения. Прошу вас не отказать Аскалону в самом невинном его желании и потрудиться пойти вместе со мною».

Хотя я знал, что приглашают не на свадебный пир и что не увижу более Аскалона, которого судьба сделала глубокое впечатление на мое сердце, однако я пошел за моим путеводителем и, вошед в господской дом, увидел в двух больших комнатах расставленные столы, покрытые изобильными яствами. Крестьяне и крестьянки стояли у столов, в ожидании благословения от священства, которое видел уже в церкви. По окончании обеда, все городские пастыри уселись в сани и поехали восвояси; крестьяне разошлись по домам, и я остался с Хрисанфом и престарелым отцом Памфилом, который вскоре, почувствовав усталость, неизбежную в его лета, также скрылся для отдохновения. По приказанию Хрисанфа в камине запылали дрова; мы подвинули к нему свои стулья, и старый знакомец, взяв меня за руку, сказал с добродушием: «За два с половиной года перед сим видели вы мою Марью и принимали участие в ее горестях. Бороться с природой кое-как можно, но преодолеть ее — выше сил человеческих. По отъезде вашем, Марья не переставала, как и прежде, каждый день выходить в поле для встречи своего любезного. Я очень видел, что такое препровождение времени день ото дня изнуряет, истощает телесные силы ее: но нечего было делать. Всякое сопротивление, как вам уже известно, было для нее несносно: она рвалась и страдала еще более. При наступлении глубокой осени, она так ослабела, что не могла без помощи другого ходить по комнате и поневоле должна была слечь в постелю. Хотя я всегда ожидал сего последствия тех ужасных потрясений, которые расстроили в корне древо жизненное, однако ж поражен был глубочайшею горестью, как будто бы изнеможение моей дочери постигло ее неожиданно.

Недалеко отсюда живет в своей деревне врач, человек, прославившийся знанием в своем искусстве и готовности пособлять страждущему человечеству. За ним послал я карету, и к пригласительному письму приложил довольно значительную сумму. Он не замедлил приехать и пробыл у меня два дня, испытывая тщательно степень болезни моей несчастной дочери. На вопросы о ее состоянии, он обыкновенно отвечал: «Посмотрим!»

На третий день, едва я кончил утренние молитвы, входит служитель и подает письмо, сказав: от господина доктора.

«Как? — вскричал я, и мороз разлился по моим жилам; — разве не может он видеться со мною?» — «Он давно

уже уехал!» — Тут ясно представилась мне вся безнадежность в спасении моей Марии; холодный пот оросил лицо мое, я дал знак слуге выйти, сел у стола и, вскрыв роковое письмо, не мало подивился, увидя деньги свои, посланные доктору. «Увы,— сказал я,— все теперь объясняется: дочери моей не видать весны более!» Доктор писал следующее:

«Осмотрев внимательно Марию и вникнув в источник ее болезни я — судя по всему вероятию — заключаю, что земные врачи, кто бы они ни были, более для нее не надобны. Если благое провидение сжалится над несчастною и возвратит ей хотя на несколько часов действие смысла, постарайся часы эти употребить с пользою и приготовь душу ее к миру иному. Возвращаю присланные тобою деньги; за одни советы я ни от кого их не принимаю».

Предсказание прозорливого доктора сбывалось очевидно. При каждом новом свидании с дочерью, я находил ее слабее и слабее, и наконец она была не что иное, как высохшая былинка. Смерть мелькала из каждого ее взора. К половине зимы я был обрадован и вместе поражен горестью, нашед, что Мария получила употребление рассудка. Я стоял у ее кровати и рыдал неутешно. Ах! Я постепенно умирал вместе с нею.

«Батюшка! — сказала она однажды поутру, взяв руку мою и приложив к бледным губам своим,— не знаю достоверно, сколько прошло времени с того несчастного дня, когда мы все оставили столицу; но Матрена говорит, что сия поездка стала вашему сердцу весьма дорого, вы лишились моей матери и теперь скоро лишитесь и дочери. Простите ли вы мне те горести, коих я была причиною? Ах, с какою радостию оставлю я тогда печальное сие жилище и перейду в другое в полной надежде на милосердие небесное и на жизнь лучшую!» — «Милое дитя!» — говорил я, обнимая Марию,— если б угодно было сему милосердию, на которое ты надеешься, возвратить тебя и к здешней жизни, то я почел бы себя счастливейшим отцом».

Тут вошел священник, два дни уже проживавший в доме нашем, и я оставил их одних. С сего времени я не осмеливался уже утруждать ее моими стонами и рыданиями и возмущать сердце, полное веры, любви и надежды на будущего блаженства. Я дозволял себе только взглянуть на нее тогда, когда священник объявлял, что она предалась покою. Так протекли две недели, и я был призван к Марии. «Батюшка! — сказала она с улыбкой ангела,— благо-

словите меня: я отправляюсь в путь дальний».— «Да будет над тобой божие и мое благословение, о дочь любезная! Ступай с миром к святому источнику мира вечного!» — сказал я прерывающимся голосом и принял ее в свои объятия; она еще улыбнулась, и я прижал к сердцу леденеющие уже остатки моей дочери. Тут-то я почувствовал, что, имев некогда добрую жену, нежную дочь, теперь остался я один во всей вещественной природе,— один в такое время, когда голова моя побелела, когда всякий член приближался к разрушению! Злополучный старец! ожидал ли ты сей ужасной бури в душе твоей! Ах! как приятно, но как иногда и горестно быть супругом и отцом!

При всем том, благодать божия не оставила меня и — я не возроптал. «Бог мне дал тебя, о дочь любезная, бог и взял; да будет благословенно имя его!» — так говорил я, сжимая очи Марийны, и луч горней отрады разогрел оледеневшее сердце мое.

Уже хладная могила была ископана; уже вокруг гроба Марии почтенные священнослужители возносили мольбы к милосердому отцу всего сущего, испрашивая новопочившей вечного мира в горних селениях, уже вопли и стоны собравшегося народа наполняли воздух, как вдруг услышали мы на дворе редкий стук быстро въезжающей кареты. Подобно вихрю, выскочил из нее молодой человек, и в несколько мгновений очутился уже в погребальной храмине. Узнаю Аскалона, колена мои колеблются, и я принужденным нахожусь прислониться к стене. «Что это значит,— спросил граф тотчас,— кого погребаете?» — «В сем гробе Мария, дочь Хрисанфова»,— сказал один из крестьян. Граф помертвел, задрожал и пал на руки его окружавших. «Праведное небо! — сказал я, стараясь оправиться.— Неужели еще и это зло было необходимо!»

Когда я объявил о имени молодого незнакомца, то все пришли в смятение и ужас. Мы совершенно не знали, что делать. По приказанию моему, графа уложили в постелю, где и оставили на попечение двух прибывших с ним опытных служителей; я же с своей стороны приложил старание, чтобы как можно скорее предать земле тело дочери. Зная с юных лет нрав Аскалона, я не без причины опасался, что, получив употребление чувств, он захочет видеть труп своей любезной, предастся новому терзанию и тем может навсегда расстроиться.

Не прошло и часа, как уже наша Мария покоилась в мерзлой могиле; в конце сада, у возглавия оной, я поставил

деревянный крест. Несколько мрачных сосен и елей окружали сей последний одр покоя. Вы чувствуете, в каком состоянии была душа моя, когда косвенными шагами шел я от могилы к своему жилищу.

Граф приведен был уже в чувство и пожелал меня видеть. Бледно было лицо его, взоры с дикостью вокруг обращались. Беспорядок души виден был из каждого движения. По данному знаку служители, при нем бывшие, удалились, и мы остались одни. Он молчал, я также; наконец, с судорожным движением, устремя глаза в пол, спросил несчастный: «Итак, Хрисанф, итак Марии нет более!» — «Почему же нет? Она теперь блаженствует».— «Ах, не верю! Я знаю сердце Марии лучше отца ее и матери! И в недрах рая — без Аскалона едва ли вкусит она истинное блаженство! Пойдем к ней; я хочу еще однажды взглянуть на предмет моей любви, и тогда делайте с нею, что хотите».— «Любезный господин! — сказал я, также опустив к земле взоры,— уже тяжелая глыба земли лежит на груди Марииной и будет гнести ее дотоле, пока глас трубный не пронесется из конца в конец вселенныя: восстаньте!»

Быстро устремил он на меня взоры свои и с трепетом произнес: «Как! и сего последнего утешения меня лишили! Безжалостные! Бесчеловечные!»

После некоторого молчания, он призвал слуг и с помощью их оделся. Потом, сказав: «я сейчас еду в город», взял меня за руку и вышел на крыльцо. «Веди меня на место, где покоится страдалица!»

С трепетом повиновался я и с сокрушенным сердцем привел его к могиле. Я не мог произнести ни слова и, указав пальцем на место, прислонился к сосне. С воплем пал Аскалон на сырую землю, обнял ее и произнес: «Ты здесь, моя Мария! ты здесь! о, я злополучный!» Тут зарыдал он горько, и я мысленно воссла́л благодарение милосердому богу за сии спасительные слезы.

Около часа провел граф на могиле. Он призывал все силы небесные, умоляя их возвратить Марию или и его взять от лица земли. Наконец, пришед в изнеможение и вняв моим просьбам, в последний раз обнял землю, оросил ее слезами и, встав, обнял меня и пошел из саду. Карета готова была к отъезду; он сел и сказал мне: «На несколько недель отлучаюсь в город; до приезда моего никто, кроме тебя, Хрисанф, да не дерзнет прикоснуться к земле, покрывающей прах моей Марии». С сим словом карета покатилась сколько можно быстрее.

Из первого уездного города получил я от Аскалона приказание: в углу сада, против могилы Марииной, построить немедленно деревянную беседку по приложенным чертежу и размеру. Хотя мне совершенно было неизвестно, на что понадобилась новая беседка, когда довольно находилось таких в саду, и хотя время года нимало не способствовало к постройке,— однако ж я, собравши своих сельских плотников, принялся за дело с такою ревностью, что беседка готова была менее нежели в месяц; а спустя несколько дней явился и граф, но не один. Вместе с ним в карете приехал старый священник Памфил, которого вы видели подле себя за обедом, и человек с двенадцать художников разного рода. «Любезный друг,— сказал Аскалон, обняв меня с нежностью.— Священник останется у нас, может быть, навсегда, отведи для житья его приличные покои в сем доме подле комнаты, где предки мои приносили молитвы свои богу, и назначь ему прислугу. Прочих же, приехавших со мною, в числе коих есть живописцы, столяры, слесари и другие, знающие свое дело, размести в пристройках дома, где кому покажется удобнее. Они хотя не навсегда здесь останутся, однако пробудут довольно долго».

Едва рассвело поутру, я получил приказание явиться к графу и не мало подивился, увидя его уже одетого, и притом в глубокий траур. Когда я дал ему сие заметить, то он отвечал с горькою улыбкой: «Это одеяние для меня приличнее, нежели прочие, и я не переменю его до гроба. В тот ужасный день, когда я против всякого ожидания увидел Марию в гробе, родилась в душе моей мысль, которую может быть почтут многие вздорною, но какая мне до того нужда! Довольно, что она меня услаждает, по крайней мере столько, сколько способно еще это растерзанное сердце чем-нибудь услаждаться».

Сказав это, он пошел в сад; а по воле его — я, отец Памфил, все мастеровые и служащие в доме люди за ним последовали. Когда вступили мы в новопостроенную беседку, я поражен был удивлением, увидя посередине ее большой стол, а на нем два пустые, великолепные гроба. Они покрыты были малиновым бархатом, украшены золотыми листами в головах и ногах, с насеченными гербами фамилии графской и надписями, а внутри плотно выложены свинцовыми листами. Осмотрев все и взглянув на меня с умилением, граф сказал: «Вот два последние жилища, для Марии и меня! Для сооружения их и места, пристойного заключать в себе сии памятники бренности человеческой,

из коей, однако ж, впоследствии времени отделится достойная часть и воспарит ко трону жизни вечныя, я нарочно был в городе, но уже в последний раз».

От беседки отправились мы к могиле Марииной. По совершении Памфилом молитв о успокоении души ее в селениях горних, мастеровые принялись за отрытие гроба: в короткое время он был извлечен из глубины земной и с примерным благоговением отнесен в беседку. Тут поместили его в назначенном гробе, возложили крышку и прикрепили ее с таким искусством, что ни малейший воздух не мог проникнуть во внутренность. Аскалон во все сие время беспрестанно обнимал гроб и проливал слезы.

На возвратном пути, на том месте, где доселе погребена была Мария, заложена церковь, во имя Святыя Марии, толико любившей своего спасителя. По наступлении весны, явилось из города множество мастерового народа, и началось строение храма; Аскалон сам имел надзор за работами, и в середине лета здание было окончено; а как привезенные им из города художники в течение всего времени пребывания в нашем доме занимались беспрерывно каждый своею работой, то в 22 день июля, в день Марии Магдалины, храм освящен был с возможным великолепием, и в нем поставлены гробы, вами виденные.

Аскалон, совершив свое преднамерение, принял особый род жизни. Кроме священника, меня и двух слуг, он редко кого допускает к себе, и то по необходимости. Главное препровождение его времени состоит в прогулках и чтении. Впрочем, такая уединенная жизнь не препятствует ему быть благодетелем не только крестьян, ему принадлежащих, но и посторонних. Чрез меня узнает он о их нуждах и никогда не оставляет без помощи. Все благословляют его; все хвалятся своим счастием: один он носит в груди своей корень злополучия, который, приметно снедая все жизненные силы, более и более утверждается и, по-видимому, не прежде иссохнет, как во взорах страдальца потухнет последняя искра жизни».

Старик умолк и погрузился в мрачную задумчивость. Я, с своей стороны, представляя положение безутешного, утешающего других и не находящего в том отрады для души своей, не мог удержать тяжких вздохов и наконец сказал: «О, как превратны надежды человеческие! как скоропреходящи лучи обманчивого счастия! Увы! неужели гроб есть колыбель для человека? Но,— продолжал я, обратясь к Хрисанфу,— как узнал граф о месте заточения Марии,

когда известно, что родители его и все домашние должны были скрывать от него о сем весьма тщательно?»

«По прошествии трехгодичного пребывания Аскалонова в чужих владениях,— сказал Хрисанф,— он получил известие, что в доме его произошли важные перемены. Молодая Евгения, хотя почти от колыбели знала, что столетняя вражда, иногда тайная, а иногда открытая, разделяла фамилии графов С. и князей М., не усомнилась полюбить молодого Эраста, красу и подпору последней фамилии, да и князь пылал к ней истинною любовью. Ближние родственники той и другой стороны тотчас почувствовали, что этот узел может связать дружбой оба поколения, кои поселе, вредя одно другому, попеременно несли унижение и неприметно приближались к падению. Первоначально сделан приступ к старому графу С., и он столько был добродушен, умен и не самолюбив, что сейчас дал согласие на соединение своей дочери с Эрастом, который по всем отношениям достоин был иметь такого тестя. Несмотря на все сопротивления старой графини, день назначен и брак совершен; но он соделался днем стона и рыдания. Отчаянная мать, видя, что злоба ее не имеет над умами других никакого действия, такую волю дала своему неистовству, что, когда, по совершении бракосочетания, дочь ее и зять пали к ногам ее, прося благословения, она задрожала, поколебалась, пала, и поднята без дыхания.

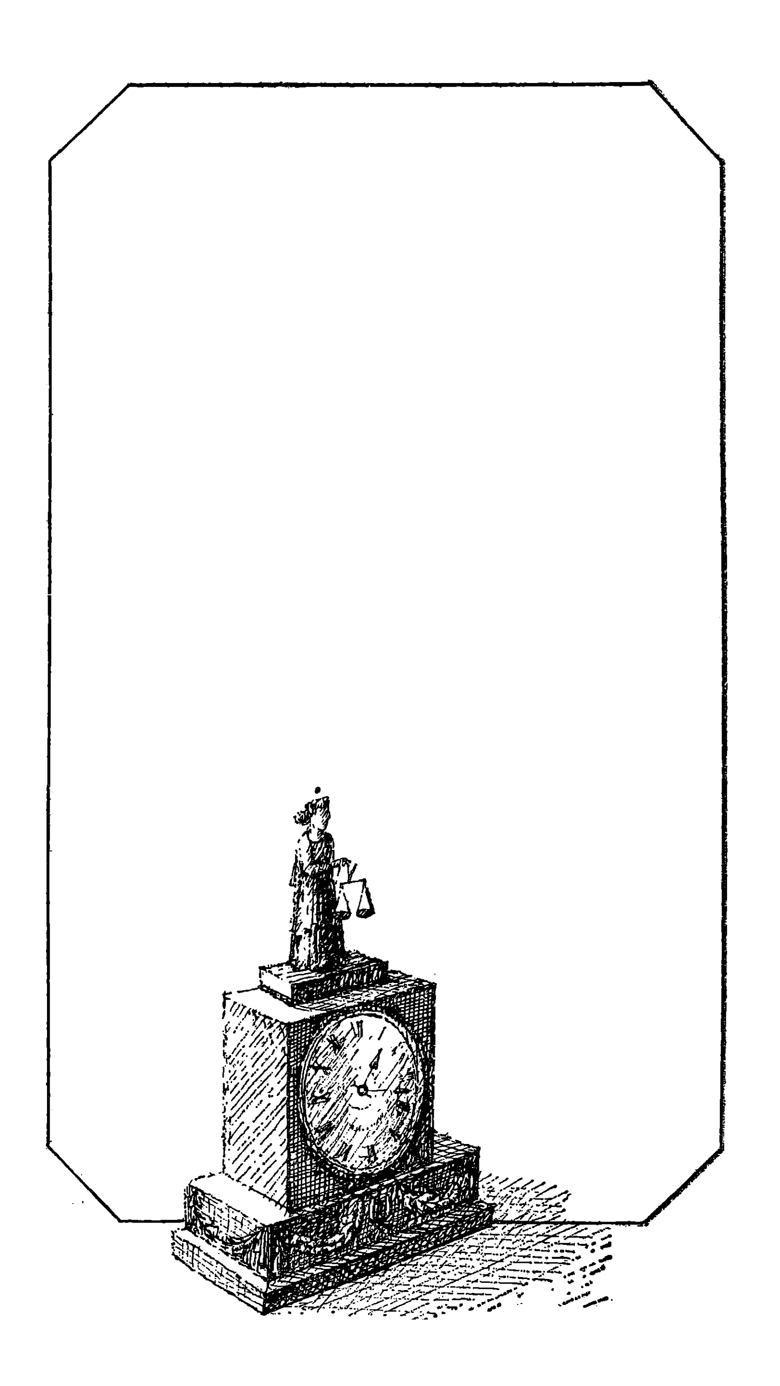
Легко представить, какое смущение и замешательство потрясли всех и домашних, и посторонних. Все свадебные приготовления обратились в погребательные, и хотя по времени живущие начали забывать об упокоившейся графине, но супруг ее оставался неутешен. Для всех других была она довольно несносная женщина, но муж находил в ней такие достоинства, каких другие не могли приметить. В эту пору приехал к отцу сын и припал к ногам его. Долго старый граф держал его в своих объятиях и плакал неутешно; сын то же делал, целуя его руки и колена. Граф спросил: «Друг мой Аскалон! в каком положении твое сердце?» Молодой человек затрепетал, взглянул в глаза отцу, и, вместо ответа, прижал руку его к своему сердцу, и погрузился в его объятия. «Понимаю,— сказал граф величественно, но кротко,— Мария — твоя жена! прими поцелуй сей моим благословением и отдай его твоей невесте как залог благословения небесного. Ах, сын мой! как горько видеть возле себя людей, плачущих слезами горести!»

Сколько Аскалон ни любил отца своего, сколько ни был благодарен за отеческое его к нему снисхождение, но в тот же день еще поскакал к обиталищу Марии с двумя служителями. Увы! как поздно было его прибытие!

Узнав всю великость своего несчастия, Аскалон отписал к отцу о начертании будущей своей жизни. Никакие противоречия отца, сестры и зятя не могли поколебать его. Месяца с три назад старой граф опочил в гробнице предков своих. Аскалон совершил все священные обряды по сему случаю и, зная, что имеет уже племянника, оставил духовную, в которой, предоставя половину доходов со всего имения, дабы удовлетворить стремлению своему к благодетельности, и освободя меня со всем родством, даже самым дальним, от подданства, предоставил все прочие выгоды сестре своей и ее семейству. В таком-то положении вы нас теперь видите. Все мои родственники и ближние воспользовались уже благодеянием графа; я же могу ли блаженнее доканчивать последние дни, как не подле прахов моей жены, моей дочери и подле моего благодетеля!»

Так кончил старик. Наступил вечер. Я простился с ним с сердечным молением к небу — подать ему при исходе жизни бальзам утешения и во всю дорогу до Москвы ни о чем больше не думал, как об Аскалоне и Марии, как о неимоверной превратности во всем, что только бывает на земной поверхности.

Два Ивана, или Страсть к тяжбам



Его превосходительству,
милостивому государю
Федору Павловичу Вронченку

Милостивый государь Федор Павлович!

С давнего времени Ваше превосходительство никогда не оставляли меня без благосклонного внимания, как скоро прибегал к Вам с представлением о своих нуждах. Таковое великодушие Ваше поставляет меня в непременную обязанность оказать пред Вами, по мере возможности, свою благодарность. Посвящая имени Вашего превосходительства новое произведение мое под названием: «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», я ласкаюсь надеждою, что приношение сие Вы примете со всегдашним Вашим великодушием и тем обяжете меня к новой благодарности.

С совершеннейшим почтением и таковою же преданностию честь имею пребыть

Вашего превосходительства
покорнейший слуга

Василий Нарежный

С. П. Бург, 2 февраля 1825 года.

Часть первая



Глава I

Полтавские философы

Ужасная гроза свирепствовала на летнем полуденном небе; зияющие огни молнии раздирали клубящиеся тучи железные; рыкающие громы приводили в оцепенение все живущее в природе; неукротимые порывы вихря ознаменовали путь свой по земле рвами глубокими, отчего взлетало на воздух все растущее, начиная от низменной травы до возвышенного тополя, и проливной дождь в крупных каплях с быстротою стрел сыпался из туч, подмывал корни древесные и тем облегчал усилие вихря низвергать их на землю.

В сие время, и подлинно невеселое, два молодые странствующие философа из Полтавской семинарии, исчерпав в том храме весь кладезь мудрости и быв выпущены на свою волю, пробирались по глинистой дороге сквозь лес дремучий. Почти на каждом шаге они останавливались, чтобы или закрыть руками глаза, ослепляемые блеском молнии, или заткнуть уши, оглушаемые разрывами грома, или смыть со щек и выжать с усов жидкую грязь, со шляп струившуюся.

— Вот настоящий Девкалионов потоп,— сказал один из философов,— для чего здесь такое множество бесполезных для нас больших деревьев, а не видать ни одной глубокой трущобы, где бы можно было осушить и обогреть кости? Как же неразумны были мы, любезный друг Коронат, что не послушались благих советов миргородского протопопа, уговаривавшего нас остаться у него на ночь!

— Твоя правда, друг мой Никанор,— отвечал другой,— протопоп не напрасно предсказывал грозу и бурю, но ты во всем виноват. Тебя никак нельзя было угово-

рить, чтоб остаться и в безопасном убежище петь псалмы и стихеры и принимать рукоплескания.

— Твоя правда,— отвечал первый с возвышенным лицом,— но мне хотелось если не к ночи сегодня, то по крайней мере завтра поутру обнять своих родителей, с коими я не видался целые десять лет.

— И я столько же времени лишен был сего удовольствия,— отвечал Коронат,— однако согласился бы еще столько же времени быть лишенным оного, чем сегодня достаться на ужин какому-нибудь волку или медведю!

Таким образом рассуждая то вслух, то про себя, наши молодые бедняки продолжали тягостный путь свой. Вдруг остановился Никанор, водвинул шляпу на макушу, сложил персты правой руки наподобие зрительной трубки и, приставя к глазу, начал куда-то присматриваться. Коронат хотя не знал, что такое затеял друг его, однако принял такое же положение и глядел туда и сюда, смотря по оборотам головы Никаноровой. Наконец сей последний радостно надвинул шляпу на брови и, схватя приятеля за руку, сказал вполголоса:

— Ну, слава богу! Посмотри сюда, вот прямо против моего пальца,— что видишь ты?

— Ах,— отвечал тот,— я вижу саженях в десяти от дороги на небольшой лужайке стоящую кибитку с опущенною циновкою!

— Так! — продолжал Никанор, — а примечаешь ли, что под кибиткою лежит на траве нечто весьма толстое, покрытое черным войлоком?

— Точно! это, наверное, хозяин укрывается от непогоды; вот невдалеке и пара коней, привязанных к осине.

— Пойдем же туда и усядемся по сторонам сего многоопытного Улисса, не ходящего, подобно нам, под дождем по уши в грязи, а всегда имеющего при себе священный эгид Минервин, то есть свою кибитку.

— Хорошо! пусть это будет сам леший, то и он не поступит с нами хуже теперешнего. Пойдем!

Путники, увещевая один другого быть неробкими, начали пробираться меж деревьями к вожделенному пристанищу. Дорогою Никанор молвил:

— Однако, дружище, кто бы ни был лежащий под войлоком, а нам не надобно пред ним бесчестить шля-

хетского своего звания. Посмотри-ка на меня пристальнее, на кого похожу я?

— На того окаянного,— отвечал Коронат,— который, вопия под ударами огненного меча архангела Михаила, клубится по земле у ног его!

— То-то же! И ты, как две капли воды, похож на того же ратоборца с нетопырьими крыльями!

— Как же быть? Мы нескоро можем опять походить на людей!

— А вот что: если незнакомец будет любопытен и захочет знать, кто мы, куда и откуда, то скажем, что мы дьячковские дети из Полтавы; что, пользуясь вакантными днями, расхаживаем по полям и лесам, по городам, хуторам и селам, поем православным душеполезные стихеры и говорим речи: сим средством стараемся собрать столько, чтоб по возвращении в домы можно было одеться в новое платье.

— Щегольская выдумка!

— Пойдем же!

Не говоря ни слова, притаивая дыхание, они пошли далее, достигли вскоре своего эгида, сколь возможно тише уселись под оным, сняли шляпы и начали полегоньку щипать траву и вытирать ею лица свои. Вскоре дождь и вихрь поутихли, тучи мало-помалу рассеивались и летели к востоку. На западном небе начало просиявать багровое чело солнцево, готовящееся вскоре опочить за пределами нашего небосклона.

Глава II

Нечаянная встреча

Тут философы увидели, что войлок пошевелился, послышалась сильная зевота, и медленно две ноги показались; сейчас послышался басистый голос: «Ну, что ты?» — и еще две ноги выставились.

Мои студенты всполошились, да и не диво: всякая нечаянность приводит нас в недоумение, а недоумение рождает боязливость, отсутствие духа и делает не способными ни к чему путному. Однако ж надобно отдать справедливость, что ученые витязи недолго пробыли в мучительной нерешимости; они отважно взглянули один на другого, придвинули к себе страннические посохи, похо-

жие на булаву Геркулесову, и Никанор пошептал что-то на ухо своему сопутнику. Они погладили чубы, раздвинули усы, раздули щеки, открыли рты и с величайшею отвагою возопили: *«Заблудих яко овча погибшая; погна враг душу мою; посади мя в темных, и уны во мне дух мой!»*

В продолжение сего сладкогласия войлок шевелился, и по движению его приметно было, что скрывающиеся храбрецы усердно крестились, а сие немало ободрило студентов, ибо они удостоверились, что слушатели их не лешие и не вовкулаки[1]. Чтобы себя более показать и задобрить хозяев кибитки, полтавские Амфионы смигнулись, раздули щеки пуще прежнего и с ужасным громом заревели: *«Отрыгнут устне мои пение, провещает язык мой словеса твоя».*

— С нами крестная сила! что за бесовщина! — раздались голоса из-под войлока: он быстро открылся до половины, и двое пожилых мужчин, приподнявшись, уселись против студентов; закатывающееся солнце багряными лучами освещало лица сих последних, испещренные засыхающею грязью. Разумеется, что с появлением грозных восклицателей отважные певчие взглянули на них хотя без робости, однако и не без замешательства, опустили взоры в землю и сжали губы.

Хозяева кибитки и по самой наружности, казалось, были люди степенные и не простые. Они одеты были в синие черкески, и у одного висела при боку ужасная сабля, а другой имел за поясом кожаный футляр, в каких обыкновенно приказные грамотеи носят свинцовую чернилицу, несколько перьев, ножик с приделанною к нему печатью и палку сургучу. Они захотели знать о житье-бытье гостей своих, о их роде и племени, и друзья удовлетворили их желанию по сделанному прежде условию. Тут человек при сабле, положа сей признак своего рыцарства к себе на колени, воззвал:

— Если вы и впрямь честные парни и ничем другим не защищаете себя от голода и холода, как только одним распеваньем душеполезных стихер, то я могу вас поздравить с находкою. Вы видите в нас двух из первостатейных шляхтичей в большом селении, за пятнадцать верст

[1] По суеверному преданию, сим именем называются оборотни, имеющие туловище волчье и бегающие на шести руках и стольких же ногах людских.

отсюда лежащем. Оно называется село Горбыли. От самых отроческих лет до полуседых усов мы были друзья и надеемся, что останемся друзьями до опущения в могилы. Мы оба называемся Иванами, а для различия нас в посторонних беседах с некоторого времени стали называть меня Иваном старшим, а друга моего — Иваном младшим. Послезавтра настанет в селе нашем великий всеобщий праздник, именно ярмарка, по случаю дня Ивана Купала[1], а в домах наших не меньше радостный праздник, потому что мы оба именинники и в тот день торжествуем на выказку. Если вы согласитесь погостить в домах наших несколько дней и повеселить нас и друзей наших пением и сказыванием похвальных речей, на что весьма удалы вообще все церковники, то уверяю моею шляхетскою честию, что идти далее и драть горло вы не будете иметь надобности, ибо я одену вас с ног до головы в новые платья!

— А я,— прервал слова его человек с кожаным футляром,— наделю на дорогу всеми житейскими припасами, коих достанет до самой Полтавы, а сверх того, в карманах ваших звенеть будет по нескольку злотых. Как же это кстати! В селе Горбылях есть довольно панов Иванов, кои там же в именины свои захотят повеселиться и потешить других; у них, конечно,— благодаря ярмарке,— запляшут медведи, зазвенят цимбалы и загудят гудки, в чем и у нас недостатка не будет; но вдобавок в светелках наших раздастся сладкое песнопение, чем уже им похвастаться не удастся. Итак, студенты, если вам нравится наше предложение и вы хотите, чтоб мы устояли в своем шляхетском слове, то дайте обещание, что не прельститесь никакими обещаниями других панов и, что бы они вам ни обещали, не заглянете на дворы их и перед их окнами даже ртов не разинете. Что вы на это скажете?

Студенты пришли в немалое замешательство, посматривали на шляхтичей, друг на друга и не знали, что отвечать. Однако ж Никанор, первый одумавшись, с видом чистосердечия произнес:

— Почтенные паны! ваши ласковые слова стоят, чтоб и мы были с вами откровенны. Не скроем от вас, что

[1] Так называется праздник Иоанна Крестителя, торжествуемый 24 июня. Он и поныне сопровождается многими суеверными обрядами, оставшимися от древних времен.

хотя мы теперь, по изволению разъяренных стихий, походим более на оборотней, чем на создание божие, однако было бы вам известно, что оба принадлежим к сословию благородного шляхетства, и хотя родители наши не могут назваться богачами, но и не бедны, и мы оба, проживши в Полтаве по десяти лет, не имели нужды ни в пище, ни в одежде, ни в пристанище. Конечно, приятно было бы для нас после столь продолжительной отлучки явиться в домы отцовские в новой одежде и с деньгами, чем мы самим себе были бы обязаны; но и того весьма не хочется, чтобы провести не у них наступающий праздник, ибо наши отцы называются Иванами и ко дню тезоименитств их изготовлены у нас прекрасные кантаты и похвальные речи.

Шляхтичи посмотрели один на другого с недоумением, и взоры их просияли.

— Когда так! — вскричал Иван старший,— как имена ваши, как прозываются родители и где их жительство?

— Когда мы отправляемы были в Полтаву,— отвечал Никанор,— то они жили в хуторах своих, расположенных на небольшой безыменной речке, впадающей в реку Псел, невдалеке от села Горбылей; меня зовут Никанором, а отца моего Иваном Зубарем.

— А я,— подхватил другой,— называюсь Коронатом, а отца моего Иваном Хмарою.

— О вы, святые угодники киевские! о всеблагая мати Ахтырская! — вскричали в один голос оба Ивана и вскочили на ноги. Студенты, не зная сами для чего, то же сделали; тут старики повисли на их шеях, и обильные слезы заструились по щекам их.

— Возможно ли! — возопил, всхлипывая, один Иван,— и сердце твое, сын мой, ничего тебе не сказало при первом на меня взгляде?

— Как это сталось, — говорил сквозь зубы другой Иван,— что я не узнал тебя, мой любезный сын?

Юноши стояли сначала неподвижно; но вскоре нежность родителей, их ласки и приветствия разлили в сердцах детей сладостное чувство любви и благодарности: глаза их померкли от выступивших слез, и они в безмолвии лобызали щеки и обнимали колена отеческие.

Глава III

Начало тяжбы

— Каким образом это случилось,— воззвал Иван старший,— что вы прежде положенного срока здесь очутились? Мы торжественно условились с начальством семинарии, что не прежде вас обоих возьмем в свои домы, как по истечении полных двенадцати лет вашего там пребывания; а срок сей исполнится еще через два года!

— Мы кончили курс философии в продолжение десяти лет; нам нечего уже было там делать; и чтоб мы попустому не тратили времени, начальство исключило нас из списков.

— Хорошо,— сказал Иван старший,— итак, нам ничего нельзя сделать лучшего, как поворотить оглобли назад и порадовать прибытием вашим свои семейства.

— И впрямь так,— заметил Иван младший, — оставим покудова судей в покое, и пусть виноватые без остановки и помешательства отпразднуют дни ярмарочные. Ведь этого никто не назовет трусостию?

— Сохрани от того бог всякого, кто на сей грех покусится! — вскричал Иван старший,— он навлечет тем на себя новую и самую упорную тяжбу.

— Тяжбу? — воскликнули оба студента.— Неужели и под мирными сельскими кровлями может обитать тяжба, сие истое порождение ада?

— Не только под нашими соломенными крышами укрывается сие адское чадо,— отвечал Иван младший,— но оно там угнездилось, породило чад и внучат и не выродится до дня Страшного суда. О нашей тяжбе я расскажу вам в свое время в надежде, что вы, как благодарные дети, а притом и шляхтичи, примете в сем деле живое участие.

В силу последовавшего совещания все принялись за работу: один Иван впрягал лошадей, другой выжимал воду из циновки, закрывавшей кибитку; студенты обивали грязь с колес и боков ее и так далее. Когда все было готово, то отцы уселись на козлах, сыновья на облучках, и, перекрестясь, пустились в путь, в продолжение коего им не встретилось уже никакого препятствия.

В самые сумерки въехали они в селение и остановились на дворе Ивана младшего. На ту пору и семейство Ивана старшего было там же, и когда матери горевали о

злой участи всех *позывающихся*[1], а бывшую ужасную непогоду приписывали праведному наказанию неба за неправое дело их супругов, вдруг ввалились они в светелку с двумя спутниками. Как скоро узнали все, кто сии последние, то поднялись радостные восклицания и взаимные объятия. Остаток вечера и часть ночи прошли в мирном веселии, и о тяжбе не упомянуто ни одним словом. Иван старший, уходя домой с своим семейством, пригласил к себе на весь следующий день Ивана меньшого с родством его и нужными для прислуги домочадцами. Вследствие сего приглашения Иван младший со всем семейством и прибыл в дом Ивана старшего.

По окончании сельского обеда в саду под развесистою яблонью студенты пропели уставом благодарственную песнь, и оба семейства расположились на траве зеленой. Иван младший, обратясь к обоим ученым, сказал:

— Я обещал вам рассказать о начале и продолжении нашей тяжбы, такой упорной, непримиримой, какой от присоединения Малой России к Великой, чему уже минуло более семидесяти лет, в здешнем краю никто не запомнит. Слушайте. Лет около десяти перед сим мы, оба Ивана, покойно жили в хуторах своих, занимаясь в простые дни сельским хозяйством, а праздничные проводя за горшками варенухи в диспутах философских; ибо, да будет вам известно, мы не хуже в свое время отличались в селе Горбылях на крилосе, как и странствующие студенты Переяславской семинарии.

Муж твоей тетки, Никанор, в сказанное время подарил меньшому брату твоему, пятилетнему мальчику, пару кроликов. Ему дозволено было поместить их в избушке, на конце сада находившейся и служившей для складки садовых и огородных орудий. Зверьки начали плодиться, и в течение года с небольшим явилось их маленькое стадо. По прошествии нескольких весенних недель, когда оба наши семейства, в послеобеденное время сидя под цветущими вишневыми и сливяными деревьями, слушали рассказы Ивана старшего о военных его подвигах и на досуге высчитывали количество будущих плодов, раздавшийся мгновенно ружейный выстрел привел всех в содрогание; однако мы скоро оправились, вскочили и подбежали к плетневому забору, разделявшему оба

[1] *Позываться* есть техническое слово и значит: судиться, тягаться.

сада. Тут опять последовал выстрел, и мы вскоре увидели, что прямо к нам бежит куча кроликов, один без ноги, другой без уха, третий без зубов, все облитые кровью. Брат твой поднял вопль: «Мои кролики!», и тут же показался сосед Ивана, шляхтич Харитон Заноза, с ружьем в руках, а за ним следовал пятилетний сын его Влас, неся в руках с полдюжины убитых кроликов. Кто опишет меру нашего негодования и гнева! «Что за храбрость оказал ты, пан Харитон,— вскричал друг мой Иван,— и как ты осмелился так буянить?» Сосед, не скидывая колпака,— а надо знать, что мы оба были с открытыми головами,— подошед к самому забору, сказал: «На сегодняшний ужин дичины довольно; и я сказываю тебе, пан Иван, что если не переведешь сих проклятых животных, которые, поделав норы из своего убежища в мой сад, произвели в нем множество опустошений молодым деревьям и растениям, то я вскорости всех их доконаю, а сверх того, стану с тобою позываться».— «Ах ты невежа, бурлак! и ты осмелился говорить это военному человеку, не скинув колпака!» — вскричал друг мой Иван, с быстротою ветра выдернул кол из забора, взмахнул — и колпак взвился на воздух. Но как это сделано второпях, то кол как-то задел соседа по уху, оттоле соскочил на висок, сосед полетел на траву, сын его поднял вопль, и мы с торжеством возвратились каждый в дом свой.

Вот основа тяжбы. Начались следствия, переисследования, и день ото дня дело наше становилось запутаннее. Я, будучи человек приказный, помогал другу своему советами и пером, а за то и самого меня опутали сетью неразрывною; а он, не хотя остаться в накладе, за всякое зло, делаемое паном Харитоном, отплачивал настоящею пакостью, и таким образом во всегдашнем ратоборстве протекло около десяти лет. В течение сего времени с нашей стороны погублены: целое стадо гусей, уток, множество свиней, овец, коз и баранов; зато и у пана Харитона убыло: три пары рабочих волов, две лошади и несколько коров с теленками. Но это мелочи! Харитон сожег у меня гумно, а мы выжгли у него целое поле с созревшим хлебом; он подкопал у нас водяную мельницу, а мы сожгли у него две ветряных. Но кто исчислит все убытки, кои одна сторона другой причинила! Чтобы успешнее действовать в свою пользу, мы переселились в село Горбыли; и пан Харитон, смекнув о нашем умысле, тому же последовал и живет теперь здесь на дру-

гом краю селения. Сегодня мы пустились было в Миргород *кое с чем,* чтобы понаведаться о своем деле и *попросить;* но вышло иначе, и мы очень обязаны бывшей грозе, остановившей нас в лесу: иначе мы бы разминулись.

Глава IV

Ярмарка

На другой день ярмарка открылась. Далеко от места ее расположения слышны были звуки гудков, волынок и цимбалов; присоединяя к сему ржание коней, мычание быков, блеяние овец и лай собак, можно иметь понятие о том веселии, какое ожидало там всякого. В сей день оба дружеские семейства обедали опять у Ивана старшего со множеством союзных панов и полупанов [1]. Дети и жены приступили к старикам своим с просьбами о дозволении участвовать в общем веселии, и Иван старший послал слугу осведомиться, нет ли там ненавистного пана Харитона, с которым они решились нигде не встречаться, кроме миргородской сотенной канцелярии; и как скоро было объявлено, что пана Занозы не видно, то все людство отправилось к месту празднества, приказав для большей пышности следовать за собой слугам и служанкам, кои все были в нарядных платьях и хотя босы, но для такого великого дня чисто-начисто вымыли ноги.

Уже посетители наши обошли несколько раз вдоль и вокруг ярмарочной площади; уже оба Ивана и некоторые из сопутников запаслись батуринским табаком; уже супруги их в обеих руках держали по коробочке с шелками, иголками и булавками; уже на руках дочерей блистали серебряные перстни: как вдруг, при вступлении в главную улицу, показался пан Харитон со всеми домашними и множеством гостей обоего пола, в числе коих отличались — о ужас! — сотенной канцелярии писец Анурий и с ним два подписчика. Куда деваться панам Иванам! Младший намеревался было обратиться в бегство, но старший вскричал:

— Что ты? чего испугался? Разве не здесь я и не при сабле? Смотри, как я храбро выступать стану!

[1] Так называется шляхетство, не имеющее во владении крестьян.

Иван младший устыдился своей трусости, поправил шляпу, прикрутил усы, и хотя с биющимся сердцем, но с наружным хладнокровием шествовал вслед своего друга. Скоро витязи сошлись. Задорный Заноза, обратясь к своим гостям, сказал с коварною усмешкою:

— Какое же множество здесь овец и баранов!

Иван младший толкнул под бок старшего, и сей, выпуча глаза, сказал значительно:

— А я вижу одну только злую собаку, окруженную пастырями-наемниками!

Оба сборища остановились, и пан Заноза, подошед, избоченясь, к пану Ивану, произнес:

— Эта собака *кого-нибудь* укусит больно!

— А дубина на что?

— Дубиной ничего не сделаешь, как скоро *кто-нибудь* запустит кохти в *чей-нибудь* чуб!

— Можно вырвать или отрубить кохти!

— А если *кто-нибудь* заблаговременно переломает *кому-нибудь* руки?

— Плюю на всякого *кого-нибудь!*

С сим словом Иван старший плюнул, но так неосторожно, что слюни влепились прямо в лоб пана Харитона. Всех объял ужас, а женщины болезненно возопили. Иван старший сам оробел, однако, приосанясь, сделал шаг вперед; но опять остановился, увидя поднимающуюся в руке палку. Она взвилась на воздухе и, подобно стреле молнийной, ниспустилась на голову Ивана старшего, и с такою силою, что шляпа, осунувшись, закрыла все лицо пораженного. Пан Харитон хотел было нанести вторичный удар; но усердный друг, на сие время из мягосердечного теленка сделавшийся сердитым вепрем, так ловко огрел своим кием по руке забияку, что палка полетела на землю и рука опустилась. Однако упрямый пан Заноза размышлял недолго; он схватился за ефес сабли, но сметливый писец Анурий и оба подписчика поймали его за руки, завернули их за спину, и первый воззвал:

— Пан Харитон! какая польза, следовательно, какая и честь, что ты прольешь кровь человеческую? Кроме убытков, горя и, наконец, несчастия, от этого ничего не будет! Не лучше ли тебе *позываться?* Я с сею челядью моих подписчиков переночую у тебя, а завтра или послезавтра настрочу прошение в сотенную канцелярию, и все вместе пустимся в город.

Пан Харитон в знак согласия с мыслями такой знаменитой особы, какова была писец сотенной канцелярии, кивнул головою и кинул свирепый взор на обоих Иванов, не удостоя их ни одним словом. Рукам его дана свобода, и он потек в обратный путь.

— Что? — спросил велегласно Иван старший,— каково поступил я с нахалом?

— Ох! — отвечал младший,— если бы не мой кий, то макуше твоей несдобровать бы!

Тут согласились они отправиться к Ивану младшему и у него провести вечер, ибо он также в сей день был именинник, да и звук музыки был в доме его слышнее, чем в доме Ивана старшего.

Глава V

Две сестры

Всем известно, что в послеобеденное время желудок, наполняя себя пищею, разливает по каждому составу тела человеческого какую-то лень и непреодолимую наклонность к дремоте, даже к бездействию. Чем же от сих супостатов избавляются люди? Англичане — пуншем, французы — шампанским, немцы — глейнтвейном, а малороссияне — варенухою [1].

Когда ланиты у панов покраснели как маков цвет и табачный дым заклубился вокруг каждого, то женщины, девицы и дети удалились в противную сторону сада лакомиться вишнями, сливами, клубникою и малиною, а остались одни друзья с возрастными сыновьями, из числа коих Никанор и Коронат, яко философы, пособляли отцам своим и друзьям их осушивать корчаги с напитком и распространять круги табачные.

Когда у всех собеседников сердца разнежились, то Никанор воззвал:

— Батюшка! скажи, пожалуй, кто те две прелестные девушки в полосатых платьях, которые упали на руки жены Харитоновой, когда сей людоед поразил тебя дубиною по макуше?

[1] В изданной мною книжке под названием «Аристион» объяснено, из чего составляется сей напиток.

У пана Ивана старшего наморщилось чело; он возвел глаза на небо, потом на сына Никанора и спросил, не делая точного вопроса:

— Прелестные девицы? И эти ведьмы могли показаться ему прелестными! О Никанор! о сын мой первородный! если осмелишься впредь произнести в доме моем ненавистные имена: Харитона, жены его Анфизы, сына Власа и дочерей Раисы и Лидии, то прошу мой дом считать чужим. Я один с другом моим Иваном, оказавшим незадолго пред сим удальство свое противу чаяния, и с помощию сына его Короната стану продолжать тяжбу и надеюсь доказать, что плюнуть кому б то ни было в лицо есть нечто совсем другое, чем быть поражену от него дубиною по лбу.

— Итак, батюшка! — вступил в речь Коронат,— Лидиею называется младшая сестра? Ах! какое прекрасное, пленительное имя!

— И ты туда же? — вскричал Иван младший.— Разве не слышал ты, что они дочери Харитоновы?

— Разве между кустами крапивы не растет фиялка? — сказал вспыльчиво Никанор, и отец отвечал:

— Конечно, растет; но попытайся сорвать ее, ан больно обожжешь руку. Оставим лишние вздоры; вы оба, наши дети, люди ученые, а потому и умные. Через два дня ярмарка окончится, настанут дни судебные; вы оба и весь народ были свидетелями бесчестия, нам оказанного, и потому надеемся, что найдем в вас достойных сыновей, способных участвовать в наших позываньях.

С сего времени оба друга Ивана не посещали уже ярмарочного места, но зато семейства их не отказывались от удовольствия смотреть на других и себя казать; особливо студенты отличались. Для сих торжественных дней они одеты были в новые платья, в коих, разгуливая с важностию Аристотеля и Платона, для большей силы вели диспут на латинском языке, кричали громко, топали ногами и размахивали руками, так что народ с равным любопытством смотрел на них, как и на кривляющихся обезьян и пляшущих медведей; встречавшиеся с ними останавливались и с почтением снимали шляпы.

В последний день праздника, когда Никанор и Коронат, протеснясь к машкарам [1], любовались их скачками, они приятно удивлены были, увидя подле себя жену и

[1] Замаскированные скоморохи.

обеих дочерей пана Харитона. Чтобы показать, что, прожив в Полтаве по десяти лет, не напрасно тратили время, они сняли шляпы и учтиво госпожам поклонились. Анфиза отплатила им равною учтивостию, а девицы потупили взоры в землю, и все три закраснелись.

Никанор, будучи от природы поудалее Короната, с ухваткою городского щеголя закрутя усы и подступя к Анфизе, сказал:

— Кажется, этот машкара, что с двумя горбами, делает прыжки искуснее, чем этот — скачущий на деревяшке. И в Полтаве удалее машкары не видывал!

— Правда, что и он не худ, — отвечала Анфиза,— однако ж никак не может сравниться с отцом твоим, когда, бывало, он об святках — до начатия между нами проклятой тяжбы — нарядится машкарою и заскачет!

Никанор покраснел и не знал, что бы такое значил ответ Анфизы: простосердечие ли или насмешку. Коронат, желая отличиться, обратясь к Лидии, спросил:

— На что утешнее смотреть: на резвости ли этого заморского кота или кривлянья этой обезьяны?

Лидия подняла на него прекрасные глаза свои и, перебирая серебряные на пальцах перстни, отвечала вполголоса:

— Кот красивее! Какие усы, какой хвост! А у обезьяны что хорошего?

Мать скоро и неприметно удалилась, опасаясь, чтоб кто-нибудь из знакомых не донес грозному мужу ее о бывшем свидании и разговоре с сыновьями злейших его супостатов. Молодые люди не могли нахвалиться своею удачею, и сейчас один другому сделал доверенность: Никанор, что страстно пленен Раисою; Коронат, что те же чувствования ощутил к сестре ее Лидии.

Глава VI

Первая любовь

Идучи домой в сумерки, наши друзья остановились на пустыре, и Никанор воззвал:

— Что ж из этого будет? Философам, каковы, например, мы, надобно подумать о последствиях тех случаев, какие в жизни человеческой на каждом шагу встречаются. Тебе известно...

Едва он выговорил последние слова, как прямо против них показались прелестные дочери пана Харитона, неся в передниках нечто тяжелое. Наши щеголи были догадливы; не плоше старинных витязей, встретили красавиц вежливо, и Никанор первый спросил:

— Что это у вас в передниках?

Девушки остановились и молча открыли передники, в коих были пребольшие арбузы и дыни.

— Ах! — вскричал Коронат,— какая ужасная тяжесть! от этого можно надсадить грудь и оттянуть руки!

— Позвольте нам,— воскликнул Никанор,— взять на себя эту обузу; для нас ничего не будет стоить донесть сей груз до самых ворот вашего дома!

— Верим,— отвечала Раиса с простосердечною улыбкою,— но если кто попадется навстречу, тогда что с нами, бедными, будет?

— Кому встретиться в глубокие сумерки,— возразил Никанор,— а если бы такая беда и случилась, то даю шляхетское слово, что нахалу тому разом сломлю шею!

— От этого нам не легче будет,— отвечала с улыбкою Раиса,— если ты даже и убьешь его, то что пользы, когда мы останемся без кос?

— Косы ваши,— возразил Никанор уверительно,— когда-нибудь опять вырастут, а сломленная шея супостата никогда уже не выпрямится.

Споря таким образом, девушки не делали, однако ж, вперед ни одного шагу, меж тем с каждою проходящею минутою становилось темнее, и они убедились, что нечего опасаться уже какой-либо встречи. С потупленными взорами прекрасные сестры открыли передники, студенты выхватили ноши, и все тихими шагами отправились к дому пана Харитона. Всякий догадается, что дорогою влюбленные шляхтичи не были немы. Они наговорили девушкам множество полтавских учтивостей, а те отвечали им односложными словами и умильными взглядами. Они во всем были согласны, и все обвиняли причину, возродившую столь сильную вражду между бывшими соседями и приятелями.

— Если бы негодные кролики твоего брата, Коронат,— сказала Лидия со вздохом,— не поели отпрысков молодых деревьев в саду нашем и не опустошили огорода, сего бы не было; мы жили бы на своих хуторах и, может статься, были бы счастливее!

— Без сомнения, счастливее,— вступил в речь Никанор,— но что мешает нам употребить все силы к прекращению сей ссоры?

Тут достигли они ворот дома Харитонова. Прелестные девицы подняли передники, и щеголи почтительно опустили в них свои ноши. Естественно, что при сем случае нельзя было рукам их не столкнуться, и как молодые шляхтичи, так и милые сопутницы их вздрогнули, как не вздрагивали — первые, когда в Полтавской семинарии клали их на скамейки, дабы некоторого рода орудиями внушить им *более* охоты к просвещению; а последние, когда мощные длани грозного родителя расплетали черные их косы, дабы, когда они стоят в церкви, *менее* заглядывались на молодых шляхтичей. Несколько мгновений все четверо стояли неподвижно в безмолвии. Наконец Никанор, как и следует старшему рыцарю, первый спросил с нежностию:

— Часто ли ходите вы на баштан? [1]

— Каждый вечер,— отвечала Раиса, потупив взоры.

— Так мы каждый вечер будем дожидаться вас у плетневой калитки, — воскликнул студент.

— А если кто проведает?

— Кого понесет нелегкая в поздний вечер на чужой баштан, когда у всякого есть свой?

— А если кто-либо из родных вздумает проводить нас?

— Разве мы слепы?

— Ну, как хотите!

Тут расстались наши влюбленные.

Влюбленные? так проворно? Я отвечаю, что тот, кто теперь меня о сем спрашивает, верно еще влюблен не был: любовь — спросите у всех опытных — можно уподобить пороху. Хотя б его была превеликая куча, кинь в нее самую малую искру, и в один миг все вспыхнет. Сверх того, надобно сказать правду, что Никанор и Коронат из всех молодых шляхтичей, в селе Горбылях отличавшихся, были самые статные, самые видные и самые отважные, а к тому ж барыша — ученые, хотя, правда, иногда бывает, что последнее достоинство в глазах девушек много унижает цену первых. В умах иных и

[1] Сим именем называется место, где исключительно сажают дыни и арбузы.

мужчин человек ученый есть нечто странное, даже ужасное.

Итак, мои влюбленные шляхтичи, идучи домой, не умолкали в похвалах своим возлюбленным.

— Ах! — восклицал Никанор,— как прелестна, как разумна Раиса!

— Не менее того прелестна и разумна Лидия,— говорил Коронат, тяжко вздыхая.

Хотя студенты о прелестях своих любезных могли заключать справедливо, ибо они имели глаза, но не знаю, почему люди ученые могли так выгодно судить о их разуме, не слыша во всю дорогу других слов: «да», «нет», «ох», «может быть» и тех, кои произнесены были при расставанье.

И красавицы, после ужина уединясь в свою комнатку, не могли остаться в молчании. Отворив оконце в сад, они сели на лавке и смотрели в ту сторону, где стояли домы панов Иванов. Они обе вздохнули, и Раиса как старшая прервала молчание:

— Есть ли в селе Горбылях хотя один из молодых шляхтичей, который мог бы сравниться с Никанором в росте, дородстве и вежливости?

— Разве ты забыла о Коронате? — отвечала несколько вспыльчиво Лидия.— Впрочем, кроме его, я и сама другого не знаю!

— Никанор несколько выше!

— Коронат дороднее!

— Никанор говорит приятнее!

— Взоры Короната нежнее!

— Никанор поворотливее!

— Коронат степеннее!

Вскоре сестры согласились, что Никанор и Коронат один другого стоили, превосходя всех прочих личными достоинствами, ибо ученость их и на мысль им не приходила. Они восхищались своею удачею и наперед уже мечтали о тех наслаждениях, какие встретят в объятиях любовников. Они бы и до утра не устали веселить себя будущим благополучием, как вдруг Раиса задрожала и изменилась в лице.

— Что с тобою сделалось, сестрица? — спросила Лидия с удивлением.

— Ах, милая! — отвечала Раиса, опустя руки и склоня голову к груди,— нам и на ум не пришли страшные паны Иваны и еще страшнейший отец наш!

— Ах! — вскричала Лидия, также вздрогнула, опустила руки и повесила голову. Они довольно долго оставались в сем положении и молчали, не смея взглянуть одна на другую. Наконец Раиса, вставая со скамьи, сказала:

— О проклятые кролики! лучше б вы совсем не родились или родились без зубов!

— О несчастная тяжба! — говорила Лидия, запирая окно,— какие черти тебя выдумали!

Обе сестры с унынием улеглись на своих постелях.

Глава VII

Сумерки на баштане

На другой день пан Иван младший сочинил прошение в сотенную канцелярию, в коем жаловался на пана Харитона. Он доказывал весьма основательно, что хотя пан Иван старший первый плюнул в лицо пану Харитону, но как стереть слюни гораздо удобнее, чем стрясти с макуши большой желвак, вскочивший у Ивана старшего от поражения его дубиною,— то и выходит, что пан Харитон во всем виноват и обязан заплатить бесчестье и пополнить проторы и убытки. Что же касается до обстоятельства, что и он, Иван младший, со всего размаху огрел кием по руке пана Харитона, то он основательно рассудил, что как рука не есть голова, то таковой поступок — сущая безделка, а потому не упомянул о нем ни словом.

Писание сие прочтено Ивану старшему в присутствии обоих студентов и единогласно признано премудрым. Вследствие сего кибитка запряжена, все порядком уложено, оба друга сели и — пустились позываться.

Никанор и Коронат, оставшись одни, уединились в сад, разлеглись на траве и, раскуря трубки, начали беседовать о любви своей. По времени и им вспали на ум страшные отцы их и еще страшнейший пан Харитон. Хотя они были мужчины, а притом люди ученые, однако несколько призадумались.

— Не печалься,— сказал Никанор,— какая нам нужда до сей тяжбы, в коей не принимали ни малейшего участия? Только бы девушкам мы приглянулись, а в дальнейшем поможет бог! После бога надобно полагаться на

случай. Разве ты не знаешь, что о предмете сем говорили древние философы? Вот тебе рука моя, что если только мы понравимся, то во всем будет успех; да если бы оного и не последовало, то не будем упрекать себя в трусости и нерадении. Кто не дерзает ни на что отважиться, тот никогда ничего иметь не будет.

Тут Никанор дал ему подробное наставление, как действовать и чего домогаться; Коронат во всем положился на своего друга. Кто чего сильно желает, тот охотно верит обещаниям, даже самым невероятным. Продолжая свои разговоры, они поминутно взглядывали на солнце с большим вниманием, чем халдейские астрономы; но оно катилось по небу ни скорее, ни медленнее, как бы Никанора и Короната с своею любовию, ни халдеев с их астрономиею вовек не существовало.

Наконец желанное время наступило, и влюбленные философы, взявши по торбе, на крилах любви полетели к известной плетневой калитке, заглянули на баштан и, никого не видя, засели в большом бурьяне, росшем возле забора. Головы их ежеминутно выставлялись по очереди подобно пестам толчейным, если представить, что они действуют не вниз, а вверх. Около часа они провели в сем незавидном упражнении, и оно им надоело. Наконец красавицы показались, и головы перестали высовываться из бурьяна.

Едва сестры вступили на баштан, как друзья выскочили из бурьяна и — прямо туда же. Раиса и Лидия, слыша за собою шум, оглянулись и ахнули, как будто увидели нечто чудное, неожиданное.

Любовники от сотворения мира до нынешних времен, во всех веках и у всех народов были одинаковы. В начале любви своей они робки пред своими победительницами, потом постепенно делаются смелее и, наконец, сами стремятся быть победителями; то же случилось и с моими философами, ибо и сие страшное звание не исключает людей из общего круга человечества. Подскочив к своим прелестницам, они изумились, увидя пасмурные лица и слезки на ресницах.

— Что за новость? — вскричали оба друга в один голос,— что за причина такой горести тогда, когда мы ожидали увидеть веселые взоры и смеющиеся губки?

После сих слов они взяли своих красавиц за руки и пристально смотрели им в глаза.

— Ах! — сказала Раиса с тяжким вздохом,— вчера

при прощанье мы и не вспомнили, что ваши отцы называются Иванами, а наш Харитоном!

— Только! — вскричал Никанор с веселою улыбкою,— так станем же печалиться, что меня зовут Никанором, тебя Раисою, а сестру твою Лидиею! Что ж вы не плачете? Как скоро увидим слезы на глазах ваших, то и мы горько возрыдаем о таком злополучии!

Сестры взглянули на них с нежностию и сладостно улыбнулись.

После сего они вместе стали выбирать, что им было надобно: но как обе красавицы более глядели в глаза своих любовников, нежели на гряды, то прежде чем торбы студенческие вместили надлежащее количество огородных растений, совершенно уже смерклось, и они попарно отправились к дому Харитона сколько можно медленнее. Дорогою любовники рассказывали прекрасным своим сопутницам о полтавских диковинах, о чудесах, там происходивших, и о различных удальствах, ими оказанных.

— А каковы там девушки? — спросили сестры, застыдившись.

— Ах! — отвечали друзья,— они подлинно прекрасны; но мы, проживши там полные десять лет, не видали ни одной, которая бы могла равняться красотою и любезностию с Раисою и Лидиею!

Девушки взглянули одна на другую и — закраснелись.

У ворот дома родительского надобно было разлучиться. Студенты в передники девушек высыпали плоды, какие были в торбах, и уже осмелились пожать им ручки.

Так протекло около десяти дней, с тою разницею, что в последний любовники при прощанье по нескольку раз поцеловали своих красавиц, и они не могли сему противиться, если не хотели опустить передников и рассыпать все, что в них было.

— Когда так,— сказала Раиса,— то вперед не пойдем на баштан!

— Пойдете! — возразил Никанор.

— А за чем?

— За чем и до сих пор ходили!

— Нет, нет!

— А если мы вас там увидим?

— Ну, так что будет?

— Тогда вместо десяти — сотня поцелуев!

— Как не так! — сказали девушки в один голос, засмеялись, и — как горные серны прячутся от звероловов в пещеры, так они скрылись на двор отца своего.

Глава VIII

Правосудие

На другой день пан Агафон праздновал вожделенный день своего рождения, а будучи искренний приятель обоих Иванов, пригласил к себе на пиршество их семейства, которые и не преминули явиться к обеду. Гостей было довольно, но не меньше и учреждения: студенты придали великолепия, пропев за столом несколько стихер, а после обеда целый псалом. Хозяин стократно благодарил их за сию особенную честь и не уставал потчевать.

Ароматный дым, выходивший из горшков с варенухою, наполнял не только весь дом, но двор и улицу, из чего можно заключить о великом количестве оных. Под вечер явились на дворе два машкары, два цимбалиста и два гудошника, а в заключение — о, верх великолепия! — с двумя медведями литвин, которого пан Агафон с ярмарки — в ожидании сего всерадостного дня — пригласил к себе и содержал тайно, дабы такою нечаянностию привести в радостное удивление собеседников.

Все гости высыпали на двор; самые дети с ужасом и любопытством глазели из окон на машкар и медведей. Первое действие сей комедии открыли музыканты и машкары. Хозяин, весело осматривая гостей, приметил, что между ними нет Никанора и Короната. «Что с ними сделалось? — думал он,— неужели в другом месте ожидают они большего увеселения?»

Честный старик и не ошибся. Пользуясь всеобщим смятением гостей и челядинцев, молодцы особым ходом ускользнули, чтобы воспользоваться несравненно большим удовольствием, чем смотреть на машкар и медведей.

Сидя в преддверии своего елизиума (так студенты называли бурьян относительно баштана), они не уставали высовывать головы до тех пор, пока зги не видно было; тут они тяжко вздохнули, и Коронат произнес:

— Видно, наши нимфы не охочи до поцелуев, что не хотят сдержать своего слова.

— Почему знать,— возразил Никанор,— чужие обстоятельства? Я точно уверен, что все наши домашние тех мыслей, что мы, быв ошеломлены в доме нашего хозяина, покойно спим каждый на своей постеле, и никому на мысль не взойдет, что шляхтичи, и притом люди ученые, гнездятся в бурьяне до полночи.

После сего каждый из них с крайним неудовольствием побрел к себе домой и улегся на постеле.

Коронат проснулся от шума и смешанных голосов. Он прислушивается и вскоре отдельно различает голоса: отца своего, Ивана старшего, Никанора и прочих членов обоих семейств. Он устыдился своей лености, столь неприличной студенту и вообще молодому человеку, и притом любовнику; поспешно оделся, явился в собрание и с нежностию обнял отца и его друга. Жены друзей и возрастные дети сильно любопытствовали знать, что старики выездили; но Иван младший сказал:

— Если вам рассказать следствие нашей поездки, то, может быть, пропадет охота к еде; а как люди дорожные должны подкрепить силы свои пищею и питьем, то поди, жена, приготовь и подай нам сытный и вкусный завтрак.

Когда все были довольны стряпнею жены Ивана младшего, то он, разгладя усы, сказал:

— Хотя я и сам провел в сотенной канцелярии более двадцати лет, но таких див никогда там не видывал, какие ныне свершаются. Это или оттого, что теперь другой сотник, или оттого, что люди стали другие, или что скоро будет преставление света или по крайней мере — Малороссии. Когда прочтены были в канцелярии жалобы наша и ненавистного Харитона, то сотник, подумав несколько, сказал: «Погляжу, посмотрю, подумаю!» Я знал, что это значит, ибо и в мое время клали подобные решения, то сообщил моему другу, Ивану старшему, и мы на другой день рано поутру — прямо к дьяку. Он принял нас ласково, а еще ласковее наши приносы: рубль деньгами, кадушку меду и бочонок пеннику. «Я постараюсь, чтобы *ваша взяла»,*— сказал он весело, и мы расстались.

Пришедший к нам знакомый подписчик известил, что писец должен быть очень доволен угощением пана Харитона, данным ему во время ярмарки в селе Горбылях, и бросился теперь с припасами к пану сотнику, что когда узнал писец, то поклялся совестию, что тому не бывать и что без подписи его никакая бумага не выходит.

Подписчик не солгал. Писец крепко держал нашу сторону, и потому дело тянулось около недели. Но как пан Харитон решился позабыть горбылевское угощение и вновь сунул дьяку кое-что, то третьего дня вышло в сотенной канцелярии следующее определение.

(Тут Иван младший вынул из кармана лист бумаги, читал):

«По взаимным жалобам панов: двух Иванов, старшего и младшего, и пана Харитона Занозы, сотенная канцелярия, рассмотрев дело во всей подробности, определяет: 1-е. Пан Иван старший без всякой причины, при великом стечении народа, плюнул в лицо пану Харитону, почему и обязан заплатить рубль денег пени. 2-е. Пан Харитон, вместо того чтоб по законам *позываться*, вздумал сам собою управиться и ударил пана Ивана тростью по голове, обязан был бы также заплатить пени не менее рубля; но как достоверные свидетели доказывают, да и сам пан Иван сознается, что удар сей последовал не по голове, а по шляпе, то обязан он заплатить бесчестья сорок копеек, а из шестидесяти копеек, кои следуют пану Харитону, канцелярия, на необходимые свои расходы удержав сорок копеек, остальные двадцать копеек выдаст пану Харитону. 3-е. Но как и он, пан Харитон, также в противность законов, в общенародном месте намеревался обнажить саблю, что по смыслу законов то же самое значит, как бы и обнажил ее, то в пеню ему и остальные двадцать копеек причислить в общий канцелярский доход. 4-е. В заключение: пан Иван младший, быв совершенно в деле сем лицом посторонним, вмешался в размолвку, до него не принадлежавшую, и кием своим сделал поражение по руке пана Харитона, от чего и до сих пор виден некоторый знак,— то, в наказание за сие буйство, взыскать с него в пеню тридцать две копейки с деньгою. Из суммы сей: на издержанную бумагу, на жалованье подписчикам и писчикам, на перья и чернилы удержать тридцать копеек, затем остальные две копейки с деньгою выдать пану Харитону с распискою. Панов же обоих Иванов, доколе не заплатят наложенной пени, не выпускать из канцелярии».

— Несколько времени,— продолжал пан Иван младший,— мы глядели друг на друга с крайним недоумением, а злодей Харитон улыбался, как улыбается бес, когда удастся ему кого соблазнить. Сотник, встав из-за стола, сказал: «Пан дьяк! исполняй свою должность!»

С сим словом он вышел, а дьяк, подошед к нам, произнес насмешливо: «Ну, паны! скорее распоясывайтесь; и мне пора идти в гости!» Мы вынули свои мошны, отсчитали пенную сумму и вышли, проклиная внутренно окаянного Харитона, плута дьяка и глупца сотника.

Тут жена Ивана старшего сказала с улыбкою к своему мужу:

— И этот случай не научил тебя? И ты не закаешься впредь позываться?

— Молчи! — отвечал он сурово,— я знаю, что делаю! Уверен, что теперешняя поездка и Харитону немало стоит, а получил две копейки с деньгою; но хотя бы одну деньгу — и того довольно. Одна мысль: «Я одолел противника» — услаждает сердце. Постой, Харитон! ты раскаешься в своей победе, и раскаешься скоро!

Глава IX

Решительный разговор

Со следующего дня всякий в обоих семействах препровождал весь день в приличных ему занятиях, а на вечер соединялись все у которого-либо из Иванов; студенты рассказывали повести из древней и новой истории и пели псалмы; старики курили трубки, пили наливки и предавали проклятию Харитона и весь род его до седьмого колена. В уреченное время молодые люди под какими-нибудь предлогами отлучались, летели на известное место и, находя везде пустоту, приходили в уныние, с пасмурными лицами возвращались в общество и уже неохотно растворяли рты для пения.

В разные времена дня обходили они задний двор и сад пана Харитона, но, кроме обыкновенных слуг и служанок, нигде и никого не видали. Кажется, однако ж, говорят правду, что счастие содержит любовников в особенной милости. В одно послеобеденное время, когда мои влюбленные делали свои разведыванья около двора и сада Харитонова и не пропускали ни одной дирочки в плетневом заборе, они увидели — кто опишет восторг их и блаженство — они увидели — их красавицы сидели на зеленом дерне под развесистой яблонью. Сердца их забились, кровь клокотала в жилах, они были в пламени. Подобно необузданным коням аравийским, они переле-

тели через забор, и прежде нежели изумленные сестры могли вскочить, они уже стояли перед ними, схватили их за руки, подняли и со всем стремлением страсти прижали к грудям своим.

— Что вы делаете? — спросила устрашенная Раиса, освобождаясь из объятий Никанора,— как осмелились вы очутиться здесь?

— Любовь, о Раиса, любовь и не через такие заборы перелазит! Скажите — время дорого — скажите, любите ли вы нас?

— Но что пользы в любви сей? — спросила со вздохом Раиса,— какой будет конец ее?

— Предоставьте богу,— воззвал Никанор,— располагать участию сердец наших; а сверх того, любить, даже без цели любить, есть уже неизъяснимое блаженство! Итак, откровенно, Раиса! любишь ли меня?

— Лидия! любишь ли меня?

Вместо ответа девушки зарыдали, опустились в объятия юношей, и губы их соединились. Несколько мгновений пробыли они в сем сладостном положении; но природа ни при каком случае прав своих не теряет. Чтобы облегчить грудь, дав ей новый воздух, они должны были расклеить губы. Никанор, держа Раису в объятиях, сказал:

— Свидания в сем саду немного менее опасны, как и свидания с султанскими любимицами в его гареме. Скоро ли мы будем видеться на баштане?

— Не знаю,— отвечала Раиса,— но пока отец наш дома, это невозможно; нам запрещено выходить, а для чего — мы и сами не знаем.

— А если он опять укатит в город?

— О, тогда весьма можно, даже в самый день его отъезда.

— Превосходно! — воскликнул Никанор,— будьте уверены, милые сестры, что вы очень скоро будете на баштане.

Тут юноши вновь заключили зардевшихся девушек в объятия, запечатлели несколько страстных поцелуев на коралловых губах их, как вихрь перелетели через забор и скрылись. Девушки, оживленные новыми, сладостными, дотоле неизвестными им чувствами,— ибо никто из мужчин, ни сам отец, не прикасался своими губами к губам их, никто не прижимался к волнующейся груди их, к бьющемуся сердцу,— долго стояли в восхитительном удивле-

ний; потом взглянули одна на другую, улыбнулись, и Лидия пала в объятия Раисы. Только и могли они произнести: «Ах, сестрица! ах, милая! что-то будет! Боже, что-то будет!»

В тот же вечер семейства обоих Иванов проводили время в доме старшего. Тут Никанор сказал:

— Батюшка! не знаю, одобришь ли ты мой поступок, но он уже сделан. С приезда твоего из города в хуторе был ты один только раз. Дело идет к осени, и надобно посмотреть, что делается с работами. Предполагая, что ты на это согласишься, я послал уже Якова, чтоб он приготовил все к завтрашнему обеду.

— Браво, сын! — вскричал Иван старший, — вижу, что из тебя выйдет добрый хозяин. Друг Иван! ведь и твой хутор возле моего; поедем-ка вместе.

— Очень рад,— отвечал сей,— так ли, сын Коронат?

— Так, батюшка!

— Я еще кое-что вздумал, — сказал Никанор улыбаясь,— на хуторе всякой всячины довольно, чтобы накормить целую стаю голодных цыган; но я думаю, не худо будет, если мы возьмем по ружью и по зарядному поясу. Посмотрим, не попадется ли какая дичь дорогой!

— Славно! — сказали все и разошлись.

Лишь только показалось солнце на горбылевском небе, уже наши хозяева были на конях, с ружьями за плечами, а позади плелся слуга с большою торбою для уложения дичи. Они ехали медленно, приглядываясь, не выскочит ли где заяц, или не вспорхнет ли куропатка; но, кроме жаворонков, перепелов и другой мелочи, им ничего не попадалось, и они подъехали к хутору Харитонову с пустою торбою. Подле панского дома стояла большая голубятня, ибо хозяин был до сей птицы великий охотник; вся голубятня покрыта была птицами.

— Стой! — вскричал Никанор, и все остановились.

— Батюшка! — продолжал он, — припомни, сколько Харитон наделал вам обоим пакостей, притом же в последнюю бытность твою в городе!

— Ни слова, сын мой! — вскричал Иван старший, — понимаю мысли твои и хвалю, надеясь, что и ты охоч будешь позываться. Друзья мои! Станьте рядом, и при счете моем: *три*, дадим залп по голубям.

Все построились, взвели курки, приложились, и как скоро роковые «раз, два, три!» произнесены были,

раздался гром, и бедные твари посыпались на землю. Слуга соскочил с лошади и начал наполнять ими торбу. После сего подвига витязи преспокойно поехали к хутору Ивана старшего, который садами граничил — как сказано в начале сей повести — с хутором пана Харитона.

Глава X

Обоюдности

Приказав Якову готовить обед, наши шляхтичи хотели начать осмотр своих поместьев, как увидели на хуторе пана Харитона пожар. Тотчас послали осведомиться, что горит, и вскоре получили уведомление: голубятня. Паны Иваны, взглянув один на другого, улыбнулись, сказав, старший: «Вот тебе мой рубль, бездельник!»; младший: «Вот тебе мои тридцать две копейки с деньгою, разбойник!»

Отчего же произошел пожар? Это выдумка Никанорова. Для прибою заряда вместо войлока он употребил сухую паклю; Коронат ему последовал. Отцы ничего не знали о сем умысле.

Препроводив более четырех часов в осмотре своих имуществ, оба Ивана довольны были устройством и порядком, похвалили своих наместников и пошли на хутор Ивана старшего, дабы отобедать. Вошед в светелку панского дома и увидев стол, уставленный блюдами и кувшинами, все похвалили Никанора за распорядок и сели насыщаться.

Окончa свою работу и помолясь богу, все уселись на коней и поехали шагом. Доехав до голубятни и видя, что она сгорела до основания и что полуизжаренные голуби и голубята валялись по земле, паны Иваны усмехнулись и покойно продолжали путь свой. Когда были они на половине дороги, увидели, что кто-то прямо на них скачет; и когда сей всадник приблизился, то Иван старший узнал в нем своего пасешника [1]. Все остановились в недоумении.

— Что доброго? — воззвал Иван старший.

— Ох! — отвечал тот плачевным голосом,— у тебя нет более пасеки.

[1] Смотритель за пчельным заводом, который называется *пасекою.*

Иван старший побледнел, и все остолбенели.

— Как так?

— Уже была обеденная пора,— говорил пасешник,— как пан Харитон приехал на твою пасеку в кибитке, за коею следовал возок. Лишь только я по приказанию его приблизился, он схватил меня за чуб и согнул в дугу; тут двое слуг его, один правящий лошадьми в кибитке, а другой в возке, связали мне руки и ноги и уложили на земле. Тогда начали выбирать из возка сухие кожи, шерсть, облитую смолою, гнилушки, напоенные дегтем и прочими снадобьями, гибельными для пчел; все это разметано по пасеке и зажжено. О боже мой! Я плакал и, верно, выдрал бы себе чуб, если бы, по счастью, руки не были связаны, видя, как гибнут бедные любезные мои пчелки. Растопившийся мед умертвил и тех, кои были в ульях, так что теперь едва ли хоть одна пчелка в целости осталась. О злодеи!

По совершении сего беззакония пан Харитон подошел ко мне со слугами, приказал развязать и после ласково говорил: «Поди, голубчик, на мой хутор, где найдешь ты обоих панов Иванов с их сыновьями, такими же бездельниками, каковы отцы их, и уведомь, что видел. Скажи старшему, что каждый мой голубь стоил по крайней мере одного улья пчел. Здесь ульев не более пятидесяти, а голубей было более двухсот, итак, за остальных вымещу я над пасекой Ивана младшего. Но теперь мне некогда: я спешу в город позываться!»

Все, а особливо Иван старший, слушали пасешника с ужасом.

— О злодей, о изверг, о душегубец! — вскричали в один голос оба Ивана.— Посмотрим, что-то ты скажешь в канцелярии? Ведь голубятня — не пасека! Сейчас домой!

Все пустились; нещадно били бедных кляч пятками по ребрам и скоро очутились в Горбылях, а там и в доме Ивана старшего. Не входя в комнаты, он закричал слуге, исправлявшему должность кучера:

— Сию минуту кибитку в две лошади!

Когда он вошел в дом, то жена и все домашние испугались.

— Не спрашивай ни о чем,— вскричал он к жене, приметя, что она готовится спрашивать,— вели уложить в кибитку постель и большой войлок, и — да благословит бог вас всех! Никанор все расскажет!

Скоро все было готово. Иван младший, простясь со своим семейством, явился; они уселись и поскакали. По желанию матери, Никанор рассказал все, что знал и видел, умолчав, что они с Коронатом виновники сей новой суматохи.

— Опять позываться! — сказала мать Никанорова.— Боже милосердный! когда этому конец будет?

— Я думаю,— отвечал сын значительно,— что эти тяжбы прекратятся смертию или через какие-нибудь чудесные происшествия!

При закате солнечном молодые друзья отправились на баштан. Дорогою они разговаривали:

— Посмотрим, исполнят ли наши любезные свое обещание, чтоб в тот же день посетить баштан, когда отец их укатит в город! Ах, как они милы! как пламенны их поцелуи! как сладостны объятия!

Пробираясь к своему бурьяну, они удивились, нашед калитку отворенною. С трепетанием сердца заглядывают и — немеют от радости, увидев, что обе сестры сидели на небольшой копне сена, положив руки одна другой на колени. Они, казалось, были в некотором унынии.

Юноши вошли, сколь можно тише притворили калитку и, подобно двум вихрям, устремились к своим возлюбленным.

Глава XI

Падение

После приключения в саду к чему послужило бы притворство? Девушки были в объятиях своих любовников, и поцелуи посыпались без счета; вздохи их смешались, и слезы любви и наслаждения соединились на щеках их.

После первых порывов страсти красавицы тихонько высвободились из объятий своих обожателей, и Раиса спросила:

— На чем же основывается ваша надежда?

— Положитесь на меня,— вскричал Никанор,— как на каменную стену, и не будь я перворордный сын Ивана Зубаря, если с помощию друга не помирю наших родителей, и тогда все пойдет на лад. Да и стоят ли кролики, гуси, утки, голуби и пчелы того, чтоб трое шляхтичей

вечно позывались и теряли свое имение? Я сказал, положитесь на меня! Разве думаете, что счастие мое и моего друга для нас не дорого? А можем ли мы быть счастливы без вас, милые девушки? Следовательно,— он хотел было продолжать логические доводы; но, видя, что Лидия висла уже на груди Короната, заключил сестру ее в свои объятия, и поцелуи снова градом посыпались. Поцелуи первой любви есть такой напиток, которого чем больше пьешь, тем больше пить хочется; итак, не мудрено, что когда наши влюбленные осмотрелись, то настоящая тьма их окружала. Девушки испугались.

— Что будем делать,— сказала со вздохом Раиса,— где теперь будем искать дынь и арбузов; и что скажет матушка, когда увидит, что мы так поздно воротились и — с пустыми руками?

— Не печальтесь, милые,— сказал Никанор уверительно,— мы вам поможем, наберем дынь и арбузов и донесем до вашего дома.

Необходимость требовала принять предложение. Никанор взял трепещущую руку Раисы и пошел вправо, а Коронат с Лидиею влево. Первый скоро толкнул что-то ногою, нагнулся, ощупал и сказал:

— Вот и арбуз!

— Ах, если б еще сыскать дыню! — сказала Раиса,— так бы и довольно.

Они пошли далее.

— Кажется, у ноги моей дыня, — говорила Раиса, нагибаясь. Никанор бросился опрометью, дабы ощупать дыню, но так неосторожно, что опрокинул подругу свою на землю, а посему не мог сам сохранить равновесия и растянулся подле нее. Вот сколь слаб смертный! Претыкались и герои не Никанору чета и героини позначительнее Раисы! Никанор встал, ощупал дыню, сорвал и вполголоса сказал:

— Милая Раиса! дай руку; вставай и пойдем домой.

Раиса встала и пошла, держась за его руку. Она молчала. На некоторые ласковые слова любовника она отвечала вздохами, и так дошли до калитки. Никого не нашедши, Никанор свистнул; нет ответа. Подождав несколько времени, он свистнул громче; нет ответа.

— Что за причина,— сказал молодец,— быть не может, чтоб они ушли без нас.

Прождав еще минуты с две, он свистнул в третий раз во всю мочь богатырскую, и вскоре послышался невдалеке ответный свист.

— Слава богу! — произнес, вздохнувши, Никанор, — но что ты дрожишь, моя любезная?

— Ах,— сказала сия со стоном,— я думала, что я одна.

На сие и храбрый Никанор отвечал молчанием. Скоро соединились с ними и Коронат с Лидиею. В безмолвии дошли все до дома Харитонова. Сестры приняли в передники арбузы и дыни и хотели войти в ворота, не сказав ни слова; но Никанор остановил их вопросом:

— Будете ли завтра на баштане?

— Не знаю,— отвечала Раиса пошептом.

— Непременно будьте, — сказал Никанор отрывисто,— да пораньше: сего требует собственная ваша польза.

С сим они расстались.

Никанор и Коронат шли дорогою, будучи упоены своим счастием. Они точно с сим намерением раскинули сети, но никак не воображали, чтоб прекрасные птички так проворно, так охотно кинулись в оные.

— Когда же к окончанию дела приступим? — спросил Коронат.

— Доброго дела откладывать ненадобно, — отвечал Никанор.— Завтра около вечерень приходи ко мне.

Посмотрим, что делается с сестрами. Я сказал, что во всю дорогу они молчали; а как известно всякому, что человек не может ни одной минуты не мыслить, то естественно, что они — после случившегося происшествия — имели великую причину сколько можно больше мыслить. Итак, простясь с своими проводниками, они одна другой сообщили мысли свои, сделали условие, как отвести предстоящую бурю, и вступили в комнаты. Кроме матери, все в доме спали, ибо на небе было около полуночи. На вопрос ее: «Где вы до сих пор были, негодницы?» — Раиса с испуганным лицом отвечала:

— Ах, матушка! когда б ты знала, в каком мы были страхе! Лишь только сошли с баштана, как увидели, что в некотором отдалении прямо противу нас шли: ведьма, вовкулака и упырь[1]. Страх нас обнял, и мы не знали, куда деваться. К счастию, у нас было еще столько ума, что не пошли сим страшилищам навстречу, а бросились

[1] Урожденный чародей, то же, что в женском роде ведьма.

обратно на баштан, где и зарылись в горохе. Видели ль нас сии чудовища или нет, не знаем, но только они скоро после нас явились на баштане, остановились, пройдя калитку, и кругом оглядывали. Ведьма начала вертеться, как веретено; вовкулака, поднявшись на дыбы, стал плясать, упырь заревел ужасно. Мы едва не умерли от страха. После сего ведьма села на копне сена и сказала: «Если вы хотите, чтоб я продолжала любить вас, то принесите сюда хороших дынь и арбузов». Вовкулака и упырь бросились за добычею, и, по несчастию, дорога их шла мимо нас, бедных. Мы притаили дыхание и не знали, живы или мертвы. По времени дыни и арбузы принесены ведьме, и началось пиршество. Оно продолжалось немалое время, и когда все принесенное было съедено, то пировавшие начали по-прежнему: ведьма вертеться, вовкулака плясать на задних лапах, а упырь реветь. После сего они удалились.

— Долго не смели мы выйти из своего убежища,— продолжала Раиса,— но, не видя более страшилищ, отважились. Всю дорогу бежали не отдыхая и вот, как видишь, теперь здесь.

Мать задумалась, осмотрела дочерей и, увидев их бледные лица, мутные глаза, растрепанные волосы, волнующиеся груди и платья в пыли и зеленых пятнах, уверилась в истине рассказа и отпустила спать. Когда они при свете ночника разделись, то горько зарыдали: «Ах, Раиса! ах, Лидия! что мы наделали!»

Легко поверить, что сон их был беспокоен и прерывист, им беспрестанно грезились дыни и арбузы.

Теперь следует вопрос: какое ж было намерение Никанора, который, как уже упомянуто, прежде уверил своего друга, а после девушек, что все дело примирения родителей берет на себя; а теперь, по всему вероятию, столько расстроил сие дело, что и конца не будет вражде, а потому и позыванью? После такой обиды, каковая сделана в роковую ночь сию дому Харитонову, и самый сговорчивый человек готов будет позываться до самой смерти. Подождем и увидим; а предварительно уведомим, что Никанор со времени прибытия на родину несколько раз тайно от всего семейства навещал деда своего Артамона, с которым племянники его, оба Ивана, с давнего времени были в расстройке.

Глава XII

Поправка порчи

В назначенное время Коронат явился к своему другу. Как скоро раздался звон колоколов, приглашающий православных к слушанию молитв вечерних, они отправились к баштану Харитонову и засели в бурьяне. Не успели они раз по десяти высунуть свои головы, как, к неописанному удивлению и радости, увидели, что красавицы их шли самыми скорыми шагами, какими только могут ходить красавицы, не обращая на себя взоров. Едва скрылись они за забором, как влюбленные шляхтичи туда же со всех ног бросились, и девушки кинулись в их объятия, проливая слезы, кои любовники осушали своими губами.

— Ты велел нам,— сказала Раиса Никанору,— быть сегодня здесь, и пораньше: вот мы и здесь; но неужели только для того, чтобы по-вчерашнему?..

— Нет, милая Раиса,— отвечал студент,— не для того только. Ступайте все за мною!

За день пред сим невинные девушки ни за что бы не решились на такое предложение; но теперь, после рокового происшествия на баштане, что им оставалось делать, как не положиться на благонамеренность своих путеводителей и им безмолвно последовать? Каждая подала руку своему обожателю, и — пустились в путь. Обе пары молчали, а довольствовались пожиманьем рук один у другого. Наконец они подошли к древней церкви, стоящей близ самого выгона. Нашед ее назаперти, Никанор три раза ударил кулаком в дверь, и она мгновенно отверзлась; любовники вошли с своими любезными, и сии последние онемели, увидя посреди церкви налой, возженные светильники и священника в полном облачении. Никанор и Коронат подвели трепещущих невест к алтарю, и священнодействие началось. Сердца у всех, а особливо у девушек, бились чрезмерно, и радостные слезы блистали на их ресницах. Священный обряд кончен, и новобрачные вышли из храма.

Недалеко от баштана Харитонова стояла низменная хата, принадлежащая Ивану старшему, но давно кинутая по совершенной в ней ненадобности; сюда-то вступили новобрачные, где нашли волошское вино и закуски.

— Вот, милая Раиса,— сказал Никанор,— место временных наших свиданий. Эта светелка принадлежит нам, а через сени есть другая, где сестра твоя может видеться с своим мужем. Будем и сим довольны до времени.

Молодые, проведши за столом минут десять, удалились попарно в свои светелки, где и пробыли до заката солнечного; после чего Раиса и Лидия, взявши в передники арбузы и дыни, отправились домой. Они запретили мужьям за собой следовать, ибо довольно было еще светло.

Никанор и Коронат, яко люди ученые и православные христиане, пришед домой, каждый отметил в своих святцах: *«Такого-то года,* августа 20 дня, я *(имрек)* обвенчался на дочери пана Харитона *(имрек)».* Слова женихов и невест означены были киноварью.

Так провели они около месяца в упоении и восторгах любви. Во все это время необитаемая прежде хата ни одного дня не была пуста; новобрачные считали себя преблагополучными людьми, между тем как отцы их, позываясь между собою беспрестанно и делая друг другу возможные пакости, едва ли не были самые несчастные из всего села Горбылей.

Все три позывающиеся пана несколько раз писали к своим семействам, и сии писания преисполнены были жалоб — то на неправосудие начальства, как-то: сотника, есаула, дьяка и проч., то предавая сугубому проклятию противную сторону. Всякий, однако ж, надеялся взять верх, почитая дело свое правым.

Всему селу Горбылям было известно, что ни одна шляхтянка не умеет ни читать, ни писать. «Как? — спросит кто-либо, — неужели и милые, прелестные сестры Раиса и Лидия?» Так! Хотя неохотно, но должен сказать, что и они подвержены были общей участи женского пола того времени; они умели только шить, вышивать разноцветными шелками и — нежно, постоянно любить! А разве этого не довольно для всякой женщины!

Мы знаем, что жены панов Иванов имели в домах своих кому читать письма, от мужей получаемые, и отвечать на оные; но как Харитонов сын Влас был только пятнадцати лет и у дьячка Фомы набирался возможной мудрости, твердя из букваря: *тма, шна, здо, тно,* то беспомощная Анфиза уполномочена была призывать к себе Фому в случае нужды прочесть мужнее письмо и настрочить ответную грамоту. Хотя со всех сторон положено

было обстоятельство сие хранить в глубокой тайне, но могло ли оно остаться тайною, когда знали об этом все в доме?

Никанор, начавший теперь весьма ревностно искать способов к скорейшей развязке своего дела, посредством небольших подарков и нескольких гривен достал от одного из учеников Фомы собственноручное письмо учителя, с которого он учился чистописанию.

Как дело происходило, откроют последствия. В один и тот же час получены в городе от неизвестного человека два письма к позывающимся.

Глава XIII

Злой умысел

Письмо 1-е. К пану Харитону.

«Ах, ох! Ах, беда! Ох, горе! Кинь на время, любезный друг, проклятую тяжбу и поспешай сюда, если желаешь застать еще кого-либо из нас в живых. Дом наш в селе Горбылях — ах, ох! — превратился в кучу пепла. Нет ни гумна, ни кладовой, ни погреба с твоим пенником и наливками. При сем несчастном случае крестьяне наши оказали примерное усердие: мужчины молились богу, а женщины так оплакивали наше несчастие, как бы свое собственное. Все мы выбежали из спален,— ибо пожар произошел в полночь,— в чем лежали на постелях; впрочем, в добром здоровье, только у нас всех обгорели головы и по всему телу пузыри. Приезжай прямо на хутор, ибо мы теперь же идем туда пешком. Ах, ох! Ах, беда, ох, горе!

Анфиза».

Пан Харитон поражен был сим писанием как громом; бледность покрыла щеки его. Одна мысль о сем злополучии терзала его сердце: кто произвел пожар сей, с кем он должен позываться? Недогадливая жена не означает, чтоб имела на кого подозрение. Заклятые враги паны Иваны — оба в городе. Кто же? Неужели богопротивные латынщики, сыновья их, дерзнули на такое отважное дело? Горе им, гибель неизбежная, если в сем удостоверюсь!

Пан Харитон склонил городского лекаря ехать с ним вместе, запасшись нужными врачевствами для излечения обожженных, взвился как вихрь и — полетел прямою дорогою на свой хутор.

Письмо 2-е к пану Ивану старшему.

«Батюшка! когда получишь это письмо, то примечай, что будет происходить в жилище пана Харитона. Я думаю, он опрометью ускачет из города. Куда и зачем — узнаешь после. Не теряй напрасно времени и действуй с другом своим всеми силами. Теперь никто уже вам обоим не помешает. В подспорье посылаю десять рублей. Не жалейте ничего, только бы победа была ваша. Такую мудрость выдумали мы с Коронатом, дабы сколько-нибудь помочь в трудах ваших. В Горбылях мы для вас всегда полезнее, чем в городе. Я и друг мой целуем вас заочно. Он не пишет потому, что я пишу. Не все ли равно? В другой раз вы увидите его письмо, а меня, может быть, не будет. Он для вас обоих — другой я. Прощайте!»

Паны Иваны, взглянув один на другого, прослезились.

— Не я ли уговорил тебя, — сказал Иван младший,— чтобы детей наших поучить порядком, а не так, как учатся у нас все шляхтичи?

Иван старший с чувством пожал руку у Ивана младшего и произнес тихо:

— Воспользуемся же благим советом и не станем терять времени.

И в самом деле, они принялись за дело так плотно, что оно скоро взяло совсем другой оборот, нежели какой дал было ему пан Харитон. Давнишняя опытность Ивана младшего и громогласие храброго Ивана старшего, а более всего присланное Никанором вспомогательное ополчение так подействовали... Но обратимся к пану Харитону.

Роковое писание от жены Харитон получил гораздо за полдень. Пока склонил он лекаря ехать с ним в хутор, пока сей последний приготовил нужные от обжоги лекарства, то солнце близко было к закату, а как приближились к хутору, то все погружено было в глубокий сон, кроме со-

бак, кои кое-где лаяли, а особливо на дворе панском. Не видя ни в одном окне огня, пан Харитон вздохнул.

— Так-то слуги наши и служанки,— произнес он, — радеют о господах своих! Чтоб ничто не мешало им покоиться, о беззаконные! они загасили все ночники, меж тем как их несчастные обожженные господа ахают и охают. Постой! дай мне до вас добраться!

Вступая в комнаты, пан Харитон увещевал лекаря и строго наказывал слуге своему Луке хранить тишину сколько можно, дабы не обеспокоить недужных. Луна светила полным светом, а потому все предметы весьма отдельно видны были. Проходя из одной комнаты в другую,— а всех в панском доме было пять комнат,— они и духа людского не ощущали.

— Что бы это значило? — сказал пан Харитон с движением гнева и недоумения. Он задумался и после со смятением произнес: — По всему вероятию, они так изуродованы, что не надеялись доплестись сюда, и кто-нибудь из добрых приятелей принял бедных к себе до моего прибытия. Я сейчас бы распорядился; но что сделаешь ночью и у кого искать их? Не умнее ли сделаем, пан лекарь, — продолжал он, — когда велим подать огня, выпьем по чарке и чем случится закусим?

Лекарь, которому давно хотелось спать, похвалил такую умную выдумку, а особливо услыша о чарке и закуске; ибо он набожно верил, что засыпать с тощим желудком совсем не христианское дело и прилично одним немцам.

Слуга высек огня и зажег дорожную свечку; потом принес из повозки большую деревянную чашу, баклажку с пенником и плетенку с сулеею вишневки. В чашке заключалась жареная индейка и несколько булок, на что глядя, Эскулапий не считал сей вечер потерянным. Они ликовали довольно долго, забыв об отчаянно больных, и растянулись на куче сена, нанесенного в комнату Лукою.

Поздно поутру они опомнились, поздоровались с баклагою и пустились в путь. Взглянув на головни, оставшиеся от голубятни, глаза у пана Харитона заблистали, и он заскрыпел зубами.

— Добро! — сказал он, — может быть, и погибель моего дома есть ваше дело, беззаконные паны Иваны, произведенное посредством богоотступных сыновей ваших. Посмотрим!

Во всю дорогу от хутора до села пан Харитон мучил лекаря рассказами о всех причинах, кои понудили его позываться со многими горбылевскими шляхтичами, а особливо с панами Иванами, и наконец вступили в селение.

— Стой, Лука! — вскричал Харитон, — я вижу, идет прямо к нам пан Захар; порасспросить было его о моем жалком семействе! Здравствуй, пан Захар!

— А, пан Харитон! Мы все думали, что ты в городе, ан вышло, что хозяйничал на хуторе.

— Я таки и был в городе до вчерашнего вечера. Но об этом после. Скажи, пожалуй, где я могу найти жену мою и детей?

Пан Захар уставил на него глаза и после с улыбкою сказал:

— Ты, видно, не выспался! Прощай!

С сим словом пан Захар удалился, Лука поехал далее, а Харитон погрузился в глубокую задумчивость.

— Стой, Лука! — вскричал он, и Лука остановился, — вот идет пан Давид; авось он будет поумнее пана Захара. Здравствуй, пан Давид!

— А, пан Харитон! Как ты здесь очутился?

— После поговорим об этом, а теперь уведомь: тебе, как приятелю, должно быть известно мое несчастие — где мне найти мое бедное семейство?

— А, понимаю! Последний позыв твой, видно, был неудачен, и ты рехнулся! Ах, бедный! Прощай! я боюсь сумасшедших!

Он уходит скорыми шагами, и пан Харитон, задыхаясь от бешенства, едва мог произнести:

— Видно, на Горбыли нашла злая минута, и все паны ошалели. Стой, Лука! вот приближается пан Охреян; спросить было еще в третий и последний раз. Здравствуй, пан Охреян!

— А, пан Харитон! здорово! Давно ли из города? Что твой последний позыв?

— Не о позыве слово! Скажи, бога ради, кто из вас, друзей моих, призрел жену мою и детей?

— Что такое?

— Разве ты оглох?

— Видно, не пустой разнесся слух!

— Какой?

— Что ты, потеряв тяжбу, рехнулся ума! Прощай!

Глава XIV

Суматоха

Пан Харитон действительно потерялся.

— Что за дьявольщина! — вскричал он,— или я и подлинно не в полном уме, или все горбылевские шляхтичи одурели! У кого ни спрошу о жалкой участи жены моей и детей, все удивляются, как бы я спрашивал их: «Как обретается хан Крымский?» Не хочу больше спрашивать ни у кого. Поезжай, Лука, прямо к пепелищу моего дома; там мои крестьяне и соседние шляхтичи, наверное, скажут, где могу найти то, чего ищу и о чем спрашивал у трех сумасшедших.

Лука приударил по лошадям, и кибитка быстрее покатилась. Пан Харитон забился в глубь своей колесницы, лег навзничь, зажмурил глаза и сложил на груди крестообразно руки.

— Не хочу, — говорил он с тяжким вздохом, — не хочу видеть издали развалин моего дома: пусть одним разом сердце мое растерзается! Как взгляну на кучи угольев вместо дома, где столько времени жил во всяком довольстве? Что почувствует бедное сердце мое, когда вместо доброй жены, двух милых дочерей и удалого сына увижу движущиеся головешки? Кажется, мне не перенести сего горя; да не лучше ли и впрямь умереть разом, не умирая каждоминутно?

Кибитка остановилась, и слуга соскочил с козел. Вдруг раздались голоса: «Ты ли, друг мой Харитон?» — «Батюшка, батюшка!»

— Что же ты не вылазишь, — спросила любопытно Анфиза,— здоров ли ты? Влас! Полезай к нему!

Влас вскочил в кибитку и закинул циновку, которая была опущена. Все ахнули и отступили назад. Пан Харитон, бледный, подобно мертвому, лежал в прежнем положении; подле него спал человек незнакомый, а из кибитки выходил запах, как будто из разрытой могилы. Дети заплакали, а жена горько зарыдала.

— Ах, Харитон, Харитон! ах, сердечный друг мой! — вопила Анфиза,— не я ли стократно тебе пророчила, что от позывов никогда добра не бывает! Велика ли беда, что кролики обгрызли у тебя несколько отпрысков вишневых и съели пары две капустных кочней; прогнать бы только их, а не стрелять, и ничего бы этого не было, и ты был

бы жив и счастлив в своем семействе. Хотя ты, правда, иногда уподоблялся бешеной собаке и я от чистого сердца посылала тебя к черту; но когда ты и в самом деле туда попался, то мне тебя и жалко стало! Раиса! Лидия! слезами не воскресить его! Велите приготовить теплой воды и чистое белье, а ты, Влас, прикажи позвать священника и дьячка Фому с псалтырью!

Легко можно представить, что чувствовал пан Харитон. Сперва представилось ему, что он действительно сошел с ума, о чем уверяли его уже трое шляхтичей; однако ж если он и обезумел, по крайней мере жив: зачем же тут надобна псалтырь?

Когда он продолжал углубляться в размышление, не думая переменять своего положения — может быть, с некоторым умыслом,— вдруг слышит подле кибитки голоса жены и детей, священника, дьячка и множества сбежавшихся приятелей с женами, детьми и домочадцами. Пан Харитон открыл четверть глаза, дабы видеть, что за дьявольщина у его кибитки производится. Он видит: жена стояла с пасмурным лицом, опустя руки, дочери хныкали, сын суетился как угорелый; один из приятелей пожимал плечами, другой бормотал что-то про себя, а третий сказал вслух:

— По мне, хоть бы он давно протянул ноги; но жаль, что я не успел с ним позываться. Покойник, не тем будь помянут, был великий обидчик, обманщик, мошенник, словом, настоящий злодей, который рано или поздно, а не избежал бы виселицы. Хорошо сделал, что околел заблаговременно: дай бог ему царство небесное! Я не памятозлобив!

— Уймись, собака! — возгремел Харитон, привстал, выпучил глаза и страшно зашевелил усами.

Кто опишет общее смятение, шум, вопль, суматоху! Не успел пан Харитон два раза мигнуть, как на дворе ни души уже не было. Пробудившийся лекарь спросил:

— Что такое?

— Не знаю, — отвечал пасмурно пан Харитон, — только видел, что мое семейство с волосами, и ни на лице, ни на руках не приметно ни одного струпа. Пойдем-ка в комнаты!

Проходя из покоя в покой и наконец обошед весь дом, они ни души не находили; даже в кухне никого не было. Что делать? Догадливый лекарь сказал Луке

(который, управляясь с лошадьми во время бывшего смятения, не понимал, отчего домашние разбежались):

— Загляни-ка в печь; нет ли там чего?

Слуга исполнил приказание и объявил, что она полна горшков и сковород.

— Чего ж лучше! — вскричал лекарь, — разбежавшиеся соберутся, а между тем мы сытно отобедаем. Прикажи-ка заглянуть в твой погреб и дай познакомиться с твоими наливками.

Пан Харитон кивнул головою, и проворный Лука бросился в погреб. В скором времени стол убран был изобильными яствами и напитками, и когда дело приближалось к концу, то лекарь умильно сказал:

— Я весьма доволен твоим угощением, как бы у самого пана сотника, и если ты щедро заплатишь мне за составленные для твоих больных лекарства, то я и впредь готов усердно служить тебе во всякое время.

— Заплатить за лекарства! — сказал протяжно пан Харитон, уставив на лекаря страшные глаза свои,— да разве ты употребил из них хотя ползолотника?

— Все равно,— отвечал медик,— они составлены и должны быть употреблены на дело. Виноват ли я, что у твоих домашних целы волосы и что они не обгорели?

— Полно, полно, пан лекарь! — возразил хозяин,— будет с тебя и того, что отвезут в город в моей повозке, а на дорогу велю уложить целый хлеб, несколько кусков свиного сала и баклажку с добрым пенником!

— О! — сказал лекарь с видом удовольствия,— коль скоро так, то чего больше!

Таким образом, мир снова водворился. Пан Харитон начал хвастать своими наливками, и лекарь надменно сказал:

— Не худы; но у меня в аптечном ящике есть сулейка с истинным сокровищем вроде наливок. Полтавский полковник в бытность у него нашего сотника подарил ему бочонок сливянки, объявив, что она стоит в погребе более двадцати лет. Сотник за излечение его от бессонницы, происшедшей от излишка совести, подарил мне баклажку, и я сей драгоценный эликсир берегу как наилучшее лекарство. Чтоб доказать, что не хвастаю, и поблагодарить тебя за два угощения, я попотчую тебя одним кубком, а больше не дам.

— И одного кубка довольно,— сказал пан Харитон,— чтоб судить о доброте твоего напитка.

Лекарь взял кубок, вышел и, вскоре возвратясь и подавая пану Харитону, с хвастовством сказал:

— Изволь-ка выкушать! Ты сознаешься, что во всю жизнь не пивал подобной сливянки!

Пан Харитон выпил кубок и, подумав несколько, сказал:

— Не знаю, что ты находишь тут отменного! Сливянка, как и все прочие сливянки!

— Так, на вкус; но действие, ах, действие! Ты скоро его почувствуешь!

И в самом деле сливянка весьма скоро взяла свою силу. Пан Харитон начал зевать, морщиться, потягиваться и говорить несвязно; спустя немного он с трудом произнес:

— Смерть как спать хочется, — и растянулся на лавке.

— Так-то и всегда надобно поступать с вами, сутяги,— говорил лекарь,— теперь и нехотя заплатишь за мои мази и примочки!

Вышед на крыльцо, он сказал сидевшему там слуге:

— Скорее запрягай лошадей в повозку. Пан Харитон просил, чтобы, пока он отдыхает, съездил я в ближнее село за весьма нужным для него делом. Я умею править и один, а ты останься дома.

Лука без малейшего прекословия исполнил повеление и выпроводил лекаря за ворота, а сам, возвратясь к пану и видя, что он погружен в глубокий сон, присел к столу, убрал все недоеденное, выпил все недопитое и пошел на сенник отдохнуть после дороги.

Глава XV

Мертвец

Глубокая тишина водворилась в доме Харитоновом. Рассеянное семейство его собралось воедино в противустоящем доме пана Хризанфа и с робостию смотрело на окна своего дома; однако ж ничего не видало, ибо пан Харитон пиршествовал с лекарем и после започивал в горнице окнами в сад. После обеда множество приятелей и приятельниц собралось в доме Хризанфовом, любопытствуя узнать, чем кончился сей странный случай. Время

проходило, а развязки не было. Тут Анфиза отправила посольство к приходскому священнику, прося его усильно, вооружась приличным сану его оружием, предводительствовать ими при вступлении в дом свой. Сия духовная особа от природы была неробкого духа, а потому и явилась у ворот дома Харитонова в сопровождении дьячка Фомы. Все многолюдство, как бывшее в доме пана Хризанфа, так и выстроившееся на улице, быв ободрено мужеством своего пастыря, предстало к нему кучею, и честный отец, облачась в святительские ризы, взяв в правую руку крест, а в левую курящееся кадило и возглашая приличное пение, первый вступил в покои. Хотя и приметно было некоторым, что голос его задребезжал и руки задрожали, однако это не мешало ему продолжать начатое. Вступив в храмину, где лежал, растянувшись на лавке, пан Харитон, он остановился, и все с ним бывшие побледнели.

— Вот он,— сказал священник,— опять преставился и, вероятно, уже более не восстанет.— Он окадил его ладаном, трижды ознаменовал крестом, окропил его и всю комнату святою водою и сказал во услышанием всем:

— Молитесь богу о успокоении души преставившегося, и бог его помилует.

Тут все лишние любопытные разошлись, ибо наступали сумерки, и нарочно приглашенные старухи опрятали тело покойного, одели в чистое белье и в любимую кармазинную черкеску, вынесли в самую большую комнату и уложили на столе, по углам коего горели четыре больших церковных подсвечника. Домашние удалились на покой, женщины все без изъятия — в комнату Анфизы, а мужчины расположились у Власа. Столько-то страх обуял их!

Дьячок Фома, осушив из поставленной подле него сулеи добрую меру, богобоязненно возгласил: *«Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых!»* и так далее.

Долго занят был почтенный Фома тремя различными предметами: чтением, лобызанием с сулеею и зеваньем. Когда петухи первым пением возвестили полночь, то Фоме показалось, что покров на покойнике шевелится. «Вот дурачество! — сказал он про себя. — Неужели и я — полудуховная особа — уподоблюсь мирянам в невежестве? Никак! никогда не скажу: я видел то, что мне только чудилось! Дай-ка поздороваться с сулеею».

Пан Харитон за четверть часа уже проснулся. Услыша бормотанье Фомы, он узнал, что тот читает псалтырь. Открыв до половины глаза и видя себя на столе под церковным покровом, а в ногах горящие светильники, он сейчас догадался, что его сонного сочли мертвым и готовили к погребению. По своему крутому нраву он хотел было оторвать у дьячка пучок; но скоро отдумал, представя только, что он слушался повеления других и слушался охотно, потому что в сем состоит житейский доход его. Всех более винил он своих злодеев, панов Иванов, которые подложным письмом выманили его из города. Он, зная давнишнюю преданность к его дому всего причта церковного в своем приходе, никак не хотел думать, чтобы дьячок Фома решился изменить ему и написать от имени жены такую небывальщину. Посему когда Фома, поднося к губам сулею, возгласил: «Вечный покой душе Харитоновой!», то он ласково отвечал: «Спасибо, дружище!»

Кто хочет представить себе ясно тогдашнее положение жалкого Фомы, тот пусть на время вообразит себя на его месте. Бедняк оцепенел; пальцы рук его прикипели к сулее; он не мог даже дрожать: он только и чувствовал, что волоса головы его, собранные в пучок, трещали. Пан Харитон привстал и, видя его в сем горестном положении, сказал с улыбкою:

— Перестань, Фома, дурачиться! Разве и ты столько ошалел, что спящего человека почел за мертвого? Всему этому виною злодей лекарь, который, вероятно, подкуплен такими же злодеями Иванами. Постой, постой!

Меж тем как пан Харитон, сидя на столе, повествовал Фоме последнее свое приключение, пришедший в чувство дьячок поставил сулею на стол и слушал его с разинутым ртом и устремленными взорами; проснувшийся на сеннике Лука вздумал проведать, что делается в панском доме. Вступив в большую комнату, он немало всполошился, увидев нечто непредвиденное: пан Харитон в праздничном наряде сидел на столе посередине комнаты, покрытый до половины церковным покровом; вокруг его горели четыре больших подсвечника; в головах лежала псалтырь; в заключение оторопелый дьячок Фома стоял у изголовья с испуганным видом.

— Подойди, Лука,— сказал пан Харитон,— и уверь неверного Фому, что я не воскресаю теперь из мертвых, а никогда еще и не умирал. В доказательство сего на

первый случай, — тут он протянул руку, взял сулею и мигом выдудил до дна.

Сим неоспоримым доказательством не только жизненности, но и вожделенного здравия, ободренный Фома возвал:

— Что же будем делать теперь, пан Харитон?

— А то,— отвечал сей,— на что будет воля божия. Прежде всего, Лука, ступай в погреб и принеси столько разноцветных сулей, сколько снести в силах. Если увидишь это сокровище за замком, то на такой случай есть полено — понимаешь?

Лука никуда так охотно не ходил, как в погреб, а особливо когда посылаем был от своего пана; тогда ему никто не указчик. Отведывая каждую сулею, дабы узнать доброту вещества, в них заключенного, он прежде всех исполнялся духа веселия.

Покуда Лука был в отлучке, пан Харитон слез со стола, снял с него погребальный покров, простыню и подушку и уложил в углу на лавке; дьячок уставил четыре свешника под образами и тут же уложил свою псалтырь; потом оба уставили стол на приличном месте, то есть у окон, и сели рядом. К общему удовольствию вскоре явился Лука с своею ношею и уставил ее на столе. Хотя пан Харитон и смекнул, что слуга прежде своего пана узнал вкус в наливках, и нахмурил было брови, но скоро лицо его прояснилось, и он сказал с усмешкою:

— Для такого великого праздника, каков есть день моего оживления, я тебя прощаю! Ступай опять на сенник и пробудь там до тех пор, пока я кого-либо не пришлю за тобою.

Сие вожделенное повеление исполнено было в великой точности. Пан Харитон запер обе двери из комнаты, и с гостем, усевшись на прежнем месте, принялись за кубки. Когда две только сулеи остались целыми, то пан Харитон принялся за разведывание о роковом письме, произведшем сию ужасную суматоху. Дьячок Фома клятвенно его уверил, что он не только ничего такого не писывал, но и во сне ему не грезилось.

— По всему видно, — вскричал он, заглаживая волосы назад,— что это чудное происшествие есть новая выдумка злокозненных панов Иванов, хотевших только удалить тебя из города, дабы на свободе удобнее действовать в свою пользу!

— В свою пользу? — сказал пан Харитон, качая го-

ловою,— клянусь целостию усов моих, что эта хитрость им не поможет! Сегодня воскресный день. Отслушаю обедню, отслужу молебен ангелу-хранителю и — пущусь в город. Пусть некоштные паны Иваны не веселятся! Сотник и дьяк на моей стороне — чего ж трусить?

Глава XVI

Набожные

Посреди сих разумных разговоров они провели немало времени, строя замыслы, каким бы новым удальством озлобить врагов своих, не навлекая, впрочем, на себя излишних хлопот, как вдруг красноречивый дьячок воззвал:

— Восхвалим господа во псалтыре и гуслях! и той вразумит ны на дела благая! — Он схватил с восторгом псалтырь, раскрыл и, указывая перстом на лист, сказал: — Что может быть приличнее теперь, как возгласить первый псалом? Он как будто нарочно для тебя бы писан. Ты тот блаженный муж, иже не идет на совет нечестивых. Одолеем же по кубку и примемся за славословие.

Пан Харитон наполнил кубки; они их осушили, утерли усы и, глядя один на другого, заревели: *Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых!* Рев сей разлился по всему дому; все проснулись. Никто сначала не понимал, что б это значило; но вскоре все ясно отличили голоса дьячка и пана Харитона. Ужас объял душу каждого. Все трепетали и жались одни к другим, а особливо на женской половине, подобно овцам при появлении волка.

Завывания пана Харитона с каждою новою минутою становились явственнее, ужаснее; голос дьячка Фомы, громогласию коего все прохожане удивлялись, когда он восклицал на крилосе, казался теперь еще чуднее. Все окостенелыми руками крестились и, не могши двигать онемевшими языками, мысленно молились.

— Он, видно, начал с дьячка, — сказала наконец пошептом Анфиза,— уже с час прошло, как начал душить его мертвец, но Фома не очень поддается.

— Однако ж, — заметила трепещущая Раиса (обе дочери лежали подле нее на постеле, а служанки на полу),— примечай, матушка, Фома начинает ослабевать: голос его едва слышен!

Все утихло. Бедные женщины отдохнули и свободно перекрестились.

— Слава богу! — сказала Анфиза довольно громко,— видно, он удоволился одним дьячком и улегся. Ах, если бы поскорее настал день! Как только отойдут обедни, сейчас окаянного в могилу и на место креста воткнуть на ней большой осиновый кол.

Однако ж это молчание было не что иное, как отдых славословящих. Они между тем наполнили кубки, выкушали степенно до дна и, почувствовав новые силы и новую бодрость, что было в них духу возопили: *«Не чувствует твоея милости окаянный»*.

Новый ужас потряс все члены бедных женщин (о мужчинах я не упоминаю, потому что чувствование и положение матери с дочерьми для меня занимательнее, чем положение сына со слугами), и Анфиза со стоном произнесла:

— Ему угомону нет! О господи! когда мы, бедные, дождемся дня?

— Ему легче,— заметила Раиса,— он теперь нажил себе товарища. Разве не слышишь, матушка? Удавленный дьячок Фома также ожил и вместе с ним богохульствует?

— Да, слышу. О горе!

Таким образом, с одной стороны, громогласное славословие, с другой — страх и трепет продолжались до восхода солнечного. День, как сказано, был воскресный, и всякий хотел управиться в домашнем быту до обеден. Идущие на рынок и возвращавшиеся с оного, слыша возгласы дьячка и мертвеца, с ужасом останавливались и крестились. Это нимало не смущало моих возглашателей, а, напротив, придавало им новый жар. Вдруг слышат они сильный стук у дверей от передней комнаты, и пан Харитон, будучи гораздо крепче на ногах, нежели его товарищ, подошел к двери и открыл ее навстижь. Впереди стоял священник с поднятым вверх большим медным крестом, подле него находился дьячок Уар с дымящимся кадилом; за ними непосредственно следовали шляхтичи с возрастными сыновьями, а воинство сие заключалось шляхтянками с их дочками, в середине коих отличались Анфиза и ее прекрасные дочери, все три утопающие в слезах.

Пан Харитон, окинув всех одним взглядом, пришел в большой восторг и возопил: *«Вскую смятошася языцы,*

вскую поучашася, тщетным?» Самые храбрые вздрогнули и на шаг отступили. Священник, не теряя своей важности, столь свойственной его сану, возопил:

— Петель трикраты возгласил; солнце воссияло на тверди; злые духи исчезли от лица земли; исчезните же и вы, силы вражия, духи буйные и пытливые, оставьте бездушныя тела пана Харитона и задавленного им дьячка Фомы, коими завладели есте, и низвергнитеся во преисподняя земли!

Тут он сотворил крестное знамение, вошел в комнату, а пан Харитон, пораженный его словами и движениями, пятился назад до самого стола, не зная, что ему делать. Наконец врожденная вспыльчивость и необузданность нрава мгновенно в нем пробудились: он сел на скамье и сказал велегласно:

— За здравие ваше, честные посетители! Но как я, по милости проклятого лекаря, спал целый день до самой полуночи, то мне и можно бодрствовать. Товарищ мой во псалмопении не спал всю ночь, так видите — глаза его слипаются, и язык не ворочается. Пора и ему отдохнуть. Отец Егор! прошу из церкви прямо ко мне; вы также, добрые приятели, в этом мне не откажете. Анфиза, Раиса, Лидия! что вы там прячетесь? Постарайтесь, чтоб всего и для всех было довольно, а я иду в сад поразгуляться.

Глава XVII

Неожиданные вести

Держа под руку ошалевшего дьячка Фому, пан Харитон проходил сквозь ряды недоумевающих, ласково раскланивался с шляхтичами и шляхтянками, обнял жену и дочерей, бывших вне себя от радости, и уплелся в сад, наказав, чтоб его не тревожили. Все разошлись кому куда надобно было, а семейство пана Харитона занялось приготовлением праздничного обеда.

День клонился к окончанию, но веселье в доме гостеприимного хозяина не уменьшалось. Великое множество посетителей не было ему в тягость. Он угощал мужчин, жена его женщин. Пан Харитон водил гостей по саду, хотя сентябрьские ветры пообили уже половину древесных листьев; по гумну, где вычислял, сколько каждый стог ржи

даст ему пеннику; по скотному двору, где имел случай похвалиться быками и коровами, козлами и баранами. Его супруга из окна показывала приятельницам толпы кур, гусей, уток и индеек, повествуя о нраве и привычках каждого петуха и каждой курицы. Не утешно ли это?

Когда все собрались опять в комнату, где стол уставлен был корчагами с дымящеюся варенухою, и гости и хозяин поставили где попало свои кубки, услыша на дворе стук колес и лошадиный топот, и вскоре является в собрание человечек низменный, лет в пятьдесят, но зато довольно пространный в чреве и широкий в раменах. Лысина его светилась, как полный месяц. Кто же был этот гость? Писец сотенной канцелярии пан Анурий. Все из почтения привстали, а хозяин, ласково обняв его, усадил на своем месте и предложил свой кубок с варенухою. Все глядели ему в глаза, ловили каждое слово и хохотали, когда сей глупец улыбался своим выдумкам. Когда три кубка перелились в его утробу, то он, избоченясь, произнес:

— Что дашь, пан Харитон, за добрые вести, привезенные мною из города? Сам сотник, отдавая мне сей сверток бумаг, сказал: «Поезжай, дружище, и бумаги сии отдай самолично пану Харитону». Из сего заключаю,— продолжал Анурий,— что они благоприятны, ибо в заключениях никогда не обманываюсь.

— Понимаю, понимаю! — сказал пан Харитон и с улыбкою вышел.

Едва успел пан Анурий управиться с четвертым кубком, как пан Харитон явился с дарами и предложил ему новую шляпу из лучшей коровьей шерсти, новые сапоги, напитанные самым чистым дегтем, и глиняную трубку работы первого гончара в Полтаве. Пан Анурий принял благосклонно подносимое и бросился к своей одноколке для укладки; после чего, вошед в собрание с большим запечатанным свертком бумаг, учтиво подал оный пану Харитону и уселся на прежнем месте. Пан Харитон, просмотрев бегло каждый лист, сказал:

— У меня после случившихся тревог глаза что-то мутны; потрудись, пан Анурий, сам прочесть. Определение сотенной канцелярии не есть тайна.

Пан Анурий с важностию взял бумаги, вынул определение, надел очки и начал читать.

Глава XVIII

Примерное решение

«Пан Харитон Заноза жалуется, что паны Иваны, Зубарь и Хмара, сожгли у него голубятню и с голубями, коих было более двухсот; а паны Иваны доказывают, что у старшего из них истреблена пасека, в коей было не менее пятидесяти ульев.

Сотенная канцелярия, по долгу своему вникнув в сии обстоятельства, определяет:

1. Предположа, что у пана Харитона при сгорении голубятни погибли все голуби, коих было счетом более двухсот, то есть двести один, то, назнача высшую цену за каждого по полушке, выйдет убытку на пятьдесят копеек с полушкой. Но как паны Иваны клятвенно уверяют, что в пищу употребили только двадцать птиц, следовательно, настоящего, чистого убытку принесли на пять копеек, прочие же голуби частию разлетелись, частию сгорели. А как никто ни одному голубю не связывал и не обрезывал крыльев, то и прочие могли улететь: итак, они изжарились по доброй воле.

2. У пана Ивана старшего истреблено пятьдесят ульев, и по теперешней поре наполненных сотами. По справочным ценам каждый таковой улей стоит шестьдесят копеек: итак, всего убытку выйдет на тридцать рублей. Исключа из сей суммы пять копеек, пан Харитон причинил пану Ивану старшему истинного убытку на двадцать девять рублей девяносто пять копеек, каковые деньги в течение трех дней и должен непременно выдать писцу Анурию. Для необходимых расходов сотенной канцелярии удержится двадцать восемь рублей девяносто пять копеек, затем остающийся целый рубль имеет быть выдан пану Ивану старшему с распискою».

Кто опишет бешенство пана Харитона! Он ломал на руках пальцы, стучал в пол ногами и страшно поводил глазами. Наконец вскочил как отчаянный, подбежал к изумленному писцу, выхватил роковое определение, изорвал в лоскутки и кинул в глаза послу сотенной канцелярии. Со всех сторон раздался шум и ропот. Пан Харитон ничему не внимал; он вопиял, оборотясь к писцу:

— Зачем же вы разъезжали на лошадях моих? а? Зачем орали землю моими волами и засевали ее моими семенами? а? Зачем пожирали моих овец и баранов и из шкур

их делали себе шубы? а? Зачем брали у меня деньги, душегубцы, бездельники, разбойники? Зачем выманивали у меня деньги, говорю я, когда не хотели держать мою сторону? а?

С сим словом — к ужасу всех гостей и семейств их, ибо на громоподобный рев пана Харитона сбежались все жены и дочери собеседников,— он поволок пана Анурия за ворот, вытащил на двор, схватил в охапку, стукнул в одноколку, подал вожжи в руки сидящему и, дав две добрые позатыльщины, схватил с земли березовый сук и начал поражать им то лошадь, то Анурия. Бедное животное, сколько было в нем силы, бросилось со двора на улицу, а пан Харитон, туда же выскоча, кричал вслед писцу:

— Скажи дураку-сотнику и бездельникам — членам сотенной канцелярии, что они беззаконники и что я завтра же еду в Полтаву позываться с ними в полковой канцелярии!

С бледным лицом, с сильно бьющимся сердцем вошел пан Харитон в палату пиршества и сильно огорчился, увидя, что все гости стояли со шляпами и палками в руках.

— Что такое, паны! — вскричал он, — неужели появление негодяя Анурия может погубить наш вечер! Пустое, друзья мои! Повеселимся сегодня; ибо, может статься, мы долго не увидимся. Завтра отправлюсь я в Полтаву, где и буду позываться с нашею сотенною канцеляриею.

Услыша такую отчаянную мысль, все ахнули и уставили на него любопытные взоры. Анфиза заплакала и сказала своим приятельницам:

— Лучше бы ему не оживать сегодня, чем наделать столько бед! Шутка ли? Канцелярскому писцу надавать позатыльщин и с дюжину ударов по спине орясиной? Можно ли позываться ему с целою сотенною канцеляриею, когда не сладил с двумя Иванами, простыми шляхтичами? Одна беда, да и только!

Гости стояли в недоумении, уйти ли им, или остаться, как новое зрелище решило их сомнение: четыре полные корчаги варенухи несены были с подобающим торжеством. Густой благовонный пар, клубом вившийся из их отверстий, коснулся нежного их обоняния; шляпы и трости уложены по скамьям, пиршество возобновилось и продолжалось гораздо за полночь.

Часть вторая



Глава I

Дон Кишот в своем роде

На другой день пан Харитон оделся по-дорожному и приказал домашним снаряжать его в дальний путь, где, по всему вероятию, пробудет он немало времени. Когда вздыхающая Анфиза с дочерьми и несколькими служанками начала увязывать узлы, пан Харитон с трубкою в зубах вышел на крыльцо и просвистал три раза: на сей обычный знак прибегает Лука и ждет приказаний.

— Что же не подвезена кибитка! — вскричал сердито пан,— разве я не говорил тебе вчера, что сегодня еду в Полтаву позываться?

— Во-первых,— отвечал слуга,— ты об этом ничего вчера не приказывал; а во-вторых, хотя бы и сто раз приказывал, то все было бы то же.

— А почему?

— Потому, что лекарь, третьего дня, по делам твоим уехавший куда-то в твоей кибитке и на твоих лошадях, до сих пор еще не возвращался!

Пан Харитон задрожал от гнева, и трубка выпала из рук его.

— Кто ж тебе, бездельник, говорил, что я поручал лекарю ехать куда-нибудь по делам моим?

— Он сам это сказывал!

— Вот тебе и на!

Пан Харитон поднял с земли трубку, сошел с крыльца и начал шагать по двору, заглядывая всякий раз в сарай, когда проходил мимо оного, и, не видя ни щеголеватой кибитки, ни двух надежных коней, приходил час от часу в большее бешенство. «Что начать в таких сомнительных обстоятельствах? Позываться? Нет возможности! Озлобленный писец Анурий из кожи вылезет, только бы обвинить меня! Попросить у кого-либо из приятелей напрокат?

Но дал ли бы я сам кому-либо кибитку в столь дальнюю дорогу! Опять просить? Стыдное дело! Покориться лекарю, заплатить за лекарство и возвратить похищенное имущество? Нет, нет! это будет знак, что я сознаюсь в своей несправедливости; а родить такую мысль в умах соседей, а особливо панов Иванов, мне пуще ножа острого! Однако ж что-нибудь делать надобно!»

Пан Харитон продолжал расхаживать по широкому двору, углубясь в размышления; вдруг вспадает ему на ум счастливая мысль, и он останавливается. «Так! — вскричал он,— точно так и я сделаю, никому не кланяясь. Сколько я перечитал книг в моей молодости! «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Петр — Золотые ключи» и многое множество других. Уж они ли — князья и царевичи — не могли иметь хороших кибиток для своих разъездов, а посмотришь на картинки, все они путешествуют верхами и большею частию на прескверных клячах. Пан Демьян давно зарится на двух моих жеребчиков; не поменяется ли он со мною, уступив за них своего иноходца и старую кобылу? Пожалуй, я придам еще козла или барана!»

Утвердясь в сих мыслях, он обыкновенным знаком, то есть свистом, подзывает Луку и велит возок свой, в коем вывозили со двора всякий сор, вымыть хорошенько и колеса смазать; потом входит в покои и объявляет жене и дочерям, что будет обедать дома и притом с гостем. Сделав домашний распорядок, он шествует к пану Демьяну и находит его в огороде, занятого сшиванием тютюна в папуши. Начались торговые переговоры и продолжались немалое время; наконец дело приведено к концу: иноходец и кобыла уступлены пану Харитону за двух жеребчиков, с придачею старого козла, столько необходимого для конюшни, где стоят молодые лошади. Тогда же новое приобретение пана Харитона отведено в дом его, оттуда взято возмездие, и как скоро пан Демьян управился с тютюном, то и потекли к обеду нового путешественника, куда предварительно приглашен был и священник с причтом. Распространяться нечего. По окончании трапезы и по получении благословений пан Харитон простился с рыдающим семейством, взмостился на иноходца, перекрестился и, утирая кулаком слезы, вскричал на лошадь: «Ну!» — и огрел ее плетью по боку. Бедное животное вздрогнуло и затрепало ушами, не чувствуя на спине своей такой тяжести и не получая других знаков к усугублению хода,

кроме движения уздою; получив новый удар и услыша новое: «Ну же, волк тебя съешь!», выступило вперед с такою кротостию, с таким непамятозлобием, что сам пан Харитон умилился и дал слово сколько можно реже прибегать к посредству плети, а довольствоваться сим одним многозначащим: «Ну!» Лука, сидя на козлах возка, в коем находилась вся нужная поклажа, не столько был нежен, как господин его: он вооружился длинною дубиною, и, с каждым восклицанием «Ну!» бедная старуха чувствовала по крайней мере два ловких удара по репице. Она вертела хвостом, скалила зубы, хотела выступать посмелее и — спотыкалась. В таком-то торжестве пан Харитон выехал из села Горбылей и направил шествие по дороге к Полтаве. Хотя в городе сем не бывал он никогда, но, помня пословицу: «Язык и до Киева доводит», не унывал нимало.

Оставим его покуда в сем гигантском предприятии, которое Ивану старшему показалось крайне отважным, а младшему даже отчаянным, безумным, и обратимся к сим последним, коих мы давненько оставили, занявшись делами отважного пана Харитона.

Глава II

Новые поводы к тяжбе

Одержав столь знаменитую победу над злейшим врагом своим по делу о сожженной голубятне и истребленной пасеке, паны Иваны с торжеством ехали из города в свою обитель, как на середине дороги у стоявшей корчмы увидели они одноколку и тотчас узнали, кому принадлежит оная.

— Вот кстати,— сказал Иван старший,— возьмем у Анурия принадлежащий нам рубль и хорошенько его попотчуем.

Вошед в сборную комнату, они и подлинно увидели пана Анурия за столом, сидящего у сулеи, в самом пасмурном положении.

— Что такое, пан Анурий? — вскричал Иван старший; — сулея у самого рта и печальный вид — это что-то не клеится. Жид! подай-ка еще две сулеи с чем хочешь, только бы с самыми лучшими думами! Право, ты пан Анурий, великий делец и весьма проворен! Возможно ли

только в такое короткое время управиться с такою буйною головою, какова у негодного Занозы!

— И подлинно управился! — сказал Анурий с горькою улыбкою и, налив кубок, пил из него с приметным неудовольствием. Паны Иваны диковину сию заметили с удивлением, приступили с расспросами, и Анурий рассказал все подробно. Выслушав с подобающим вниманием о сем приключении, от существования Малороссии неслыханном, паны Иваны сердечно возрадовались, и старший восплескал руками. Анурий показал весьма недовольный вид и спросил:

— Неужели вы, коих я считал моими друзьми, можете радоваться, что затылку моему достались оплеушины, а спине полновесные удары дубиною?

— Никак,— отвечал Иван старший,— мы радуемся и веселимся не тому, что именно тебе, нашему другу и ходатаю, достались славные побои, но тому, что они даны именитому писцу сотенной канцелярии дерзкою рукою злобного Занозы. Мы надеемся, что сие злодеяние скорее его доконает, чем застреленные кролики, перебитые гуси, утки, овцы и, наконец,— истребленная пасека! Шутка ли только! Пану Анурию, мужу, поседевшему и оплешивевшему среди бумаги, чернил и перьев, надавать позатыльщин и раз десять огреть орясиною!

— Ровно двенадцать раз огрел он,— отвечал надменно пан Анурий,— а в тринадцатый замахнулся и хотя сделал промах, но все его должно счесть за удар. Притом же — при бесчисленном множестве шляхтичей и шляхтянок он поносил самыми бесчестными ругательствами сотника и всю сотенную канцелярию; волок меня чрез всю комнату, что все равно как через весь дом, за ворот, который достает, как видите, до затылка, а потому все равно как бы волок за чуб. О паны Иваны! если вы тому радуетесь, что Харитону Занозе достанется за сие богопротивное дело с лихвою, то мне это любо! О! если бы у него было и вдвое имения более, нежели сколько он имеет, то и его было бы недостаточно заплатить мне за бесчестье и увечье. Нет! надобно будет ему познакомиться с городскою тюрьмою и отведать, какой вкус имеет черствый хлеб и пресная вода. Вот вам рука моя, что это сбудется, и притом скоро!

Паны Иваны расстались с приятелем и возвратились в свои домы. Там подняли такое ликованье, как бы сделали и бог знает какое приобретение. Пан Харитон узнал о сем от своих приятелей и скрежетал зубами. Некоторые друзья

усердие свое и преданность к другу доказывают тем, что безрассудства его не только извиняют, но еще всеми силами стараются подстрекнуть его к настоящим безумствам, кои носят уже ужасное имя беззакония: так-то и с паном Харитоном. Он выехал из села Горбылей в Полтаву весьма пасмурен и дик и лишь очутился на выгоне, то представились ему принадлежащие панам Иванам две ветряные мельницы в полном действии. Он подъехал ближе и остановился. Приехавшие с возами ржи и пшеницы крестьяне, сидя кружком, курили тютюн и рассказывали друг другу чудные были, кому-либо из них на роду приключившиеся; внутри мельницы раздавались веселые завыванья мельника. Для всякого другого путешественника сия сельская картина показалась бы забавною; но пан Харитон, смотря на нее, повергся в бóльшую мрачность и дал в духе своем место духу злобы и мщения. Он поехал далее и в первом переселке остановился под предлогом отдыха. Лошади пущены были на траву, а пан и его слуга разлеглись в тени древесной. Мог ли пан Харитон спать спокойно, когда ужасная мысль: «Ненавистные паны Иваны торжествуют!» — ежеминутно раздирала его сердце. Раз двадцать спрашивал Лука, не прикажет ли впрягать кобылу и седлать иноходца, и всегда получал в ответ: «Погоди!» Наконец настали сумерки глубокие, и пан Харитон вскочил с одра зеленого.

— Впрягай кобылу в возок и седлай коня,— сказал он слуге,— и жди меня здесь. Мне нужно на несколько времени отлучиться; но я скоро буду.

Он скорыми шагами пустился — кто не отгадает, куда,— прямо к мельницам. Достигнув своей цели, он не видал уже ни одной души живой. Предварительно собрано им в поле и снесено к обеим жертвам его ненависти множество сухого хвороста, сена, соломы и прочего дрязгу. Потом, высекши огня в трут, положил его в горсть сена и начал со всей силы махать рукою, в коей заключалась сия искра, а вскоре произвел пламя. Тогда, сунув клочок сей под главное мельничное кало, начал подкладывать собранные им припасы, и когда увидел, что огонь коснулся строения и оно задымилось, то он часть горевших веществ сообщил и другой мельнице и, отошед саженей на сто вперед, остановился, дабы полюбоваться плодом своей храбрости. Пламень скоро охватил обе мельницы; но никто из горбылевских жителей, спавших глубоким сном, о том и не подумал. Пан Харитон, видя, что мщение его

в полной мере удовлетворено будет, пошел спокойно к своему становищу. Он, взмостясь на иноходца, а Лука, усевшись в возке, поплелись далее, пан Харитон — произнося громкие проклятия против панов Иванов, а слуга — посылая в преисподнюю его самого за неуступчивость в неправом деле.

Оставим сего богатыря, странствующего со своим оруженосцем в Полтаву, чтобы — сражаться? О нет! его подвиг гораздо опаснее! Он едет позываться с сотенною канцеляриею! Не всякий ли, знающий в делах смету, согласится, что в случае его победы он должен признан быть славнее, чем Добрыня Никитич, низложивший волшебного исполина Тугарина!

Глава III

Выгодная промышленность

Поутру на другой день все в Горбылях узнали о новой пакости, сделанной панам Иванам, и не только они, но и никто в целом селе, не исключая и самого семейства Харитонова, не предполагали, чтоб то не было дело сего раздраженного пана. Оба Ивана смотрели один на другого молча, качали головами, пожимали плечами, и наконец старший из них прервал молчание, вскричав:

— Нечего делать! надобно опять позываться!

— А с кем изволишь? — спросил холоднокровно Никанор (ибо и сыновья приглашены были на сей важный совет), — известно, что пан Заноза теперь на пути к Полтаве, где будет позываться со всею сотенною канцеляриею.

— Моя мысль та,— молвил Коронат,— чтобы до времени оставить все дальнейшие разыскания и вражды и спокойно дожидаться, какой оборот примут дела в Полтаве. Если посчастливится там Занозе, то нам лучше покуда замолчать; если же и там поприжмут его, тогда уже наверное можно позываться с ним не без успеха.— Паны Иваны, хотя не без неудовольствия, должны были согласиться с мнением сыновей своих, тем более что они не теряли сладостной надежды позываться, коль скоро в Полтаве подпилят рога бодливому пану Харитону, а что это сбудется, тому они со всем усердием верили и от чистого сердца желали, чтоб сие скорее исполнилось.

Глубокая осень наступила, и все двигавшееся по земле

васело дома. Влюбленные не меньше прежнего философы давно уже не наслаждались объятиями прелестных супруг своих; единственное удовольствие, коим еще могли они пользоваться, состояло в том, что в праздничные дни удавалось им беспрепятственно смотреть на них в церкви, делать кое-какие знаки и — взаимно вздыхать: бедное утешение для тех любовников, которые испытали уже сладостнейшие восторги в объятиях своих любезных. Они составили совет, долго думали да гадали и наконец решились пожертвовать частию своей тайны, только бы удовлетворить пламенным своим желаниям. Какое же было заключение сего совета?

К известному уже нам обширному саду Харитона, где любезные сестры в первый раз осмелились припасть к грудям пламенных юношей и трепещущими губами прошептать волшебное слово «люблю!», примыкался небольшой огород некоего Кирика с Улиттою. Сей Кирик был прежде достаточный шинкарь и жил без нужды. Одно только обстоятельство его огорчало, иногда приводило даже на гнев и бешенство — он был бездетен, хотя Улитта считалась самою дородною шинкаркою в целом селе. К чему только не прибегал наш чадолюбец, все тщетно! Все знахари, колдуны и колдуньи горбылевские были призваны, даримы и потчуемы; кормили и поили Улитту всякою всячиною — все по пустякам, и когда исполнилось ей пятьдесят лет и она лишилась даже признаков, по коим до того времени все еще надеялась быть матерью, то и знахари и колдуны от нее отступились, и Кирик погрузился в уныние: сей тяжкий грех тем опаснее, что от размышления час от часу увеличивается и может кончиться настоящим сумасшествием. Кирик, дабы предостеречься от сего угрожающего ему несчастия, последовал мудрому совету знахарей и начал заглядывать в расставленные на прилавке кубки. Скоро лекарство сие так ему понравилось, что чаще стал сам лечиться от недуга уныния, чем лечить других. Когда, бывало, ни усматривал он на улице мальчика или девочку, всегда приходил в исступление и бешенство; но как скоро из первопопадающейся сулеи выцеживал столько, сколько мог не переводя духа, то ему становилось легче. Когда мимо окон дома его проходила беременная женщина, он опрометью выбегал на двор; жена его, зная, что это значит, кидалась к прилавку, и лишь только являлся муж с поленом в руках, она шла ему навстречу с самою огромною бутылью; Кирик останавливался, улыбался, кидал оружие

свое на пол и с родительскою нежностию принимал бутыль из рук жены в свои объятия, лобызался с нею и проливал слезы умиления. Чтоб еще более предохранить себя от нападков злого духа уныния, Кирик повадился посещать вечеринки, где сельские красавицы, сидя за прялками и пяльцами, исподлобья глядывали на соприсутствующих молодцов и обрекали себе суженых. В такие горбылевские Пафосы и молодые щеголи не дерзали являться без приличных подарков, если не хотят быть осмеянными, то старому ли Кирику явиться туда с пустыми руками? Он знал смету, и когда ни вступал в храмину веселия, молодежь радостно вскрикивала; ибо все наперед знали, что руки и карманы шинкаря нагружены хорошими наливками, лентами, снурками, перстеньками и проч. и проч. Веселье делалось общим и обыкновенно продолжалось до первых петухов. Такая блаженная жизнь, конечно, может прогонять всякого злого духа, а не только уныние; но надолго ли? Кирик после двухлетней борьбы с сим врагом душевным и не приметил, что на прилавке его все сулеи и бутыли пусты, а наполнить не из чего, ибо в бочках не было ни капли, а в сундуке ни полушки. Нечем уже было лечиться, и злобный, раздраженный дух явился к нему с сугубою яростию.

В сем-то положении находились дела Кирика и Улитты, как предстали пред них наши влюбленные витязи и со всею осторожностию — взяв предварительно клятву в совершенном молчании — вверили им драгоценную тайну свою и, обещая восстановить прежнее их благосостояние и довольство, просили до наступления будущей весны отдать в распоряжение их чистую половину дома, состоящую из двух горенок. Сначала хозяева изъявили некоторое опасение, зная твердо, каков пан Харитон; но когда Никанор высыпал из кошелька на стол сто злотых, то и робкий дух опасения убежал от них столько же проворно, как прежде бегал дух уныния, видя прикосновение к сулее губ Кириковых. Дело скоро полажено, и Улитта взяла на себя труд уведомить сестер о новом для них приюте. Кто может быть в подобных случаях лучшею Иридою, как не опытная шинкарка? В тот же вечер Улитта посетила Анфизу под предлогом, что муж ее хочет опять приняться за прежний торг, и потому если у них есть продажное вино, то он купит две или три бочки по весьма выгодной для них цене. Анфиза хотела спросить о том у своего винокура и вышла: тут-то честная Улитта имела случай и вре-

мя подробно изъясниться. Сначала робкие красавицы испугались и изменились в лицах; но скоро красноречие шинкарки, а гораздо более собственное влечение сердец, воспоминание прежних восторгов любви совершенно их убедили: они ощутили в душах своих неизъяснимую бодрость и взяли на себя искать способов при всяком удобном случае погуливать в дом ее.

Глава IV

Тайна не утаилась

Могли ль милые сестры не сдержать своего обещания? Кто опишет общую радость, наслаждение, упоение, когда обе юные четы сплелись руками, прижались один к другому и соединили вместе пылающие губы! Кто не отгадает дальнейшего!

Юность во всем бывает беспечна, а особливо если любовь накинет на глаза ее свой ослепительный покров. Однако же вся осень и часть зимы прошла весьма спокойно. Студенты имели полную волю быть там, где хотели, и отлучаться от домов своих на столько времени, как им приходило на мысль; но нежные сестры были в других обстоятельствах. Они, по званию девиц и притом именитых шляхтянок, не иначе могли выйти куда-либо, как с согласия матери. Однако ж за сим в главном предмете помешательства не было. Они просились то к заутреням, то к вечерням, куда мать их, по причине слабости здоровья, с некоторого времени уже не ходила; а вместо того всякий раз поспешали к хате Кириковой, где, по условию, мужья их ожидали. Сии последние очень хорошо знали, что верность хозяина и хозяйки зависела от их чливости, и потому время от времени из их карманов выкатывалось по нескольку злотых; а как скоро целая неделя проходила без сего жертвоприношения, то Кирик и Улитта не так-то усердно им прислуживали, и нередко в откупных горенках было так же холодно, как и на улице. Но что значит самый трескучий мороз для сердец, в коих пылает пламя любви? Мужья-любовники в таких случаях отогревали руки, щеки и губы своих прелестных жаркими поцелуями, и никто не чувствовал стужи. Хотя они и не упрекали своего Филемона и его Бавкиду за худое гостеприимство, но сии время от времени делали явные наметки и не уставали

говорить похвальные речи любезной добродетели — щедрости и предавать проклятию гнусный порок — скупость. Где же бедным философам достать столько денег, чтобы ненасытный шинкарь и жена его могли быть довольны? Они выпрашивали у отцов и матерей; но и сии, как уже известно, не столько были богаты, чтоб могли каждодневно на прихоти сыновей кидать по нескольку злотых. Такое мотовство могло бы со временем разорить их не меньше, как и беспрерывные позыванья.

Паны Иваны держали тайный совет и, утвердясь, что тут не без шашней, положили в сем удостовериться и, смотря по обстоятельствам, принять нужные меры для извлечения молодых ученых из кохтей демона сластолюбия, которого считали злее и опаснее самого духа позыванья, Вследствие сего они решились сами, никому не доверяя в таком важном деле, преследовать сыновей во время частых их отлучек и открыть истину. Чтоб вернее достигнуть своей цели, они притворились совершенно невнимательными, слепыми, между тем как смотрели в оба глаза. Скоро удалось им проникнуть, а после увидеть, что Никанор и Коронат посещали бедную хату шинкаря Кирика.

— Что бы такое нашим шалунам делать у таких людей? — сказал запальчиво пан Иван старший,— неужели находят они удовольствие пить вместе со всякою сволочью; или старая толстая Улитта...

— Пустое, брат,— отвечал значительно Иван младший,— ни тому, ни другому нельзя статься; а вернее всего, что хата Кирикова есть сборное место.

— А вот увидим!

В первое после сего разговора воскресенье, когда оба семейства праздновали в доме Ивана младшего, в послеобеденное время Никанор и Коронат, с полтавскою выступкою каждый подошед к отцу, без обиняков попросили денег. Старики сначала несколько упорствовали, но после отсчитали сынкам — сверх ожидания — по пяти злотых. Ученые были в восторге и не знали, чему приписать такую щедрость. Наступили сумерки — философы скрылись, а оба Ивана будто того и не заметили.

Спустя час они объявили женам и детям, что хотят посетить друга своего пана Агафона, взяли в руки по палке и пустились к хате Кириковой. Вошед в сени сколько можно тише, они услышали разные голоса и сейчас отличили Никанора и Короната, но никак не могли дознаться, чьи бы отдавались звуки голосов женских. Со всевозмож-

ною осторожностию ощупали они дверь, мгновенно ее отворили и быстро вошли в комнату. Боже! что они увидели! Никанор и Коронат сидели у стола, держа каждый в объятиях по девушке, и эти красавицы были — о ужас! Раиса и Лидия, дочери заклятого злодея их, пана Харитона! Любовники и любовницы сидели как окаменелые; но и старики не в лучшем были положении. Они все и невесть сколько времени оставались бы безгласными и бесчувственными, если бы появление Кирика и Улитты не разбудило их от смертного сна сего. Пан Иван старший очнулся первый и возгремел:

— Так-то вы, честные люди, разживаетесь? Такими-то средствами опять появился в хате вашей опустевший шинок? Вот мы вас!

С сим словом он возвысил длань и со всего размаху поразил увесистою палицею по спине Кирика, а друг его, привыкший с малых лет во всем ему последовать, такую же честь оказал Улитте. Устрашенные хозяева опрометью бросились бежать, а паны Иваны устремились за ними с поднятыми вверх палками, произнося проклятия и угрозы.

— Теперь и наша очередь! — сказал Никанор, встал и с подругою своей пошел быстро; Коронат с своею любезною следовал по пятам его. Когда дошли они до ворот дома Харитонова, то сестры тяжело вздохнули, и Раиса, сжав Никанора в своих объятиях, произнесла сквозь слезы:

— Ах! что с нами будет!

— Не печалься, моя милая,— отвечал философ,— ведь этому когда-нибудь надобно же было случиться; а чем скорее, тем лучше. В настоящем положении долго пробыть вам нет возможности. Спящая доселе мать ваша должна проснуться, по крайней мере тогда, когда услышит болезненный стон ваш и на прелестных грудях ваших увидит милых малюток; а до этого времени, по собственным приметам вашим, остается только три месяца. В начале любви нашей вы обе — милые сестры — верили словам моим и нас обоих осчастливили; верьте же и теперь, что вся жизнь моя и жизнь моего друга посвящены будут на доставление вам постоянного счастия. Вы должны радоваться, что отцы наши заблаговременно узнали нашу тайну и тем подали теперь повод к особенной деятельности.

Они простились с нежностию и, следуя давно уже обдуманному предприятию, бросились в дом одного из своих

сверстников, оседлали приготовленных коней, вскочили на них и быстро выехали из села Горбылей, несмотря на крепкий мороз и резкий ветер.

Глава V

Жалкая мать

Мы оставили панов Иванов в погоне за Кириком и Улиттою. Они и настигли их в кухне, где палочные удары посыпались на бедняков градом. Тщетно они вопияли, тщетно клялись в своей невинности; паны Иваны более верили глазам своим, чем клятвам виноватых, и продолжали до тех пор доказывать им крепость мышц своих, пока не устали. Тут Иван младший — как искусный законник — начал допросы и требовал объявить время, когда началось это дьявольское знакомство.

— Милосердые паны! — воззвала Улитта со стоном и слезами,— скажу вам всю истину, какой ни одна ворожея, ни одна цыганка не сказывала. Знакомство сыновей ваших с красавицами началось не у нас в доме, а где именно, мы не знаем. Я не иначе склонилась на представление мужа, чтобы на время эти горенки уступить молодым шляхтичам, как очевидно уверилась, что девицы были несколько торопливы и прежде времени захотели быть матерями. Лишней порчи не будет, сказала я, и мы склонились на их просьбу. Они проводили здесь вечера с общим удовольствием, и мы — как добросовестные шинкарь и шинкарка — не больше от них получали, как сколько нужно было на отопление и освещение тех горенок: ведь не разоряться же нам для чужой потехи!

Паны Иваны, удовольствовавшись на сей раз объявленною расплатою за услугу добросовестного шинкаря и его супруги, возвратились в дом Ивана младшего и заперлись в особой комнате. Они довольно долго молчали, взглядывая один на другого весьма пасмурно. Иван старший прервал молчание восклицанием:

— Ах, господи! могли ли мы ожидать этой новой бури? Правда, несколько раз, встречаясь на улице с Раисою и Лидиею, хотя смотрел на них исподлобья, однако заметил, что они не бесплодны. Открытие сие крайне меня веселило; ибо я уверен был, что один слух о сем будет для сердца нашего Занозы весьма острою, опасною спицею.

Представляя его горесть, его неистовство, я проводил блаженнейшие минуты в жизни. Мог ли я тогда подумать, что ученые сынки наши будут источником сего нечестия? Я, право, не знаю, как лучше поступить в сем задачливом случае!

— И я тоже,— отвечал Иван младший,— и божусь, что во всю жизнь не встречалось мне слышать о деле, столько запутанном.

Оба Ивана повесили головы, опустили руки, взглядывали робко один на другого и — вздыхали. Выходя к ужину, они условились, чтобы встретить сыновей равнодушно, как будто бы они ничего нового не видали и не слыхали: но как же удивились они, когда жены их спросили:

— Где же Никанор, где Коронат?

— Разве их нет с вами?

— И не бывало с самого вечера!

— Понимаю,— молвил с притворною улыбкою Иван старший,— они, между нами сказано, немного спроказили и знают, что мы о том известны. Опасаясь на первых порах нашего гнева, где-нибудь теперь укрываются, выжидая, пока огни потушены будут, чтоб тогда прокрасться в свои спальни и в следующее утро ожидать, что мы скажем. Поужинаем наскоро и ляжем спать, чтоб бедняков не заморозить.

Скоро Иван старший с семейством ушел, и мрачная тишина в обоих домах водворилась.

Заглянем в дом пана Харитона.

На другой день рано поутру, едва багровое солнце проглянуло сквозь облака снежные, Анфиза с дочерьми сидела на скамейке противу растопленной печи, занимаясь все три вышиваньем, как вдруг дверь их комнаты быстро распахнулась, и они ахнули, увидя представившихся перед ними двух оборотней. Платье их было в куски растерзано, лица и руки в кровавых рубцах и сине-багровых пятнах. Страшилища смотрели на них молча и ужасно улыбались. Раиса и Лидия почти без чувств склонили головы на колена матери и едва переводили дух.

Анфиза вне себя смотрела на сих посетителей и по времени признала в них соседей своих Кирика и Улитту. Ободрясь сим открытием, она спросила ласково:

— Кто привел вас в такое жалкое состояние и чего вы от меня хотите?

— Чего мы хотим от тебя,— вскричала с бесстыдством шинкарка,— о том объявим после; а прежде ты должна

узнать, кто был причиною, что мы из обыкновенных людей сделались теперь пугалами! Хочешь ли знать о сем?

— По мне, все равно! Чем я могу помочь вам? Мое дело стороннее!

— Не очень стороннее! Вот те красавицы, которые состроили с нами эту шутку!

Раиса и Лидия вскрикнули, вскочили со скамьи, бросились в свою спальню и заперлись. Анфиза сидела на своем месте бледная и трепещущая. Безжалостная шинкарка начала свое повествование и продолжала оное до конца с особенным красноречием. Анфиза, уподобляясь каменному истукану, слушала ее, не переменяя положения; но благий промысл вышнего никогда не оставляет добродушных людей томиться долго в оковах бедствия. Анфиза получила употребление чувств, встала, бросилась пред образом спасителя на колени, подняла вверх трепещущие руки и горестно воззвала:

— Боже милосердый! чем прогневила я тебя, что так жестоко меня караешь? Двадцать лет, лучших в жизни человеческой, страдала я каждодневно от дикого и непреклонного нрава мужа моего; но всякий раз, когда я начинала терять терпение, благодетельное дитя твоей благости к нам грешным — надежда — оживляла меня и наполняла твердостию, надежда, что в детях найду отраду, утешение скорбных дней моей старости! А теперь — теперь — о преблагий господи! сжалься над несчастною матерью!

Глава VI

Признание в грехах

Она простерлась ниц и молилась. Скоро благодетельные слезы заструились по щекам ее; она встала, села у стола на лавке и, оперши голову на обе руки, рыдала неутешно. Бесстыдная Улитта, подступив к ней поближе, сказала:

— Я надеюсь усладить горесть твою, если и ты с своей стороны захочешь облегчить горесть, нас удручающую. По всему вероятию, дочки твои не заглянут более в горенки, у нас для них отведенные, следовательно, и от молодых шляхтичей Никанора и Короната не видать нам ни шелеха; между тем у нас нет не только быка или коровы, но ни теленка, ни ягненка; хата наша близка к разрушению. Если ты из большого имущества своего уступишь

нам пару быков, пару коров и десяток овец с бараном, а вдобавок пожалуешь сто злотых на поправку жилища и на обзаведение, то клянемся всею нашею честию, что обо всем происходившем в глазах наших никому не скажем ни полслова, и все дело предано будет вечному забвению; в противном случае...

— Преступная, презренная, богомерзкая грешница! — сказала Анфиза с важностию матери, недостойно оскорбляемой в детях ее,— как посмеешь ты, изверг своего пола, взглянуть на небо и злодейскую грудь свою знаменовать крестным знамением? Не ты ли потворствовала неопытным творениям и доставляла им удобности день ото дня глубже и глубже погружаться в греховную пучину? Сокройся с глаз моих, чудовище, и присутствием своим не прибавляй к моей горести ужасного чувства посрамления; сокройся, говорю я, или прикажу поступить с тобою и с участником твоего беззакония гораздо строже, нежели вчера поступлено было с вами!

Не ожидавшая такого окончания затей своих Улитта едва могла выслушать упреки Анфизы. Она кусала себе губы, вздрагивала от гнева и скрыпела зубами. Слыша последнее обещание раздраженной матери наградить ее по заслугам, она схватила мужа за руку и ушла, произнося угрозы и заклинаясь мщением.

Жалкая мать, оставшись одна, старалась, сколько можно, утишить биение сердца и волнение крови. Мало-помалу она делалась покойнее и, ощутя в себе довольно силы перенести предполагаемое ею отчаяние дочерей и сколько-нибудь утешить страждущих преступниц, она подошла к дверям их спальни и, нашед оные назаперти, остановилась с ужасом. Она приложила ухо к замочной скважине — ничего не слышно. Холодный пот выступил на лбу ее, и трепещущею рукою она постучалась. Нет ответа. Тут в полуотчаянии произнесла она дрожащим голосом:

— Дети мои! преступные, несчастные, но все еще милые, любезные дети мои! Раиса! Лидия! дайте мне видеть вас, излить в души ваши возможную отраду и утешение! покоритесь воле премилосердого, и он вас помилует! Осушите слезы вашей матери, как она стремится осушить ваши!

Громкие всхлипывания коснулись слуха Анфизы. Двери отворились; она сделала шаг вперед, и обе дочери пали к ногам ее и обнимали колена.

— Встаньте,— сказала она, помогая им подняться,— встаньте, бедные, и у груди материей примите от нее прощение! Ах! как слепа была я доселе! Как могла я так долго не заметить того, что, без сомнения, видели все жители сельские? Излишняя доверенность к чистоте ваших нравов наложила на глаза мои покров непроницаемый. Скажите, каким несчастным роком могли вы ниспасть в столь глубокую пропасть? Какой дух злобы, утешающийся бедствиями людскими, поверг вас в преступные объятия злейших врагов наших? Откройте истину в настоящем ее виде, и общими силами поищем способов выпутаться из сетей, коими сатана вас опутал!

Она села на лавке посередине дочерей, и Раиса начала рассказывать ей со всем чистосердечием начало и продолжение любовных похождений. Когда она уведомила, что на другой же день после своего падения они обе надлежащим образом обвенчаны и потому с меньшим уже затруднением предавались сильному влечению сердец своих, то Анфиза дала рукою знак остановиться и погрузилась в глубокую задумчивость. Разные ощущения изменяли черты лица ее: то ясные лучи отрады блистали в ее взорах, то туман прискорбия закрывал блеск их, и новые слезы трепетали на ее ресницах. Наконец, обняв обеих дочерей со всею нежностию и обратя глаза к небу, она сказала:

— Благодарение тебе, милосердый боже! что любовь дочерей моих хотя и преступна, но не беззаконна, и плоды любви сей хотя подвергнутся гонению и даже напастям, но не бесславию, не посрамлению, столько унизительным для всякого, не совсем изгнавшего стыд из души своей! Теперь с сокрушенным сердцем, с возмущенною душою, но не покрываясь румянцем позора или бледностию неисцелимой горести, могу я смотреть вам в глаза; вам и всем, кто бы кинул на меня испытующие взоры, могу сказать пред целым светом: так, дочери наши преступны: они без согласия отца и матери соделались супругами сыновей двух Иванов, непримиримых врагов наших, и скоро будут матерями. Да устроит господь бог все к лучшему; да простит им сей проступок так, как прощает сердобольная мать и как... Ах, мои любезные! что я скажу вам об отце вашем? что, наконец, скажу о самых отцах мужей ваших? Вы знаете старую вражду, разделяющую наши семейства преградою непреодолимою! Впрочем, что угодно святой воле божией, то и сбудется! Но дабы вы ни одной

минуты не сомневались в искренности моего прощения и что, какой бы оборот ни взяло дело сие, вы навсегда останетесь моими дочерьми любезными, для счастия и спокойствия коих я готова всякую минуту пожертвовать моим собственным спокойствием, моим счастием, то теперь же примите материнское мое благословение!

Раиса и Лидия, тронутые, восхищенные до глубины сердец такою неожиданною добротою, вторично пали к ногам ее; слезящая мать произнесла свое благословение, и они с чувством детской любви и благодарности пали на грудь ее, орошая ее слезами умиления.

Глава VII

Новые удары

Когда сердца их несколько облегчились и мать с дочерьми выдумывали средства, как бы помирить между собою пана Харитона и обоих панов Иванов, вошедшая клюшница повестила, что дьячок Фома дожидается их в большой горнице с письмом из Полтавы. Все сердечно обрадовались, тем более что с самого отъезда Харитонова из дому не было об нем ни малейшего слуха. Они побежали к грамотею; Анфиза обласкала его, попотчевала; он разломал печать и вслух прочел:

«Жена Анфиза и дети: Влас, Раиса и Лидия! Всем желаю здравствовать.

Было бы вам известно, что полтавский полковник не умнее миргородского сотника, а члены полковой канцелярии нахальнее, злобнее, прижимчивее, чем члены сотенной. Возможно ли? Они присудили, чтобы за бесчестие, причиненное мною при множестве свидетелей писцу Анурию,— великое подлинно бесчестие для канцелярского писца получить несколько ударов дубиною в спину от урожденного шляхтича, — заплатил я двести злотых! Да если бы я и до смерти убил негодяя Анурия, то нельзя требовать больше за сие увечье, как разве двадцать или тридцать злотых. Выслушав таковое нелепое решение, я твердо отрекся от исполнения, и бездушники определили отдать ему в вечное и потомственное владение мой хутор с крестьянами и со всеми угодьями. Правду сказать, что с тех пор, как начал я позываться с Иванами Зубарем

и Хмарою, это имение мне опротивело по близкому соседству с их имениями. Однако ж, чтоб не ударить себя лицом в грязь, чтобы не остыдить столь почтенного имени, какое приобрел я и от самых врагов своих, имени *завзятого*[1], то теперь же отправляюсь в Батурин, где до последнего издыхания намерен позываться в войсковой канцелярии с полковою и сотенною. Скорее соглашусь видеть вас в рубищах, босых, протягивающих руки для испрошения куска хлеба или даже умирающих с голода, чем поддамся моим злодеям. Когда Фома читает вам эти строки, то знайте, что я уже в Батурине. Прощайте! будьте здоровы!

Харитон Заноза».

Мать и обе дочери побледнели, а у дьячка Фомы пучок стал дыбом. Они смотрели друг на друга мрачными, помертвелыми глазами; груди у женщин сильно волновались, и каждый перевод духа был так тяжел, что казался последним вздохом. Дьячок прежде всех оправился; да и естественно. Хотя он сердечно предан был пану Харитону, но все же не был ему ни брат, ни друг — дружба между достаточным паном и сирым дьячком! И потеря первым хутора, единственного имущества, которым содержал он дом в Горбылях и жил благопристойно с своим семейством, не лишала последнего ни одной полушки из обыкновенных его доходов.

— Слава богу! — воззвал Фома, обратясь к образам и перекрестясь трижды,— слава богу! Теперь-то конец всем позывам! На решение войсковой канцелярии, каково бы оно ни было, некуда уже делать переноса. Утешься, печальная Анфиза! Раиса, Лидия, перестаньте плакать! Правда, с потерею хутора вы должны во многом себя ограничить; но это в существе ничего не значит. Начиная от моего блаженной памяти прадеда дьяка Максима, до меня, нижайшего дьячка Фомы, никто не имел более имения, кроме низменной хаты и небольшого огорода, в коем отличнейшими произрастениями были тютюн и несколько вишневых дерев, а припомните, видали ль вы когда меня печальным; по мне же прошу заключать и о моих предках. Так-то и с вами будет. Оставя хутор в стороне, у вас остается еще этот просторный дом, большой сад, три хаты крестьян и довольное количество земли. Если пан Харитон

[1] Почти то же, что упрямый, неуступчивый, заносчивый, хотя сии слова не совсем изображают первое.

вместо позыванья займется хозяйством и чаще посещать будет свое поле, чем домы беспутных друзей, то жизнь ваша потечет в покое и довольстве.

Сии слова велемудрого Фомы ободрили несколько унылые души сетующих, и они дали слово ждать конца начатым затеям с христианским терпением, причем просили навещать их сколько можно чаще и не оставлять благими советами. Скоро советы сии были им весьма нужны; ибо — хотя добрая Анфиза и милые дочери ее из письма Харитонова знали уже участь своего хутора, однако не могли удержаться от горьких слез и тяжких вздохов, когда впервые услышали, что сие имущество законным порядком отдано писцу Анурию, который тогда же и вступил во владение оным. Дьячок Фома сделался как бы дворецким в доме Анфизы. Он увещевал и домашних служителей и сельских крестьян как можно меньше есть и пить, дабы безбедно прожить до нового хлеба. Когда же один старик спросил:

— Для чего же ты, честно́й дьячок, за панским столом кушаешь и попиваешь за троих?

— Друг сердечный,— отвечал Фома с набожным видом,— если я увещеваю сохранять строгую умеренность, то разумею время, когда вы садитесь за стол у себя дома; если же по воле господней случится кому-либо из вас быть приглашену в гости к приятелю другого панства, о! тогда можете, даже обязаны насыщать чрева свои, елико возможно.

Глава VIII

Задачливые дела

Меж тем как Анфиза и ее дочери мало-помалу привыкали к новому роду жизни и от чистого сердца благодарили бога, что он не совсем их оставил и наказал милостивее, нежели как заслужили они за свои грехи и беззакония домовладыки, в жилищах обоих панов Иванов происходила суматоха, беспрерывные ворчанья и явные упреки жен, что мужья невременным появлением своим пред своими сыновьями повергли их в погибель, и все это вместе составляло для друзей истинное мучение; даже сон их возмущаем был страшными видениями. Они не упустили в целом селе обойти до одного дома шляхтичей и крестьян, везде высматривали, везде выспрашивали об

участи сыновей своих, но нигде ничего не видали, нигде ничего не слыхали относительно сего предмета. Когда возвращались они в домы с пасмурными лицами, а нередко и со слезами на глазах, то жены обыкновенно встречали их вопросами: «Ну что? Опять ничего? По всему видно, что бедные дети почивают теперь в волчьих или сомовьих желудках. О жалкий Никанор! о несчастный Коронат!» Мужья, приводимые такими восклицаниями в большее уныние и горесть, потирали лбы, ерошили чубы и уходили иногда на целый день из домов своих. Все, что только приводило их в некоторую рассеянность и заставляло на малое время забыть свое горе, были разговоры о потере Харитоном хутора и о грозящей ему бедности. «Может быть,— восклицали они, улыбаясь сквозь слезы,— может быть, праведное небо и покраше его отделает, и тогда посмотрим, как бездушник плясать станет!»

Время летит заведенным порядком, и полета его не остановят ни слезы, ни улыбки. Настал светлый праздник, и все горбылевские жители,— исключая печальные семейства панов Иванов и Анфизы, радостно восшумели. Веселые толпы народа обоего пола и разного возраста бродили из улицы в улицу, и громкое пение раздавалось по воздуху; случившиеся на ту пору в Горбылях запорожцы, водя за собою гудошников и цимбалистов, тешили народ чудесною пляскою, борьбою и кулачными боями.

На третий день сего праздника перед обедом Анфиза с дочерьми, сыном и дьячком Фомою сидели у окон на лавках и пасмурными глазами смотрели на веселящихся; вдруг они вздрогнули, услыша топот коней и стук быстро катящихся колес. Они высунули головы в окна и радостно вскрикнули: «Вот и он!» Они увидели остановившуюся у ворот польскую бричку, а позади ее повозку Харитонову.

— Вот и отец ваш! — сказала Анфиза, вскочила с лавки и побежала из комнаты; за нею последовал сын Влас, за ним Фома, а наконец, и обе сестры. Сии последние хотя не могли не трепетать, представляя гнев отца, когда откроет их тайну, однако на сей раз они укрепились сколько могли, да и самая мать уверила их клятвенно, что скорее решится умереть под ударами разъяренного мужа, чем допустит его хотя пальцем прикоснуться к любезным дочерям ее в настоящем их положении.

Все выбежали за ворота, устремились к кибитке и с бьющимися сердцами, с простертыми руками ожидали по-

явление отца и мужа. Кто ж опишет их недоумение и ужас, когда увидели, что из брички сошли на землю сам пан сотник Гордей с есаулом, а из кибитки писец Анурий с подписчиком. Сии надменные паны, не сказав окаменелому семейству Харитонову ни слова, пошли на двор, бричка и кибитка за ними следовали, и как скоро проехали ворота, то они затворились. Анфиза, ее дети и самый храбрый дьячок Фома не могли пошевелиться и походили на пригвожденных к земле. Дьячок, первый получив возможность что-нибудь промолвить, вскричал:

— Что ж вы здесь делаете? К вам пожаловали гости, а вы о приеме их и не подумаете! Вероятно, что они вас и не узнали и теперь ищут по всему дому: слышите ли, какая там возня, какая стукотня! Пойдемте к ним!

Фома бодрыми стопами подошел к воротам и хотел отворить их для своих сопутниц, но не тут-то было; сколько он ни силился, сколько ни мучился — все напрасно. Он оборотился к Анфизе и в крайнем смущении смотрел на нее молча; сын и дочери Харитоновы глядели на остолбеневшего дьячка с открытыми ртами и также молчали. Вскоре услышали они по другую сторону ворот пыхтенье, и вдруг показался до половины писец Анурий. Он сел верхом на перекладине, вынул из кармана лист бумаги и произнес громко:

— Слушайте! я прочту определение войсковой канцелярии, и его уже изорвать в лоскутки нельзя будет! — Тут он развернул лист и прочел громогласно.

Глава IX

Горнее око не дремлет

«Войсковая канцелярия, рассмотрев решения канцелярии сотенной миргородской и полковой полтавской по делу о буйных и законопротивных поступках пана Харитона Занозы, определяет: как уже писец Анурий достаточно удовлетворен за данные ему позатыльщины и удары дубиною в спину присуждением ему в вечное и потомственное владение хутора реченного Занозы, то справедливость требует удовлетворить также сотника и членов сотенной канцелярии, сильно обесчещенных самыми поносными словами, произнесенными Занозою в тот вечер, когда он провожал дубьем Анурия со двора своего;

посему и следует: у пана Харитона отобрав горбылевский дом с принадлежащими ему крестьянами, садами, огородами и полями, отдать во владение сотнику Гордею; а он обязан в возмездие всем членам сотенной канцелярии, от старшего до младшего, выдать из казны своей деньгами осьмую долю жалованья каждого; пана же Харитона Занозу, в страх другим и в исправление буйного нрава его, посадить в батуринскую тюрьму на шесть недель, содержа на хлебе и на воде. Что касается до жены и детей Харитона Занозы, то они, по прибытии в дом их сотника Гордея, имеют полное право выйти из оного в том одеянии, в каком застигнуты будут; если же и они — по неразумию и дерзости — станут противиться, тогда вытолкать их на улицу в шею, и пусть бредут, куда знают».

Не для чего описывать горестное положение несчастного семейства; всякий легко его представить может. Анфиза в полубесчувствии упала на скамью, у забора стоявшую, и рыдающие дети не могли подать ей никакого утешения; сам отважный дьячок Фома, приглаживая волосы, не мог ничего выдумать и бросал пасмурные взоры то на страдающих, то на кучу любопытного народа, собравшегося у ворот дома. Среди горести, тоски, недоумения они видят, что незнакомый старик продрался сквозь народ и предстал перед ними. При величественном виде и осанке он был одет в богатое платье и опоясан турецким поясом, к коему прицеплена была дорогая сабля. Он с кротостию сказал матери:

— Не сетуй, огорченная Анфиза, и верь, что благий промысл вышнего устрояет все к концу вожделенному. Весьма часто случается, что самые бедствия наши бывают преддверием к неожиданному благополучию. Положение ваше, конечно, горестно, но — благодаря бога — земля населена не одними злодеями, и я на первый случай могу подать вам руку помощи. Я довольно достаточен, и содержать вас до времени для меня не сделает никакой разницы. Детей у меня нет, и живу один со своей старухою. Она женщина кроткая и великодушная. Я ручаюсь, что ты принята будешь ею, как родная сестра, а дети твои — как свои собственные. Как скоро муж твой получит свободу, то приедет к вам, и тогда все порассудим, что далее предприять должно будет. Итак, если мое предложение вам не противно, то примите его с таким же доброхотством, с каким удовольствием я оное делаю. Жилище мое за де-

сять верст отсюда и стоит на реке Пселе. Следуйте за мною.

Анфиза собралась с силами и привстала.

— Великодушный человек! — сказала она,— благодарю тебя от всего сердца за ласковое слово и за то вспоможение, которое предлагаешь нам, несчастным; однако ж я знаю на опыте, что оказывать благодеяние людям незнакомым гораздо легче, нежели от незнакомого принимать оные: итак, удостой нас уведомлением, кому обязаны будем помощию в нашей нужде?

— Требование твое справедливо,— отвечал старец,— и оно будет вскоре исполнено, но — не теперь. Зачем целым сотням знать то, что знаю я и что вам одним знать нужно? — Сказав сие, он пошел тихими шагами; Анфиза за ним следовала, потупя глаза в землю, за нею дети, а шествие заключал дьячок Фома, которому нетерпеливо хотелось видеть, чем кончится столь чудное происшествие в семействе его благодетеля.

Они достигли до конца селения и введены в корчму, где незнакомец предложил им обед изобильный. По окончании оного Анфиза возобновила просьбу уведомить ее, кому одолжены они призрением в их бедствии.

— Я говорил уже,— ответствовал старец,— что обязан удовлетворить твоему желанию; но позволь отложить это до приезда в дом мой. И опять повторяю: я имею столько достатка, что вы отнюдь не будете мне в тягость.

Анфиза с дочерьми уселась в бричке, а сын ее и великодушный незнакомец взмостились на нанятых коней и отправились в путь, предавая проклятию того злого духа, который соблазняет людей к позыванью. Честно́й дьячок Фома при прощанье получил полную горесть злотых и, идучи домой, весело распевал святошные песни.

По пробытии наших путников в дороге около трех часов они въехали на широкий двор, посередине коего стоял просторный господский дом, а по сторонам его до двадцати крестьянских хат. Когда приезжие взошли на крыльцо, то их встретила пожилая миловидная женщина, и незнакомец, обняв ее, сказал:

— Вот тебе, Евлампия, гости. Это жена, это сын, а это дочери пана Харитона Занозы. Они — покудова — участь свою вверили нашему попечению, и я надеюсь, что не обманул их, уверив в твоем доброхотстве ко всякому, кто искать его станет.

Евлампия с приятным видом чистосердечия и дружелюбия обняла гостей, ввела в большую комнату и усадила на чистой лавке. Почтенный хозяин, севши против Анфизы, сказал:

— По недальнему расстоянию между нашими жилищами я думаю, что мое имя вам не неизвестно. Я называюсь Артамон Зубарь!

Глава X

Справедливое удивление

При ужасном имени Зубаря Анфиза и ее дети изменились в лицах и с недоумением смотрели то друг на друга, то на хозяина и жену его. Наконец Раиса и Лидия вскочили с мест и, бросясь на колени пред Артамоном и Евлампиею, залились слезами. Сии, подняв их, с нежностию заключили в объятия, и в глазах их также заблистали слезы.

— Так, мои милые! — сказал пан Артамон, усадив их между собою и Евлампиею,— вы догадались: я родной дядя Ивану Зубарю, а жена моя в третьем колене тетка Ивану Хмаре. Прожив довольно долго в брачном союзе и не имея детей, мы обратили родительскую любовь на своих племянников. Надобно сказать правду: я и жена моя совершенно довольны были их взаимною дружбою, домостроительством и миром, в семействах их господствовавшим. Довольно долго жили они в совершенном согласии с соседями, как вдруг злые духи, превратясь в кроликов, из саду Ивана старшего залезли в сад пана Харитона, напроказили, были побиты или изувечены,— и вот источник бесчисленных хлопот, великих издержек и, наконец,— разорения! Сколько мы ни увещевали своих родственников кинуть гибельные тяжбы и довольствоваться остатками имения,— нет: страсть к позыванью усиливалась в них с каждою новою пакостию, от одного другому делаемою. Я и жена моя замолчали и решились упрямых родственников предоставить их участи, а они перестали к нам ездить. Если положение ваше, любезные дети, положение, известное нам от самых наших внуков Никанора и Короната, не помирит враждующих, то они не перестанут позываться до гроба за участок земли, где назначена будет могила каждому.

Старик замолчал, и ободренная Анфиза сказала:

— Великодушный муж! убежище, тобою нам теперь даруемое, исполняет сердца наши вечною благодарностию; но благодеяние твое усемерится, если поможет тебе бог помирить позывающихся!

— Будем о сем молиться,— отвечал пан Артамон,— и надеяться, а между тем хозяйка назначит каждой из вас и молодому Власу по особой комнате и приличную прислугу. Как скоро возвратятся мои внуки, то они скорее выучат его читать и писать, нежели все дьячки горбылевские.

— А где теперь твои внуки? — спросили стремительно обе сестры в один голос, взглянули одна на другую, закраснелись и опустили глаза в землю.

— Я отправил их,— отвечал Артамон,— довольно далеко и за делом довольно важным. Если они успеют исполнить мое поручение, то это будет для всех нас началом общего спокойствия, и все тяжбы, бывшие в семействах наших, возвратятся на свою родину, то есть в преисподнюю, в объятия своего родителя, то есть Веельзевула. Теперь подите и выбирайте себе покои.

В тот же день приезжие были устроены, и с такою удобностию, как бы у себя дома.

На другой день поутру пан Артамон захотел проехаться верхом и посмотреть сельских работ, как нечаянное и странное зрелище обратило все внимание его и прочих членов семейства. В воротах двора показалась небольшая куча людей разного пола и возраста. Они походили на нищих и подвигались вперед медленно. Двое возрастных мужчин казались вырвавшимися из темницы. Платье их было в дирах; волосы на головах и усах покрыты густою пылью, а у одного под глазами и на лбу сине-багровые пятна, а лицо и руки осаднены. Когда сии пришельцы дошли до середины двора, то пан Артамон, рассматривавший их из окна, протирая глаза, сказал вполголоса, обратясь к жене своей:

— Праведный боже! не обманывают ли меня глаза? Не племянники ли это наши Иваны с женами и детьми своими? Точно они! В каком положении! Что бы это значило?

Анфиза и дочери ее пришли в великое смятение, и первая сказала:

— Не может быть, чтобы паны Иваны после происходившей между вами размолвки явились сюда без какого-

либо особенного с ними приключения, а особливо в таком состоянии, в каком теперь их видим. Не лучше ли с детьми удалиться на время в свои комнаты, ибо наше присутствие может привести их в большое расстройство!

— Хвалю за такую разборчивость,— отвечал пан Артамон,— и прошу пробыть в уединении, пока не объяснится дело.

Глава XI

Не веселись, злобный

Анфиза с семьею своею удалилась, а вскоре потом предстали паны Иваны. Жены их и дети, увидя хозяев, заплакали, а Иваны, подступя поближе, низко поклонились, и старший сказал:

— Дядюшка! Небо нас наконец покарало, что мы не внимали благим твоим советам!

— Это я вам предсказывал,— говорил Артамон со вздохом,— но вы старику не хотели верить. Садитесь все, а ты, Иван старший, расскажи, что с вами нового приключилось и что причиною появления вашего в сем недостойном виде?

Все уселись на лавках, кроме Ивана старшего, который, став прямо против своего дяди, говорил:

— Когда мы вчера поутру известились, что ненавистный злодей наш, пан Харитон, обвинен в соделанных им преступлениях и достойно наказан лишением всего имущества, то радостно восплескали и возблагодарили бога, сокрушающего рог кичливых. Ах! мы не предчувствовали участи, нас ожидающей! Миргородский сотник Гордей до самых полуден упражнен был со всею свитою рассмотрением пожитков Занозы, описанием оного и расплатою со своими сопутниками. Пользуясь праздничным временем, оба наши семейства отобедали у меня, а после вздумали повеселиться, смотря на коверканья машкар и пляску медведей. В сем намерении мы все пошли на площадь, где происходили сии диковины. Возвращаясь домой, мы встречены были плачущими слугами и служанками, которые объявили, что прибывшие из города чиновники в домах наших производят такие же бесчинства и грабительства, какие производили поутру в доме Занозы. Мы ахнули и, взглянув один на другого, увидели, что все прежде по-

бледнели, а вскоре потом побагровели. «Что ж вы глядели, бездельники! — вскричал я с великим гневом к слугам,— разве вас мало? разве в домах наших нет ружей, сабель и рогатин?» — «Увы! — отвечал мой дворецкий,— мы и хотели сделать благоразумное сопротивление, увещевая сих супостатов подождать вашего возвращения с игрища; но пан сотник Гордей сказал мне с ругательным смехом: «Зачем станем панам вашим мешать в утехах, столько приличных летам их и званиям. Не ввязывайтесь, глупцы, не в свое дело, если не хотите на праздниках горько плакать. Разве не знаете, что мы сами по себе ничего не делаем, а все по приказанию высших?» После сего он въехал на двор твой, а за бричкою его последовало с дюжину сотских и десятских. На двор сего пана Ивана отправился писец пан Анурий в сопровождении такой же свиты.

Гнев овладел мною не на шутку,— продолжал дворецкий,— и, решившись быть по крайней мере хотя свидетелем хищения, я вбежал на двор, а там в главную светелку, в которой, пробегая еще двором, видел злобного сотника, дающего десятским какие-то приказания. В одну минуту очутился я перед грабителем и сказал таким грозным голосом, каким никогда не говаривал, протягивая руки к косам любезной жены моей, находя ее иногда не очень в приличном положении: «Что такое, пан сотник! Можно ли только озорничать в чужом доме без должного наказания? Это то же, что разбойничать!» Он взглянул на меня свирепо и хотел что-то промолвить, как вдруг появились два десятские. Один нес две большие сулеи — они были наши — одну с наливкою, а другую с пенником; следующий за ним шел с большим дубовым подносом, на коем уставлены были серебряный кубок и множество глиняных плошек. Сотник, наполнив кубок наливкою, поставил перед собою, а после, нацедив в плошки пеннику, произнес с важностию: «Ребята! за мое здоровье!» Когда мигом осушены были и кубок и плошки, он сказал: «Поблагодарите сего красноглаголивого мужа за его образцовую речь, да поисправнее». Едва кончил он слова сии, как четыре десятника взмахнули киями и огрели меня по чему ни попало. Я закричал как отчаянный, и тут, подобно граду, удары на меня посыпались. Видя, что дело совсем на шутку не походит, я подобрал полы кафтана и — ударился бежать; но злодеи от меня не отставали, продолжая доказывать крепость киев своих плечам моим, спине и ляжкам,

и не прежде унялись от сего богомерзкого дела, как увидели меня уже на улице. Тогда с громким смехом и различными ругательствами воротились на двор и скрылись в доме. Осматриваясь кругом, я увидел, что невдалеке от дома пана Ивана младшего стояли его и наши служители и служанки. Разглаживая взъерошенный чуб и хромая на обе ноги, я подошел к сей толпе и строгим голосом сказал дворецкому: «Так-то, дружище, радеешь ты о пользах своего пана? По тебе хотя бы городские разбойники, ограбивши дом, зажгли его, ты оставался бы покойным зрителем!» — «Я люблю рассуждать о последствиях,— отвечал дворецкий,— прежде нежели приступлю к какому-либо делу. Мне хотелось видеть прежде успех твоей храбрости, а там уже подумать и о своем отличии в сем причинном деле. Видя же, как учтиво провожали тебя из гостей от пана сотника, разумно смекнул, что и мне не менее чести оказано будет от пана писца; а как мне здоровые плеча, спина и ляжки еще не надоели, то я сказал сам себе: если самые паны не сумеют за себя вступиться и наказать обидчиков, то что мы, бедные, можем сделать?»

Глава XII

Храбрые люди

— Услыша сие ужасное повествование,— продолжал пан Иван старший,— мы не знали, что начать в сем бедствии; плач и стон жен и детей умножали наше страдание. Вдруг я воспламенился свойственным мне жаром и в душе своей почувствовал такую храбрость, что готов был ратовать с самим Бовою Королевичем. «Как? — вскричал я к своему другу,— разве мы не урожденные шляхтичи; разве я не отличался в походах, а ты в канцеляриях? Мы мужья и отцы семейств, так не должны ли до последней капли крови, до последнего волоска на усах и чубах защищать благо жен и детей наших? Друг мой! управляйся с негодяем Анурием, а я иду переведаться с глупцом Гордеем!» Заклинания жен, чтоб мы на сей раз оставили такие храбрые мысли, могли ль охладить кипящую кровь в сердцах наших? Как все сие *позорище* происходило против ворот дома моего друга, то я имел несказанное удовольствие видеть, с каким мужеством он, вооруженный увесистым кием, взошел на двор, там на крыльцо и — скрылся.

Подобно разъяренному вепрю, бросился я к своему дому и — влетел в светелку, где сотник, сидя за столом, слушал донесения своих провожатых. Я принял, сколько можно было, ласковый вид, подошел к незваному гостю и сказал: «Я очень рад, что вижу тебя в моем доме! Выпьемка по кубку вишневки и кое о чем потолкуем!» Видя перед ним полную сулею наливки (из чего и догадался, что она была вторая или и третия после принесенной при моем дворецком), я налил кубок и выпил. «Наливай же и себе, пан сотник! — вскричал я,— ты знаешь, я не скуп!» — «Скупиться или быть чивым,— отвечал он, надувши щеки,— можно только в своем добре!» — «Как? Разве я не в своем доме?» — «И ведомо!» — «С которого времени?» — «С того самого, как за твои и друга твоего буйства, неистовства, зажигательства мудрая войсковая канцелярия присудила лишить вас обоих движимого и недвижимого имения и предписала мне, отобрав от вас оное, приписать к сотенному имению».— «А если я за твое нахальство оборву у тебя усы и оба уха с корнем?» — «Скорее я провожу тебя со двора с большею честию, нежели с каковою незадолго пред сим велел проводить твоего дворецкого!» — «Ах ты невежа, бездельник, злодей!»

С сим словом вскочил я со скамьи, схватил сулею и со всего размаху огрел его по макуше. Ломкий сосуд расселся на части, и — мгновенно вишневка, смешавшись с кровию, оросила лицо сотника, грудь и спину. Сопутники пораженного стояли в окаменении, а я сказал ему грозно: «Если ты, проклятое пугало, сейчас не оставишь моего дома, то я внесу тебя на крышку оного и со всего размаху брошу на улицу».

Хотя я сам угрожал другому смертию, но, к великому удивлению, почувствовал два резких удара в спину. Тотчас оглядываюсь назад, чтобы видеть нахалов и наказать их по достоинству, как вдруг чувствую, что кто-то вспрыгнул мне на спину и, схватясь обеими руками за чуб, окинул брюхо мое ногами и сиповатым голосом произнес: «По два десятских схватите злодея за руки и степенно ведите со двора долой, да еще два придавайте ему ходу, поражая киями по голеням и ляжкам». По голосу я узнал, что на мне висит раздраженный сотник.

Приказание исполняемо было с великою точностию. Что мне оставалось делать? Стыдясь кричать от поражения сих бесчеловечных, я только мычал, изгибался под ненавистною ношею, и хотя колена мои дрожали, я шествовал

довольно проворно. Вышед из дому, увидел у ворот оного великое множество народа. Я задрожал. Тут раздался голос у самых ушей моих: «Остановитесь, а руки держите крепче». Тогда почувствовал я, что сотник начал меня разнуздывать и скоро спустился на землю. Он проговорил: «Опустите его руки». Руки в ту минуту освобождены; но я получил в спину такой толчок, что не мог на ногах удержаться, пробежал четыре шага и растянулся середи улицы. В сем положении получаю еще несколько ударов и в бешенстве катаюсь по земле. Скоро распознаю болезненный вопль моего семейства и громкий смех врагов моих, с коими некогда позывался и одержал победу. Надобно же было когда-нибудь встать, и я встал. Взглянув на окна моего дома, я погрозил кулаком, потом пригладил чуб, отряхнулся и пошел на голос родных моих. Я нашел оба семейства у забора бывшего моего дома в самом жалком состоянии, и праздничные одежды еще более заставляли каждого стыдиться. Друг мой Иван стоял поодаль и кулаком утирал слезы. «Как? — сказал я, подошед к нему,— неужели и твоя храбрость имела возмездие, моему равное?» — «С некоторою разницею,— отвечал он с тяжким вздохом,— на мне не ездил верхом писец Анурий, как на тебе сотник Гордей; но зато спине моей досталось несравненно больше ударов киями, чем твоим ляжкам». — «О правосудие! где ты?» — «Где-нибудь да есть, только не у нас!» — «Что ж сделаем?» — «Утопимся или удавимся!» — «Нет! умирать не отмстивши— глупое дело! Неужели на всей земле малороссийской нет суда на Гордея и Анурия?»

Глава XIII

Кровавая битва

— Рассудив о своем состоянии, совершенно горестном, беспомощном, а особливо по случаю утраты сыновей наших, на коих возлагали всю надежду старости, мы решились у тебя, великодушный дядя! искать помощи и защиты. Тогда только познали мы справедливость твоих суждений о проклятом позыванье, и вздохи позднего раскаяния стеснили груди наши.

Жены и дети просили, чтобы тогда же отправиться в путь и тем избежать досадного любопытства глупой черни, продолжавшей около нас толпиться, произнося громко

обидные двоесказания и насмешки; но я, видя закатывающееся солнце и не надеясь на твердость меньших детей, могущих принудить нас заночевать где-нибудь в лесу или в поле, уговорил всех отложить поход до утра, а на ночь остаться у друга нашего пана Агафона. Итак, мы к нему отправились и были приняты со всегдашним добродушием и приветливостию. Вечер прошел в различных толках о наших приключениях, и все не могли надивиться ослеплению войсковой канцелярии, определившей разорить нас, не выслушав ни одного слова в оправдание. Настала ночь, и мы все, как гости, так и хозяева, стали в тупик. Дом нашего друга был столько просторен, что удобно располагался он с семейством, но не более; куда ж девать такую ватагу? У каждого из нас, кроме жены, было по трое детей. Все принялись взапуски рассуждать и положили: всех женщин и девиц уложить в спальне вместе с хозяйкою, хозяин со всеми мальчиками расположится в светелке, а паны Иваны, по добровольному согласию, упокоятся в конюшне на сеннике. Все сие с великим дружелюбием произведено в действие, и я с Иваном возлегли на душистом сене.

До первых петухов мы беседовали о горестях прошедшего дня и о глупостях, наделанных нами в последние десять лет нашей жизни. Но, ах! судьба не перестала гнать нас и на сене. Едва мы успели произнести друг другу «прощай», как послышались внизу под нами лошадиный топот и брыканье.

— Что бы это значило? — сказал тихонько Иван,— отчего старая кобыла Агафонова вздумала храбриться в полночь, когда и днем едва десятью ударами кнута заставишь ее передвинуть ноги?

— Шш! — прошипел я вполголоса,— кто-то ходит по конюшне, слышишь ли?

— Слышу! — отвечал Иван едва внятно, прижавшись ко мне как можно плотнее.

— Неравен случай,— заметил я,— может быть, по грехам нашим, там тешится домовой!

Сосед мой молча трижды перекрестился. Что же почувствовали мы, услыша, что злой дух медленно идет по лестнице на сенник, а вскоре потом, что он, топоча по полу подобно подкованному жеребенку, быстро к нам приближается. Хотя и у меня волосы затрещали и кровь оледенела, при всем том мог еще чувствовать, что близкого моего соседа било как бы в лихорадке. Домовой подошел прямо

к нам и начал шевелить лежавшее под нами сено. Вдруг все умолкло; но сия тишина скоро исчезла, и ночной посетитель такой дал толчок в подошвы сапогов моего друга, что он в один миг подался вперед на целые пол-аршина и — оледенел (он сам в этом сегодня признался). Я, с своей стороны, был ни жив ни мертв. Чудовище шарило в сене и чем-то коснулось к моим сапогам, и тут получил я удар в подошвы столь крепкий, что лбом стукнулся в затылок друга Ивана. Тогда-то оправдались слова заморского мудреца, который сказал, что отчаяние заменяет иногда место храбрости и нередко получает одни и те же награды. Это я к тому говорю, что сам, бывши не последний витязь в малороссийском войске, сначала оробел не на шутку, но в сию решительную минуту, какова была во время назойливости демона, быстро привстал на колени, взмахнул руками и вцепился в его волосы, причем так ловко стукнулся лицом об рога проклятого, что миллионы искр посыпались из глаз. Это не помешало мне действовать со всем ожесточением. Дьявольские волосы клочками летели на воздух; и я не переставал поражать его, читая непрестанно — хотя оледенелым языком — заклинательные молитвы. Несколько раз сила вражия поражала меня рогами в лицо, в грудь и в брюхо, однако я не ослабевал и в один раз так рванул беса за бороду, что он страшно заблеял по-козлиному. О боже мой! с самого младенчества до той минуты я представлял себе, что всякий домовой похож с виду на человека, с тем отличием, что имеет рога и хвост, и буде вздумает вымолвить слово, то всегда произнесет его по-человечьи; посуди же всякий православный, как должен был я ужаснуться, услыша скотское его блеяние? Бывшая во мне храбрость мгновенно исчезла, и я в полубесчувствии упал навзничь. Злой дух также оробел и опрометью затопотал к лестнице, оступился и полетел вниз с великим стуком. Я слышал его стоны и жалобное блеяние, и это меня оживило.

По прошествии довольного времени и друг Иван опомнился и оживление свое ознаменовал тяжким вздохом и усердною молитвою. Тут имел я самый лучший случай рассказать о страшном сражении, происходившем между мною и нечистым духом. Иван не мог довольно восхвалить мою чудесную силу и благодарил за спасение его жизни. «Ибо,— примолвил он,— если б еще получил я другой такой же удар, то непременно бы умер не столько от боли, сколько от страха».

Разумеется, что ни один из нас не мог уже уснуть, и потому — следуя обычаю весьма многих краснобаев — рассказывали один другому такие случаи жизни, кои обоим давным-давно известны были и о коих говорено по крайней мере раз со сто. В сем приятном и полезном препровождении времени провели мы остаток ночи и столько углублены были, что не приметили, как взошло солнце. Увидя сие, наконец мы сотворили молитвы, и друг Иван с восторгом произнес: «Слава богу! теперь домового бояться нечего; солнце для глаз его столько ж ослепительно, сколько для глаз сов, филинов, летучих мышей и прочей гадины. Если же — чего боже упаси — вздумал бы лукавый еще загулять к нам, то ты, любезный друг Иван, уже не вмешивайся и предоставь мне разведаться с ним по-свойски, и я надеюсь...»

При сем слове услышали мы шаги идущего по лестнице. Мой друг начал одуваться, оплевываться и дрожащим голосом читать молитвы. Вскоре показался мужчина, и мы — к неописанной радости — узнали в пришельце своего хозяина. «Здравствуй, пан Агафон! — воззвал друг Иван громогласно.— Весьма хорошо ты сделал, что появился здесь при свете божием, а не то — лететь бы и тебе с лестницы вниз головою!» — «Что ты такое бредишь? — спросил пан Агафон и, подошед близко, смотрел на меня с недоумением и даже с ужасом.— Что это такое? — молвил он наконец,— неужели безбожный сотник Гордей или бездушный писец Анурий залезли сюда и всего тебя изуродовали? Лицо твое и руки в крови, глаза подбиты, на лбу два большие желвака. Мати божия! что здесь происходило?»

Тут рассказал я обстоятельно о битве, происходившей ночью. Друг мой не преминул восхвалить беспримерную мою храбрость, когда сам в то время был в бесчувствии. Это-то и есть знак истинной дружбы. Пан Агафон, слушавший сначала повесть мою с подобающим вниманием, наконец поморщился, потер себя по лбу и скорыми шагами удалился. Не зная, чему приписать такое холоднокровие нашего хозяина в деле толико важном, мы немало тому дивились. После многих рассуждений, после многих догадок друг мой сказал: «Нельзя статься, чтоб пан Агафон не знал, что его кобыла в свойстве с дьяволом! Для чего же нас о сем не предуведомить? Для чего посылать на сенник? Это, право, чудно!»

Глава XIV

Мирные условия

Мы встали, сотворили молитвы и сошли на низ. Какое же было наше удивление, когда увидели, что пан Агафон, стоя на коленях у поваленного на землю большого козла, одною рукою держал его за рог, а другою тянул за переднюю ногу сколько было в нем силы. Бедное животное морщилось, дрягало задними ногами, и на глазах его, жалобно обращенных на хозяина, видны были слезы.

Пан Агафон перестал мучить страдальца, погладил его по лбу и, привставая, сказал: «Кажется, ладно! Вот, пан Иван,— продолжал он, обратясь ко мне,— тот злой дух, с коим ты ночью так храбро ратовал. Ведь угораздил же его лукавый забрести на сенник! А я во всем виноват! С вечера, заговорившись с вами,— да, правда, и было о чем,— забыл подложить кобыле сена. Ночью козел зашел в ее стойло и силился достать из яслей что-нибудь съестное, а как там ничего не было, то, вероятно, в гневе и негодовании за такую оплошность он бодал ее рогами; как же кобыле поддаться? Бедный козел, побитый за дерзость свою порядком, катившись с лестницы, вывихнул ногу, однако я порчу сию исправил. Побудьте здесь покуда; я пришлю воды, и вы умойтесь хорошенько, а особливо ты, пан Иван старший. Хозяйка моя уже давно хлопочет о хорошем завтраке».

Он удалился. Мы взглянули один на другого и не могли не застыдиться.

«Негодница! — сказал я подошедшему козлу,— возможно ли, что такая тварь одного из храбрейших горбылевских шляхтичей изранила, а другому, мудрейшему из них, навела такой страх, что чуть было не отправился на тот свет!»

Умывшись и очистившись, мы вошли в дом, где нас уже ожидали. Жены наши от чистого сердца смеялись ночному приключению. По окончании дружеского праздника мы отправились в путь и — как видишь, дорогой дядя! — находимся здесь!

Окончив свое повествование, пан Иван старший почтительно поклонился дяде, чему последовали Иван младший и их семейства. Артамон с видом кротости и сострадания молча осматривал каждого порознь и не мог не улыбнуться, когда взглянул на Ивана старшего. Хотя улыбка сия

исполнена была дружелюбия и нежности, однако его племянник не мог не закраснеться и не потупить глаз в землю.

— Не печалься, друг мой! — сказал Артамон,— хотя ты и действительно походишь теперь на того витязя, с коим думал в прошлую ночь на сеннике ратоборствовать, однако это, при помощи божией,— пройдет. Все вы знаете, что старые люди весьма часто бывают причудливы и хотят, чтобы сии причуды были уважены другими, а особливо если сии последние у них ищут. Около десяти лет тому, как я с вами не видался, и более пяти, как прервано всякое между нами сношение. Вы согласитесь, что не я был причиною сего расстройства. На два письма мои к вам не получил я никакого отзыва, сердечно огорчился вашим безрассудством и, по согласию с женою, решился предоставить вас судьбе вашей. Я уверен, что если бы правительство не наказало вас — может быть, слишком уже строго — лишением всего имущества, то вы и теперь не вздумали бы кинуть проклятые позыванья и явиться к старому дяде с повинною; не правда ли?

Паны Иваны и их семейства опустили глаза вниз, и слезы заблистали на ресницах каждого. Общее молчание. По вторичному вопросу Артамона о том же Иван старший, взглянув на него с видом человека, гнушающегося ложью, сказал:

— Твоя правда, почтенный старец, сущая правда! Но посуди сам, могли ль мы остаться равнодушными при неслыханных обидах, нанесенных ненавистным Занозою? Ах! ты не знаешь еще...

— Все знаю столько же хорошо, как вы сами,— отвечал Артамон с важностию,— и никогда не думал оправдывать Занозу; но и ваши поступки были для меня огорчительны, противны, и я, следуя движению моего сердца, желал, чтоб вы были наказаны за безрассудство, тем опаснейшее, что оно могло заразить даже детей ваших. Если противник не прав, то менее ли того и вы несправедливы?

— Дядюшка! — сказал Иван старший,— я всегда считал, что кто первый без основательной причины нанесет кому обиду, тот заслуживает быть обижен седмерицею!

— Вздор! — отвечал дядя,— ты и до сих пор не знаешь,— а не без чего целые десять лет беспрерывно позывался,— что обиды бывают многоразличные. Представь себе, что я живу смежно с каким-нибудь шляхтичем, как ты жил с паном Харитоном. Кот моего соседа каким-то образом исплошил моего цыпленка и съел. Вместо того

чтобы сего воришку, буде пойман, посечь прутом и тем отвадить от дальнейших шалостей, я достал несколько сов и лисиц и тихонько впустил в курятник соседа. На другой день сей узнает о великой пакости, мною ему сделанной, и я так же скоро извещаюсь, что обширный мой огород совершенно опустошен напущенными туда свиньями. Зная, кому я должен сею новостию, в отмщение приказал зажечь его гумно и тем лишил годичного пропитания; а он, не стерпя сей обиды, сжег мой дом. Не всякий ли, имеющий в голове своей сколько-нибудь человеческого смысла, назовет нас обоих сначала глупцами, потом бездельниками, наконец, злодеями, достойными виселицы? Между тем представленные мною лица беспрерывно позывались и вся тяжба кончилась тогда, когда оба противника увидели себя совершенно нищими. Неужели в сем изображении не видите вы себя и Занозы? Но — глупость уже сделана, и хотя ее исправить от меня теперь зависит, но и я в свою очередь потребую, чтобы два мои предложения непременно были исполнены; в противном случае — клянусь моею головою, поседевшею с честью,— вы видите меня в последний раз, хотя я считаю — вы сами тому лучшие свидетели — за страшный грех, за явную неблагодарность к благодетельному богу, имея возможность помочь кому-либо в нужде, того не сделать.

— Дядюшка! — вскричал Иван старший, упав пред старцем на колени, чему все прочие последовали: — Дядюшка! неужели два предложения твои так ужасны, так неудобны к исполнению, что угрожаешь нам вечным гневом своим, что все равно, как бы угрожал нам всем голодною смертию на распутье?

— Встаньте, дети! — воззвал Артамон, утирая слезы,— встаньте! Неужели считаете меня столько безумным, что захочу от человека потребовать чего-нибудь бесчестного, пагубного? Напротив: в исполнении сих требований заключается собственное ваше благо — и благо прочное! Слушайте и не останавливайте меня до последнего слова. *Первое:* с сего самого часа поклянитесь — ни по какой причине ни с кем не позываться, пока я жив, без моего согласия, а по смерти моей — без единодушного решения двух беспристрастных опытных честных свидетелей, что обида, вам нанесенная, есть обида истинная, а не мнимая. *Второе:* с сего самого часа клятвенно обяжитесь чистосердечно простить старших сыновей ваших за известный их проступок, а дочерей Харитоновых считать наравне с дочерьми

своими и мать их как добрую, достойную мать семейства; сверх сего, если и Харитон Заноза изъявит искреннее желание примириться с вами, принять в свои объятия как брата и друга. Да пребудет между вами душевное согласие, а с ним вместе счастие жизни!

Пан Артамон остановился и внимательно смотрел на своих племянников и их семейства. Паны Иваны при произношении первого требования имели глаза, пылающие радостию; но когда услышали второе, то лица их изменились и щеки покрылись бледностию. Вместо ответа они то закрывали глаза руками, то ломали пальцы. Артамон продолжал смотреть на них с видом возможного холоднокровия.

Глава XV

Упрямые

Иван старший, имея всегда более присутствия духа, нежели друг его, прежде всех пришел в себя и со взором свободного человека голосом твердым произнес:

— Дядя Артамон! когда ты назвал меня и моего друга неразумными, мстительными, достойными виселицы, то неизвестный голос возопил: «Он прав; покайся и смирись!» В тот же миг я покаялся и смирился, подобно дитяти. Но, дядя Артамон! когда ты красивых преступниц, забывших явно наружную даже стыдливость, дерзнувших в полуразвалившейся хате бесстыдной шинкарки Улитты предаваться всякому бесстыдию и ныне носящих зрелые плоды оного; когда ты, дядя Артамон, сих ядовитых ехидн, запутавших в кольцы свои неопытных сыновей наших, хочешь видеть наравне с законными дочерьми нашими: то я — в первый раз в жизни не отвечая за друга моего Ивана, отвечаю за одного себя: не согласен! Жена! Дети! будьте готовы к дороге! Пока останется в жилах моих хоть одна капля крови, и тою утолю вашу алчбу и жажду, и никто не осмелится сказать: «Этот человек основал здание своего счастия на бесчестье!» Теперь прощай и ты, почтенный, но обманутый старец!

Тут Иван старший припал к ногам дяди, облобызал края одежды его, вскочил и вскричал:

— Брат Иван! прощай и ты, прощай навеки!

— Никогда не расстанусь с тобою, друг моей юности и мужества! — возопил Иван младший, также припал к ко-

леням дяди, поцеловал его одежду, встал, и, одною рукою обняв друга, другою жену свою, бодрыми шагами пошли все из комнаты; громко рыдающие дети за ними следовали.

Окаменелый Артамон дошел кое-как до скамьи и сел, облокотясь на стол обеими руками; Евлампия, добрая, чувствительная Евлампия бросилась к открытому окну. Одни жены обоих Иванов и их дочери с каждым шагом вперед обращали к ней слезящие глаза свои и простирали дрожащие руки. Отцы семейств и их юные сыновья ни разу не оглянулись и с тем скрылись за воротами. Рыдающая Евлампия села подле мужа и, нашед его в таком же положении, в каком была сама, сказала:

— Друг мой! ты в сем щекотливом деле поступил несколько быстро. Звук твоего голоса, когда клялся предать несчастных вечному забвению в случае непослушания признать дочерей Харитоновых своими невестками, коих они не иначе считают, как преступными обольстительницами, так оглушил Ивана старшего, что он потерялся, и врожденная роду Зубарей гордость,— он сын твоего родного брата,— заступила место благоразумия. Притом в жару ты пропустил самое важное обстоятельство, именно, уведомить, что Раиса и Лидия сделались уже законными женами сыновей их и преступление загладилось. Ты даешь убежище жалкой матери с дочерьми ее, так неужели лишишь оного своих единокровных; неужели будешь доволен одною половиною доброго дела, имевши возможность произвесть все целое?

— Добрая Евлампия,— воззвал Артамон, отирая слезы с глаз, щек и усов,— что же сделаем, чтоб, не быв жестокими, не попасть в число глупцов?

— Какая тебе нужда до народных толков! — отвечала Евлампия,— если на сем зыбком основании станем строить здание своего счастия, то мы вечно останемся несчастными! Послушай, друг мой! лошади, приготовленные для поездки твоей с слугою к сельским работам, стоят у крыльца нерасседланные: садись, скачи к любезным самоизгнанникам, объясни им, что дела сего переменить уже нельзя; что со времени приезда внуков наших из Полтавы они нередко тебя посещали; что ты знал о любви их, и когда уведомился, что они соединены уже священными узами брака, то благословил любовь сию; скажи даже, что их милые невестки у нас теперь и навсегда при нас останутся. Если и тогда не уменьшится гордость и закоренелая вражда наших племянников, о! — тогда ты смело можешь сказать:

«Несчастные! оставьте того, кто хотел сделать вас счастливыми!»

— Так точно, благородная Евлампия! — сказал с восторгом Артамон и обнял ее с нежностию юности,— клянусь праведным судом божиим, я не зол и не глуп; но ты, любезная жена, ты добра и разумна! Позови сюда Анфизу с дочерьми и ожидайте моего возвращения. Если увидите, что я один со слугою появлюсь на двор, то можете свободно плакать, не о том, что я не сделал всех вас счастливыми, но о том, что есть сердца, подобно камню неразмягчимые, есть души, коим и глагол божий невнятен! Прости!

Глава XVI

Горесть матери

Пан Артамон и слуга взлетели на коней и поскакали; Евлампия несколько мгновений стояла на одном месте, приводя чувства в порядок. Она позвала слугу и велела стать у столба воротного.

— Как скоро увидишь ты, хотя издалека, что пан твой возвращается, один ли или со многими, то спеши меня о том уведомить.

Слуга удалился. Предполагая, что Анфиза и ее дочери сидят в своих комнатах и с робостию ожидают решения судьбы, Евлампия спешила идти к ним, но опять остановилась, увидя, что дверь большой горницы отворилась и любезные гостьи ее со слезами на глазах устремились в ее объятия.

— Мы все слышали,— сказала в отчаянии Анфиза,— ах! мы слышали свое осуждение из уст неумолимого пана Ивана старшего и во всем согласного с ним пана Ивана младшего. Хотя они сами поражены бедствием, нашему подобным, но могут ли быть столько несчастны, как мы? Если кто в злобе скажет им: «Старшие сыновья ваши обольстители невинности», не вправе ли отвечать с гордостию: «Нельзя обольстить никого, кто сам не хочет быть обольщенным!» Но что скажете о сем вы, Раиса, Лидия, что скажете о сем вы, погибшие мои дочери? Что буду отвечать я первой рассказчице, которая шепнет мне на ухо: «Правда ли, что говорят злоречивые люди?» — «А что такое?» — «Что обе дочери твои родили?» Не окаменеет ли отец ваш,

столько гордый, столько напыщенный своим достоинством, несмотря на свое несчастие, когда какой насмешник батуринский в присутствии многих свидетелей скажет: «Поздравляю тебя, пан Харитон!» — «С чем?» — «Смотри, пожалуй, будто и не знает! Вот и мы все в тюрьме с тобою, а письма, как видишь, исправно получаем».— «Да что такое?» — спросят все заключенные. «Он скоро сделается дедом!» — «Как? Разве дочери его замужем? За кем? давно ли?» — «Мне это неизвестно: а пишут достоверные люди, что недели за три до опечатания их дома они были уже только что не матери, и до сих пор пан Харитон наверное извещен о сем радостном событии, а скрытничает для того, что не хочет попотчевать нас за дружеские поздравления». О я, злополучная! О Раиса, о Лидия! О я, безумная! как не догадалась я об истинном происшествии в ту роковую ночь, когда ты, старшая дочь моя, рассказывала мне о ведьме, упыре и вовкулаке! Не должна ли я была заключить о страшилищах другого рода, которые сделали вас самих оборотнями, каких не могут разворожить все знахари малороссийские!

Горесть и сетование Анфизы были так велики, упреки ее дочерям так сильны, так разительны, что последние близки были к тому, чтобы дать жизнь новым существам или самим лишиться оной. Евлампия, старавшаяся всеми мерами утушить горесть сих несчастных, говорит наконец:

— Анфиза! твое неумеренное и неуместное сетование может быть источником погибели детей твоих и внучат. Когда ты, настоящая мать их, не имеешь жалости и расстроиваешь то, что создала и доселе сберегала благодетельная природа, по крайней мере не препятствуй мне исполнить мою обязанность, и хотя я никогда не имела счастия быть матерью, однако знаю, где нужна строгость к детям и где необходимо помилование.

В самую сию минуту вбежал слуга, посланный Евлампиею к воротам, и, стоя в дверях, возопил:

— Наш пан Артамон виден уже из ворот!

Сердца у всех затрепетали; то багряная краска покрывала их щеки, то наступающая синеватая бледность показывала их полумертвыми. Удаление слуги повергло их в новое отчаяние, и Анфиза со стоном произнесла:

— Теперь-то исчезла вся надежда, и мы несомненно погибли! Когда уже и Артамон, муж столько почтенный по летам, по уму и красноречию, не мог преклонить пле-

мянников своих к примирению, то кто уже в силах к тому их подвигнуть?

Прежний слуга, вошедши, сказал:

— Ну, вот наш пан уже и с крыльца виден! Сколько же с ним гостей, и, кажется, те же самые, которые незадолго ушли отсюда, из коих один весь изранен.

Сердца у всех радостно встрепенулись, и Евлампия вскричала:

— Для чего же ты, глупый, не объявил о сем прежде, когда я именно о том приказывала?

— Это я очень помнил,— отвечал обстоятельный слуга,— ты велела объявить, одного ли пана увижу или вместе со многими; а как он был тогда довольно далеко и я никак не мог различить, много ли с ним людей, или только два-три человека, то ничего и не говорил; теперь же прямо доношу, что всех их наберется до десятка. Выйди на крыльцо и посмотри сама!

Евлампия радостно всплеснула руками и, обратя к образу взоры умиления, воскликнула:

— О ты, великий боже! сколько ты правосуден, столько и милосерд! Не упустишь ты ни одного порока без наказания, но и ни одна добродетель не останется без воздаяния! О! сколь сердце мое преисполнено к тебе любовию и благодарностию! Любезная племянница! милые внучки! поспешим навстречу к нашим посетителям!

Она взяла Анфизу за трепещущую руку и пошла скорыми шагами; Раиса и Лидия с сильно бьющимися сердцами, с пылающими щеками, с полуоткрытыми глазами за ними следовали. Явясь на высоком крыльце, они заметили, что идущие удвоили шаги, почему и сами, сбежав с крыльца, к ним устремились. Когда обе стороны сблизились, то восхищенный Артамон произнес:

— Племянники! обнимите добрую сватью вашу и на щеках ее запечатлейте поцелуи вечного примирения, нелицемерной дружбы и родственной любви!

Глава XVII

Начало примирения

Оба Ивана с неописанным удовольствием исполнили желание добродушного дяди. Иван старший начал было говорить к Анфизе витиеватую речь, как почувствовал, что

нечто жмет его колени. Взглянув вниз, он увидел Раису у ног своих с возведенными на него слезящимися глазами. Сердце его вновь затрепетало, и душа исполнилась неизвестного ему дотоле умиления.

— Раиса! — воскликнул он, поднимая ее,— милая, любезная дочь! не у ног моих, но у сей груди должна ты услышать первый обет моей всегдашней любви к тебе! — С сим словом он сжал ее в своих объятиях и, поцеловав ее с отеческою нежностию, продолжал: — О я, ослепленный злостию и мщением! как мог не любить сего ангела, как мог думать, что она способна погубить моего сына! Раиса! когда милосердие божие в образе сего добродетельного дяди соединяет теперь все доселе расторгнутые сердца узами любви и дружбы, да будем же и мы благодарны сему милосердию божию, посвятив на угождение дяди каждую минуту из дней, нам еще оставленных.

Он хотел пасть к ногам Артамона, но сей принял его в свои объятия, и слезы их, слезы сладкие, оросили их щеки. Иван младший, хотя с меньшим торжеством, но с не меньшею нежностию оказал знаки любви к Лидии и неограниченной благодарности к дяде. Робкие дети обоих Иванов, не осмелившиеся доселе взглянуть на Артамона и Евлампию, быв обласканы сими благородными супругами, взглянули на них с улыбкою невинности.

— Великодушный дядя Артамон! добродетельная тетка Евлампия! — воззвал Иван старший,— я примечаю легкое облако, затемняющее несколько блеск взоров ваших. Казалось бы, чего еще недостает к полному счастию нашему! Ах, многого! Кто укротит неукротимый нрав свата нашего, пана Харитона, и сердце его соединит с нашими сердцами? кто возвратит отцам погибших сыновей их? где любящие жены найдут мужей своих?

— Об этом после,— сказал Артамон с веселым видом,— доброе начало большею частию ведет следом за собою и конец добрый. Жена! ты видишь, что за обеденным столом нашим...

— Не беспокойся,— отвечала Евлампия с улыбкою,— у хорошей хозяйки — сколько б гостей ни случилось, ни один не будет лишним!

Все вошли в большую комнату и помолясь с усердием образу спасителя, уселись по лавкам. Скоро сама хозяйка вошла пригласить всех к обеду, который был самый праздничный. Под конец оного пан Артамон сказал:

— Вам известно, племянники, что сей хутор не один составляет мое имущество, и я мог бы весьма удобно разместить вас по прочим панским домам; но мне кажется, что два семейства, недавно из заклятых врагов сделавшиеся друзьями и родственниками, благоразумно поступят, оставшись здесь вместе, хотя с некоторым стеснением. Вы, оба Ивана, займетесь внешним хозяйством: станете разъезжать по хуторам моим, осматривать мои поля и леса, мои мельницы и винокурни, поправлять, что начнет клониться к падению; собирать мои доходы, делать из них по общему между собой соглашению нужные расходы и всему вести исправные счеты. Занятие сие для вас не будет трудным: вы сами довольно долго были нехудыми хозяевами, и если бы не пагубные позыванья... но об этом теперь ни слова. Жены ваши будут помогать тетке в управлении внутренним хозяйством. Что касается до Анфизы, то ее дочери в таком теперь положении, что довольно для нее и их самих будет заняться приготовлением всего нужного для встречи ожидаемых маленьких гостей. Что же я сам буду делать, чем заниматься? Чем вздумается! На старости хочу понежиться и повеселиться! Долго работал я, пора отдохнуть. Вместо меня пусть другие поработают, а я стану посещать приятелей, ближних и дальних, буду иногда приглашать их сюда, и в таком случае всякий раз поднимем настоящий праздник. В трех верстах отсюда вверх по течению Псела лет за семь пред сим основал я в лесу своем небольшой хуторок и выстроил панский дом с изрядным садиком. Этот хутор и теперь оставляю в своем непосредственном управлении и приказываю вам, племянники, не только не вступать туда и ногою, но еще стараться чтоб никто из домашних ни под каким видом того не делал; также требую, чтоб к селу Горбылям вы близко не подходили: ослушание ваше огорчит меня весьма много.

На другой день с самого утра все расположили занятия свои по желанию мудрого благодетельного хозяина, да и сам он, облобызав всех родственников и родственниц, съехал со двора, наказав, чтобы не беспокоились, если недели две или и более его не увидят.

Часть третья



Глава I

Тюремные друзья

Меж тем как наши паны Иваны, занимаясь легкими трудами и отдыхая в кругу любящих и любимых жен и детей, наслаждались истинно счастливою жизнию, пан Харитон горевал в батуринской темнице, ломал голову, как бы поправить тяжкие обстоятельства и, отомстя своим злодеям, воскликнуть громко о победе. Как однажды такую разумную мысль сообщил он двум молодым запорожским есаулам, в одной с ним комнате помещенным в награду за некоторое богатырское дело, оказанное на базаре [1] над двумя молодыми шинкарками, то сии крайне удивились.

— Как, пан Харитон! — вскричал один запорожец, по имени Дубонос,— неужели ты из Горбылей не получал никакого известия?

— От тамошнего дьячка Фомы,— отвечал Харитон с тяжким вздохом,— получил я горестное уведомление, что по захвачении злодеями моего имения какой-то престарелый пан увез с собой несчастное мое семейство; но кто он таков и куда скрылся — никто не знает.

— Пусть так,— сказал другой запорожец, по имени Нечоса,— что дальнейшая участь твоего семейства тебе неизвестна; но не может быть, чтобы бедствие, постигшее обоих панов Иванов, было тебе также неизвестно.

— Как честный человек и урожденный шляхтич говорю,— отвечал пан Харитон с выступившею краскою удовольствия на бледных дотоле щеках,— что ничего не знал и не знаю; а думать надобно, что они торжествуют и хвастают о своей победе.

— Есть чем хвастать! — воскликнул Дубонос,— с ними так же милостиво поступлено, как и с тобою: они лише-

[1] На рынке.

ны всего имения, выгнаны из домов, порядочно побиты и теперь с женами и детьми скитаются, как плащеватые цыгане.

Лицо пана Харитона просияло несказанною радостию, и взоры его заблистали; но вскоре он опять затуманился и, вздохнув от глубины сердца, произнес:

— Благодарение правосудному богу, что он, поразив Иванов, не дозволил им насмехаться надо мною. Но как они сами теперь стали нищими, то о чем я, получа свободу, буду с ними позываться? Разве об их чубах и усах?

— Эх, пан Харитон! — сказал Дубонос довольно угрюмо,— не пора ли перестать дурачиться не под лета? Не будет ли с тебя довольно и того урока, какой уже задан? Разве хочешь, чтобы ко всему вдобавок, по определению войсковой канцелярии, сняли с тебя все одеяние до нитки и, выгнав из Батурина киями в поле, сказали столько сладкое для тебя слово: «*Позывайся* на здоровье с дождем и ветром, с громом и молниею, с солнцем и месяцем!»

Если б сии слова — и в самом деле не очень учтивые — произнесены были в другое время, при других обстоятельствах, то пан Дубонос, несмотря на свое запорожское одеяние, не ушел бы от позатыльщины и позыванья; но теперь — увы! — пан Харитон вздохнул, пошел к рогоже, служившей постелью каждому заключенному, у которого в кармане не звенит ни ползлота, и, оборотясь к стене лицом, начал жевать черствый хлеб и запивать водою. Запорожцы также воссели на своих ложах, кои покрыты были войлоком, а вместо подушек служили мешки с соломою. Дубонос из-под изголовья вытащил изрядную баклагу с вином, а Нечоса кису, из коей вынул несколько булок, кусок свиного сала и колбасу. Сии крестовые братья,— так они себя объявили,— поздоровавшись с баклагою, принялись за булки и сало, и когда первую охоту посбили, то Дубонос воззвал:

— Что такое, пан Заноза? Мы целый уже месяц живем здесь с тобою по-запорожски, то есть по-братски, и хлеб-соль делили между собою без всяких расчетов; что же ты затеял теперь звов дожидаться? Кинь, пожалуй, спесь и поди к нам.

Пан Харитон, оборотясь к молодцам, сказал:

— Я, право, и не заметил, что вы уже обедаете. Ну, хлеб да соль!

— Милости просим!

Так протекли еще две недели. Запорожцы были не скупы, зато и тюремные служители не были к ним суровы. Все, чего ни требовали первые, доставляемо было последними с великою охотою, разумеется, половиною меньше; но что до того? Что пользы в деньгах, когда нельзя сделать из них никакого употребления? А тюремные служители такие же люди, как и прочие миряне.

Пан Харитон всегда и безотговорочно разделял завтраки, обеды и ужины с молодыми друзьями своими (так он величал уже своих собеседников); время наказания их окончилось, и они очутились на свободе.

Глава II

Есть о чем подумать

Все трое, пришед в корчму, занимаемую молодыми запорожцами до заключения в городскую тюрьму, в комнате своей признали все в надлежащем порядке. Хозяин, хотя и жид, оказывал знаки сердечной радости, что таких достойных панов опять у себя видит в вожделенном здравии и невредимыми.

— Это правда,— сказал Дубонос,— что нас ни волосом не тронули; но никто не трогает и жаворонка в клетке, а напротив того, дают ему есть и пить гораздо изобильнее, нежели сколько ему надобно, однако ж эта бедная птичка беспрестанно бьется об сетку головой, так что нос ее почти всегда осаднен. Жид! приготовь для троих нас самый лучший обед и третию постель в сей комнате; а мы между тем для большего возбуждения охоты к еде пойдем прошататься по городу.

Во время прогулки Дубонос сказал:

— Тебе, пан Харитон, известно, что мы все дела, призвавшие нас в Батурин, окончили. Завтра же отпишу о сем куда надобно, и, получа ответ, пустимся с братом Нечосою в благословенную Сечь. Что ты, пан Харитон, предпринять намерен?

— Сам покудова не знаю! — отвечал сей со вздохом.— Безбожные судьи отняли у меня хутор, землю, дом, семейство, все — и я остался, как видите! Если бы великодушные подкрепления ваши не поддержали доселе тела моего пищею, а духа беседами, то я давно бы погиб с тоски

и голода. Явиться мне на родину — то же, что самому искать своего позора. Где я найду убежище? Когда у пана Харитона Занозы было что поесть и попить, о! тогда дом его был полон приятелей; но теперь, я думаю, меня никто и не узнает!

— Знаешь ли что? — воззвал Дубонос,— коль скоро сам ты уверен, да и нам сознался, что на родине тебе делать нечего, то скажи откровенно: знаешь ли на всем земном шаре место, которое было бы для тебя приличнее гостеприимной Сечи? Вот единственное убежище для всех тебе подобных! Что касается до нас, то Запорожье есть наша родина, и в тамошних хуторах проживают наши родители. Что, пан Харитон, не хочешь ли нам сопутствовать и умножить собою число храбрых людей, которых назвать можно военными отшельниками? Там не спросят, что ты и где значил, что имел или иметь хочешь? Скажут просто: «Будь под нужду храбр, всегда честен, не имей ничего собственного и пользуйся всем, что наше!»

Пан Харитон призадумался, и молодые друзья не мешали ему поразмыслить о столь важном предмете. Запорожцы, разговаривая о путешествии своем из Сечи в Батурин, упоминали имена многих именитых шляхтичей из миргородской сотни, отличных или по храбрым делам, или по имуществу, или по тому и другому; пан Харитон взял это на замечание, но молчал, продолжая размышлять. На возвратном пути Нечоса спросил у своего товарища:

— А как скоро надеешься ты получить ответ на письмо твое?

— Почему ж я могу знать? — отвечал Дубонос насмешливо,— если бы это от меня зависело, то чем скорее, тем лучше.

— Однако ж ты знаешь,— продолжал первый,— что от письма того все зависит.

— Одно только,— отвечал другой,— надобно прислать нам побольше денег, и все тут. Чего здесь за деньги не достанешь? Лошади, оружие, новые платья — все в один миг явится. У нас покуда столько есть, чтобы не казаться нищими и жить не скучая: чего ж более? Пусть пройдет месяц, пусть два или три в ожидании, что нужды? Теперь еще середина весны, а к окончанию лета мы пустимся в дорогу. Что может быть приятнее путешествия в это время года!

Рассуждая о виденном и слышанном, они дошли до сво-

его жилища, отобедали по-праздничному, а после вмешались в толпу веселящихся дарами божиими и неприметно сами развеселились. Дубонос и Нечоса хорошо играли на бандурах, пан Харитон басил в лад с игрою, посетители плясали казачка и вприсядку, и словом — до самой ночи забавлялись, не подумав: запорожцы о своей Сечи, а пан Харитон о селе Горбылях, о жене и детях и даже о панах Иванах. Куда как приятно после рогожаных и войлочных постелей разлечься на перинах!

Глава III

Крестовые братья

Поутру, когда Нечоса и пан Харитон, потянувшись на постелях, открыли глаза, то увидели, что деятельный Дубонос выносил уже из комнаты запечатанное письмо. Нечоса, привстав, сказал:

— Пан Заноза! друг наш подеятельнее нас! Ну, пусть ты несколько уже поустарел, а мне, право, стыдно против Дубоноса! — С сими словами он вскочил с постели и начал одеваться; пан Харитон ему последовал, и когда кончили христианские обязанности, то есть умылись и сотворили молитвы, то вышли на крыльцо, дабы освежиться воздухом. Скоро подошел к ним Дубонос, поздоровался и сказал:

— Мой гонец уже в дороге; заметим же сей день в наших святцах, и первое мая да будет для нас днем одним из праздничных.

По окончании завтрака Дубонос спросил у своего старого друга:

— Ну, пан Заноза, надумался ли ты о нашем предложении?

— Я много размышлял о нем,— отвечал сей доверчиво,— и нахожу, что подлинно мне нигде уже не видать ясных дней, как разве в Сечи Запорожской! Но до нее дойти для меня — человека за сорок пять лет — не только тяжело, но едва ли и возможно! Притом же...

— Что еще за новое препятствие?

— То,— продолжал Заноза,— что эта черкеска и все прочее одеяние едва ли может прослужить мне и две недели. Все, что было у меня в запасной суме, провалилось сквозь землю при заключении меня в темницу.

— Понимаю,— отвечал Дубонос холоднокровно,— объяви только желание, хочешь ли, или нет быть запорожцем. В первом случае — вся наша казна общая; в последнем: потребуй, сколько тебе надобно,— и бог с тобою!

— Великодушные молодые люди! — воззвал пан Харитон, глядя на них умильно,— если бы и не был я в таких обстоятельствах, в каких теперь нахожусь, то или бы отвлек вас от Запорожья, или бы сам сделался запорожцем. Примите ж слово мое: с сего часа да водворится между нами братство, дружба и любовь. Лета мои, моя опытность, купленная чрезмерно дорогою ценою, дают мне право называться вашим старшим братом! Но это звание не уполномочивает меня угнетать воли ваши, а только дозволяет в нужном случае иметь первый голос в нашем совете; впрочем, прежняя свобода будет неприкосновенна. Довольны ли вы словом моим?

— Совершенно! от всего сердца и от всей души!

— Снимите же каждый с шеи своей кресты, как я делаю, и оба положите на сем столе!

Дубонос и Нечоса исполнили его желание. Пан Харитон, положив свой крест между их крестами, обратился к образу (и в жидовских корчмах, кроме спальни хозяев, поставлены образа христианских угодников) и, возвыся правую руку, произнес:

— Мати божия! Благоволи быть свидетельницею клятвы нашей: любить, охранять и доставлять всякое счастие один другому, как обязаны родные братья! В заключение клятвы сей целуем кресты сына твоего, данные нам при крещении!

Молодые люди с благоговением повторяли каждое слово его.

После сего пан Харитон наклонился, приложил дрожащие губы к своему кресту, и две крупные слезы брызнули на распятие. Из сердца Харитонова не могли бы извлечь их ни самые муки жестокие, но теперь извлекли — нежность и умиление. Юные собраты его, растроганные до глубины сердец, произнесли новые клятвы повиноваться ему, как должно старшему брату, и жить всем вместе, пока смерть или какие другие насильственные случаи не разлучат их. Торжественные обеты кончились взаимными объятиями.

Глава IV

Наряды

По приказанию Дубоноса явился хозяин.

— Иуда! — сказал первый,— ты мне много раз хвалился, что зять твой Давид считается за первого портного в Батурине; позови же его к нам!

— Как же хорошо,— говорил Иуда с улыбкою,— что он теперь здесь! Давид! Давид! — кричал он, стоя в дверях,— поди сюда к панам за работою.

Опрометью вбегает Давид и униженно спрашивает, что угодно приказать покорнейшему из сынов израилевых.

— Ты видишь нас троих,— сказал Дубонос,— платья наши от дороги поизбились, так сделай нам по паре нового из кармазинного сукна с золотыми кистями да по паре из синего с кистями серебряными; а чтоб больше угодить нам, то поспеши работою.

Давид, казавшийся сначала евреем неробким, теперь онемел и смотрел на Дубоноса неподвижными глазами.

— Что же ты задумался? Разве работы очень много?

— Высокоименитый пан! — отвечал Давид, согнувшись в пояс,— меня не количество работы остановило; но — с твоего милостивого дозволения — кто заказывает столько в одно время, то обыкновенно жалует вперед.

— Хорошо! — сказал запорожец, отпер свою суму и, вынув из нее кожаный мешок, спросил: — Чего же будут стоить все шесть платьев?

Давид, поправя еломок, начал считать по пальцам и шевелить губами, наконец сказал:

— Полагая по самой умеренной цене, нельзя взять меньше,— посудите только, какая теперь во всем дороговизна!

— Да говори скорее, меньше чего взять нельзя!

— А содержание работников, их жалованье.

— Если ты сейчас не скажешь цены, то я пошлю за другим портным!

— Постой, постой! Целый свет знает, как паны запорожцы нетерпеливы и вместе с тем как щедры! С ними торговаться есть тяжкий грех, и пусть гром собьет с головы моей еломок и повергнет в грязь; пусть молния опалит мои пейсы...

— Иуда! посылай скорее за другим портным, скорее, скорее!

— Постой, постой, высокоименитый пан запорожец! За платья, тобою заказанные, нельзя взять меньше шестисот злотых.

— Это очень дорого!

— Посуди, вельможный пан запорожец!

— Хорошо, хорошо, но ни слова более! Довольно ли с тебя — взять теперь две трети означенной суммы, а остальную получишь, когда принесешь платья.

— Весьма доволен!

— Снимай же мерки, начав с старшего брата.

Когда Давид размеривал рост и дородство панов Занозы и Нечосы, Дубонос делал мысленный расчет, водя пальцем по столу, и, наконец, сделав точку, произнес:

— Так! мерка снята и с него.

Тут он, развязав мешок, высыпал горсти три червонцев. Пан Харитон, предполагавший, что в мешке серебро, немало подивился, увидя золото; что же касается до жидов, то они ахнули, оцепенели и попятились назад.

— Дурак! — шепнул Иуда Давиду.

— Клянусь бородою и пейсами покойного отца моего,— отвечал Давид также пошептом,— я этого не предчувствовал.

— Иначе — вот тебе, Давид, вместо четырехсот злотых — сто червонцев! — сказал Дубонос, отодвигая кучу золота.

Давид дрожащими руками пересчитал деньги, опустил в карман и, уходя с несколькими низкими поклонами, обещал изготовить работу как можно скорее.

— Ты, Иуда, останься покуда здесь,— продолжал Дубонос,— мы сделаем тебе некоторые поручения. Первое: прикажи в возок свой впречь лошадь и дай работника: мы поедем к другу твоему, ветошнику Исахару, чтобы купить у него по паре платьев попростее тех, которые теперь заказаны. Второе: вели жене к приходу нашему изготовить хороший обед. Вот и все!

— Высокоименитый пан! — отвечал Иуда,— стряпаньем моей жидовки все вы будете довольны; вместо же работника править лошадью буду я сам, дабы напомянуть другу Исахару, сколько радею о его пользе.

— Ничего не бывало,— сказал пан Харитон,— нам теперь не надобны ни твой возок, ни конь, ни работник, ни ты. Ступай-ка готовить обед!

Жид поморщился и вышел, повеся голову.

— Для чего ты это сделал? — спросил Дубонос с доверенностию,— неужели не нужны нам простые платья? Сверх того, здесь удобнее запастись всем нужным, чем в другом месте, где нередко и с деньгами в карманах ходят в сапогах без подошев.

— Это правда,— отвечал пан Харитон,— но неужели не заметили вы, как замялись наши жиды, увидя на столе золото, и как тесть упрекал зятя, что он попросил за платье дешево? Хотя я и сам не слыхал ни одного слова, но их взоры, их ужимки меня не обманули! И теперь для чего Иуда так охотно взялся быть проводником нашим? Именно для того, чтобы смигнуться с своим другом, взять за копеечную вещь злотый и после поделиться!

— Понимаю,— сказал Дубонос весело,— оттого Иуда и вышел так печален, что не удалось нас одурачить. Спасибо, любезный брат! И впредь не отрекись пособлять нам своими советами!

Пан Харитон сердечно радовался, что так скоро по освобождении из тюрьмы удалось ему оказать услуги новым друзьям своим. По его совету Дубонос, отсчитав из мешка еще сто червонцев, остальные запер в суму, и все трое вышли на улицу.

Глава V

Сборы в дорогу

Путники наши отправились прямо на базар, где червонцы разменены на злотые, нанята телега и до полудня нагружена платьем, бельем, обувью и множеством других вещей, коих нельзя достать в стороне полудикой. День прошел в примеривании покупок,— и пан Харитон решился остаться навсегда в запорожском платье, а бывшее на нем малороссийское подарил бедному шляхтичу, на ту пору в корчме случившемуся и увеселявшему его заунывными своими песнями.

День проходил за днем, неделя за неделею, и, наконец, прошло два месяца пребывания в корчме наших братьев, а Дубонос не получал еще столько ожидаемого письма. Нередко случалось, что меньшие братья уединялись, говорили между собой с жаром и утирали слезы. Пан Харитон примечал это, но считал непристойностию выведывать тайны,

пока сердца сами не раскроются и не дозволят видеть свою внутренность. Он с каждым наступающим днем более и более прилеплялся к Дубоносу и Нечосе. В первом особенно нравился ему жар юности, отважность в каждом движении, быстрота в мыслях и действиях; второй пленял его кротостию нрава, нежностию чувствований и тонкостию суждений. Он привязался к ним отеческою любовию, и в один вечер, когда юноши забавляли его рассказами, он с нежностию произнес:

— Любезные братья! и у меня есть шестнадцатилетний сын! Я умоляю небо, чтобы оно благоволило сделать его похожим на одного из вас; в противном случае — преждевременно низвергнуть в могилу!

Юноши его обняли, и слезы их смешались с его слезами.

Что такое сделалось с паном Харитоном? Каким непонятным чудом человек дикий, запальчивый, мстительный, несправедливый в течение нескольких месяцев превратился в человека кроткого, умеренного, непамятозлобивого, и в каждом слове, не только в каждом поступке любящего строгую правду? Ах! до сего времени он не имел счастия любить и быть любимым так, как любить должно и как хочет быть любимо доброе сердце! Он любил жену — и был ее мучителем; жена любила мужа — и леденела в его объятиях. Он любил детей,— когда их хвалили посторонние люди; дети любили отца и — старались избегать его присутствия. Он любил друзей, когда они его ласкали; а они ласкали его тогда только, когда за столом его наедались и напивались. Такого рода любовь может ли осчастливить человека, рожденного с самыми счастливыми даже склонностями?

В первых числах июля, под вечер пан Харитон и брат Нечоса сидели у ворот корчмы в крайнем смущении и даже горести, не видя Дубоноса, с самого утра отлучившегося.

— Если бы он опять попал в городскую тюрьму,— заметил пан Харитон,— то тамошние прислужники еще его не забыли, и он мог бы в ту же минуту нас о том уведомить!

Вдруг видят, что новая, в три лошади запряженная бричка прямо к ним катится, и когда поровнялись, то сидящий на козлах запорожец вскричал: «Здравствуйте!» — и с сим словом помчался на двор. «Дубонос!» — воскликнули в один голос пан Харитон и Нечоса и побежали к крыль-

цу, где остановилась бричка. Дубонос, бывший уже на земле, обняв своих братьев, сказал:

— Прошу извинить, что с доброй воли причинил вам о себе беспокойство; зато теперешняя радость довольно наградит вас!

—Так! — вскричал Нечоса с восторгом,— ты, верно, получил столь долго ожидаемое письмо с родины? Ах, скажи скорее! что там делается? Все ли здоровы? В каком положении они остались и — ах! — каковы маленькие гости? Как различать их? Бога ради скорее!

— Ты безмерно нетерпелив,— отвечал Дубонос с важностию,— и я хорошо сделал, что, идучи сюда к обеду с прочтенным письмом, пробежал мимо нашей корчмы и бросился на большой базар, дабы искупить все, что мне *от него* предписано. На первый случай будь доволен немногим; все хорошо: у старшей *он*, а у младшей *она!*

Нечоса повис на шее своего брата, и щеки его оросились слезами. Он взвел глаза на небо и вполголоса произнес: «Благодарю тебя, боже!»

Такая бестолковщина сначала удивила пана Харитона, и он готов был назвать своих братьев одурелыми, а особливо Нечосу, как Дубонос отвлек его от сего намерения продолжением рассказа.

— Мне предписано,— говорил он,— искупить довольное количество различных вещей: шелковых, бумажных, золотых, серебряных, стальных и проч. и проч., что все тщательно и уложено в большом сундуке. После сего куплена эта бричка польской работы, три добрые лошади с упряжью, сундук уложен, и тут я догадался, что сидеть на нем путешественникам будет несколько хлопотливо, почему куплена и положена сверху большая перина и покрыта казанским ковром. Уже приговорен мною дородный цыган, который будет править лошадьми во всю дорогу. Он хочет попытать счастия на нашей родине.

Бричка ввезена в сарай и замкнута, лошади выпряжены и уставлены в конюшне, корчемному слуге приказано снабдить их обильно овсом и сеном. Иуда, ожидавший их у дверей корчмы, опечалился, услыша, что они в следующее утро его оставляют. Правду сказать, что хотя корчма его никогда не бывала пуста, но редко также случалось ему видеть в ней таких веселых и щедрых гостей, каковы были наши запорожцы.

Глава VI

Наши едут

На другой день с восходом солнечным явился цыган Конон, впряг в бричку лошадей и подвез ее к крыльцу. Дорожные сумы, в коих хранилось лишнее платье, белье и некоторые мелкие вещи, прежде искупленные, уложены на место подушек, а в ногах помещены баклаги с волошским вином и наливками.

— Конон! — воззвал Дубонос,— где же твои пожитки? И для них довольно будет места!

— Не думаю! — отвечал цыган,— куда бы, например, девал ты мою наковальню, два больших молота, двое клещей и мех раздувательный? Эти громоздкие вещи перевел я на самые уютные, то есть на ходячую монету, и вырученные за них двенадцать злотых весьма укромно покоятся в кармане. Я оставил для себя самое необходимое: этот кнут в руке и этот нож за поясом!

Дорожные, принесши богу должное благодарение за все блага, им ниспосланные, сели в бричку, Конон взмахнул кнутом, присвистнул, и бричка быстро покатилась. Выехав из города, они пустились по полтавской дороге. Три дни проведши в пути, они к вечеру въехали на землю, миргородской сотне принадлежащую. Проезжая сквозь дубовый лес и увидя прекрасную поляну, они не могли не плениться ее положением.

— Здесь,— сказал пан Харитон,— мы остановимся! Кто хочет есть и пить, пусть ест и пьет; что же до меня касается, не хочу ни того, ни другого. Здешний воздух меня давит; запах цветов меня умерщвляет!

В безмолвии меньшие братья дали знак Конону остановиться. Кони выпряжены и пущены на траву. Цыган развел большой огонь и начал — по данному наставлению — приготовлять ужин. На ближнем холме уселся пан Харитон, и на лице его изобразилось нечто такое, что уподобляло его или выше, или ниже человека; а в самом деле он никогда не мог выйти из круга, начертанного матерью его — *природою!*

— Друзья мои! — сказал он, возведя глаза на юношей, стоявших перед ним в пасмурном молчании,— при вступлении на землю миргородскую сердце мое забилось необыкновенно и дыхание отяжелело. Я вспомнил, что родился под здешним небом, дышал здешним воздухом, народил

детей и начал стареться между здешними жителями. Быв довольно достаточен, я провождал жизнь беззаботную и мог бы окончить ее среди довольства и счастия, не заботясь об участи моего семейства; но вдруг из глубины ада исторгается дух вражды и ябеды, вдыхает в меня яд свой, и я закипел страстию к тяжбам бесстыдным. Что из сего вышло? Из достаточного шляхтича — нищий, из семейного — бездетный! Я не знаю даже, что сталось с жалкими жертвами моего беспутства; а если бы и знал, где отыскать их, то как осмелюсь к ним явиться? Что предложу им, когда и сам существую от даров дружбы и великодушия?

— Напрасно так думаешь,— сказал Дубонос отрывисто,— можно ли истинным друзьям и братьям вести между собою какие-нибудь расчеты? Не должно ли все, относящееся до удовлетворения житейским нуждам, быть между нами общим?

— Братья!—отвечал пан Харитон со вздохом,— теперь узнаю только, что одолжать несравненно приятнее, чем одолжаться!

— Если ты столько чувствителен и разборчив, то есть средство и в сем случае помирить тебя с самим собою. Ты видишь по всему, что родители наши люди неубогие, а вдобавок скажу, что они люди рассудительные: отпуская нас в Батурин, они благословили и дали на волю нашу избрать себе невест, не смотря на звание, породу и приданое. Ты нередко сказывал, что имеешь двух дочерей, кои в тех уже летах, что могут быть матерями; мы верим словам твоим, что они привлекательны по наружности, добродушны, трудолюбивы: дозволь нам их увидеть. Может быть, мы взаимно понравимся, и тогда ты благословишь нас. Из братьев — мы сделаемся твоими сыновьями, составим одно семейство и надеемся, что ты найдешь опять утраченное спокойствие!

Такое неожиданное предложение немало удивило пана Харитона. Правда, ему иногда мечталось, что сии достойные юноши просят осчастливить их соединением с дочерьми его; но он, видя большой их достаток, узнав обширные их сведения, образованность, не смел ласкать себя пустою надеждою, чтобы обыкновенные девушки, притом без всякого приданого, могли им так сильно понравиться; но теперь, слыша от них такой вызов, он поблагодарил их с откровенностию за сие новое доказательство неизменного их дружества.

— Однако,— примолвил он, потупив взоры в землю,—

сколь ни пленительна для меня мысль ваша, я не смею и подумать, чтоб она когда-либо могла исполниться. Сверх того, скоро ли мы отыщем бедных сирот с несчастною матерью, когда, по всему вероятию, они более всего стараются оставаться в глубокой неизвестности, а вам надобно спешить к своим родителям.

— Можно обойтись без лишней поспешности,— отвечал Дубонос решительно,— и я надеюсь, что, узнав причину некоторой со стороны нашей медленности, родители наши не только извинят ее, но еще одобрят. Словом: мы направим путь прямо к селу Горбылям, и если там не получим полного сведения о жене твоей и детях, то пустимся к знакомому нам пану Артамону Зубарю, человеку умному, доброму, с которым познакомились мимоездом и которому дали слово навестить при возвратном пути.

Пан Харитон изменился в лице.

— Как? — спросил он протяжно,— не ослышался ли я? Кого хотите навестить?

— Пана Артамона!

— Разве не известно вам, что он родной дядя, а жена его — родная тетка обоих врагов моих, Иванов?

— Так что ж? Не обманывайся, любезный брат! Пан Артамон, говоря нам о вашей тяжбе, более обвинял своих племянников, нежели тебя. Впрочем, он лично с тобою незнаком, и если ты не хочешь перед ним открыться, то и мы выдадим тебя за путевого нашего товарища. Пан Артамон знается со всеми окольными шляхтичами и, наверное, известен о местопребывании твоего семейства.

Пан Харитон, со времени заключения братского союза сделавшись гораздо сговорчивее, чем был прежде, а притом надеясь чрез пана Артамона скорее узнать, чего всем им весьма хотелось, и боясь упустить случай поправить порчу в своих обстоятельствах, скоро склонился на желание молодых друзей и дал слово посетить пана Артамона под собственным своим именем.

— На что скрывать свое имя,— сказал он,— я наделал не более дурачеств, как и мои соперники! Пусть же узнает благородный старец, что чувство раскаяния не чуждо моему сердцу; а где есть место раскаянию, там можно еще ожидать исправления.

Глава VII

Нечаянности

Разумеется, что после сего условия все сделались веселы. Молодые запорожцы наперерыв старались угождать старшему брату, и хотя они ужинали в лесу, но легли уснуть на покате зеленого холма с бо́льшим удовольствием, нежели бы в лучшей батуринской корчме. На утренней заре бдительный Конон впряг лошадей и разбудил своих панов; все уселись и пустились в дальнейший путь. На другое утро, незадолго до полудня, они въехали в село Горбыли. Бричка двигалась тихо, ибо молодые запорожцы высматривали, где бы удобнее остановиться для отдыха. Пан Харитон был пасмурен и вздыхал непрестанно.

— Брат! — сказал Дубонос, обратясь к нему,— место сие известнее тебе, чем нам. Скажи, где бы нам пристать, чтоб накормить коней?

— Я думаю,— сказал весьма пасмурно пан Харитон,— всего лучше ехать туда, где менее всего меня узнать могут.

— Хорошо! — подхватил Дубонос,— в первый проезд наш через сие село мы ночевали в корчме жида Соломона; она стоит на другом конце села, по дороге, ведущей к хутору пана Артамона.

Дубонос указал Конону улицу, по которой ехать надобно. У пана Харитона затрепетало сердце: эта улица вела мимо бывшего его дома. Надвинув шапку на брови, он высунулся из брички и решился сколько можно равнодушнее смотреть на разоренное свое жилище.

— В течение десятилетнего позыванья,— сказал он с тяжким вздохом,— я столько претерпел горя, что сей последний удар не будет уже опасен для моего сердца. Когда я увижу пустырь на том месте, где я старался заводить не только все удобности жизни, но и довольство, то уверяю вас, молодые братья, что, вместо горестной слезы на глазах, вы увидите улыбку негодования на губах моих. Я докажу, что, побратавшись с вами, сделался истинным запорожцем! — После слов сих он закрыл глаза руками и младшие братья увидели, что сквозь пальцы заструились слезы и потекли по щекам старшего брата.

— Пан Харитон! — воззвал Дубонос,— не думай, что быть запорожцем есть то же, что быть не человеком! Ах! горе тому, кто не проливал иногда слез горести. Он неспособен в полной мере чувствовать всю сладость, проливая

слезы любви и дружбы. Чувствительность, огражденная верою и благоразумием, есть лучшее, любимейшее дитя промысла, посланное в дар душам добродетельным.

По данному Дубоносом знаку бричка остановилась середи улицы, подле бывшего дома Харитонова. Он открыл глаза, осмотрелся кругом и чуть было опять не зажмурился, увидя нечто совсем неожиданное. Первое, что бросилось ему в глаза, был новый забор, сплетенный из ивняку, окружавший весь двор его, сад и огород; панский дом, недавно выкрашенный известью, блистал от лучей солнечных; на месте бывшей ветхой соломенной крыши он увидел новую, тростниковую; садовые деревья отягчены были плодами, и — как казалось — никто к ним не прикасался, кроме воздуха.

— Возможно ли,— сказал пан Харитон, отирая глаза, — чтобы бездушный сотник Гордей мог так хорошо устроить неправдою приобретенное имение? И то правда: он с такой же ревностию старался его улучшить, сколько я спешил расстроить и, наконец, совсем погубить! — Он погрузился в задумчивость, и бричка двинулась далее.

Подъехав к домам, принадлежавшим панам Иванам, пан Харитон поднял голову в надежде найти утешение своему сердцу, увидя одни развалины, ибо ему тогда обстоятельно было известно, что их имение поступило в казну сотенной канцелярии, а в таких случаях не столько набожно поступают, как с своим собственным; но какое же было его удивление и вместе горесть, когда увидел, что оба сии дома приведены несравненно в лучшее состояние, нежели в каком были прежде. Он быстро взглянул на младших братьев и сказал:

— Неужели и сотник Гордей сделался честным человеком? Дело другое хлопотать и трудиться для себя, а иное для общей пользы! Чудеса! О такой небывальщине я и в сказках не читывал и во сне не видывал!

Глава VIII

Добрый хозяин

Рассуждая о сем неслыханном чуде, наши названые братья неприметно доехали до корчмы жида Соломона, где, остановясь для обеда, велели своему цыгану иметь попечение о лошадях, а сами, усевшись в светелке, продолжали столь любопытный разговор. Когда хозяин, по приказанию

путников, велел своей жидовке похлопотать о хорошем обеде, то пан Харитон спросил:

— Скажи, пожалуй, сын Израиля! давно ли так красиво поновлены домы здешних шляхтичей Занозы, Зубаря и Хмары? За несколько месяцев, проезжая из Сечи Запорожской в Батурин, я видел их совсем в другом положении.

— Чему ж ты удивляешься,— отвечал Соломон, устанавливая перед ними сулеи с разными наливками,— прежде домы сии принадлежали упомянутым тобою трем беспутным шляхтичам, которые, ища погибели другим, нашли свою собственную; ныне же принадлежат они честнейшему пану Артамону Зубарю, который — хотя и христианин — от всех окольных жидов считается мужем богобоязненным и человеколюбивым!

— Как? — спросил пан Харитон, изменясь в лице,— как имение сие из казны и от панов сотника Гордея и писца Анурия могло очутиться в руках посторонних?

— Самое простое дело! — отвечал жид,— как скоро пан Харитон и паны Иваны по делам выгнаны из домов и хуторов своих добрым порядком, причем последние изрядно еще поколочены, то благонамеренный пан Артамон послал нарочного в войсковую канцелярию с предложением удовлетворить все положенные от оной взыскания в пользу казны и панов сотника и писца, если все имение Занозы, Зубаря и Хмары законным порядком за ним укреплено будет. Как правительство, так и частные лица, оскорбленные со стороны позывающихся безумцев, с радостию приняли сей вызов, пан Артамон тотчас отсчитал должную сумму и торжественно введен во владение всем имением. У богатого умного человека все идет наилучшим порядком. Вдруг начались во вновь приобретенных домах и хуторах починки и перестройки, и мы не успели оглянуться, как все приняло новый вид, или возобновлено старое в лучшем виде. Что вы, паны запорожцы, подумаете о доброте сердца и благоразумии пана Артамона? Подданные прежних беспутных владельцев, прежде ахавшие и охавшие беспрестанно, теперь всякий час благодарят бога, что отдал их благодетельному человеку, пекущемуся о счастии каждого столько, как бы о родном сыне или дочери. Верьте слепо, если жид хвалит христианина! Пан Артамон, поправляя все запущенное его предместниками, между прочим, на хуторе пана Занозы приказал выстроить новую голубятню и населил ее бесчисленным множеством самых казистых

голубей; на лугу Ивана старшего завел обширную пасеку, и вдобавок выстроил на выгоне две ветряные мельницы, сожженные бездельником паном Занозою; словом: в поправке клонившихся к разрушению или и разрушившихся заведений, паном Артамоном вновь праведно приобретенных, он поступил не менее умно и расчетисто, как бы был самый разумный, самый опытный раввин жидовский!

Глава IX

Знакомец по слуху

Пан Харитон, выслушав с величайшим вниманием рассказы Соломона, оставался в крайнем удивлении и унынии; на лице его изобразилась тоска, на губах показалась улыбка негодования на самого себя, и на ресницах повисли слезы горести. Долго смотрел он на своих названых братьев и видел их недоумение, даже некоторое сомнение.

— Соломон! — воззвал Дубонос,— в котором же доме или хуторе расположился пан Артамон жительством? Мы с ним хорошие знакомцы и намерены на несколько времени воспользоваться его гостеприимством!

— Этот добрый пан,— отвечал Соломон,— проживает, сколько мне известно, в уединенном своем хуторе, за несколько лет устроенном в лесу его по берегу реки Псела. Там исполняет он втайне человеколюбивые свои обязанности; и поверите ли,— клянусь памятию знаменитого и соименного мне единоплеменника,— не один жид в нашей окрестности обязан ему своим благосостоянием! Как же нам не молить бога о здравии его и долгоденствии?

— Хорошо! — сказал Дубонос,— готовь нам поскорее обед, дабы можно было поспеть к вечеру в обиталище пана Артамона!

Жид мигом вылетел за двери.

Обед наших путешественников приближался к концу, как двери светелки быстро отворились. Впереди опрометью бежал Соломон с величайшею заботливостию, а за ним медленно следовал старик, одетый по-городски довольно богато, с веселым лицом, с улыбкою на губах и с дружелюбием в каждом взоре.

— Если не обманул меня жид Соломон,— сказал он, остановясь посередине комнаты,— что найду здесь трех запорожцев, хотевших навестить меня...

— Добродетельный муж! — вскричал Дубонос,— ты и в самом деле видишь здесь старых знакомцев своих, коих за несколько месяцев удостоил своего гостеприимства,— ты видишь запорожцев Дубоноса и Нечосу!

Старец распростер свои руки, и юноши погрузились в его объятия.

По прошествии первого восторга все уселись на лавке, и пан Артамон произнес:

— Благодарю вас, молодые друзья, что вы сдержали слово и не поленились заехать к старику, который с великим удовольствием готов угостить вас, и чем долее вы у него пробудете, тем более его обяжете! Но кто сей почтенный запорожец, ваш спутник? Хотя я его и не знаю, но не менее того рад буду видеть и его у себя, как бы старинного знакомца. Кого вы, любезные друзья, избрали себе в товарищи для столь дальнего пути, на того и я готов во всем положиться.

Пан Харитон, ободренный ласковыми словами сего старца, потупя глаза в землю, говорил:

— Пан Артамон! Меня, спутника сих молодых людей, ты давно знаешь по слуху и, вероятно, много раз и справедливо роптал на прежний образ моих мыслей и поступков; претерпенные мною несчастия теперь совершенно меня переменили. В сей корчме мы видеться с тобой не надеялись, однако пробирались к тебе на хутор. Я, помня прошедшее, сомневался предстать к тебе; но товарищи, уверя меня в твоей доброте, непамятозлобии, рассеяли мое недоумение,— словом, ты видишь перед собой Харитона Занозу!

Пан Артамон сначала казался весьма изумленным; потом любопытно взглянул на кающегося грешника, стоявшего с поникшею головою, наконец с кротостию произнес:

— Что ж такое? Я с паном Харитоном никогда не позывался и не чувствовал от него никакой обиды. Что нам препятствует на будущее время остаться добрыми знакомцами? — Тут он с особенною приязнию обнял пана Харитона, который отплатил ему тем же, и все с веселыми лицами уселись на лавках и начали разговор о настоящих обстоятельствах каждого.

Глава X

Наши в гостях

Когда Дубонос рассказал пану Артамону о намерении пана Харитона отправиться с ними в Запорожскую Сечь и о желании его еще раз повидаться с своим семейством, прижать всех к отеческому сердцу и, может быть, навсегда проститься, то первый сказал:

— В настоящих его обстоятельствах я сам ничего лучшего не придумаю и желаю всякого счастия в новом роде жизни. Что касается до его семейства, то я мельком слышал, где оно находится, и беру на себя непременную обязанность отыскать всех и привезти сюда. Вы, думаю,— продолжал пан Артамон к изумленным запорожцам,— от говорливого Соломона успели узнать, что домы панов Харитона и обоих Иванов достались мне; а как на двух моих ближайших хуторах проживает теперь довольное число гостей, то, чтобы не стеснить никого, ни их, ни вас, я прошу усердно, пока пробудете в здешних сторонах, поместиться на хуторе, принадлежавшем до сего пану Харитону. Я, сколько мог, старался панский дом сделать удобным для проживания многолюдного семейства. Слуги и служанки будут вам повиноваться, как самому мне, а дворецкий снабдевать всем нужным, о чем не премину дать нужные приказания. Я хочу сам, пан Харитон, приняться за отыскиванье твоего семейства и надеюсь в скором времени иметь удовольствие видеть его в твоих объятиях. Дорога до хутора твоего тебе знакома довольно. Отыскав жену твою и детей, я туда привезу их. Прощайте до времени.

Всяк, читающий сию справедливую повесть, без сомнения догадается, что пану Артамону весьма нетрудно будет отыскать родных своего бедного гостя; итак, нам не для чего идти за ним следом. Трое названых братьев запорожцев, оставшись одни, не могли нахвалиться благородными мыслями и примерно добрым сердцем гостеприимного пана Артамона.

— Не я ли говорил тебе,— сказал протяжно Дубонос,— что сей человек стоит всякого почтения и, несмотря на свою старость, умеет быть любезным первой молодости.

— Это сущая правда,— отвечал пасмурно пан Харитон,— но для меня непонятно, для чего столько умный и

добрый человек захотел растравить раны сердца моего, помещая на короткое время в том самом доме, который всегда принадлежал моему роду и мне, и к довершению моего отчаяния сюда же хочет призвать мое семейство, чтобы и оно могло быть свидетелем моего позора и имело право сказать: это все было наше, а теперь чужое; не могли ль и мы сие родовое имение привести в такое же цветущее состояние? О позыванье, проклятое позыванье!

— Почему нам знать,— воззвал Дубонос,— намерения других, пока они не обнаружены? Я той веры, что пан Артамон не без доброго намерения так поступает, а не иначе; но в чем состоит сие намерение, не знаю, да и знать не любопытствую, а доволен тем, что буду в гостях у доброго и честного человека. Мешкать нечего: сядем в свою бричку, и ты укажешь Конону дорогу до хутора.

Пан Харитон, вздыхая от глубины сердца, сел в повозку и, молча указав цыгану рукою дорогу, погрузился в глубокое размышление. Молодые друзья считали непристойностию прерывать оное и также молчали. Через час с небольшим они увидели вдали обширный сад и в один голос воскликнули: «Хутор!» Пан Харитон поднял голову, поглядел вдаль и, опять потупя глаза, вполголоса произнес: «Так! эта усадьба принадлежала некогда мне!» Краска стыда и негодования покрыла щеки его; он шептал что-то про себя, ерошил чуб, жмурился и потирал виски.

— Что с тобою делается? — спросил наконец Дубонос,— ты походишь теперь на больного, спящего самым беспокойным сном!

— Ах,— отвечал пан Харитон,— я и действительно как в горячке: сердце непомерно бьется и голова кружится! Как больно, как несносно!

— Перестань! — прервал его Дубонос несколько строго,— неужели такая безделица может столько растрогать разумного мужа в твои лета? Уныние никогда и никуда не годилось! Что кто имел и случайно потерял, то и опять иметь может. Послушай, любезный брат! Нравы и достаток родителей наших нам коротко известны. Если даст бог, что мы дочерям твоим понравимся и с твоего и жены твоей благословения породнимся, то вот тебе правая рука моя в залог, что поместье твое на хуторе и дом в селе будут выкуплены и отданы тебе. Будь же веселее и надейся на милость божию и помощь людскую!

Глава XI

Утешение

Пан Харитон взял руку своего брата, пожал ее крепко, и искры утешения засверкали в глазах его, кровь стала обращаться покойнее, и он улыбнулся, закрутил опустившиеся усы и весело глядел на свое бывшее владение. Панский дом был чисто-начисто выбелен; стекла в окнах вставлены новые, светлые; вместо старой соломенной крыши блистала разноцветная тростниковая; конюшня, сараи, гумно — все поновлено; а что более разлило удовольствие в сердце его, то обширная высокая голубятня, на месте сожженной выстроенная и вся усеянная прекрасными голубями. Крестьянские хаты также приняли новый, лучший вид, и все сады и огороды обнесены прочными заборами; словом: если бы сей помещик перенесен был сонный из батуринской тюрьмы в свое поместье, то он никак бы не узнал его. Молодые друзья, видя на лице старшего брата знаки непритворного веселия, поздравляли его с такою счастливою переменою, предсказывали еще счастливейшую будущность и с сим въехали на двор панского дома. Кто же опишет радостное удивление пана Харитона, когда увидел всех своих слуг и служанок, выбежавших к нему навстречу под предводительством Луки, любимого своего спутника во всех поездках! Они все кланялись ему низко и поздравляли с вожделенным освобождением из батуринской тюрьмы и с возвращением на родину. Пан Харитон, вышед с товарищами из повозки, поблагодарил бывших домочадцев своих за усердие и спросил Луку:

— Ты как здесь очутился?

— Самым простым образом,— отвечал слуга, провожая пана и его товарищей на крыльцо, где, остановясь, продолжал: — когда тебя в Батурине, несмотря на все храбрые сопротивления, сопровождаемые сильными ругательствами, поволокли в тюрьму точно в таком виде, в каком ты волок из своего дома на двор писца Анурия, то один из оставшихся канцелярских подписчиков сказал мне: «Ступай, приятель, домой и служи пану сотнику Гордею как своему законному властелину». Я тогда был в великой печали и досаде, а потому отвечал с издевкою: «Ты, видно,

привык в такую дальную дорогу пускаться пешком, а у меня, по милости господней и панской, есть возок и два коня!» — «Потише, друг сердечный! — отвечал подписчик насмешливо,— по высокому определению войсковой канцелярии двух коней, возок и все имущество пана Занозы, сюда завезенное, велено продать и вырученные деньги причислить к войсковой казне». Услыша такую неожиданную весть, я крайне разгневался и хотел было, подражая тебе, кулаками защищать свое право, как невидимо ангел-хранитель шепнул мне: «Остерегись, мужественный Лука, и удальство свое отложи до удобнейшего случая. Твой пан лишился хутора за то, что поколотил писца Анурия; а если ты осмелишься коснуться до подписчика войсковой канцелярии, то с живого сдерут кожу!» Я послушался сего спасительного гласа, тяжко вздохнул и — побрел домой, питаясь именем божиим. Путь не ближний, а потому и времени прошло немало, пока я дополз до села Горбылей. Как же подивился, увидя, что все в доме нашем переправляется, и когда один старый незнакомый пан, услыша, кто я и откуда, сказал: «Ступай-ка, дружок, на хутор, принадлежавший прежде твоему пану, а ныне составляющий мою собственность вместе с сим домом, со всеми крестьянами, полями, лугами и пашнями; я сегодня там буду и дам тебе работу. Я называюсь — Артамон Зубарь!» Поклонясь в ноги новому пану, я отправился на сей хутор. Здесь также нашел великую перестройку как в панском доме, так и в крестьянских избах. Помещик перед закатом солнечным приехал сюда и, собравши около себя всех работников и крестьян, объявил, что я по всем работам, полевым и домашним, назначаюсь управителем и чтобы все повиновались мне, как ему самому. После всего, распустя всех, сказал мне: «Лука! я наслышался о верности твоей к прежнему пану, из чего заключая, что ты и ко мне не менее будешь усерден, делаю тебя вторым после меня во всех распорядках по сему имению!» После сего, дав пространные наставления, что и как должен я делать, оставил здесь, где и до сих пор нахожусь. За час до твоего сюда прибытия он был на сем хуторе, объявил, что ты скоро с двумя молодыми сопутниками сюда же прибудешь, и приказал, чтобы во все время, какое все здесь проведете, довольствуемы были, как настоящие хозяева, со всевозможным обилием.

Глава XII

Умиление

Пан Харитон не мог довольно надивиться добродушию и гостеприимству пана Артамона. Рассуждая о сем предмете, они вступили в покои и, проходя из комнаты в комнату, не могли налюбоваться чистотою и опрятностию, хотя, впрочем, все уборы домашние были весьма просты. Вошед в маленький покойчик об одном окне, они увидели большой кивот, в коем стояло пять больших образов в новых серебряных окладах. Пан Харитон присмотрелся и вскоре, быстро отскочив, вскричал в восторге:

— Боже милосердый! как возблагодарить за такое благодеяние, хотя бы оно сделано было и на самое короткое время! Посмотрите, молодые друзья мои и братья! В этом кивоте заключаются лики угодников, соименных мне и каждому из моего семейства! Присмотритесь, прочтите! Вот образ моего ангела, вот ангел жены моей, вот обеих дочерей моих, а сей последний сына Власа! Но не понимаю, что значат два маленькие образа в вызолоченных окладах, унизанные жемчугом и стоящие в ногах дочерних образов; а имена их: Лолий и Юлия! Вероятно, что у благочестивого мужа есть на попечении еще две особы, носящие имена сии; ибо, сколько мне по слуху известно, во всем родстве пана Артамона никто так не называется!

Пан Харитон, посмотрев еще на образа, пришел в несказанное умиление, начал молиться вслух и так усердно, что сопутники его до глубины сердец были тронуты и сам молящийся прослезился. По окончании сего богоугодного дела все три путешественника назначили себе спальню; и хотя усердный Лука показывал три кровати совсем готовые, но пан Харитон с твердостию сказал:

— Если тебе поручено от нового пана делать нам угодное, за что и благодарим его чистосердечно, то вели наносить сюда побольше свежего сена и доставь чистый ковер. Не так ли, дорогие братья, должны ночевать странствующие запорожцы?

— Ты говоришь дельно,— отвечал Дубонос, и Лука со всех ног бросился исполнить данное приказание.

Наши гости уселись в большой комнате на лавке, раскурили трубки и в безмолвии смотрели на закатывающееся великое светило небесное. Наконец оно скрылось, заря вечерняя, мало-помалу бледнея, скоро совсем потухла, и

серебристый месяц покатился по голубому своду; глубокая тишина распростерлась по лицу всея природы, и Дубонос воззвал:

— Не правда ли, пан Харитон, что надежда на благость провидения и совершенное предание участи нашей на волю всемилосердого никогда не остаются без награды? Не ты ли за несколько часов готов был роптать на свою горькую долю? Однако теперь согласись, что если бы от того не удержался, то поступил бы весьма неразумно и теперь бы сам себя стыдился!

— Пусть так,— сказал пан Харитон, обратясь к Дубоносу,— ты дорогою утешал меня мыслию, что, коль скоро угодно будет провидению породнить нас, ваши родители в состоянии будут выкупить мое имение и возвратить мне; однако я тогда не подумал о дальнейшем и дал место в сердце своем надежде на радость. Теперь родилась во мне новая мысль, и сердце заныло, оледенело; эта мысль заключала в себе вопрос: что ж будет со мною, что будет с моею старухою, когда вы обеих дочерей моих увезете в Сечь Запорожскую? Хотя бы оба дома, бывшие моими — сей на хуторе, и другой в селе,— опять сделались моими, то без Раисы и Лидии, долженствовавших быть лучшим их украшением, превратятся для нас в мрачные могилы!

— Эх, пан Харитон! — воззвал Дубонос,— ты совсем не хочешь уняться и сам зовешь к себе мрачного духа уныния! Не может ли один миг преобразить вид всея вселенныя? Зачем же нам прежде времени горевать, когда надежда манит нас обеими руками ко храму радости?

Переменив предмет разговора, они провели остальное время весьма весело, поужинали по-сельски и мирно почивали на сенном ложе.

Глава XIII

Новая радость

На другой день, едва летнее солнце показалось из-за небосклона, когда молодые запорожцы спали еще крепко-накрепко, пан Харитон вскочил с постели, наскоро оделся и пустился — нужно ли отгадывать куда? точно так — на голубятню! За ним следовал Лука, лукаво улыбаясь. Когда они взошли на верх лестницы, то слуга весело молвил:

— Видишь ли, пан Харитон, что как рано ни встал ты, а я предупредил тебя. Вот у дверей лежит целый мешок распаренной пшеницы, и вот стоят два ведра свежей воды на обед здешних хозяев.

Пан Харитон, взяв мешок, а Лука ведры, вступили во внутренность. Голуби, зная время, встрепенулись и целыми стаями бросились к пришельцам. Когда пан рассыпал корм в расставленные по разным местам корытца, а слуга разливал по другим питье, то ручные птицы садились им на плеча и на головы, радостно ворковали и порхали с одного места на другое. Это зрелище привело пана Харитона в несказанный восторг; он брал пернатых друзей на руки, гладил их и целовал; на глазах его блистали слезы, сладкие слезы душевной чувствительности и сердечного умиления. Он сел у одного корыта и, поглаживая своих любимцев, упражнявшихся около пшеницы, промолвил:

— Надобно сказать правду, что пан Артамон или добродетельнейший человек, старающийся всеми мерами услаждать горести своих собратий, или искуснейший мучитель, кажущий умирающему от голоду прекрасное кушанье, и когда сей несчастный протягивает к оному свои руки, то его без милосердия прогоняют, твердя: «Поди умирай в другом месте!»

Когда Лука увидел, что пан Харитон не может довольно насладиться своею любимою охотою, то сказал:

— Не пора ли и тебе, пан, с гостьми твоими подумать о завтраке, а после, до обеда, можешь осмотреть весь хутор и порадоваться, видя, что он достался не в дурные руки?

Пан Харитон, горя нетерпением рассказать о новом, неописанном удовольствии, какое вкушал он на голубятне, спустился с лестницы и немало подивился, увидя, что солнце было весьма уже высоко в небе. Он уподоблялся тогда древнему иноку, который, слушая пение райской птички, не чувствовал, как протекли тысяча лет: воркованье голубей было для него не менее очаровательно. Вошед в большую комнату панского дома, он остановился посередине, увидя накрытый стол и крестовых братьев своих, сидящих у окна в сад, в некотором смущении. Едва услышали они громкую походку, то вдруг оглянулись и, видя своего старшего брата, бросились к нему навстречу с распростертыми объятиями.

— Куда занесли тебя ведьмы,— вскричал Дубонос,— что мы до сей поры тебя не видали?

— Братья! — отвечал им пан Харитон,— я был вне себя — я был на голубятне! О, если бы вам быть там случилось!

— Видишь,— сказал Дубонос,— что предсказания мои начинают сбываться! Потерпим и посмотрим, что будет далее! Я с своей стороны твердо уверен, что особенное бедствие — есть преддверие ко храму счастия, так как за необыкновенными удачами всегда следуют по пятам непомерные потери.

Глава XIV

То же, да не в том виде

После обеда все три крестовые брата под предводительством Луки пошли осмотреть настоящее состояние сего поместья. Они начали с саду, и весьма были довольны, видя, что всякая вредная трава выщипана, деревья подчищены так, что ни одного усохшего сучка нигде не видно было, зато на каждом число плодов, как казалось, превышало число листьев. Довольный участок земли определен для цветника. Налюбовавшись сим прекрасным зрелищем и полакомясь плодами, они пустились далее. В конюшне нашли три статные лошади, а в ближнем сарае новую повозку и возок. Пробравшись на гумно, они увидели множество огромных стогов разного хлеба, вокруг коих толпилось бесчисленное множество дворовых птиц.

Пан Харитон на каждом шаге восклицал радостно, а младшие братья усугубляли восторг его уверением и даже божбою, что все им видимое непременно будет принадлежать ему, если только его дочери не заупрямятся.

— Тише, прошу потише! — вскричал пан Харитон,— они обе, как только стали несколько разуметь себя, привыкли повиноваться мне с благоговением, и стоит отцу произнести одно слово прежним родительским голосом...

— Нет, пан Харитон! — отвечал быстро Дубонос,— запорожцы — ты, верно, наслышался — принужденной любви не терпят! Да и что приятности получать прекрасный хлеб из чьей-нибудь руки, когда в глазах дающего вижу слезы горести и на всем лице убийственное уныние?

— Справедливо! — сказал пан Харитон,— но дочери мои так еще робки, так неопытны в делах любовных, что первые молодые достойные люди, представляемые в жени-

хи отцом, непременно должны понравиться, и я уверен, что с первого взгляда понравятся. Одно, что меня останавливает предаться сей лестной надежде, есть сомнение, что они в глазах ваших не будут иметь столько достоинств.

— Полно, полно, любезный брат! — воззвал Дубонос,— одно время выказывает обыкновенно последствие наших замыслов и поступков. Пойдем теперь и посмотрим на хуторы врагов твоих, панов Иванов! Тебе, как давнишнему соседу, должно быть весьма знакомо, в каком состоянии они были до поступления во власть пана Артамона; увидим все и сравним с тем, в каком теперь находятся.

Они пошли, осмотрели все внимательным оком и везде увидели совершенный порядок, хозяйственное устройство, счастливое изобилие. Быв упражнены сим веселым занятием, они и не приметили, как солнце начало клониться к закату. Идучи домой, они встречены были великим стадом тучных быков и коров, овец и баранов.

— Кому принадлежат богатые стада сии? — спросил пан Харитон и остановился, дабы полюбоваться сельскою, давно не виданною им, картиною.

— Кому другому! — отвечал Лука,— они разделены на все три хутора и пасутся на лугах, для каждого особо отмежеванных.

— Благополучный человек! — сказал с тяжким вздохом пан Харитон.

— Он никогда и ни с кем не позывался,— отвечал простосердечный Лука, и все в молчании возвратились на свое становище.

Глава XV

Приятные вести

Как прошел сей день, почти так же прошло довольно времени. Пан Харитон не пропускал ни одного утра, чтобы не посетить голубятни, когда исправный слуга взбирался туда с кормом и пойлом; послеобеденное время посвящено было прогулкам. Иногда брали они с собою ружья или уды и, на рассвете отправясь за добычею, возвращались ввечеру домой, утомленные телом, но бодрые духом и веселые сердцем. Одно только обстоятельство беспокоило наших друзей, а особливо пана Харитона: они около двух недель не только не видали своего доброго хозяина, но даже не

получали о нем никакого известия. Все начали скучать: молодые братья, что не видят и начала к исполнению страстных желаний своих взглянуть на милых дочерей старшего брата; а сей досадовал, что дался в обман, поверив пану Артамону, что весьма скоро, хотя на самое короткое время, соединится со своим семейством. Такое невеселое расположение сердец у троих друзей не мешало им продолжать обыкновенные свои занятия, то есть пан Харитон каждое утро лазил на голубятню, а сошедши с нее, все вместе бродили по лесам и болотам за куликами и утками или, сидя на крутом берегу Псела, приманивали к себе язей и карпов.

Однажды, немного спустя за полдень, все три друга, держа в руках по торбе, прилежно смотрели на песчаное дно речки и, завидя ползающих раков, весьма удобно их ловили; вдруг является на берегу Лука и сколько есть в нем силы кричит: «Письмо от пана Артамона!» Все вздрогнули от радости и бросились на берег. «Где, где?» — вопили они, и Лука подал Дубоносу запечатанный сверток бумаги. Сей запорожец, стряхнув с рук воду, разломал печать и,— между тем, как по данному паном Харитоном знаку Лука отошел в сторону,— прочел вслух следующее:

«Любезные друзья! Не извиняюсь перед вами, что так долго молчал о себе и о предметах, столько для вас занимательных. Важные семейственные дела — однако ж совсем не похожие на позыванья — до сего времени задерживали меня в городе. Все нужное я кончил с успехом и очень тем доволен. Мне известно место пребывания родных твоих, пан Харитон, и завтра же отправляюсь к моему приятелю, у коего полувдовая жена и полуосиротевшие дети нашли призрение. По прошествии еще одного или двух дней буду я к вам в гости с матерью, с детьми ее и с паном, у коего найду их. Будьте готовы принять всех так, чтоб никому не было тесно. Прощайте.

Артамон Зубарь».

Лица троих друзей покрылись краской радости, и взоры их заблистали.

— Слава богу,— воззвал торжественно пан Харитон, не стараясь скрыть своего восторга,— слава богу, что мы весьма скоро увидим развязку нашего дела! Если милосердому промыслу не угодно будет простить меня за прошедшие непорядки, бесчинства и даже беззакония, то, соединясь с моими братьями теснейшим союзом, брошусь на

колени пред добродетельным мужем, который простер к ним руку помощи во время истинного бедствия, и буду умолять его не оставить своим покровом и защитой злополучное семейство; после того брошусь в бричку, сяду посереди вас, прижму обоих к осиротевшему сердцу, пошлю последний болезненный вздох к моей родине, и — полетим в Сечь благословенную!

Друзья одобрили такие разумные мысли, оделись и возвратились домой. Тут каждый из них несколько раз прочел радостное письмо и вслух и про себя, и все вообще заключили, что в нем, кроме добрых вестей, ничего не сказано, а потому положено остальные два дня провести в сердечном веселии и душевном спокойствии. Они и действительно провели время сие без скуки, хотя всякий раз с бóльшим удовольствием смотрели на закат солнца, чем на его восхождение.

Бдительный Лука, узнав заблаговременно, что в скором времени будет к ним пан Артамон с многими гостями, в числе коих прибудет именитая шляхтянка с двумя дочерьми и сыном, со всем усердием принялся за нужные распорядки, чтобы все посетители могли быть размещены удобно и приятно. К исходу другого дня все готово было к принятию ожидаемых, сердца друзей сильно бились, вздохи волновали их груди, но солнце закатилось, румяная заря запылала на вечернем небе и вскоре погасла; мрак распростерся по лицу природы, грусть и уныние объяли сердца и души наших братьев. До самой полуночи сидели они на крыльце, не сказав один другому ни десяти слов; после того, вошед в свою опочивальню, они опустились на душистое сено.

— Прощай, брат Харитон! добра тебе ночь! — сказали в один голос молодые запорожцы; пан Харитон вместо ответа вздохнул так, что в третьей комнате слышно было.

Глава XVI

Чего тут ожидать доброго?

На другой день, когда Дубонос и Нечоса проснулись, то старшего брата не взвидели уже на сене.

— Нетерпение его не меньше нашего,— заметил Нечоса, одеваясь проворно.

— Кажется, это весьма естественно,— отвечал Дубонос,— известность всегда менее ведет за собой хлопот, чем неизвестность, хотя бы это касалось до будущего нашего блаженства или погибели!

Покудова они оделись, умылись, сотворили свои молитвы и вышли в большую комнату, было уже довольно не рано, почему немало подивились, что старшего брата не нашли и за завтраком, который проворным Лукою, бывавшим с прежним паном своим неоднократно в Миргороде, один раз в Полтаве и, наконец, в Батурине, приготовлен был в наилучшем виде и вкусе. Молодые люди не знали, чему приписать столь раннее отсутствие своего опытного друга; но когда призванный Лука уведомил, что пан Харитон с первым появлением солнца совсем одетый вышел из дому в сад, запретив ему, верному слуге, следовать за собой, они пришли от того в большое беспокойство и, оставя завтрак нетронутым, пустились его отыскивать.

Обегав весь сад вдоль и поперек, они нашли наконец своего собрата, сидящего на траве у забора, под тению развесистого вяза. Лицо его казалось встревоженным, и взоры были потуплены в землю.

— Что с тобою сделалось? — вскричал Дубонос,— ты теперь походишь на такого запорожца, который из-под Турки возвращается в свой курень без оселедца [1] и — с пустыми руками!

— Любезные братья,— говорил пан Харитон, вставая с земли,— если бы вы знали, что я видел и что слышал!

— А что такое? Неужели Змея Горыныча, которого так испугался?

— Почти так, но только не одного, а двух!

— Ахти! Как это случилось и куда сии змеи скрылись?

— Выслушайте меня, и вы согласитесь, что я имею основательную причину призадуматься. Будучи во всю ночь удручаем угрюмыми мыслями, я не смыкал глаз ни на минуту. Что бы могло принудить умного, обстоятельного пана Артамона не сдержать слова, добровольно мне данного? Ах, вероятно, он раздумал и не хочет уже докончить мое счастие! Легко станется, что злобные, мстительные паны Иваны нашли средство понудить своего дядю возненавидеть меня столько же, сколько сами ненавидят! Для чего не знаю убежища, данного моему семейству! Сейчас

[1] Что значило у запорожцев слово *оселедец,* объяснено в повести моей под наванием «Бурсак».

полетел бы туда с друзьями своими и, поблагодаря хозяина за оказанное благодеяние, умолил бы его не оставлять и впредь внушений человеколюбия! Но теперь — что буду делать, куда направлю шаги, дабы проведать, где вдова моя и сироты, при всем изобилии, вздыхают и горюют? Мне известны сердца и души жены моей и детей. Несмотря на крутой нрав мой, они меня любили, и надеюсь, что и до сего времени любят. Правда, я навлек на них несчастие; но и сам не низвержен ли в пропасть злополучия? Неужели не достоин я сожаления? Такие горестные мысли терзали мое сердце, и так посудите, как обрадовался я, увидя на востоке зарю огненную! Быстро вскочил с своей постели, и пока умылся и оделся, то блестящий шар огненный воссиял на небе. Я бросился в сад, где в чаще вишневых дерев, павши на колени, начал совершать молитвы.

Глава XVII

Занимательный разговор

— Когда кончил я сие дело,— продолжал пан Харитон,— столько усладительное для души каждого человека, а особливо для души несчастного, то начал расхаживать по саду, а пришед на сие место, сел на зеленой траве, и чтобы сколько-нибудь себя рассеять, а притом и вам дать знать о своем местопребывании на случай, если б вы искать меня вздумали, я начал громко свистать и петь казацкие песни.

Язык и губы весьма хорошо исправляли свою должность, так что мои свисты далеко раздавались в окружности; но мысли устремлены были к моему семейству, и при воображении о близкой и вечной с ним разлуке дрожь разливалась в моих жилах, губы леденели, я умолкал и погружался в грусть несносную. В один раз, во время довольно продолжительного безмолвия, я услышал в соседнем саду мужские голоса, ближе и ближе ко мне подававшиеся. Полюбопытствовав узнать, кто в такую пору загулял в сей сад Артамонов, я оборачиваюсь лицом к плетню, смотрю и — цепенею от удивления и даже ужаса, увидя обоих врагов моих, панов Иванов, стоявших под старым грушевым деревом. Чего тут ожидать доброго? Может быть, они уже знают, что я тут поселен на время! Вероятно, что мои насвистыванья и песни коснулись до их слуха, и, может

быть, они начали уже совещаться, чтоб открыть снова позыванья и, лиша меня всего блага, остававшегося на земле, лишить и того, какого еще грешник может ожидать на небеси! Я притаил дыхание, душа моя беспрестанно переселялась из своего места в глаза и уши.

— Твоя правда,— сказал Иван старший,— что всей жизни нашей недостаточно, чтобы в полной мере возблагодарить своего дядю за великодушный его подарок.

— Да! — отвечал Иван младший,— возвратить нам сии хуторы со всеми угодьями, и притом в наилучшем виде, и из обнищалых шляхтичей сделать опять достаточных, есть такое благодеяние, которого едва ли мы заслуживали за свое безрассудство чрез десятилетние позыванья, оказанное вопреки его советам и даже угрозам.

— Однако согласись, друг мой,— возразил Иван старший,— что мы не столько виноваты, как злой, мстительный Заноза, который открыл войну, застрелив множество моих кроликов. Что за важность, если и в самом деле бедные зверьки погрызли в саду его несколько вишневых отпрысков! Деревьев не поят и не кормят, а от корней их выходят даром молодые деревья; напротив того — всякое животное требует корму и приюту!

— Полно, полно! — подхватил Иван младший,— слава богу, дело уже прошлое! Однако согласись, что хотя Заноза был зачинщик ссоры, но ты подал к оной повод!

— Как так? Разве я подучил кроликов залезть в сад его и грызть растения?

— Не то, друг мой! Как скоро услышали мы ружейные выстрелы, увидели побитых кроликов и узнали тому причину, то тебе следовало сказать: «Пан Харитон! не по-соседски поступаешь! На что похожа теперешняя твоя храбрость? Когда увидел, что мои кролики у тебя в саду напроказили, то следовало призвать меня, показать и исчислить порчу, и я допустил бы тебя вместо попорченных деревьев вырыть с корнями в саду моем столько же целых; а теперь мы — квит!» Не правда ли, что Занозе, сколько бы он зол ни был, ничего не оставалось делать, как, поевши твоих кроликов, с терпением ожидать, пока не выйдут из земли новые отростки? Нет! тебе вздумалось огреть его колом по макуше, и вот истинное начало пагубного позыванья, сделавшего несчастными три семейства.

— Оставим это! Благодаря бога и доброго дядю, мы получили больше, чем потеряли. Но что-то будет с паном Занозою? Как же встревожится он, как ошалеет, когда узнает

о перемене нашего состояния! Поделом ему, окаянному! Если бы и в самом деле вышел справедливым разнесшийся слух, что какие-то два молодые богатые запорожца пожелали видеть дочерей его и, на них женясь, выкупить ему как хутор со всеми угодьями, так и сельский дом, то я заклинаюсь до конца жизни не выкурить трубки тютюну, если этот головорез утерпит, чтобы сызнова не начать *позываться* с нами или с кем другим, отчего опять потеряет все, что по милости зятьев будет для него приобретено!

— Почему же ты так думаешь? Дурачиться свойственно человеку во всяком состоянии и возрасте; но кто не вовсе лишен рассудка, тот, рано или поздно, а узнает, что идет по пути неправому. Согласись, что пан Харитон неглуп, и надобно думать, что путешествие в Полтаву, оттуда в Батурин, а там переселение в городскую тюрьму могут вразумить и самого неразумного. Если нам так опротивели тяжбы, то почему имеем право заключать, что бывший наш сосед, ничего не видавший от них, кроме одного горя, и до сих пор не угомонился?

— Я согласен, следуя внушению добродушного нашего дяди, что и пан Харитон сделался опять счастлив в кругу своего семейства; но все еще боюсь; ох! боюсь, что страсть к позыванью и ненависть к нам не искоренятся из его сердца, пока оно не оледенеет!

— Посмотрим! Дядя Артамон обещал сегодня у нас полдничать, так, верно, что-нибудь скажет нового!

Они удалились. Судите, друзья мои, по собственным сердцам вашим, что чувствовало тогда бедное сердце мое? Угрызение совести, стыд, раскаяние — все терзало, мучило меня несказанно, и в сем-то положении вы меня здесь застали.

Глава XVIII

Свидание после разлуки

Дубонос, приняв ораторский вид, с важностию воззвал:

— Скажи по совести, любезный брат! неужели ты заключение пана Ивана старшего считаешь справедливым, и что если бы сие поместье в самом деле поступило в твою собственность, то ты способен был бы потерять его, начав снова пагубные позыванья?

— Да лишит меня мати божия святого своего покрова, если я к кому-либо питаю теперь ненависть или злобу! Надеюсь, что милосердый бог услышит всегдашние мои молитвы и что дух христианского смирения, кротости и миролюбия не отступит от меня, хотя бы во владение мое поступила вся миргородская сотня!

— Слова твои, голос и взор,— сказал Дубонос, обнимая пана Харитона вместе с своим другом,— подают нам несомненную надежду, что со временем все будем счастливы.

Он хотел было сказать еще что-то философское, как бегущий к ним Лука остановил поток его красноречия.

— Вы, паны, здесь пустомелете,— вопиял слуга,— а того не знаете, что пан Артамон с гостьми приехал на сей хутор!

— Ах! — вскричали в один голос три друга и — онемели.

— Да,— продолжал усердный Лука,— Анфиза с дочерьми в бричке, а пан Артамон и Влас верхами.

Запорожцы опомнились, и пан Харитон спросил:

— Что же ты не упоминаешь о том благодетельном человеке, у которого до сих пор гостили мои домашние?

— Никого не видал более,— отвечал Лука,— кроме старого Архипа, правившего конями.

— Видно, что он сам пощадил твою разборчивость,— заметил Дубонос,— и не захотел явиться перед тобою вместе с предметами его благотворения. Пойдем!

Быстрыми шагами пустились они к панскому дому, и едва вступили на двор, как увидели всех приезжих на крыльце. У пана Харитона начало в глазах двоиться; он сделал несколько шагов вперед и должен был остановиться, ибо голова закружилась, колени задрожали, и если бы молодые братья не поддержали ослабевшего, то он непременно пал бы на землю.

— Мой муж, Харитон, батюшка, батюшка! — раздались разные голоса, и Анфиза с дочерьми и сыном устремилась к безгласному, и все поверглись на грудь его; Раиса, Лидия и Влас целовали его руки и рыдали. Из сомкнутых глаз Харитоновых лились обильные слезы. Дубонос и Нечоса, хотя и запорожцы, не могли также остаться нечувствительными стоиками: смотря в слезящие глаза прелестных сестер, они сами прослезились и наряду с детьми обнимали своего старшего брата. Если бы не подошел к ним

растроганный хозяин, то отец, мать, дети и названые братья до самого вечера не пришли бы в порядок.

— Успокойтесь,— воззвал старец,— я знаю, как сладостно после продолжительной разлуки увидеться с особами, драгоценными для сердца нашего; но это не должно расстроивать ни рассудка, ни здоровья!

Мало-помалу все довольно успокоились, и пан Харитон с чувствительностию благодарил добродушного пана Артамона за труд, предприятый им в отыскании и доставлении к нему всего семейства.

— Это не стоило мне большого труда,— отвечал старец с улыбкой чистосердечия,— как усадить жену твою с дочерьми в бричку, самому с проворным Власом взмоститься на коней и проехать пять верст полем.

— Ты обещал,— произнес пан Харитон, осматриваясь кругом,— познакомить меня с истинным благодетелем; но я его не вижу! Зачем отказался он быть свидетелем моего счастья и моей душевной благодарности? Ах! пока я не увижу его, пока не обниму колен его, никак не могу в полной мере быть спокоен!

— Видеть его очень можно,— сказал пан Артамон,— но он чуждается коленопреклонений от кого бы то ни было, а всегда считает себя весьма много награжденным, когда по милости божией сподобится оказать возможное вспоможение своему ближнему. Поздравь же меня, пан Харитон, с сим счастьем и дай обнять себя, как брата! Так! жена твоя и дети, с самого изгнания из сельского дома, гостили у меня на хуторе.

Пан Харитон задрожал во всем теле и не в силах был отвечать объятиями за объятия. Он смотрел на почтенного ласкового старца дико и недоверчиво и наконец вполголоса произнес:

— Как ты, дядя злейших врагов моих, панов Иванов, ты!..

— Да, да! — воззвал пан Артамон,— я, дядя панов Иванов, но отнюдь не врагов твоих, а особливо теперь, когда я удостоен промыслом вышнего быть помощником в бедах, постигших как их, так и твое семейство.

Пан Харитон в безмолвии пал на грудь добродетельного мужа, и слезы его, слезы благодарности и умиления, оросили щеки старца.

— Ах! как счастлива участь обоих Иванов,— произнес пан Харитон,— что имеют в лице своего дяди воплощенную добродетель! Почто у меня нет такого родственника!

— Не обманывайся,— отвечал пан Артамон с кротостию,— я весьма далек еще, чтоб смел назваться добродетельным; а истинно то, что всегда готов с удовольствием делать другим столько добра, сколько бываю в силах. Впрочем, от самого тебя с сей минуты зависит считать меня родственником, другом, братом! Но об этом после. Познакомь с своим семейством молодых друзей, и войдем в покои.

Пан Харитон встрепенулся и, ударя себя кулаком по лбу, произнес:

— О чем же до сих пор думала ты, голова бестолковая? Жена! дети! — продолжал он торжественно,— в сих двух запорожцах видите вы двух великодушных, истинных друзей моих, братьев; итак! Без их помощи я погиб бы непременно или по меньшей мере лишился бы рассудка. Если бы не они, то вы нашли бы теперь меня — не здесь, в полном уме и здоровым, но в Батурине, в доме сумасшедших! Вы должны за меня отблагодарить их.

Анфиза простерла к молодым друзьям руки, и они осыпали их поцелуями; из объятий матери перешли в объятия дочерей и сына, и все в несказанной радости вступили в панский дом, где вместо оставленного завтрака ожидал их изобильный обед.

Глава XIX

Нужный распорядок

Послеобеденное время проведено в приятных разговорах, в коих господствовали чистосердечие и взаимная, истинно дружеская доверенность. Когда солнце начало склоняться к вечеру, то пан Артамон, встав со скамьи, сказал:

— Мне надобно еще повидаться с племянниками, а потом пуститься в дорогу. Тебя, Анфиза, оставляю на время хозяйкой сего дома. Распоряжай в нем всем, как в своем собственном; здешние слуги и служанки будут повиноваться тебе, как самой Евлампии. Ты, пан Харитон, вместе с своими друзьями можешь заняться хозяйством наружным, и все крестьяне и крестьянки выполнят приказания ваши столько же исправно, как бы оные были мои собственные. Во время сегодняшней беседы нашей Лука повестил о сей воле моей по всему хутору. Для меня было бы

весьма приятно, если бы ты, пан Харитон, сблизился с панами Иванами и чистосердечно с ними примирился. Согласен ли ты забыть существовавшую между вами вражду и во все время, какое пробудешь здесь, считать их не иначе, как доброхотными соседями?

— От всего сердца готов я забыть все оскорбления, обиды и потери, от них претерпенные, а особливо если б был уверен, что и они с своей стороны...

— Не беспокойся, пан Харитон! — воззвал старик и, с веселым видом взяв его за руку, продолжал: — Ты только не противься духу миролюбия основать жилище свое в сердце твоем, а за племянников я ручаюсь. Хотя мне и не всегда можно быть между вами, но и издалека увижу, как вы между собой жить станете. Кто первый подаст повод ко вражде и следующим за тем позываньям, тот навсегда лишится моей дружбы. Всякое зло в мире для меня ненавистно, и если я не всегда делаю добро, так это потому, что я человек. Послушай, пан Харитон! Я думаю, что запорожские друзья твои, не оскорбляя твоей чести, могут сделать первый шаг к примирению твоему с панами Иванами. У сих последних есть сыновья, почти равнолетние Дубоносу и Нечосе; пусть молодые люди между собой познакомятся, подружатся, а это неприметным образом и отцов их зазовет к тебе. Когда я услышу, что сие миролюбивое желание мое исполняется, то помолодею десятью годами и ничего не пожалею, что только может служить к удовлетворению ваших желаний, лишь бы оные основаны были на справедливости.

— Но,— подхватил пан Харитон,— если при всей готовности моей не только к примирению, но и к прочному миру и даже к дружбе с панами Иванами я в том не успею?

— Тогда они пеняй сами на себя,— сказал пан Артамон, пожав плечами,— разве кто обязан дать ответ богу и людям за зло, другими производимое? — Тут помолился он перед иконами, простился с гостями, сел в бричку и пустился на хутор пана Ивана старшего.

Пан Харитон, оставшись временным хозяином всего хутора, с восторгом помышлял о том блаженном времени, когда сделается настоящим помещиком, ибо от проницательных взоров его не скрылось, что Раиса и Лидия с первого взгляда пленили сердца его братьев. Когда он при первом удобном случае объявил жене весь план к приобретению потерянного посредством выкупа, то она и с своей

стороны подтвердила его догадки о впечатлении, произведенном любезными дочерьми над добрыми, великодушными и богатыми юношами.

Наступила ночь, и молодые запорожцы объявили, что опочивальнею своею избирают беседку в саду, стоящую в конце у забора. Пан Харитон, не находя причины оспоривать сего желания, охотно на то склонился. Правда, ему хотелось поскорее сблизить между собою молодых людей, распорядясь так, чтоб они как можно чаще виделись между собою; но и то сказать, что панский дом хотя устроен был удобно и снабжен всем нужным, однако всегдашнее пребывание в нем двух посторонних молодых мужчин могло служить для застенчивых девиц некоторым отягощением. Итак, Лука получил приказание натаскать сена в помянутую беседку, запорожцы удалились, и пан Харитон, опускаясь в постелю, сказал жене:

— Десять лет прошло, как я с таким спокойствием, какое теперь чувствую, не отходил ко сну! Ах, сколько мы будем счастливы, когда сами себе скажем: добрые дочери поправили то, что злой отец расстроил!

— Я имею основательную причину думать,— примолвила жена,— что твои друзья сделали впечатление на сердца дочерей наших!

— С богом! В добрый час! — произнес пан Харитон, и вскоре все в доме успокоились.

Глава XX

Обратимся назад

Думаю, что все, кому случится читать сию повесть, давно уже догадались, что мои молодые запорожцы Дубонос и Нечоса не кто другие, как Никанор и Коронат, ученые сыновья панов Иванов. Что же понудило их сделаться оборотнями? Как очутились они в Батурине, а особливо в тамошней темнице? Прочтем далее.

По возвращении молодых друзей из Полтавы они — о чем мы давно знаем — страстно полюбили прелестных дочерей пана Занозы и получили соответствие. Кому же открыть тайну сердец своих? от кого искать совета и помощи? Объявить прямо родителям, как бы в другом случае и следовало, в их обстоятельствах значило бы навлечь на себя проклятие отцов своих, а бедных красавиц видеть

изувеченными неукротимым паном Харитоном. Итак, любовники прибегли к своему деду, пану Артамону, которого знали в первой молодости и после наслышались о его кротости и великодушии. Сего-то доброго старца посетили они тайно от родителей и открыли со всей пылкостию первой любви состояние сердец своих. Выслушав повесть их с особенным вниманием, он сказал:

— Дети мои! я весьма далек от того, чтобы законную любовь опорочивать, равно как и честные средства, коими она приобретается; однако ж и того не могу одобрить, чтобы заключать обыкновенные союзы без полного согласия родителей, а вы знаете, какую жестокую войну ведут между собою ваши отцы с отцом ваших любовниц! Есть одно только средство, могущее усмирить упрямых ратоборцев и по времени примирить их между собою; однако ж вы должны взять терпение! Вам уже известно, что я по прежним связям веду пространную переписку с членами не только сотенных или полковых, но и войсковой канцелярии. Позыванья отцов ваших с паном Харитоном кончатся так, как и должно, то есть общею гибелию. Если и тогда нравы их не смягчатся, то я готов оказать вам всякое вспоможение; но опять повторяю, что не прежде приступлю к сему, как в помянутое время, которое, как имею причину думать, наступить не замедлит. В течение сего времени вы постарайтесь вызнать нравы невест своих и их обычаи или привычки, которые иногда столь же глубоко вкореняются, как и врожденные склонности. Никогда не забывайте, что вы шляхтичи и что честь должна быть для вас столько же дорога, как самая жизнь. Не подражайте тем чужеземным развратникам, которые готовы резаться или стреляться с друзьями за одно насмешливое слово или даже за один непочтительный взор, а любовниц своих не совестятся доводить до края пропасти и, мгновенно низвергая туда неосторожных, неопытных, легковерных преступниц, считают сие делом богатырским, и кто из таковых витязей не хвастается сим всенародно, тот почитается за самого скромного, честного человека. Я твердо уверен, что вы, быв воспитаны во храме мудрости и чистоты, никогда не поддадитесь льстивому внушению гнусного Асмодея, хотя бы имели все способы к удовлетворению прихотям чувственности.

Старик говорил молодым внукам довольно продолжительную и весьма сильную речь о славе и счастии человека, побеждающего свои страсти, и юноши, выслушав его

с должным вниманием, торжественно объявили, что, следуя внушению рассудка, усовершенствованного познанием философии, они нимало не боятся злых козней Асмодеевых и навсегда пребудут тверды в правилах, почерпнутых ими в полтавской семинарии. Добродушный дед, полагая, что достаточно испытал образ мыслей своих внуков и укрепил их в добродетели, отпустил с миром восвояси, наказывая посещать его тайно, дабы не раздражать своих родителей, давно уже противу него огорченных за обнаружение и охуждение их глупостей.

Глава XXI

Благовременное признание

Никанор и Коронат, быв ободрены ласками деда, возвращались домой весьма довольны своею догадкою — обратиться к нему за помощию и за советом; при всем том им казались излишними и даже смешными увещания пана Артамона, чтоб они в обращении с прелестными сестрами не отступали от путей чести и добродетели.

— Он, конечно, забыл,— произнес с гордой улыбкой Никанор,— что мы питомцы полтавской Минервы и наизусть знаем всю жизнь каждого из древних философов, отличивших себя постоянством и твердостию, которые доходили иногда до бесчувственности; что же мешает нам уподобиться сим великим смертным и в объятиях прелестных сирен дышать чистою платоническою любовию? О дед Артамон! по всему видно, что ты в молодости своей ни в какой семинарии не набирался мудрости!

Из первой части сей повести мы видели, как долго наши стоические философы пребыли тверды в правилах сей секты: все читатели — я надеюсь — еще не забыли ночного приключения на баштане, откуда бедные сестры возвратились домой в полночь и притом в великом беспорядке. Хотя Никанор был тогда, как и во всякое время, храбрее и предприимчивее друга своего Короната, хотя утешал его припоминанием дорогого правила: *все к лучшему,* но, оставшись один, он погрузился в унылую задумчивость и, поразмысля хорошенько *о причинах и последствиях,* ужаснулся и со вздохом произнес:

— Ах! дед Артамон, и не учась по-латыни, во сто раз умнее многоученых своих внуков, которые в существе не

что другое, как высокомерные глупцы, нимало самих себя не разумеющие!

Никанор всю ночь провел без сна, и едва заря занялась на небе, он был уже в дороге. Куда? Нетрудно догадаться: к хутору доброго умного деда. Во время пути он мысленно сочинял речь по всем правилам хрии, не жалея риторических фигур и не скупясь на самые звонкие выражения. Когда достиг он предмета своего путешествия, то солнце полным кругом блистало на тверди. Быв представлен пред деда, сидевшего за столом с своею старухою вместе с несколькими гостями, у него в доме ночевавшими, Никанор, с городскою учтивостию отдав каждому свое почтение, сказал:

— Дедушка! я имею крайнюю надобность переговорить с тобою один на один!

— Ба, ба! — сказал пан Артамон с дружелюбною улыбкою,— пойдем в мою моленную; там никто не помешает тебе свободно объявлять свою тайну.

— Не лучше ли отложить тебе, любезный внук, важную твою исповедь до окончания завтрака? — спросила добрая Евлампия с заботливостию.

— Нет, бабушка. Завтракать можно после или и совсем без него обойтись; но без умного совета, когда настоит в нем крайняя нужда...

— Пойдем, пойдем! — прервал слова его дед, и на лице старца изобразились заботливость и беспокойство.

Вошед в уединенную комнату, пан Артамон запер за собою двери и, севши на лавке, произнес:

— Ну, дорогой внук! начинай свое открытие.

Он не успел сказать более ни одного слова, как Никанор, со всем смирением раскаивающегося грешника, припал к ногам его и со слезами на глазах начал рассказывать о своем и друга своего падении, случившемся на баштане пана Харитона. Старик, выслушав все до конца, покачал головою и печально говорил:

— Вот до каких последствий доводит нас излишняя безрассудная надеянность на свои силы! И самый сатана из блистательнейших духов, парящих окрест престола всемогущего, не сделался бы мрачнейшим чудовищем в преисподних геенны, если бы не возомнил, что он могущественнее, нежели каков был на самом деле! Но что пролито, то полно не бывает. Видишь, что в несколько минут можно так напроказить, что во всю жизнь памятно будет!

Надобно поправить порчу, и чем скорее, тем лучше! Повинуйтесь моим приказаниям и надейтесь на бога.

Тогда пан Артамон потребовал, чтоб Никанор и друг его Коронат в тот же день повечеру обвенчались на милых грешницах, но хранили б сие в непроницаемой тайне. Он назначил для сего и церковь, священник коей издавна был ему хороший приятель, о чем и мы уже знаем, равно как и о дальнейшем образе жизни новобрачных. Теперь будет уже для нас понятно, куда Никанор и Коронат скрылись после побега из храма их любви — из хаты шинкаря Кирика и подъяремницы его Улитты. Пан Артамон принял их с лаской и доброхотством, и когда услышал о происшедшем, то сказал с улыбкою:

— Теперь настало время и вам действовать. Вчера получил я письмо от давнишнего моего приятеля, старшины батуринского, который по просьбе моей ни на минуту не выпускает из виду пана Харитона и дел его, производящихся в тамошней канцелярии: от него-то известно мне о имеющем вскоре последовать определении, по силе коего как пан Харитон, так и отцы ваши лишены будут всего имения и выгнаны из домов своих. Сегодня же отправьтесь в Батурин, а я снабжу вас письмом к помянутому старшине, нужным количеством денег и наставлением, как действовать, дабы под чужими именами, пользуясь крайними обстоятельствами пана Занозы, заслужить его доверенность, обязать одолжениями и всеми мерами постараться довести до того расположения и дружбы, до которых ловкие молодые люди без особенного труда всякого довести могут! Поезжайте с богом и все дальнейшее предоставьте моему попечению. Время от времени вы будете получать от меня извещения о здешних обстоятельствах и равным образом уведомлять меня о себе и об успехах в нашем общем намерении.

Молодые друзья отправились в дорогу; приступим же и мы к окончанию сей повести.

Глава XXII

Быстрые шаги от вражды к согласию

Два следующие дня, которые провел пан Харитон со всем семейством на прежнем своем хуторе, пролетели как одна радостная, счастливая минута. Родители с несказанным удовольствием примечали, что занимательные, столь-

ко необходимые для них запорожцы час от часу сильно прилеплялись к дочерям их, и как Анфизе были они совершенно известны, равно как и прежняя связь их и ее последствия, то она — на глаза своего мужа — казалась весьма холоднокровною в таком деле, от окончания коего зависело будущее всех их благосостояние или конечная погибель.

— Ты совершенно беспечная, неразумная мать,— твердил он всякий раз, когда случалось быть им наедине,— что, когда молодые достойные люди начинают казаться влюбленными в дочерей твоих, ты не стараешься выказать ни одного их достоинства, ни одного из совершенств душевных или доброт сердечных! Ты до такой степени невнимательна к собственной своей пользе, к своему спасению, что, отправляясь сюда с хутора пана Артамона, взяла их с собою без праздничных даже платьев! Разве не знаешь, что если самую белую овечку выпачкать в грязи и навозе, то она походить будет на самого гадкого поросенка? Не думаю, чтобы благодетельный старик, сделав столь много для нас доброго, до сей поры оставил жену мою и дочерей таскаться в том же платье, в коем их вывез из села Горбылей.

Анфиза слушала его с улыбкою и на сильные упреки мужа обыкновенно отвечала:

— Погоди, друг мой! Придет время, так и мы не хуже других принарядимся!

В продолжение сего времени молодые запорожцы — мы не находим за нужное отнимать у них сие название, подружившее их с таким человеком, от коего некоторым образом зависела дальнейшая их участь,— успели уже несколько раз побывать в домах панов Иванов и по возвращении оттоле не могли нахвалиться ласковым приемом. Пан Харитон первоначально спросил:

— Не было ли и обо мне речи?

— И очень много!

— Верно, их ругательства и злословия не иссякали?

— Совсем противное! Они от всего сердца радуются, что добрый дядя их не им одним оказывает благодеяния. Даже Иван старший, который показался нам сердитее, угрюмее и надменнее своего друга Ивана младшего, при расставанье сказал: «Объявите временному соседу моему, пану Харитону, что если и он, подобно нам, переменил свои мысли и правила, то хотя бы прожил несчетные годы, мы готовы быть — при жизни нашей — добрыми его соседями; а при смерти — завещаем своим детям сохранить тот

же образ мыслей и поступков. Уверьте его, что я сколько был зол на него за смертную обиду, нанесенную моим кроликам, столько злюсь теперь на самого себя за поражение, сделанное мною колом по его макуше!»

— Насилу образумился! — молвил пан Харитон,— но что вы ничего не скажете о старших сыновьях их, которые, для отличия от прочих детей шляхетских, по десяти лет мучимы были в Полтаве над латынью?

— Мы их не видали; ибо они довольно давно по семейным делам усланы к некоторым родственникам. Впрочем, если можно верить свидетельству отцов о своих детях, то Никанор и Коронат молодцы неглупые, отважные и могут служить подпорой родителям во время старости!

— Что-то не верится! — сказал протяжно пан Харитон,— я и от сказочников не слыхивал, чтобы ученые сыновья когда-либо заботились о беспомощной родне своей! Впрочем, это до нас не касается.

На третий после сего день около полудня Анфиза сказала своему мужу:

— Тебе уже известно, что по милости пана Артамона мы жили на его хуторе вместе с семействами панов Иванов. Жены их и дочери весьма любезны, миролюбивы и незлоязычны: они, утешая нас в несчастии, наперерыв старались делать нам возможные угождения и услуги; позволь же мне теперь с дочерьми навестить их и тем исполнить долг благодарности и доказать, что не менее других знаем правила благопристойности!

Пан Харитон, хотя после некоторого упорства, склонился, однако, на представления жены, и она немедленно с Раисою и Лидией отправилась на хутор пана Ивана старшего, где — разумеется — оба семейства их ожидали.

Пан Харитон, оставшись один с любезными своими запорожцами, сел у окна и, смотря в задумчивости на голубятню, считал на досуге птиц, садившихся на крышке для отдыха после воздушного плавания; молодые друзья подошли к нему, уселись по обе стороны и, также смотря на голубятню, помогали, казалось, старшему брату поверять его счеты. Приметно было, что на сердце у каждого лежало много, и даже почти наверное можно бы сказать, о чем они размышляли, но ни один не вымолвил ни слова. Такое стеснительное положение было для всех весьма неприятно, а особливо для людей молодых и влюбленных, и потому сии последние решились прервать молчание и приступить к делу.

Глава XXIII

Давно желанное предложение

— Послушай, пан Харитон! — воззвал Никанор торжественно,— что скажу я от своего имени и от имени своего младшего брата! Хотя мы и недолгое время провели с любезным твоим семейством, но столько пленились красотою и многими достоинствами дочерей твоих, что без них не можем быть счастливыми! Если ты не находишь причины переменить обещание, данное нам на дороге сюда из Батурина, и если искательства наши у прелестных сестер сделали какое-либо на сердца их приятное впечатление, то не отрекись дать нам родительское благословение и назови своими сыновьями!

У пана Харитона заблистала радость в пасмурных дотоле взорах, и щеки его покрылись краскою удовольствия, давно ожиданного и наконец полученного. Несколько мгновений смотрел он с нежностию на своих юных братьев и потом, взяв обоих за руки, произнес:

— Я человек простой и чистосердечный и потому без всякого притворства скажу, что предложение ваше исполняет сердце мое неизъяснимою радостию! Не подумайте, что причиною оной есть выкуп моего имения, как вы обещали,— нет, нет! — а единственно то, что и вы с своей стороны понравились дочерям моим; ты — середний брат — Раисе, а ты — младший — Лидии. Они признались в сем матери, от которой ничего скрытного доселе не имели. Теперь-то чувствую, сколько господь бог правосуден и милосерд! Он не оставил меня без наказания за соделанные беспутства и преступления; но, видя чистосердечное раскаяние и наклонность к исправлению, он милует и посылает способы к счастию. С этой минуты хотя истребятся между нами сладостные имена братьев, но место их займут еще сладостнейшие имена отца и сыновей! Подите же, любезные дети, в мои отеческие объятия и примите мое благословение!

Юноши обняли его с сыновнею горячностию и осыпали руки его поцелуями. Пан Харитон, со слезами на глазах взглянув на небо, произнес:

— Боже! прими сердечную клятву мою: все силы души моей посвящены будут отныне на дела, тебе угодные, чрез

которые бы мог я со временем сказать: «Правосудный! Ты не неблагодарному благоволил даровать счастие!»

Когда все опять уселись на прежних местах, то Никанор произнес:

— Пан Артамон столько сделал нам одолжений, столько оказал ласки и доброхотства, что необходимо надобно о намерении нашем его предуведомить и просить о принятии участия в будущих наших праздниках. Я уверен, что такая с нашей стороны вежливость будет для него приятна, а доставлять столь почтенному мужу возможное удовольствие да будет для нас всегдашним законом! Ты, пан Харитон, останешься здесь, а я с другом бросимся на коней и полетим в гостеприимный хутор!

Они распрощались, и пан Харитон, оставшись один, предался сердечной, безмятежной радости, хотя несколько и досадовал, что нет с ним жены и дочерей, в коих сердца мог бы перелить избыток своего восторга и видеть всех счастливыми.

Когда он не знал, чем бы лучше занять волнующиеся мысли свои и отогнать злейшего неприятеля всякого удовольствия — скуку, и только хотел было раскурить трубку, как двери в комнату его растворились и к нему вошли — о Апеллес, о Рафаэль или кто другой из подобных вам искусников! изобразите на полотне или на дереве состояние пана Харитона, в какое пришел он от сего совершенно неожиданного явления: к нему вошли оба паны Иваны! Сколько ни храбр был пан Харитон, но тогда совершенно потерялся; лицо его изменилось, и он, не двигаясь с места, на котором стоял, произнес:

— Прошу присесть! конечно, что-нибудь необыкновенное?

— Ты отгадал,— отвечал с дружескою улыбкою Иван старший,— если бы милосердие божие и добродетели дяди нашего не сделали спасительного переворота в умах и сердцах наших, то мы погибли бы невозвратно со всем потомством! Одолжение твое, оказанное дозволением жене и дочерям посетить жен и дочерей наших, наложило на нас приятные узы благодарности: для сего пришли мы к тебе побеседовать, а после посмотрим, нельзя ли будет поладить делом, какое в головах наших затеялось!

Пан Харитон дал знак слуге, и в одну минуту явилось на столе несколько сулей с разноцветными наливками. С обеих сторон как потчеванье было самое дружелюбное,

так и принятие оного нелицемерное. Неприметным образом сердца пирующих расширились для ощущения живой радости, во взорах каждого блистали кротость и дружелюбие, и всякое слово сопровождаемо было веселою улыбкою.

Глава XXIV

Приятный отказ

Тогда пан Иван старший, обратясь к пану Харитону, произнес:

— Мы весьма довольны твоими ласковыми словами и дружеским угощением, однако собственно не затем пришли сюда. Тот весьма был разумный человек, который первый сказал: «Не купи себе двора, а купи соседа!» Мы, кажется, начали образумливаться и, вероятно, не затеем более позыванья; но чтобы прочнее связать узы возобновленного дружества и навсегда истребить корни столь долгое время существовавшей вражды, злобы и ненависти, то мы нашли к сему самый верный способ: у каждого из нас, обоих Иванов, есть по одному возрастному сыну, и ты имеешь двух милых дочерей, которые в тех уже летах, что пора помышлять о замужестве! За несколько времени до того ужасного дня, когда жену твою с детьми выгнали из дому, сыновья открылись нам в любви к дочерям твоим и умоляли дать им наше благословение. Статочное ли было это дело по тогдашним обстоятельствам! Мы от всего сердца желали тебе конечной погибели, ибо и не воображали, что с участью твоею неразрывными узами скреплена будет и наша участь. Посему, дав каждому любовнику по нескольку добрых ударов киями, с великою грозою запретили произносить в присутствии нашем имена Раисы и Лидии; а чтоб скорее любовный чад выпарился из голов их, то мы отправили обоих к шурину моему на хутор, верстах в тридцати отсюда находящийся, где они и до сих пор проживают. Теперь, при перемене наших обстоятельств, переменились мысли наши, и мы весьма бы охотно назвали дочерей твоих любезными невестками. Если и тебе, пан Харитон, предложение наше не противно, то ударим по рукам и назовем один другого добрыми сватами. Нарочный гонец сегодня же поскачет к сыновьям нашим; завтра они будут здесь, а послезавтра — ты будешь иметь двух новых сыновей, а мы столько же дочерей.

Пан Харитон сидел в великой задумчивости, и на лице его видно было некоторое неудовольствие и досада. Однако ж он скоро оправился и, взглянув на соседов с добросердечием, сказал:

— Истинно жалею, что такое предложение слышу от вас уже поздно и исполнить требование ваше совершенно не в силах. Вы знаете несколько двух молодых запорожцев, прибывших сюда со мною из Батурина. Им обязан я всем, что могу назвать еще своею собственностию, то есть жизнию, целостию рассудка и — душевным спокойствием, которое ношу в сердце своем. Они полюбили дочерей моих и посватались. Посудите сами, мог ли я в чем-либо отказать столь достойным молодым людям, которые — не говоря уже об истинных благодеяниях, мне доселе оказанных,— обладают весьма многими достоинствами, из коих самое меньшее есть достаточное состояние их родителей. Не скрою от вас, дорогие гости и соседи, обещания женихов, что как скоро сделаются они мужьями, то непременно выкупят у пана Артамона сей хутор и дом в селе Горбылях в мою пользу. Как ни высоко ценю добродетели вашего дяди, но искренно сознаюсь, что жить незаслуженными благодеяниями посторонних людей для непривычного к тому человека весьма неприятно, горестно!

— Кинем же это,— воззвал пан Иван старший,— и представим, что о сем предмете ни одного слова говорено между нами не было! Если не можем породниться, то и раздруживаться не надобно. Сыновья наши еще молоды и хотя не скоро, но все же выкинут из голов и сердец теперешние глупости, а особливо когда узнают, что их любезные невозвратно принадлежат другим! Прощай, пан Харитон! Я ожидаю тебя завтра к себе отобедать со всем родством твоим и с друзьями запорожцами. Ты сим обрадуешь всех нас несказанно, ибо уверишь, что примирение наше не есть дело прихоти, лицемерия или своекорыстия.

Они расстались, и пан Харитон, провожая их до ворот двора, уверял честным словом урожденного шляхтича, что он довольно с давнего времени перестал на них злобиться, а с настоящего часа начал считать за истинное счастие быть третьим в их союзе и что никогда не изменит сего намерения, если и они противиться не станут.

Глава XXV

Брачные условия

В самые сумерки запорожцы возвратились, и по их веселым лицам пан Харитон заключил, что они очень довольны приемом хозяина.

— Что же скажете? — воззвал он с нетерпением,— что отвечал вам пан Артамон? Доволен ли нашим распорядком? Будет ли к нам на свадьбу?

— Ты сейчас узнаешь образ мыслей его,— сказал Никанор,— и согласишься, что он более желает собратиям своим счастия, нежели мы когда-либо от него ожидали. Выслушай и суди. Как скоро узнал он, что намерение наше в исполнении своем приближается к желанному концу и что ты от всего сердца согласен составить наше счастие соединением с прекрасными дочерьми твоими, причем объявили общее искреннее желание видеть его с почтенною супругою и друзьями принимающего участие в нашем веселии, то пан Артамон с сияющими от внутреннего удовольствия взорами произнес: «Хорошо, друзья мои, все очень хорошо распоряжено; но я, будучи и в ваших летах, при намерении начать что-нибудь новое всегда хотел предварительно узнать, какие из того произойдут последствия! Посему не осудите, если я сделаю вопрос: что станете вы делать, женясь на дочерях пана Харитона? Положим, что я, сколько склонясь на желание ваше, столько и следуя движению моего сердца, соглашусь весьма выгодно уступить вам как хутор, так и горбылевский дом, со всеми принадлежащими к ним угодьями, но что из того произойдет? Вы, верно, не захотите подражать великому множеству молодых наших шляхтичей, которые, быв рождены и вскормлены, подобно всем домашним животным, не знают за собою других обязанностей, как в урочное время жениться, народить детей, также вскормить их и с равнодушием ожидать посещения смерти? Обязанности к обществу и отечеству для такого трутня суть слова, совершенно не имеющие значения. Итак, я полагаю, что вы, женясь на своих любезных, увезете их на свою родину, где они, сколько от непривычки к новому образу жизни и обращению с людьми, для них чуждыми, столько и от мыслей, что осиротевшие,

неутешные их родители, при всем изобилии в житейских потребностях, горюют беспрестанно и при каждой мысли о милых дочерях, составлявших услаждение для души и сердец их, проливают горькие слезы...

— Перестань! — воззвал пан Харитон прерывающимся голосом, и слезы покатились из глаз его,— перестань! это живое, справедливое описание будущих ощущений моих прежде времени терзает мою внутренность! О мудрый, сердобольный старец! никогда не быв отцом, ты превосходно чувствуешь, что значит быть им!

— Послушай далее, и ты утешишься,— сказал Никанор и продолжал: — «Что же будем делать? — спросил я,— чтобы, удовлетворяя страстному желанию сердец наших, не могли наносить тем тоски и горести сердцам других?» — «Я о сем обстоятельстве думал прежде вас,— отвечал он значительно,— и думал тем обстоятельнее, что вижу себя в деле сем посторонним человеком, принимающим в нем одно дружеское участие. Послушайте: как скоро женитесь вы на дочерях пана Харитона, то я, не требуя ни малейшей платы, отдам в вечное и потомственное владение его как хутор, на коем он теперь проживает, так и дом его в Горбылях и приложу все старание, чтобы родители ваши с семьями своими, оставя Сечь, переселились на всегдашнее жительство к нам. У меня довольно хуторов с панскими домами, хорошо устроенными, где могу разместить их с большею удобностию, нежели с какою размещаются они теперь на своей родине. По глазам вашим вижу, что вы в полной мере одобряете мое предложение; но, молодые друзья! делая всем вам возможную угодливость, я потребую и от вас жертвы, которая, впрочем, нимало не тягостна для людей благородно мыслящих, и жертва сия будет состоять в следующем: по прошествии года после женитьбы, когда увидите, что любовь ваша не бесплодна, вы с мужеством должны вырваться из объятий милых жен и пуститься в Полтаву — послужить отечеству. Молодость, изобильная силами души и крепостию тела, делает человека в это время жизни к тому способнейшим. Ты, Дубонос, вооруженный копьем и саблею, причислен будешь к тамошнему полку; а ты, Нечоса, с пером в руке и чернилицею за поясом, сядешь за канцелярским столом и будешь отличаться проворством пальцев и твердостию терпения. Мне довольно известны ваши нравы и способности. Но чтобы беспрерывными трудами не изнурить себя так, что после — еще в цветущие лета — сделались бы неспособными

к продолжению с ожидаемою пользою службы, а притом порадовать молодых жен и оба семейства, вы в каждое лето можете на несколько недель брать увольнение и, проведши время сие в объятиях родственной любви и дружбы, с новыми силами пускаться опять к полезным занятиям! Согласны ли вы на мое предложение?» Вместо ответа мы бросились в его объятия и едва могли произнести: «О Артамон! как умеешь ты благодетельствовать!»

Пан Харитон, чрезмерно растроганный, возведя благоговейные взоры к небу, воззвал:

— Боже! даруй мужу сему блаженство на небеси; а на земли он уже блаженствует, делая всех окружающих его счастливыми и полезными.

Глава XXVI

Чего недостает еще к свадьбе

Слово, данное панам Иванам, было в точности сдержано, и на другой день пан Харитон со всем семейством и своими друзьями обедал у Ивана старшего, где — разумеется — находился и Иван младший со всем домом. Как сватовство запорожцев не было уже тайною, то и поздравления были бесчисленны. Ничто не могло сравниться с восхищением пана Харитона, видевшего, что его дочери беспрестанно переходили из объятий новых друзей его панов Иванов в объятия жен их. Он не мог надивиться, каким чудом злейшие враги его в столь короткое время могли обратиться в искренних друзей и совершенно забыть об отверженном предложении насчет женитьбы сыновей своих на его дочерях; а что всего более казалось ему задачею, то было обхождение обоих Иванов с запорожцами, которое уподоблялось самому дружескому. Весь день проведен с общим удовольствием, и при расставанье паны Иваны дали слово участвовать в свадебном празднестве. Когда пан Харитон с домашними возвратился на свой хутор, то нашел в доме великую суматоху. Целый обоз с припасами съестными и питейными прислан был от пана Артамона, и множество стряпух суетилось на кухне. Настало утро вожделенное, столь нетерпеливо всеми ожиданное, и все в доме пришло в сильное движение. Крестьяне и крестьянки в праздничных одеждах явились на панский двор и бла-

гочинно встречены были домашними слугами и служанками. По обе стороны у заборов расставлялись длинные столы для будущего пиршества. У самого схода с крыльца толпились машкары и искусники с гудками, волынками и цимбалами. Вершники, высланные на дорогу для встречи пана Артамона с гостьми, прискакали с уведомлением, что он со всеми сопутниками уже в виду, и тогда все домашние собрались в большую комнату, куда вслед за ними явились паны Иваны со своими семействами. Пан Харитон и молодые друзья его одеты были в кармазинные запорожские платья с золотыми кистями, шитые батуринским жидом Давидом, Анфиза, а особливо ее дочери блистали в пышных шелковых нарядах, каковых они дотоле и не видывали. Будучи сами по себе прелестны, они тогда казались несравненно еще прелестнее, и пан Харитон не мог ими налюбоваться. Смотря то на женихов, то на панов Иванов, жен их и детей, он, казалось, говорил: «Это мои дочери! Не правда ли, что они прекрасны, умны, добродетельны?» Все присутствующие понимали значение его взоров, и — стыдливые невесты потупляли глаза в землю, а прочие улыбались.

Вдруг на панском дворе раздался радостный вопль: пан Харитон и его гости бросились к окнам и увидели катящуюся праздничную колымагу пана Артамона, за коею следовало множество колымаг, бричек и возков. Все бывшие в доме выбежали на крыльцо для встречи добродушного хозяина с его провожатыми. Само по себе разумеется, что учтивости — от чистого сердца вырывавшиеся — были со всех сторон бесчисленны; на лице каждого блистала непринужденная радость, все обнимались между собою как родные любящие и любимые братья и сестры и в сем порядке вошли торжественно в большую комнату.

Глава XXVII

Желанная развязка

Смятения, происходящие от избытка сердечной радости, не могут уменьшить чувствований веселящихся, а посему пан Артамон, не дожидаясь, когда утихнут общий шум и восклицания, сказал пану Харитону:

— Что же мы не видим дорогих невест? Их только недостает, чтобы пуститься в Горбыли для отслушания

божественной литургии и совершить, что следовать будет!

Пан Харитон дал глазами знак жене, и она пошла, но — к удивлению всех, шагами нетвердыми и закрывая попеременно глаза то тою, то другой рукою. Вскоре после выхода явилась она опять, а за нею следовали обе дочери ее, держа каждая на трепещущих руках по прекрасному малютке. Все гости остолбенели, а пан Харитон задрожал, побледнел и опустился на скамью, подле коей стоял. Анфиза, паны Иваны, их жены и дети утирали глаза, и один пан Артамон пребывал не только покоен, но даже весел. Раиса и Лидия, подошед к отцу, стали на колена, и каждая, подняв вверх своего младенца, трепещущими губами в один голос произнесла: «Батюшка, будь милостив и — прости!»

Пан Артамон, видя, что у пана Харитона волосы стоят дыбом и страшные, мутные глаза неподвижно обращены были к дочерям его, коими незадолго он столь много гордился, подступив к нему с ласкою, произнес:

— Что же ты, любезный друг, задумался в такую минуту, когда должно быть веселу и даже говорливу? Встань и надлежащим образом благослови дочерей и — внучат!

Пан Харитон заскрыпел зубами, судорожные движения разливались по лицу его и по всему составу. Ему представилось, что злобные паны Иваны заманили в свои сети легковерного дядю и в присутствии такого множества шляхтичей и шляхтянок сделали из него позорище сколько постыдное, столько и убийственное. Добрый пан Артамон, сжалясь над его состоянием, воззвал:

— Ты, конечно, извинишь нас, что столь долгое время таили от тебя истину. Если бы открыли тебе несколько ранее все происшествия, случившиеся по отъезде твоем в Полтаву между твоими домашними, то — ты погиб бы непременно! Подними же дочерей и заключи их в родительские объятия, а после прижми к своему сердцу мужей их, сих молодых, великодушных людей, сих запорожцев, моих любезных внуков, сыновей панов Иванов — Никанора и Короната!

Попытай, кто хочет и надеется, верно изобразить взор и движение, обнаруженные тогда паном Харитоном! Сначала уподобился он пораженному громом или оледенелому, окаменелому истукану; но скоро луч божией благости проник во глубину сердца его, озарил и оживил мрачную

и изнемогшую душу его: он привстал и, возвыся руки к небу, воззвал:

— Премилосердый! неужели я, грешный, удостоен тобою толикого счастия?

С быстротою ветра поднял он дочерей с их малютками, заключил в свои объятия и со слезами нежности говорил к предстоящим:

— Я предсказывал, что дочерям своим обязан буду спасением, и пророчество мое теперь исполнилось! Добрые мои запорожцы! неужели из любви к дочерям моим не усумнились вы подвергнуться заключению в темницу и сделаться моими избавителями? О паны Иваны! сколько много облагодетельствовало вас небо, даровав сыновей столько достойных!

Пан Харитон переходил из объятий отцов в объятия детей, и пан Иван старший сказал:

— Если ты считаешь нас счастливыми, что имеем детьми своими сих запорожцев, то не менее того и ты должен быть доволен, что дочери твои избрали себе мужей, их достойных. В заключение скажу, что после всеблагого бога мы дяде Артамону обязаны величайшею благодарностию!

Общее веселие разлилось на лицах всех присутствующих. Все хотели видеть вблизи прекрасных малюток, которых пан Харитон, выхватя из объятий матерей, держал на обеих руках и, осыпая поцелуями, дозволял каждому к ним приближаться и ласкать всячески. Щеки молодых матерей пылали от сердечного веселия; Анфиза и жены панов Иванов с упоением радости смотрели на общее восхищение, и пан Харитон вскричал:

— Если я вкушаю теперь блаженство, большее, нежели какое вкушал когда-либо во всю жизнь свою, то обязан сим милосердому богу и благодетельному Артамону! Поспешим же принести усерднейшие благодарения наши во храме всевышнего, а после — за веселым обедом — поблагодарим нашего гостеприимного хозяина.

Глава XXVIII

Заключение

По желанию его все в точности исполнилось. Пан Артамон, все его родные, все друзья и гости слушали священнодействие в той же самой церкви, где за год пред тем со-

вершено памятное нам бракосочетание. Из всех горбылевских шляхтичей один пан Агафон извещен был от пана Ивана старшего о сем нечаянном событии и приглашен со всем родством сперва в церковь, а потом на хутор пана Харитона; но, несмотря на сие, церковь наполнена была всеми, сколько-нибудь знавшими того или другого из сих шляхтичей. Хотя пан Харитон и оба паны Иваны ни одним взором не обнаруживали превосходства своего пред прочими, но сие не избавило их от злости, зависти, насмешек и почти явного кощунства. Пан Харитон ясно это видел и, взглядывая на прекрасных дочерей своих, весело улыбался; паны Иваны не менее его были в сем случае проницательны и, также взглядывая на достойных сыновей своих, с бодростию смотрели каждому в лицо и также улыбались. Такое со стороны сих панов невнимание к прежним своим доброхотам, столь ревностно помогавшим им мудрыми советами в каждом позыванье, так оскорбило сих последних, что как скоро окончилась литургия, все они и с семействами — один за другим — убрались из церкви, и, кроме приглашенных да нескольких крестьян и крестьянок, никого там не осталось.

— Так и надобно,— говорил пан Харитон, сходя с церковного крыльца рядом с паном Артамоном и его племянниками,— я согласен, что гордиться и поднимать нос пред кем бы то ни было из того только, что бог ниспослал нам более даров своих, нежели другим, есть признак замершей души и окаменелого сердца; но и того назову глупою головою, безрасчетною, кто с одинакою готовностию отдает всего себя истинному другу, благодетелю и бездушному нахалу, который некогда всемерно ласкал его безумствам только для того, что яствы и напитки глупца услаждали гортань бессовестного!

При въезде на панский двор они встречены были радостными воплями крестьян и крестьянок, собравшихся из всех трех хуторов, и мусикийские орудия — гудки, волынки и цимбалы — подняли такой звон, писк и рев, каких со времени основания хуторов тех никто там и не слыхивал. Когда все приезжие уместились за столами, в трех комнатах расставленными, то сельский священник благословил хлеб и вино, и — пиршество поднялось всеобщее, ибо в то же время домашние служители угощали на дворе толпы крестьянские.

По закате солнечном начались прощанья до следующего дня. По распоряжению пана Артамона пан Иван стар-

ший повел к себе сына Никанора с Раисою; за ним последовал пан Иван младший с Коронатом и Лидиею. Жены их несли малюток на руках, быв сопровождаемы прочими детьми своими, и вскоре каждое семейство скрылось в своем доме. Для гостей, остававшихся еще у пана Харитона, гостеприимный пан Артамон назначил местопребыванием на все свадебные празднества свой большой хутор, куда они и отправились. Когда остались одни домашние, то пан Харитон, провожая древнего друга своего в назначенную для него опочивальню, с чувством благоговения произнес:

— Теперь только в полной мере чувствую, и ничто в свете не искоренит из души моей сего чувства: одни добродетельные могут быть истинно счастливыми!

Несколько дней сряду продолжались празднества по порядку в домах панов Харитона, Ивана старшего и Ивана младшего; наконец — все успокоилось. Посетители, отблагодарив хозяев за самое дружеское угощение, разъехались по местам своим. Вскоре и пан Артамон собрался в дорогу с своею седою подругою. При расставании он с дружелюбием, но вместе с важностию произнес к собравшимся семействам:

— Друзья мои и дети! расставаясь с вами, я даю обещание посещать вас сколько можно чаще. Надеюсь, что всякий раз, когда вступлю ногою на землю, кому-либо из вас принадлежащую, я ничего ощущать не буду, кроме радости в сердце и спокойствия в духе. Оставляю вам поместья ваши в таком виде, что при добром устройстве они время от времени будут приходить в лучшее состояние. Помогайте один другому, чем можете, и вы увидите, что от сего не только никто ничего не потеряет, но, напротив — каждый будет в выигрыше. Молодые люди! помните условие, незадолго между нами заключенное. Исподволь приготовляйтесь, чтобы с наступлением будущей весны охотно могли отправиться в Полтаву. Я сам, вместе с отцами вашими, провожу вас. Но как до сего остается еще довольно свободного времени, то я поручаю тебе, Коронат, описать историю позыванья, происходившего между твоим тестем, отцом и его другом; о пагубных последствиях оного и о счастливом окончании, за которое единственно должно благодарить святой промысл, так милостиво прощающий всякого грешника, чистосердечно раскаивающегося. Чтение сей повести сколько будет полезно для вас, столько и для всякого другого, а особливо для тех несчастных, в

сердцах коих злой дух позыванья начнет разливать яд свой!

Добродушный старец уехал, дав родительское благословение всем, от старшего до младшего, и верное предание гласит, что когда он ни посещал домы своих родственников, то всякий раз был весьма доволен, находя между обитателями оных мир, дружбу, любовь и — счастие! Коронат также исполнил желание деда, и из его-то записок выбрал я для своей повести то, что показалось мне нужным и приличным.

Примечания



В настоящий том включены выходившие отдельными изданиями произведения «Бурсак, малороссийская повесть», «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», а также опубликованная в сборнике «Новые повести Василия Нарежного» — «Мария».

Все произведения печатаются по прижизненным изданиям.

Бурсак

Малороссийская повесть

Впервые: «Бурсак, малороссийская повесть, сочинение Василия Нарежного», ч. 1—4. М., 1824. В изданном посмертно Собрании сочинений — «Романы и повести, сочинения Василия Нарежного», СПб., 1835—1836 — «Бурсак» занял первые два тома.

Впоследствии произведение неоднократно переиздавалось отдельно и включалось в оба вышедшие в советское время сборники «Избранные сочинения» (1956) и «Избранные романы» (1933).

«Бурсак» при своем появлении был сочувственно встречен критикой. Анонимный рецензент журнала «Благонамеренный» писал: «Русский оригинальный роман есть необыкновенное явление в нашей словесности, несмотря на то что у нас около полутора тысячи романов, по каталогам наших книгопродавцев; большая часть переводы; русских же, оригинальных... едва наберется сто романов; и те, за небольшим исключением, можно причислить к самым плохим переводам... Жалеть о том бесполезно! Утешимся надеждою на будущее: *может быть,* и у нас появятся свои Фильдинги, Лафонтены и Скотты — а до того времени предлагаем любителям чтения новый роман г. Нарежного «Бурсак»... Ручаемся, что многие прочтут его с удовольствием... Характеры действу-

ющих лиц оттенены превосходно — особливо характер гетмана. Всего любопытнее в этой повести место происшествия: Малороссия, обычаи малороссийские, гетманский двор, шляхетство, сечь Запорожская, и пр.— описаны превосходно» («Благонамеренный», 1824, ч. XXVII, № XVI, с. 274—275). Рецензент считает, однако, что слог романа «не везде довольно обработан». Поясняя этот упрек, «издатель», то есть А. Измайлов, отмечает, что автор «с излишнею подробностию описывает мелочи, недостойные внимания просвещенных читателей,— беспрерывно появляются на сцену сулеи, чарки, вишневка и пенник». В качестве недостатка отмечено и то, «что все лица в этом романе имеют необыкновенные имена: Сарвилл, Далмат, Авдон, Мукон, Мелитон, Куфий... даже названия селений весьма странны: село Глупцово, село Швитково, сельцо Мигуны...» (там же, с 282).

Как удачный опыт оригинального русского романа оценили «Бурсака» журналы «Литературные листки» (1824, ч. IV, № XIX и XX, с. 49), «Сын отечества» (1824, ч. 97, № XLI, с. 37—38), повторив в то же время обычные в отношении Нарежного упреки в недостатке вкуса, неправильности языка и т. д.

Другой рецензент уже упоминавшегося выше «Благонамеренного» назвал произведение историческим романом: «...В этом истинно самом лучшем у нас и, можно сказать, *историческом* романе — изъяснимся языком наших романтиков — очень много *местности* и *народности*» («Благонамеренный», 1824, ч. XXVII, № XV, с. 216).

В новом свете предстал роман Нарежного с появлением первых произведений Гоголя: критика тотчас обратила внимание на ряд перекличек и параллелей. Так, А. Я. Стороженко (Царынный) в статье «Мысли малороссиянина, по прочтении повестей пасичника Рудаго—Панька...» отметил верное и яркое изображение Нарежным старой бурсы. «Я видел одного умного, почтенного старика протопопа, который, читая «Бурсака», то смеялся, то плакал от избытка чувств и душевного умиления. Старик сознавался, что в бурсаке он видел почти самого себя и что, воспоминая учение свое в Переяславской бурсе, казалось, делался моложе годами 60-тью. «Бурсак», говорил он, списан Нарежным с натуры» («Сын отечества и Северный архив», 1832, № II, с. 103). О сходстве описания бурсы в романе Нарежного и в гоголевском «Вие» писал в 1835 году Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I. М., АН СССР, 1953, с. 304).

«Бурсака» и «Двух Иванов...» Белинский причислял к лучшим романам Нарежного, положившим начало истории этого жанра в русской литературе (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч.,

т. VIII, с. 53). В то же время с позиций более зрелого развития русского реализма критик отмечал в романе «бедность *внутреннего* содержания» (т а м ж е, т. V, с. 564) и традиционность «завязки и развязки» (т а м ж е, т. IX, с. 642).

Высоко оценил произведение Нарежного Н. А. Добролюбов. В его статье, публикуемой под условным названием «О русском историческом романе», говорится: «Честь создания русского романа принадлежит Нарежному... Его «Бурсак» и «Два Ивана» до сих пор не потеряли цены своей...» (Н. А. Д о б р о л ю б о в. Собр. соч. в 9-ти томах, т. I. М.— Л., «Художественная литература», 1961, с. 96).

В 60-е годы прошлого века и позднее, вплоть до нашего времени, критики и литературоведы продолжали сопоставлять «Бурсака» с произведениями Гоголя. В 1861 году А. Григорьев писал в статье «Западничество в русской литературе»: «Разве в Нарежном, например (в особенности в «Бурсаке» его), не видать тех элементов, из которых слагаются потом у Гоголя «Вий», «Тарас Бульба» и т. д.? Перечтите хоть изображение жизни бурсы в «Бурсаке» и сравните с ним изображение Гоголя в упомянутых повестях...» (Аполлон Г р и г о р ь е в. Эстетика и критика. М., «Искусство», 1980, с. 228). А. Галахов, говоря о традиционности романа, о том, что по своей запутанности похождения Неона напоминают «Непостоянную фортуну, или Похождения Мирамонда» Ф. Эмина, также выделял в романе Нарежного описание бурсы: «Здесь много верных, очень комических сцен из бурсацкой жизни, изображение которой достигло высшего комизма под пером Гоголя. Но за Нарежным остается честь почина в ознакомлении читателей с предметом, до него почитавшимся недостойным литературной сферы или карикатурно выходившим на сцену в одних театральных пиесах» (А. Г а л а х о в. История русской словесности, древней и новой. Т. II. Первая половина. СПб., 1868, с. 183).

Большой интерес к произведению Нарежного проявил молодой Достоевский. А. М. Достоевский, характеризуя круг чтения будущего писателя, вспоминал: «Любил также брат Федор и повести Нарежного, из которых «Бурсака» перечитывал неоднократно» («Ф. М. Достоевский об искусстве». М., «Искусство», 1973, с. 485).

Василий Михайлович Федоров, которому посвящено произведение, был драматургом и поэтом. Служил чиновником в Москве, а затем в Петербурге.

Стр. 8. *Келейник* — здесь: прислужник при ректоре.

Стр. 10. *...латинскою книгою на польском языке...*— Такие издания были распространены в России, особенно на Украине. Срав-

ним свидетельство Н. И. Надеждина в его статье «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (1836): «За несколько лет я имел обязанность пересмотреть огромную библиотеку одного духовного училища и между старыми книгами нашел множество избитых экземпляров латинской грамматики... изданной на польском языке. Эти книги, очевидно, были учебные; итак, русское духовенство училось латыни по-польски!» (Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 412).

Стр. 12. *Префект.*— Здесь: инспектор духовной семинарии.

Стр. 15. *Сняв бриль...*— Бриль — шляпа.

Стр. 17. *Кисы их были довольно наполнены...*— Киса — кошель или мешок, затягиваемый шнурком.

Стр. 18. *...сделаешься нарядным плутом.*— Нарядный плут — здесь: человек, получивший наряд (поручение) сплутовать, обмануть кого-либо; то есть плут не по воле, не по наклонностям.

Стр. 31. *...кроме плохой свиты...*— Свита — здесь: вид верхней длинной одежды.

...а *иногда и проворили...*— Проворить — здесь: воровать, что-либо ловко добывать.

Стр. 32. *...доводит отца моего до вод Стигийских?* — Стигийские воды — в древнегреческой мифологии воды реки Стикс, протекающей в подземном царстве. В подземное царство умерших переправляет на своем челноке перевозчик Харон, сын Ночи.

Стр. 59. *...сей устарелой Ириде...*— Ирида — в древнегреческой мифологии — богиня радуги, крылатая вестница богов.

Стр. 74. *...а особливо тебе, старый фалалей...*— Фалалей — простофиля, фетюк.

Стр. 81. *...Артемида... дошед до кущи пастуха Эндимиона...*— Подразумевается древнегреческий миф о том, как богиня луны Селена полюбила прекрасного пастуха Эндимиона, спавшего непробудным сном. Иногда Селена сходила к юноше, гладила его волосы, тщетно пытаясь его разбудить. Нарежный упоминает не Селену, а Артемиду, видимо, потому, что последняя также считалась богиней луны.

Стр. 87. *Комолый* — безрогий.

Стр. 95. *...красною крашенинною занавесью...*— Крашенина — грубое крашеное полотно.

Стр. 96. *...из монастыря выгнали шелепами...*— Шелеп — плеть, кнут.

Стр. 99. *...отбирал деньги у питухов...*— Питух — пьяница, выпивоха.

Стр. 102. *...я высуслил примерно чарки две запеканной...*— Суслить — медленно пить, причмокивая. Запеканная, запеканка — здесь: водка с медком, настоянная на пряностях в печи.

Стр. 105. *...отлетала так, как тень Евридики от певца Орфея...*— В древнегреческой мифологии чудесный певец Орфей спустился в подземное царство, чтобы вернуть умершую жену Эвридику. Своим пением ему удалось очаровать богов, и Аид, властелин подземного царства, согласился возвратить Эвридику, но с одним условием: Орфей ни в коем случае не должен оглядываться на следующую за ним жену. Орфей нарушил этот запрет, оглянулся — и Эвридика осталась в подземелье.

Стр. 107. *...еломок на целые полвершка поднялся выше.*— Еломок — шапочка у евреев, ермолка.

Стр. 108. *...подобна жалкой участи дочери Рагуиловой...*— Согласно библейской легенде в дочь Рагуила Сарру, жену Товия, влюбился демон (Книга Товит, 6, 13—18).

Стр. 117. *...прожили Мафусаиловы лета.*— Согласно библейскому мифу древнееврейский патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

Стр. 132. *...Сегодня середа... нам же хотелось бы поесть чего-нибудь рыбного...*— Православная церковь устанавливала в среду однодневный пост в связи с тем, что Христос в этот день был предан Иудой на страдание и смерть.

Стр. 150. *...о настоящих своих [делах]...*— Слово, взятое в квадратные скобки, отсутствует в прижизненном издании.

Стр. 153. *...сын Евера...*— Евер — прародитель патриарха Авраама. Существовала точка зрения, что слово «евреи» происходит от Евера.

Стр. 155. *...подобилась купели Силуамской...*— Согласно библейской легенде в купальню Силоамскую в Иерусалиме по временам сходил ангел и «возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Евангелие от Иоанна, 5, 4).

Стр. 171. *...читать... Книгу Иова, Плач Иеремии и Екклезиаста.*— Все эти книги входят в Ветхий завет.

Стр. 175. *...погибель сарматов...*— Сарматы — здесь: поляки.

Стр. 181. *...роскошный червец начал дышать под безоблачным небом...*— Червец — по-украински — июнь.

Стр. 182. ... Vanitas vanitatum et omnia sunt vanitas (суета суетств и всяческая суета) — выражение из Библии, Екклезиаст, 1, 2. Суета суетствий (суетств) — церковнославянская форма «суеты сует».

Стр. 184. *...тот из семи мудрецов древности...*— По преданию, семь мудрецов Древней Греции (Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон), сойдясь в храме Аполлона в Дельфах, написали: «Познай самого себя». Предание это рассказал Платон в диалоге «Протагор».

Стр. 200. *Божусь тебе десятисловием...*— Подразумеваются «10 заповедей», скрижали с которыми, согласно библейской мифологии, были даны богом вождю израильских племен Моисею.

Стр. 211. *...не будет ни шелеха денег...*— Шелег — неходячая монета, бляшка, употребляемая для счета или как игрушка.

Стр. 230. *...приняв вид сатира Марсиаса, с которого Аполлон сдирает кожу* — то есть вид страдальца. (Подразумевается древнегреческий миф о том, как играющий на кифаре Аполлон победил в состязании флейтиста Марсия и, чтобы наказать его за дерзость, привязал к дереву и с живого содрал кожу.)

...как обнимал древний Иксион волоокую Юнону...— Согласно древнегреческому мифу, царь лапифов Иксион влюбился в богиню Геру (в древнеримской мифологии Юнону) и стал преследовать ее. Решив обмануть Иксиона, Зевс вместо Геры вывел к нему похожее на нее облако.

Стр. 238. *...как соименный мне спартанец...*— Подразумевается спартанский царь Леонид (508/507—480 до н. э.), прославившийся своей храбростью и отвагой.

Мария

Впервые: «Новые повести Василия Нарежного». СПб., ч. 1, 1824, с. 1—84.

Вошла в IX ч. изданного в 1835—1836 годах Собрания сочинений Нарежного. В советские издания 1933 и 1956 годов повесть не включалась.

Современная Нарежному критика отнеслась к «Марии», как и к «Новым повестям» в целом, в общем сочувственно. Рецензент журнала «Благонамеренный», подписавшийся: И., отмечал, что «Мария» — «прекрасная, хотя и сентиментальная повесть». «Читая ее, рецензент и притом *журналист в зрелых уже летах*, который и в молодости своей не был плаксив, выронил поневоле несколько слез. Как хорошо знает сочинитель человеческое сердце! В каких трогательных положениях умел он представить героев своей повести!..» «Цель повести», по мнению рецензента, состоит в том, чтобы «показать, что самое лучшее воспитание, если оно не сообразно с предназначением нашим в общественной жизни, бывает для нас пагубно и что любовь, самая невинная, самая благородная, между людьми, родившимися, по-видимому, друг для друга, но в разных или, так сказать, в противных между собою состояниях, есть ужаснейшее мучение, которое одна только смерть

прекратить может» («Благонамеренный», 1824, ч. XXVIII, № XIX, с. 25—26, 27—28). Автор рецензии, по-видимому, А. Е. Измайлов.

В эту несколько расплывчатую сентиментальную интерпретацию последующие исследователи внесли более конкретные социальные штрихи. «Даже в подражаниях сентиментальным романам прорывается тяжелая нота непосредственной реальной жизни»,— писал о «Марии» Ю. Соколов (Ю. Соколов. В. Т. Нарежный (Два очерка).— В кн. «Беседы. Сборник общества истории литературы в Москве», I, М., 1915, с. 88). В. Данилов также отмечал, что «много жизненной правды и силы» заключено в повести с характерной для последующей русской литературы героиней — крепостной, получившей образование. И вот «госпожа распоряжается судьбою образованной и, конечно, особенно чувствительной к своему положению девушки и доводит последнюю до психического расстройства» (В. Данилов. Земляк и предтеча Гоголя. Отдельный оттиск из журнала «Киевская старина». Киев, 1906, с. 10).

Стр. 288. *...похождения Ваньки Каина, Картуша и тому подобное...*— Подразумеваются популярные рукописные и устные рассказы, обработанные Матвеем Комаровым в его книге «Обстоятельные и верные истории двух мошенников: первого — российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина... второго — французского мошенника Картуша и его сотоварищей» (СПб., 1779).

Два Ивана, или Страсть к тяжбам

Впервые: «Два Ивана, или Страсть к тяжбам. Сочинение Василья Нарежного», ч. 1—3, М., 1825. Книга увидела свет уже после смерти автора.

В Собрании сочинений Нарежного «Романы и повести...», СПб., 1835—1836, «Два Ивана...» были помещены в третьем и четвертом томах.

Впоследствии роман неоднократно переиздавался. Включен в оба вышедшие в советское время сборники сочинений Нарежного 1933 и 1956 годов.

Появление «Двух Иванов...» было с удовлетворением встречено рецензентом «Московского телеграфа» (1825, ч. IV, № 16, с. 346—347). Подробный и проницательный отзыв поместил на страницах того же журнала (1825, ч. VI, № 22, с. 175—184) П. Вяземский, который охарактеризовал Нарежного как создателя русского оригинального романа (подробнее об этом отзыве см. во вступительной статье к настоящему изданию).

В общем сочувственно отозвался о новом произведении Нарежного и рецензент «Северной пчелы» (1825, № 94), повторив при этом и обычные упреки в отсутствии «образованного вкуса». «С прибавлением сего последнего качества к числу прочих дарований... Нарежный стал бы наряду с почетными русскими литераторами. Теперь известность его ограничена, и если бы кто сказал, что он имел больше дарований, нежели сколько имеют многие,— по мнению приятелей, знаменитые литераторы,— то сказал бы тот совершенную правду, и однако же ему не поверили бы».

Белинский, Добролюбов и другие критики причисляли «Двух Иванов...» к лучшим произведениям Нарежного (см. об этом выше, в комментариях к «Бурсаку», с. 469—470).

Неоднократно указывалось и на то, что некоторые описания и детали в этом произведении предвосхитили Гоголя — историю тяжбы в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», ночное путешествие бурсаков в «Вие» и т. д. (см., в частности: Н. Котляревский. Николай Васильевич Гоголь. 1829—1842. Изд. 4-е, исправленное. Петроград, 1915, с. 61). Эти переклички и совпадения обусловливались прежде всего общностью этнографической и культурной почвы, на что обратил внимание еще дореволюционный исследователь: «Относительно Гоголя вернее всего, кажется нам, объяснять совпадение его с Квиткой и Нарежным общностью источников: анекдотов, данных народного быта, народных преданий и — той литературной традицией, которая шла, не прерываясь от первых годов возникновения малорусской литературы, в стенах школ XVI века, вплоть до выступления на литературное поприще Гоголя» (В. Перетц. Гоголь и малорусская литературная традиция.— «Н. В. Гоголь. Речи, посвященные его памяти...». СПб., 1902, с. 54).

«Два Ивана, или Страсть к тяжбам» выходили в переводе на чешский (1959) и польский (1962) языки.

Стр. 315. ...*Федор Павлович Вронченко* (1780—1852) — товарищ Нарежного по Московскому университету; в 1820 г. был назначен начальником отделения в Министерстве финансов; впоследствии стал министром финансов.

Стр. 316. ...*настоящий Девкалионов потоп...*— Согласно древнегреческому мифу, Зевс, разгневанный преступлениями людей, устроил всемирный потоп, пощадив только Девкалиона и его жену Пирру, известных своим благочестием.

Стр. 317. ...*петь псалмы и стихеры...*— Псалом — религиозное песнопение, входящее в состав Псалтиря; стихеры, или стихиры — песнопения на библейские мотивы.

...имеющего при себе священный эгид Минервин...— Здесь: защиту. Среди атрибутов греческой богини Афины (соответственно в древнеримской мифологии — Минервы) был щит.

Стр. 318. *...под ударами огненного меча архангела Михаила...*— В библейской мифологии архангел Михаил является вождем небесного воинства в борьбе с темными силами ада, поражая их огненным мечом.

Стр. 319. *...похожие на булаву Геркулесову...*— Согласно древнегреческим мифам, Геракл (у римлян — Геркулес) носил с собой огромную палицу, сделанную из вырванного им с корнем оливкового дерева.

...полтавские Амфионы... заревели...— Амфион — в древнегреческой мифологии — сын Зевса, считается древнейшим музыкантом Греции.

Стр. 321. *...о всеблагая мати Ахтырская!* — В Ахтырке, уездном городе Харьковской губернии, находился собор, построенный по плану Растрелли в 1753 году; здесь хранилась знаменитая икона Ахтырской божией матери.

Стр. 323. *...пропели уставом...*— Устав — здесь: способ, манера пения, установка.

Стр. 327. Это объяснение содержится в романе Н. Нарежного «Аристион, или Перевоспитание», СПб., 1822, с. 48: варенуха — «употребительное питье между простолюдинами Малороссии».

...пособляли... осушивать корчаги...— Корчага — большой глиняный горшок или чугун.

Стр. 334. *...с бо́льшим вниманием, чем халдейские астрономы...*— Халдеи — семитические племена, жившие в 1-й половине 1-го тысячелетия до н. э. в Южной Месопотамии. Халдеи славились своей высокой образованностью, поэтому слово «халдей» часто служило синонимом мудреца, звездочета, прорицателя.

Стр. 336. ...в *преддверии своего елизиума...*— то есть своего блаженства. (В древнегреческой мифологии Элизиум обитель блаженных в потустороннем мире.)

Стр. 338. *...тридцать две копейки с деньгою.*— Деньга — здесь: полкопейки.

Стр. 352. *Эскулап* — в древнеримской мифологии бог врачевания (соответствующий древнегреческому Асклепию). Здесь — врач, лекарь.

Стр. 358. *...любимую кармазинную черкеску...*— Кармазинный — из кармазина, сукна темно-красного цвета.

«Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых» — Псалтирь, 1,1.

Стр. 361. *Пусть некоштные паны Иваны не веселятся!* — Некоштный — здесь: «негодный».

Стр. 368. *...занятого сшиванием тютюна в папуши.*— Тютюн — табак. Папуша, или папуха — связка сухих листьев.

Стр. 371. *...мельничное кало (коло)* — колесо.

Стр. 374. В *такие горбылевские Пафосы и молодые щеголи не дерзали являться без приличных подарков...*— Пафос — очевидно, храм любви. Близ города Пафоса на Кипре, по преданию, родилась богиня любви Афродита, выйдя из пены морской; здесь же был построен посвященный ей храм.

...Кто может быть... лучшею Иридою...— См. примечание к «Бурсаку» на с. 471.

Стр. 375. *...Верность хозяина и хозяйки зависела от их чливости...* — Чливый (от честить и чтить) — вежливый, учтивый, почтительный. Здесь в значении: платящий долг благодарности, щедрый.

Стр. 395. *...Скупиться или быть чивым...*— Чивый — щедрый, тороватый.

Стр. 411. *...скитаются, как плащеватые цыгане.*— Плащеватые цыгане — очень бедные, полунагие, бродячие цыгане (возможно, обозначение «плащеватый» происходит от слова «плащ» или же слова «площица» — тельная вошь). Описание плащеватых цыган содержится в «Российском Жилблазе...».

Стр. 435. *Он уподоблялся тогда древнему иноку, который... не чувствовал, как протекли тысяча лет...*— Этот сюжет, принадлежащий к числу бродячих, отразился во многих произведениях, в частности, в памятнике древнерусской литературы — «Великое зерцало». Нарежный мог знать этот сюжет и по произведению Н. М. Карамзина «Райская птичка», о чем свидетельствует следующее совпадение деталей: в легенде инок отсутствовал триста лет, у Карамзина (как и у Нарежного) — тысячу лет.

Стр. 440. *...объяснено в повести моей под названием «Бурсак».*— Слово «оселедец» объяснено Нарежным в примечании к повести «Запорожец»: «На макуше головы небольшой клочок волос во всю их длину, который завивается за ухо» (Василий Нарежный. Новые повести, ч. III, СПб., 1824, с. 140).

Стр. 451. *...сочинял речь по всем правилам хрии...*— Хрия — система правил для составления речи или сама речь, составленная по этим правилам.

Стр. 462. *Вершники* — верховые.

Стр. 465. *...мусикийские орудия... подняли такой звон...*— Мусикийский — прилагательное от слова «муза»; здесь — музыкальный.

Содержание



Нарежный В. Т.

Н28 Сочинения. В 2-х т. М.: Худож. лит., 1983.

Т. 2. Романы и повести. /Подгот. текста и примеч. Ю. В. Манна. 1983. 478 с.

Во второй том Сочинений В. Нарежного вошли его романы «Бурсак, малороссийская повесть», «Два Ивана, или Страсть к тяжбам»› свидетельствующие о его принадлежности к «реальной школе» и предвосхищающие появление гоголевского комизма; а также повесть «Мария».

Н $\frac{4702010100\text{-}413}{028(01)\text{-}83}$ 5-83 Р1

Василий Трофимович
Нарежный



Сочинения в 2-х томах

Том 2

Редактор *Е. Жезлова*. Художественный редактор *Г. Масляненко*. Технический редактор *Е. Полонская*. Корректоры *Г. Киселева* и *О. Наренкова*

ИБ № 2509

Сдано в набор 10.02.82. Подписано к печати 12.04.83. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 26,64. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-326. Заказ 788.

Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Киевская книжная фабрика, 252054, Киев-54, Воровского, 24